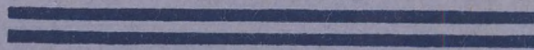


И О В Ы И
М И Р

И О В Ы И
М И Р

3



1957

1957

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 3

Март, 1957 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ЛЕОНИД ИВАНОВ — Сибирские встречи. Из записок журналиста	3
П. ПАВЛЕНКО — Кавказская повесть. Продолжение	58
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
ЛЕВ ЛЮБИМОВ — На чужбине. Продолжение	135
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	206
Т. Мотылева. По следам полемики. — Вл. Рубин. Тревоги и заблуждения. — Р. Орлова. «Обет» молчания.	
ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ	
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — О социалистическом реализме	222
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	235
Т. Трифонова. Точная позиция, точное мастерство. — Г. Ленобль. Жанр — роман-памфлет. — Ю. Суровцев. Идущие быстринной и их недруги. — Сергей Наровчатов. Стихи Арона Вергелиса. — Сергей Львов. Книга критика. — Л. Копелев. Мысль и сердце ученого. — А. Липелис. Пристрастие к общим местам. — А. Лебедев. Рыбы глаза.	
<i>Политика и наука</i>	258
Л. Василевский. Самолет с атомным двигателем. — А. Таланов. Советские писатели о Чехословакии. — И. Зорина. Американская «демократия» маневрирует. — Е. Немировский. Пять миллиардов книг. — Н. Болотников. Труд великого норвежца.	
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	
Георгий Шторм. Незамеченные строки	268

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
РЕПЛИКИ	277
О. Лепешинская. Без переводчика. — И. Вайфельд. Об одном заброшенном начинании.	
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	280
В. Дьяков. Чудовищное заблуждение. — Л. Герасимович. Эврика!	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЛЕОНИД ИВАНОВ

★

СИБИРСКИЕ ВСТРЕЧИ

Из записок журналиста

Несколько лет тому назад мы, сибиряки, впервые услышали новое в литературе имя: Леонид Иванов.

Л. Иванов не сразу взялся за перо. Агроном по образованию, он свыше шестнадцати лет работал в совхозах Сибири. Ему пришлось быть заместителем директора совхоза, начальником планового отдела треста, заместителем директора треста совхозов. Им написано пятнадцать брошюр и монографий, обобщающих опыт работы сибирских совхозов.

Вот уже ряд лет Л. Иванов работает над большим романом о Сибири.

Л. Иванов свою писательскую работу совмещает с журналистикой. Он корреспондент газеты «Сельское хозяйство» по Сибири, он много ездит по совхозам и колхозам, тесно связан с сибирскими сельскохозяйственными вузами и научно-исследовательскими учреждениями. В 1955 году Л. Иванов в качестве одного из советских корреспондентов сопровождал американскую и английскую сельскохозяйственные делегации в их поездках по Советской стране.

Публикуемый в этом номере «Нового мира» очерк Л. Иванова появился впервые в журнале «Сибирские огни» за июль — август прошлого года. Сейчас очерк Л. Иванова публикуется с некоторыми авторскими сокращениями и дополнениями.

Очерк помогает увидеть ту поистине гигантскую работу в деревне, которую ведут Коммунистическая партия, труженики сельского хозяйства по осуществлению задач, поставленных решениями исторического XX съезда КПСС.

Заслуга Л. Иванова в том, что он выхватил из жизни ряд образов талантливых руководителей колхозной деревни, которые безбоязненно, опираясь на активность народных масс, преодолевают трудности, сокрушают рутину и шаблон в организации сельского хозяйства, ведут его дорогой живого творчества к небывалому расцвету.

Серьезность, с которой Л. Иванов подходит к своему материалу, еще раз показывает, как важно писателю по-настоящему знать жизнь, о которой он пишет.

Жаль, конечно, что в очерк Л. Иванова не вошел богатый и поучительный материал второй половины 1956 года. Этот год был в Сибири «годом большого хлеба».

Но думается, что дело это не потерянное, — писатель продолжит свой очерк и покажет своих героев в незабываемые дни трудной и славной борьбы «за большой сибирский хлеб».

Радостно сознавать, что в советской литературе появился еще один писатель — знаток жизни тружеников села, человек, страстно заинтересованный в торжестве прогрессивных, подлинно научных методов ведения сельского хозяйства.

Георгий Марков.

Последний из могикан

Стоял апрель. Снег почти везде уже сошел с полей, и только в самых глубоких кюветах вдоль шоссеиной дороги лежали крохотные сугробики, почерневшие от дорожной пыли.

В один из таких дней я заехал в Дронкинский район — почти самый южный в области.

В райкоме девушка-секретарь сообщила, что заседает бюро.

В это время из кабинета секретаря райкома начали выходить взволнованные, но молчаливые люди.

Из нескольких десятков людей, вышедших из кабинета, я знал в лицо только одного — Павлова. Года три тому назад мне довелось подготавливать к печати его статью о делах колхоза, где Павлов был председателем. Минувшей осенью он тоже писал для нашей газеты, но уже как председатель райисполкома. Тогда Дронкинский район одним из первых в области перевыполнил план хлебозаготовок.

Мы с Павловым отошли в конец коридора.

— Заседаете?

— Без этого нельзя, — улыбнулся Павлов и прищуренным правым глазом (это его привычка) глянул на меня.

— Как сев-то?

— Отстаем. Вот сегодня на бюро принимаем, как говорится, оперативные меры.— Павлов снова улыбнулся и опять прищурил правый глаз.

— Какой колхоз особенно отстают?

— Все отстают. Хвастать нечем. А тут еще приписками начали заниматься.

— Кто?

— Соколов Иван Иванович отличился... Пятьсот гектаров приписал... Вот сейчас будем разбирать...

Пригласили заходить.

Секретарь райкома Обухов коротко рассказал о приписке, допущенной председателем колхоза имени Молотова.

— Вместо того чтобы по-настоящему организовать работу в бригадах, мобилизовать все силы на проведение сева в сжатые сроки, Соколов пошел по линии наименьшего сопротивления! — Голос Обухова звучал гневом.

С Обуховым я встречался на уборке в прошлом году и знал, что секретарем Дронкинского райкома он работает всего один год и сюда приехал сразу после окончания областной партийной школы. До учебы он был тоже секретарем в одном из северных районов, но не первым, а, кажется, третьим. В области говорили, что Обухов—волевой человек, из числа лучших секретарей. Такое мнение сложилось после удачного прошлого года.

— Давай, Соколов, объясняй, как ты дошел до жизни такой? — сказал Обухов.

Сидевший рядом со мной высокий мужчина в гимнастерке, с остриженной под машинку большой головой поднялся и, переступив с ноги на ногу, произнес негромко:

— Что ж, Михаил Николаевич, объяснять... Вы сами обнаружили, нам защищаться нечем. Виноваты, понимаешь, то есть не все виноваты,— оживился вдруг Соколов,— бригадир и агроном ни при чем. Вина моя...

— Хоть тут совесть заговорила! — бросил Обухов. — Как ты сам-то это расцениваешь? Давай уж начистоту! Сам-то как оцениваешь эту приписку?

— Чего ж тут оценивать. Отставить не хотелось... Думали, дня за два закроем эти пятьсот гектаров. Сводку-то мы подали раньше — двадцать четвертого, думали, натянем.

— Натянем! Вот мы тебе натянем! Ты, Соколов, доложи членам бюро: сколько ты вообще посеял, к какой цифре фактического сева сделал приписку?

Соколов, до этого ни разу не взглянувший на Обухова, теперь внимательно посмотрел на секретаря.

— Вы, Михаил Николаевич, по первому вопросу объявляли наши показатели.

— Ты не вилай, ты сам назови.

— Могу и сам. Что ж, товарищи! — Соколов как-то сразу подтянулся, обеими руками поправил ремень. — Что ж, товарищи, посева, понимаешь, у нас нет совсем...

— Вот видите! Саботирует сев, а районному руководству очки втирает! Видали его! Ну, садись. Послушаем, как наш лучший тракторный бригадир приписки делает. Давай, Орлов, докладывай!

Вихрастый, с загорелым лицом человек в кожаной куртке встал и вытянулся по-военному. А Соколов сел, прежде посмотрев на свой стул, словно боясь ошибиться местом.

— А чего греха таить, Михаил Николаевич, мы коммунисты и должны говорить прямо, — сказал Орлов.

— Вот-вот! Прямо и говори, как ты с Соколовым... Видите ли, два сокола-орла там собрались! — накалялся все больше Обухов.

— Не мы первые, не мы последние, Михаил Николаевич. Не первый год так ведется.

— Что так ведется? — перебил Обухов.

— А вот эти приписки. Сводку в МТС от бригад требуют на два дня раньше отчетного срока. Каждый раз и прикидываешь: сколько за эти два дня сделаешь? В прошлом году моя бригада в день заседала по триста гектаров! Думали — сойдет. Земля — вся готовая. А тут дождь — вот и просчитались.

— Видели, как он выкручивается, — усмехнулся Обухов. — Умнее ничего не скажешь? — строго глянул он на Орлова.

— Тут и ума большого не нужно. Не мы это установили. Проверьте, Михаил Николаевич, любую бригаду нашей МТС — во всех есть приписка.

— Все по пятьсот гектаров приписали?

— Может, и не по пятьсот, а на эти два дня дают вперед — будь здоров! А в бригадах добавят, значит и по МТС числится больше, чем фактически, и по району...

— Демагогия. Садись! А что агроном скажет?

Сидевшая рядом с Соколовым тоненькая девушка с миловидным лицом встала. Потупив глаза, она стояла и, видимо, не знала, с чего начать. Все повернулись в ее сторону, и девушка еще ниже опустила голову.

— Ну, так что скажет товарищ... — Обухов пошарил глазами по бурагам на столе, — товарищ Вихрова?

Вихрова продолжала молчать. Этого, видимо, не мог вынести Соколов. Он поднялся, снова поправил свой ремень.

— Михаил Николаевич, — заговорил он много громче, чем когда давал объяснения. — Зина тут, понимаешь, совсем не виновата. Я и прошу взыскивать с меня. Ее и в конторе не было, когда мы сводку давали... Она и не знала про эти пятьсот гектаров. — Соколов произносил «гектаров» с ударением на первом слоге.

— Нет, была! — вскинула голову Вихрова. — Была я... Была и тогда, Михаил Николаевич, когда в уборку вы к нам приезжали и свои установки давали.

— Какие установки? — Обухов встал. — Вы говорите, девушка, да не заговаривайтесь! Давайте бюро свои объяснения. Вы — контролер государственный, вот и докладывайте!

Вихрова, не мигая, глядела на Обухова. Когда тот уселся, она заговорила:

— Товарищи члены бюро! Извините меня, я ведь первый раз на таком заседании...

— А вы не волнуйтесь, товарищ Вихрова, — негромко поддержал Павлов. И, казалось, эта поддержка совсем успокоила девушку.

— И в прошлом году, Михаил Николаевич, вы потребовали, чтобы вот так же в сводку включили триста гектаров необранной пшеницы... Вы тогда как говорили? Сводку даете на день раньше, поэтому условно и надо добавлять. А хлебосдачу оформляли как? Зерно не провеяно, а вы заставили «Заготзерно» выписать квитанцию на сданный будто хлеб. Вы же так приказали? — уставилась на Обухова Вихрова.

— Ишь, какое наступление! — засмеялся Обухов, но в его смехе слышались фальшивые нотки. — Но хлеб-то, сданный по той квитанции, теперь в закромах государства? А?

— В закромах, — согласилась Вихрова. — А только это одно и то же, что и эти пятьсот гектаров. Мы их засеем...

— Ладно, все ясно. Садитесь, Вихрова. Какие замечания у членов бюро?

— С приписками надо бороться самым беспощадным образом, — негромко сказал Павлов. А затем склонился в мою сторону и тихо прошептал: — А вообще Соколов рано не любит сеять, вот и мудрит.

— Есть предложение: Соколову и Орлову объявить выговор! Возражений нет? — Обухов переждал немного. — Значит, принято единогласно. С этим вопросом покончили.

Я решил ехать в колхоз имени Молотова.

— Давай пропесочь Соколова, — наставлял меня Обухов. — Дело тут даже не в приписках...

— А колхоз Молотова отстающий? — спросил я.

— Нет. Там же этот Соколов пятнадцать лет. Один такой у нас в районе остался. Как это говорится: последний из могикиан. Все председатели с образованием, а этого пока держим. За опытность. В районе девяносто четыре процента председателей со специальным образованием, а вот шесть процентов — это и есть Соколов. Сводку портит... Я это в шутку, конечно. Закваска у него старовата. Одним словом — пропесочь!

И, когда я был уже у двери, Обухов крикнул:

— Эту приписку можно и не акцентировать. Затяжка сева — вот что главное! Тут, знаешь, какое дело? — Обухов встал из-за стола, подошел ко мне. — Председателей мы выбрали энергичных, они жмут, а колхоз имени Молотова отстают. Ну, мы на Соколова поднажали, да вот ты через газету подстегнешь... Бывай здоров! — Обухов протянул руку.

Этот разговор только усилил желание поближе узнать «последнего из могикиан».

Соколов задумчиво стоял у своей подводы.

— А где же ваша агрономша? — спросил я Соколова.

— Она с бригадиром на мотоцикле уехала. Садитесь.

— А в колхозе, видно, машины легкой нет?

Соколов ответил не сразу. Он уселся поудобнее, то есть повертелся на месте, чтобы двоим нам разместиться в тесном коробке на дрожках.

— А легковая, понимаешь, плохой помощник.

— Это почему же?

— Почему? — Неожиданно Соколов остановил лошадь и крикнул: — Привет, Степан Иванович! — На лице Соколова появилась улыбка, он торопливо соскочил на землю. — Я на минутку, — сказал он и ушел в ограду, вслед за знакомым ему Степаном Ивановичем.

Минут через двадцать мы двинулись дальше. Соколов заговорил оживленнее, чувствовалось, что встреча со Степаном Ивановичем была ему приятна.

— Вот вы говорили про машины. С одной стороны, понимаешь, очень хорошо иметь машину каждому руководителю. А с другой — некоторых руководителей испортила легковая машина. Удивляетесь? А вот послушайте! У нас в Сибири хлеб все решает, а хлеб растет, когда землю обрабатываешь по-человечески. Народ же есть еще и не шибко сознательный. Кое-кто норовит за счет качества повысить выработку. А кто качество проверит? Агроном. Но больше того — председатель должен. И вот, понимаешь, посади их на легковую машину — они разучатся и по полям ходить, особенно в весеннее время, когда грязь по колено, а машина бегаёт только по тракту. Вот оно и выходит, как у нашего главного агронома МТС, — не скажешь, что он на полях не бывает, часто ездит. Только не по полям, а кругом полей, что твой кот вокруг горячей каши: повертится-повертится — и все. Машина многих агрономов от земли оторвала. Оно, конечно, хорошо в машине, скажем, в район съездить, в город, а в хозяйстве не то уже... У нас тут — это еще в первые годы коллективизации — работал секретарем райкома Иван Сергеевич Козлов. Район был в два раза больше, а ведь Ивана Сергеевича через какой-нибудь год в лицо знали все колхозники. Да и он не только людей, но почти каждое колхозное поле знал. А ведь, понимаешь, все время на лошадке ездил и без кучера. Тогда легковых-то не было. А теперь возьмите нашего Михаила Николаевича. Он тоже вот уже год в районе, а спроси хоть у нас: кто его в лицо знает? Десятка три-четыре, не больше. А теперь спроси у Михаила Николаевича: на каких полях он бывал в колхозе имени Молотова? Не ответит. Потому что вдоль полей ездил, а поперек пешком пройтись не доводилось.

Когда поселок остался позади, Соколов достал папиросы, закурил и замолк. Задумался.

День клонился к вечеру. На горизонте солнце встретилось с черной тучей, врезалось в нее золотистыми стрелами. Но победила туча, она наглухо закрыла солнце.

— Далеко до колхоза?

Соколов встрепенулся.

— Километров пятнадцать осталось.

— Скажите, Иван Иванович: почему вы с такой легкостью приписали пятьсот гектаров посева?

— Будете в газету писать? — Соколов повернулся ко мне, и его внимательные глаза строго глянули из-под густых бровей. — Ну что ж, факт, понимаешь, налично...

Я подумал, что он обиделся. Но еще в райкоме мне показалось, что Соколов говорил не откровенно, что на приписку он пошел по какой-то другой причине. Да и слова Павлова о том, что Соколов что-то мудриг, подтверждали сомнение. Как бы вызвать Соколова на разговор? С кем это он сейчас говорил? Степан Иванович... Степан Иванович... Вспомнил! Это было, видимо, лет шесть назад. Также в апреле... В кабинете секретаря обкома. Новый секретарь проводил свою первую весну в нашей области. А весна выдалась необычной — слишком ранней, и секретарь созвал ученых и специалистов для совета. Да, совершенно точно! Отчетливо вспомнилась даже дата этого совещания. И год. Это было в 1949-м. Шестнадцатое апреля. Секретарь обкома поставил один вопрос: о сроках сева. Первым слово взял директор научно-исследовательского института Верхо-

лазов. Он безапелляционно заявил: «Сегодня шестнадцатое апреля, и мы уже явно запоздали с севом пшеницы».

После Верхолазова выступило человек пять ученых. Они не возражали Верхолазову, лишь сделали оговорки о качестве семян, о правильной обработке земли. И вдруг это единодушие было нарушено. Поднялся тот самый Степан Иванович, с которым только что разговаривал Соколов. Он напомнил о статье Лысенко. В годы войны академик жил в сибирском городе и много времени проводил на колхозных и совхозных полях. Тогда Лысенко предостерегал против сверхранных посевов. Степан Иванович называл множество цифр за различные годы. Выяснилось, что он работает на сортоиспытательном участке в одном из колхозов области и собрал личные наблюдения лет так за пятнадцать. С цифрами в руках он доказывал, что ранние сроки сева в Сибири или по крайней мере в их районе резко снижают урожай. Ранние посевы, говорил он, не только хуже урожаем, но они способствуют сильному засорению полей.

— Когда же начинать сев? — спросил секретарь обкома.

— В мае. Сеять раньше мая — заранее обрекать колхозы на недобор урожая.

Это смелое заявление, идущее вразрез с мнением больших ученых, смутило многих. Слышались шепотком высказанные иронические замечания, смешки.

Тогда снова выступил Верхолазов. Он умел говорить, умел и держаться. Заметил, что он объяснил только свою точку зрения, и, как бы мимоходом, усомнился в правильности опытов, результаты которых сообщил... Ага! Наконец-то я вспомнил и фамилию: Степан Иванович Наливайко. Точно!

Верхолазов спросил Наливайко: потеряется или нет влага в почве, если ждать мая?

А Наливайко в свою очередь задал вопрос:

— А хватит ли растениям влаги без помощи обязательных в Сибири дождей в конце июня или начале июля?

— Нет, не хватит, — согласился Верхолазов. Но он тут же по памяти привел несколько фактов, когда некоторые звеньевые на своих участках при раннем севе собрали высокие урожаи.

Но и Наливайко оказался не совсем одинок. Его энергично поддержал ученый-метеоролог.

Секретарь обкома слушал всех внимательно, от каждого оратора требовал ясного ответа: сеять или ждать?

Хотя среди присутствующих было немало любителей поговорить, этот вопрос, требующий конкретного ответа, ограничил число ораторов.

Закрыв совещание, секретарь обкома попросил остаться и Наливайко и метеоролога. А вечером снова пригласил нескольких ученых — из тех, кто высказывался днем. Потом звонили в районы. И трудно сказать, как бы в тот год решился вопрос со сроками сева, если бы об отставании области на севе не упомянули в передовой «Правды». Это решило вопрос, и к первому мая область засеяла что-то около восьмидесяти процентов плана. А в майские праздники сильно похолодало, в воздухе замелькали белые мушки. Дней на шесть сев прекратился, и остальные двадцать процентов досеяли только к концу мая. И хотя для последнего сева, вполне понятно, остались самые худшие поля, урожай на них оказался в два-три раза выше, чем на самых первых посевах по парам и хорошей зяби.

Уже зимой, подводя итоги года, секретарь обкома на одном из совещаний назвал такую цифру: из-за слишком ранних сроков сева колхозы и совхозы недобрали миллионов пятнадцать пудов пшеницы.

Верхолазов был отстранен от руководства институтом. Агрономы оживленно дискутировали вопрос о лучших сроках сева. При этом многие уже знали об опытах колхозного ученого Терентия Семеновича Мальцева, ко-

торый сеет хлеба только во второй половине мая и всегда получает высокий урожай. Главное же — Мальцев сумел таким путем очистить поля от сорняков.

И в своих планах на 1950 год агрономы намечали начать сев в первой декаде мая. Но природа сама назначила срок сева. Весна оказалась поздней, и отсеялись к началу июня. Но урожай в области был высокий, даже очень высокий.

Секретаря обкома перевели на другую работу, на его место приехал новый, совершенно не знакомый с условиями Сибири. Очередная весна выдалась снова ранней, сеять начали опять очень рано, и хлеб уродился плохо.

Но тогда оказалось, что многих устраивала всеоправдывающая формула: «В связи с неблагоприятными условиями погоды...» И как-то никому не приходило в голову, что некоторые хозяйства и в 1951 году собрали урожай не ниже, чем в урожайном 1950-м.

Все это пробежало в памяти, и я спросил Соколова, где работает Наливайко.

Соколов поднял голову.

— Наливайко?.. Степан Иванович так и работает лет уже двадцать на испытательном участке в соседнем районе. Ну, и в наш район иногда заглядывает... По старой памяти. С ним очень дружил Иван Сергеевич Козлов — секретарь, про которого я рассказывал. Друг к дружке ездили... А вы что, знаете Степана Ивановича?

Я сказал, что встречался с ним.

— Наш ученый, — проговорил с некоторой торжественностью в голосе Соколов, подчеркивая слово «наш». — Да, наш ученый, — повторил он и подстегнул коня. Тот испуганно рванулся и помчал, разбрызгивая дорожную грязь.

— И вы, Иван Иванович, сорок девятый год помните?

— А кто ж его не помнит. Весна была ранняя, как и нынче.

— А тогда вы в какие сроки сеяли?

— В какие Степан Иванович советовал. Только тогда дело совсем другое было. Техники, понимаешь, было много меньше, как ни начинай, а дней двадцать просеешь. Начнешь в ранние сроки и дойдешь до поздних. В среднем-то урожай и терпимый. А теперь при нашей технике можно в десять, а то и в восемь дней посеять. Сунься вот в такую почву — пропал колхоз, без хлеба останется. — Соколов остановил лошадь, вылез из ходка. — Полубуйтесь, — говорил он уже с полосы.

Я пошел к нему.

— Вы понимаете в агрономии? — спросил Соколов.

Я ответил, что учился на агронома.

— Тогда сами поглядите. — Он разворошил верхний слой, набрал в пригоршни земли и протянул мне. Комок холодной земли тяжело лег на ладонь.

— Вот вы скажите: есть какая-нибудь жизнь в земле? Никакой нету! Семена сорняков еще не наклюнулись, а мы хотим отдать земле культурное зерно. Смешно! Сорняки-то, понимаешь, тут чувствуют себя, что рыба в воде, а культурное... оно и есть культурное. Ему человек помочь должен. — Соколов явно нервничал, губы его дрожали. Разминая землю на ладони, он продолжал уже тише: — Сама природа подскажет человеку, в какие сроки сеять, бороться, культивировать.

Когда мы двинулись дальше, Соколов сказал:

— Это я говорю не свои слова. Это Терентий Семенович, да вот Степан Иванович и многие другие так думают.

— Вы встречались с Мальцевым?

— Два раза к нему ездил. И как их слова приложишь к земле... вот к этой самой земле, — он сказал это так тепло, как говорят о близком

друге, — сразу пристанут. Возьмите тот же срок сева. Начнется жизнь в земле, полезут сорняки из земли — сама природа хлеборобу говорит: вот, на! Бери да скорей уничтожай сорняк и сей пшеничку! А мы что делаем? Сегодня слышали на бюро, как агроном МТС выступал?

Я сказал, что опоздал и выступления агронома не слышал.

— Так он что толкует? Он говорит: зачем сейчас культивировать землю, сорняки все равно еще не всходят, а культивация, мол, только и делается для уничтожения сорняков.

Я заметил, что при таком положении агроном прав.

— И по-моему прав! Если сеять до появления сорняков — к черту и культивацию! Зачем зря силы тратить. А директор МТС, тот быстро смекнул, в чем дело. Ему, понимаешь, без культивации нельзя. Тогда МТС план тракторных работ не выполнит. Видишь, куда гнет? Если хлеба не будет — наплевать. Ему на свой план тракторных работ надо набрать. А вот никто не хочет подсчитать, сколько из-за преждевременной работы недодаем государству хлеба. Никто не считает!

Дорога свернула в низину, стало совсем темно и холодновато. Лошадь хлюпала по грязи, еле вытаскивая ходок. А когда проехали низину и снова выбрались на сухую дорогу, Соколов с некоторой торжественностью произнес:

— Вот и наши поля пошли.

Мне показалось, что Соколов как-то сразу стал спокойней.

Лет за десять работы в совхозе да за несколько лет беспокойной корреспондентской жизни у меня собралось много фактических материалов по срокам сева.

Надо сказать, что во всех районах Сибири, где мне приходилось бывать, почти все — и ученые, и рядовые работники, агрономы, председатели колхозов, директора совхозов, — почти все, за редким исключением, высказывались за так называемые оптимальные сроки сева. Каждый год жизнь неумолимо доказывала им, что очень ранний посев зерна в непрогретую землю никогда не дает хорошего результата. И хотя под ранние посевы отводятся самые лучшие земли — пары и наиболее чистые поля зяби, — урожай на ранних посевах никогда не бывает выше, чем на средних. А если бы лучшие земли засеять в лучшие сроки?

Ко всему этому нельзя забывать, что в отличие от других зон страны в большинстве районов Сибири все зерновые культуры высеваются только весной.

Запомнилась мне дискуссия в Сибирском научно-исследовательском институте в 1953 году, когда собрались агрономы и ученые со всей Сибири. Основной доклад делал представитель сельскохозяйственной академии Каралькин — молодой, рано располневший человек. Делая ссылку на опыт той же самой области и оперируя не цифрами урожая, а процентами выполнения плана хлебосдачи, Каралькин ратовал за ранние сроки сева в Сибири. А с содокладом выступил Терентий Семенович Мальцев. Без единой записи, без шпаргалок Мальцев называл десятки примеров, цифр и фактов. Отвечая Каралькину, он говорил примерно так: вам, ученым, работать много легче. Не вырастет урожай на поляночках — вы так и скажете: не выросло. Ваш заработок от этого не убавится. А нам так нельзя. Если не вырастим урожай — колхозники останутся без хлеба, государство мало получит. Поэтому приходится сначала раз двадцать подумать, а потом уж и решать, да чтобы без большой ошибки. Конечно, рано сеять спокойней. Рано посеешь, пораньше и уберешь, волнений меньше. А рано уберешь — быстрее с хлебосдачей рассчитаешься, если хватит. А не хватит — государство все равно простит, государство у нас доброе. А попозже посеешь — волнуешься: как бы до снега все прибрать с поля. Тут не один волос поседеет. Но зато когда увидишь: хлеба собрал

раза в два больше — на душе приятно, все волнения в радость превращаются.

— Надо познать законы природы, — говорил Мальцев. — Познав природу, мы сможем поставить ее на службу человеку.

Речь Мальцева часто прерывалась аплодисментами. Все, что говорил Мальцев, он доказал всей своей работой на полях колхоза. Производя посев зерновых во второй половине мая, он тем самым добивается такого положения, когда самый ответственный период в развитии растений совпадает с почти обязательными в условиях Западной Сибири дождями в начале июля. Это и решает судьбу урожая. При раннем же сроке посева для растений не хватает зимней влаги, чтобы «дотянуть» до периода дождей, поэтому они чахнут, а иногда и гибнут.

И еще вспомнилось, как в перерыве волновался сибирский писатель Долинин.

— Что это такое? Я представить себе не могу такой наглости.

Оказалось, Долинин послал записку с вопросами Каралькину, просил дать теоретическое обоснование ранних сроков сева в Сибири, привести конкретные цифры урожаев при различных сроках сева по колхозам, опытным участкам. Но Каралькин, не называя фактов, сказал, что они у него есть. И ни слова о теории ранних посевов. Это-то и возмущало писателя.

Много вопросов задавалось и Мальцеву, и он дал обстоятельный ответ на все. Кто-то спросил, с какого числа рекомендуется начинать посев пшеницы. Терентий Семенович ответил, что дату он не признает, но срок посева каждую весну назовет сама природа: началось интенсивное прорастание сорняков на полосе. Уничтожь их культиваторами или лущильниками и сразу начинай посев — никогда не ошибешься.

Из зала вопрос: а если до конца мая сорняк не появится — тогда как? Ведь не в июне же сеять пшеницу — она не созреет.

Но у Мальцева и на это ясный ответ. В своем колхозе он настоял, чтобы засыпать двухгодичный запас семян пшеницы двух сортов — позднеспелой и раннеспелой... Если весна ранняя — тогда он сеет больше позднеспелыми сортами, а поздняя — раннеспелыми.

— Вообще, — заключил Мальцев, — самые высокие урожаи яровой пшеницы наш колхоз получает от посевов, произведенных в третьей декаде мая.

Выступая с заключительным словом, Каралькин, назвав Мальцева талантливым экспериментатором, тут же поставил под сомнение его выводы о сроках сева, не забываясь, впрочем, о доказательствах. Но в ответ на это «талантливый экспериментатор» внес предложение:

— Давайте соревноваться!

Мальцев предложил Каралькину поехать в соседний с колхозом совхоз и ввести там ранние сроки сева.

— Если у вас получится лучше нашего, — говорил Мальцев, — то мы внедрим ваши советы. Но я сильно сомневаюсь, что у вас получится лучше... Поэтому пусть наш спор решит соревнование! — под аплодисменты всего зала заключил Мальцев.

Все ждали, что ответит представитель академии. Но Каралькин промолчал, у него не хватило мужества принять прямой и честный вызов на поединок. И всем стало ясно, что такой ученый «не умрет за свою идею».

И, надо думать, такое не очень часто случается: доклад представителя академии с установками на ранние сроки сева в Сибири был отвергнут сибирским совещанием, и отвергнут почти единогласно.

Казалось бы, наступила наконец ясность со сроками сева в Сибири. Однако на деле выходит не совсем так. Стоит прийти ранней весне, и все повторяется сначала: идет борьба за то, кто раньше отсеется.

Все эти события больше двух десятков лет проходили на моих глазах. И у меня было собрано много данных о фактических урожаях, полученных при различных сроках сева. Я назвал некоторые из них Соколову. Иван Иванович слушал внимательно, не перебивал, хотя временами, казалось, ему хотелось вставить свое замечание.

— Вот видите, — промолвил он. — А нынешний год мы особенно беспокоимся об урожае.

— А что? Чем-нибудь особенный?

— Конечно, особенный... Назовите мне: когда в Сибири хороший урожай был подряд два года?

Я начал припоминать, и действительно за двадцать лет такое случилось один раз. Это были 1937 и 1938 годы. Все остальные урожайные годы чередовались с одним-двумя, а иногда и тремя неурожайными.

— Вот и на моей памяти только один такой случай, — подтвердил Соколов. — Значит, после прошлого урожайного года надо ждать засушливого лета... Тут-то вот сроки сева могут сыграть особенно большую роль... А Михаил Николаевич знать ничего не хочет...

Соколов примолк.

Вскоре впереди мелькнули огоньки.

— Наш колхоз, — оживился Соколов.

— Электричество во всех домах?

— С прошлого года. Радио есть. Мельница от электричества работает, крупорушка...

Соколов рассказывал, что дало колхозу электричество, но видно было, что думает он о другом. Я не прерывал его, зная, что это лучший способ дать собеседнику разговориться. И действительно, Соколов вернулся к прерванному разговору о сроках сева.

— А насчет сроков, понимаешь, все-таки вину должны взять местные власти, ну и... конечно, областное начальство. Я тоже думал: почему так получается, откуда все началось? А началось это, думается, с первых годов колхозной жизни. Я сам здесь, в Сибири, с пяти лет — из Курской губернии мой батька переселился. Эту самую деревню переселенцы и zaloжили тогда. Так вот раньше мужик когда сеять начинал? После первого мая! Только опять же не надо забывать — первое мая тогда ведь по-старому считалось, а по-новому — это, значит, около пятнадцатого... И хлеба в большинстве хорошие росли. А ведь чем работали? Когда объединились, начали посевные площади сильно увеличивать, распахать залежи, а тягла маловато. Вот сеять и начинали как можно раньше, а заканчивали, когда запрещение приходило, где-нибудь в середине июня. В таком случае и апрельские посевы давали урожай выше, чем июньские. Да июньские-то часто под заморозки попадали. Вот тогда-то и стали бояться упустить срок сева. И правы были! А потом техника стала прибывать, сроки сева сокращались, только вот беда: сокращались они не с двух сторон, а с одной. Надо бы начинать с краев да сжимать их к середине, а мы сжимали от июня к апрелю, середину-то отбросили. Шум с началом сева начинается, как и в те тридцатые годы. А если пр-серьезному взглянуть, то тут и шуметь нечего. Посевная теперь — самая легкая работа. Земля вспахана с прошлого года, культивируй да сей. Вот я и говорю: можно за восемь дней отсеяться. А начни мы три дня назад посев, половину уж посеяли бы, а что толку? Ущерб государству и колхозу. А наш Михаил Николаевич все равно шумит, как и в тридцатые годы. Да, надо думать, и на него жмут. Вот и вы не в Корниловский район поехали — он на первом месте в области, а к нам, критиковать будете

— А все-таки, Иван Иванович, почему приписка?

Соколов подумал немного.

— Вы, конечно, подумаете: подлец Соколов, совесть партийную потерял. Отчасти это верно: потерял. А разве из личной корысти?

— Все-таки оберегали себя от выговора.

— Частично это так, конечно. И за это готов перед партией держать ответ. Ведь что получается? Прибавился у нас урожай зерновых, скажем, за последние пятнадцать лет? Хлеба мы получаем, конечно, больше, но это за счет распахивания новых земель, а с гектара прибавки не получилось. Но зато сколько сору на полях поразвели — страшно смотреть. Разве это порядок? — Помолчав, Соколов продолжал: — Так вот насчет приписки... Сеем мы фактически позднее других, а землю наш бригадир Орлов умеет обрабатывать. Вот и с урожаем получше. Когда будете писать критику на Соколова, то уж и это скажите. Только про это вы, конечно, не будете писать. Так ведь? Вы напишете: вот, мол, преступник Соколов обманул государство. Добавьте фактиков — и готово!

— Вы, Иван Иванович, говорите так, словно о вас уже десятки раз критические статьи писали.

— Писали... Районная газета каждую весну наш колхоз за отставание на севе ругает. А потом, осенью, вроде обратно раскручиваться начинает: хвалит за урожай.

Так с разговорами мы и въехали в деревню. Я всматривался в постройки, но хорошо видны были лишь ярко освещенные окна домов. Самые же дома прятались за высокими оградами. Такие добротные ограды не очень часты в сибирской деревне, и они всегда свидетельствуют о крепком колхозе.

Где-то в середине деревни Соколов остановил коня.

— Заходите в хату, старуха, видать, дома, а я скоро приду.

— Как-то неудобно, Иван Иванович...

— Чего неудобно? Заезжей у нас нет. Пошли!

Он ввел меня в избу и представил своей жене Матроне Харитоновне.

— Досталось там моему Ивану Ивановичу? — спросила хозяйка, когда Соколов ушел.

— Выговор объявили.

Матрена Харитоновна примолкла, задумалась, но, видно, вспомнив о госте, взяла блюдо и вышла.

Квартира председателя состояла из кухни и просторной комнаты, в которой стояли широкая кровать, большой стол и диван. На всех пяти подоконниках — горшки с цветами, на стене множество семейных фотографий, часы-ходики, два портрета.

Не успел я умыться, как вернулась хозяйка с блюдом соленых огурцов и помидоров, захопотала с самоваром. Из разговора с ней я узнал, что живут они «одни со стариком», что сын работал механиком в МТС и теперь в армии, а дочь была учительницей в своей деревне, но вышла замуж и переехала с мужем в совхоз, продолжает учительствовать.

Нашу беседу прервал приход Соколова и еще одного гостя, который оказался моим знакомым.

Это был Гребенкин.

С Гребенкиным мы когда-то учились в одном институте, только оч курсом старше, оба ухаживали за одной девушкой, ставшей затем его женой. Видимо, это обстоятельство наложило определенный холодок на наши отношения. Мы довольно часто встречались с Гребенкиным по работе, но разговор между нами всегда носил оттенок официальности. Гребенкин был энергичным, умным человеком, его уважали и в институте за веселый нрав и честность. Последний раз мы с ним встречались года два назад — в то время он работал заместителем заведующего сельхозотделом обкома партии. Гребенкин одним из первых подал заявление о том, что хочет поехать в деревню, и был избран председателем колхоза.

— Вот так встреча! — воскликнул Гребенкин, протягивая мне свою левую руку. Правая у него висела плетью — была перебита на войне. — А то Иван Иванович толкует — корреспондент! Думаю: дай посмотрю.

— Какими судьбами здесь?

— Да вот, возвращаюсь с бюро.

— Как же я не видел тебя?

— Я с другого бюро, — рассмеялся Гребенкин, показывая свои крупные зубы. — Мы ведь только живем по соседству с Иваном Ивановичем, а районы у нас разные.

— Тоже сев срываешь?

— А тебе факты нужны?

Начавшуюся было перепалку прервал Соколов, он пригласил к столу.

— Не знаю, как вы, а я со вчерашнего дня не ел.

На столе появились бутылка водки, огурцы и помидоры. Берясь за рюмку, Гребенкин сказал:

— За хлеб, товарищи!

Кто должен руководить?

Матрена Харитоновна поставила самовар во второй раз. Вначале говорили о сроках сева. Гребенкин сказал, что для него этот вопрос не является уже дискуссионным. После знакомства с работой колхоза имени Молотова и многих бесед со своими колхозниками он окончательно пришел к выводу, что сеять рано — это ставить под угрозу урожай.

— Значит, не будем сеять до середины мая!

Такие решительные заявления от Гребенкина мне слышать приходилось не часто. Будучи на высоком посту, он свое мнение редко высказывал первым, но, когда знал настроение своего начальства, говорил решительно, твердо. А тут совсем другие нотки. Я об этом и напомнил Гребенкину.

— А вот когда почувствуешь свою ответственность за весь колхоз, тогда и нотки будут другие! — рассердился он. — Всю жизнь так будет: кто на земле живет, тот ее и любит, тот и знает эту землю лучше всех! А мы — знаешь, поди? — собирали ученых, ставивших опыты на грядах, и просили: подскажите мужику-колхознику, когда боронить да когда зернышки в землю бросать. А они начальству в рот смотрят: промолвите руководящее слово, а мы уж научно это обоснуем...

— Не все же такие ученые, — вступился Соколов.

— Не все, — согласился Гребенкин. — А вот бывает, что тон порой задают именно те, которые никогда не рисковали, а только обосновывали чужое мнение, научную базу подводили. Вот поверь мне, — повернулся ко мне Гребенкин, — я жду первого областного совещания... Столько у меня за год накопилось гнева против некоторых ученых, что черт знает что такое!

— Ты же и сам наукой немножко ведал, — напомнил я.

— Вот и ты тоже, — огрызнулся Гребенкин. — Не меньше, чем на ученых, я зол на вашего брата — корреспондентов! Я тебе прямо скажу: вы, газетчики, тоже виноваты в низких урожаях. Да-да! Я тебе прямо это скажу. Что такое сельскохозяйственная наука в современных условиях? Это, пойми, прежде всего широкое обобщение опыта колхозов и совхозов. Опыта накоплено столько — хоть отбавляй. В каждом колхозе есть опыт. Хороший или, наоборот, очень плохой, но опыт. А если разобраться в причинах — почему колхоз собрал низкий урожай, то это будет не менее ценно, чем описать удачу с урожаем. — Гребенкин горячился все более и более. — А что вы, газетчики, делаете? Услышите, где председателя избил за затяжку сева, и все в один голос: вот он, преступник, ждет, когда земля прогреется, — не сеет. По-моему, у вашего брата своих мыслей маловато, вы тоже придерживаетесь шаблонных установок. А кому, как не газете, разобраться в тонкостях, правильно осветить события?

— А почему бы тебе не выступить в газете?

— Вот через годик наберу материал и выступлю. А у тебя пороху не хватит написать статью с такими, скажем, примерами, что вот наш соседний колхоз «Восход» уже сорок процентов зерновых посеял. Куда он гонит? Сорняки разводит, а не хлеб растит. А почитай газету, что ваш брат пишет. — Гребенкин вытащил из кармана газету, протянул мне. — Разверни и читай! Видишь? «Товарищи хлеборобы! Равняйтесь на колхоз «Восход». Что это, я спрашиваю? Помощь сельскому хозяйству? Страшный вред!

Соколов молчал, но кивками своей большой головы явно одобрял Гребенкина. А при последних словах Гребенкина и он заговорил:

— А ведь правду толкует Сергей Устиныч, товарищ корреспондент.

— Он и сам согласен, — рассмеялся Гребенкин. — Так ведь? Ну, сознайся, что так! Нет, товарищи, перестраиваться надо! С формализмом пора расстаться да посмелее поднимать действительно новое, прогрессивное. Хотя Иван Иванович меня тут же и поправит, — повернулся к Соколову Гребенкин. — Он скажет так: развернем новое, прогрессивное из оперы, исполнявшейся нашими дедами да прадедами. Так ведь, Иван Иванович?

— Не совсем, Сергей Устиныч. Старое у нас надо с новым сочетать... Нового много: машины, удобрения, сорта семян новые.

— Это не все! — махнул рукой Гребенкин. — Вот наши деды хоть трехполку, а имели. Так ведь? Худенький севооборот, а завели. Все-таки определенный порядок на земле, чередование. А у нас с тобой что?

— Ну как же, Сергей Устиныч, у нас в старом колхозе севооборот сохранился...

— Вот-вот: один на весь район. Стоило сказать, что на юге Украины травы многолетние плохо растут, сразу и у нас откликнулись: паши эти травы! Попутно и паровые поля заняли. А почему? Опять потому, что там, где-то на юге страны, где влаги избыток, неплохо получается с занятыми парами. Боремся против шаблона, а проповедуем страшный шаблон. Надо же все-таки разбираться маленько: на юге или на Кубани, там семьсот миллиметров осадков за год, а у нас в Сибири триста не каждый год выпадает. Нам без паров нельзя! — Гребенкин достал из кармана записную книжку, нашел нужную страницу. — Вот тебе факты по нашему отстающему колхозу. Вот смотри: за последние шесть лет взято. Урожай пшеницы на паровых полях одиннадцать с десятыми, а на зяби — четыре центнера! Так вот я спрашиваю: выгодно иметь пары или нет?

— А у нас по паровым полям в среднем выйдет по шестнадцати, — заметил Соколов.

— Мы на парах будем брать не меньше! — заявил Гребенкин. — А тебе, — повернулся он ко мне, — я вот что скажу. Надо, чтобы и в газетах работали не просто люди, умеющие писать без ошибок, а чтобы такие, у которых душа могла бы за дело болеть. А болеть она может только у того, кто сам лично, именно лично, прочувствовал это. Вон в областной газете Коркин, он, говорят, начинал с учетчика в полеводческой бригаде. Его статьи я все читаю. В них сильно чувствуется забота о деле, интерес к делу. Вот таких газетчиков надо иметь побольше!

— По-твоему, газетчики должны поработать в колхозе?

— Это уж вы сами решайте, — рассмеялся Гребенкин. — Во всяком случае газетчик, пишущий о сельском хозяйстве, обязан хорошо разбираться в вопросах техники и агротехники. Почему бы, скажем, будущего журналиста из университета не посылать на практику в колхоз, совхоз? На годик. Он научил бы там кого нужно, как газеты выпускать, а через это хорошо бы познал и жизнь деревенскую. А в аппарат редакции — побольше людей из числа собкоргов, они все же в гуще жизни растут. Так ведь, Иван Иванович?

— Ты, Устиныч, много интересных примеров привел. Я, грешным делом, тоже подумывал иногда: неправильно у нас кадры и для МТС подбирают. Неправильно.

Гребенкин мигнул мне, показывая в сторону Соколова. А тот говорил так, словно рассуждал сам с собой:

— Очень важное решение партии было: МТС должна не только пахать, сеять, а обязана влиять на всю хозяйственную деятельность колхозов — на животноводство, на строительство, помогать во всех этих делах. Отдали МТС всех специалистов: зоотехников, агрономов, ветеринаров. А директорами МТС стали назначать инженеров. Почему, понимаешь, инженеров, да еще с заводов? Потому что в МТС — тракторы. Значит, что же получается? — Соколов поднял голову и вопросительно уставился на Гребенкина. — Что же выходит? МТС занимайся животноводством и всеми колхозными делами, а во главу поставили самого что ни на есть узкого специалиста — механизатора. Бродя нашего Прохора Павловича. Мужик не глупый, а сам же и смеется: я, говорит, наизусть знаю только коробку скоростей какой-то там машины. А по-моему, инженеро дело — в мастерской МТС. Прохор Павлович сам признавался: не приношу, говорит, пользы, заявление подал насчет увольнения. Человеку совестно. А почему? Он не виноват. Только и для нашего дела пользы мало.

— А кого же назначать директором МТС? — спросил Гребенкин.

— Агронома! — попытался я угадать.

— Может быть, и агронома, — согласился Соколов. — А лучше всего было бы назначать директором МТС самого хорошего председателя колхоза. Вот кому сподручнее всего управлять станцией! И мы бы — председатели — знали, что с таким человеком можно по душам поговорить, по делам самым серьезным советоваться.

— Постой-постой, Иван Иванович, — встал Гребенкин, — а ты ведь большущую мысль высказал! Как по-твоему? — повернулся он ко мне.

Я было заметил, что едва ли имеет решающее значение, кто станет директором МТС — инженер, агроном или зоотехник. Важно другое: чтобы директор обладал организаторскими способностями. Он же имеет помощников всех специальностей, советоваться с ними будет.

Но Соколов возразил:

— В нашей МТС вместе с директором три инженера. А не лучше бы оставить двух инженеров — главного и в мастерской, а директором поставить агронома из хороших председателей.

Соколова поддержал Гребенкин.

— Чего там говорить! Директоров подбирали не всегда правильно. Я ведь сам в этом участвовал. Подбирали в спешке. Спрашивали: инженер? Инженер. Ну и все — директор готов! Конечно, если инженер с организаторским талантом, он будет хорошим директором любого предприятия. А вот специалист по коробке скоростей или по подшипникам, проработавший на своем деле много лет, на заводе будет ценнее, чем в сельском хозяйстве. Это уж точно! А если короче сказать, то инженером МТС должен быть инженер! А директором — не только инженер, а лучше хороший организатор из агрономов или, как Иван Иванович говорит, из хороших председателей.

— Вообще, Сергей Устиныч, — заговорил снова Соколов, — если уж начистоту, то и секретарь райкома должен хорошо знать колхозное производство. Кого если решили растить на секретаря райкома, надо, чтобы он проработал в колхозе или в совхозе. Ну там секретарем парторганизации, а то и руководителем хозяйства... — Соколов подумал немного и добавил: — Конечно, и председатель райисполкома тоже должен знать колхозную жизнь наизуток. Возьмите у нас: многие ли ходят советоваться по колхозному делу к Михаилу Николаевичу? Мало. Все председатели больше норовят поговорить с товарищем Павловым. Он ведь и сам работал

председателем, с ним можно всеми своими бедами делиться — поймет и, как человек опытный, советом поможет. И к нам приедет — не пустой разговор ведет, ему в любом колхозе все ясно.

— А ведь Иван Иванович прав! — воскликнул Гребенкин. — Ей-богу, прав! Пока он говорил, я все это примерял на нашем секретаре райкома Шуленко. Ты знаешь его? — обратился он ко мне. — Помнишь, был секретарем городского райкома? Хороший мужик: часто советуется, единолично решения не принимает. Но и тяжело же ему! Вот и сегодня: ему позвонили из области — на тридцатом месте по посеву. Он жмет на нас, а я говорю: сеять пока не буду, держусь, мол, мальцевской агротехники. Еще два председателя то же самое толкуют: много паров и зяби по Мальцеву вспахано, и сеять будем по его совету, когда сорняки спровоцируем. А наш Шуленко не знает, что делать: директива из области ясна — нажимать на сев, а председатели уперлись. Ивана Ивановича ставить секретарем райкома! — воскликнул Гребенкин.

— Ты, Сергей Устиныч, насмехаешься. Я ведь почти малограмотный. А вот вас можно бы... так через годик-другой. Можно бы!

Гребенкин явно смутился и, поднявшись из-за стола, стал прощаться. Я вышел проводить его. На улице было не очень темно, на небе ярко горели звезды. Морозило.

— Вот и сей по заморозку, — бросил Гребенкин.

Когда в доме Соколова заговорили о том, кто должен быть секретарем сельского райкома, мне сразу вспомнился Скидаевский — секретарь Яснополянского райкома. Он лет десять работал в совхозах — сначала агрономом, а потом директором. Года три назад его избрали председателем райисполкома, а вскоре — первым секретарем райкома. Яснополянский район самый далекий и по показателям все годы значился в числе последних. А теперь он круто пошел вверх, и в области заговорили о Скидаевском как о хорошем, удачном секретаре.

Я решил сейчас напомнить об этом Гребенкину. Но он опередил меня.

— А Соколов прав! — громко проговорил он. — Ты же знаешь историю Мишки Скидаевского?

Гребенкин учился на одном курсе со Скидаевским, и это, конечно, дало ему право называть старого товарища Мишкой.

Мы вспомнили много других случаев. Оказалось, что лучшие директора МТС, совхозов, лучшие районные и областные руководители — чаще всего из тех, кто работу начал с деревни, то ли директором, то ли в политотделе.

— Но самое главное, — заявил Гребенкин, — это чтобы руководителей районов, области сменяли как можно реже. Лишний год работы на одном месте — это два-три курса института для самого работника, а главное — для общего дела польза.

Я спросил Гребенкина, зачем он приезжал к Соколову.

— Зачем? За большим делом! Советоваться приезжал. Ведь самого сомнения берет: вдруг ранние сроки окажутся лучше? Говорят, раз в десять или двадцать лет так и случается. Тогда что? Мы, тридцатитысячники, подвели колхозников... Дело серьезное. А теперь поговорил с Соколовым, все ясно — и успокоился. Ты ведь тоже ратуешь за мальцевскую систему? И я ратую, сам к нему ездил, книги его читал, а пока с Соколовым не побеседовал, не понял самого главного.

— Что же главное?

— Тебе это обязательно надо знать! Все мы шумим: паши без отвалов, глубоко, одним словом, по Мальцеву. А как дойдет дело до сева — начинаем по-своему и все дело портим. Забываем, что сроки сева — неотъемлемая, понимаешь, совершенно неотъемлемая часть комплекса мальцевской системы.

Некоторое время мы шли молча, обходя лужи деревенской улицы. Я первым нарушил молчание.

— А ты как: доволен, что в колхоз перебрался?

— Этот вопрос сто человек уже задавали... И ответ одинаковый. Очень доволен! Здесь именно живешь! Да что говорить об этом, — махнул он рукой в пространство. — Здесь таких, как Соколов, очень много. Теперь я иногда подумываю: наколбасили мы порядочно, когда почти всех председателей заменять стали. Непонятно, как еще Соколов держится?

— Последний из могикан, — ответил я, вспомнив изречение Обухова.

— Вот именно! А такой вот самородок — ценнейший руководитель! Ведь надо правду сказать: кое-где попались такие новые председатели, что хуже старых хозяйство повели... Кстати, я тебе собирался дерзкое письмо написать.

— В чем же я провинился?

— А ты слушай. Очерк твой читал про этого... про Медведева. Ты умиляешься, как новый председатель колхозников по плечу похлопывает. А ведь этот самый Медведев колхоз-то, видать, разваливает.

— Позволь...

— Не торопись опровергать. Это нашему брату больше подходит — опровергать! Ты же сам пишешь: за один год доходы артели увеличились в полтора раза и превысили миллион рублей. Миллионеры, видите ли! И все сделал новый председатель.

— Так это же правда, факт!

— Тем хуже для фактов, — неожиданно рассмеялся Гребенкин. — Неужели ты не мог поглубже заглянуть? Почему, скажем, тот колхоз снизил товарную сдачу продукции?

— Откуда такой вывод?

— Из твоих же фактов. Пойми, браток: если бы в том колхозе оставался старый председатель, и тот за год не двинул бы хозяйство ни на один шаг, то доходы увеличились бы не в полтора, а в два раза! Непонятно? Разъясню. У нас как получилось? Стали в массовом порядке заменять председателей и одновременно погнали технику для МТС. За год тракторный парк удвоился, кадры МТС укрепили, машин двинули в деревню уйму, затем цены на продукты увеличили в несколько раз. И все это в придачу новому председателю. Некоторые новые председатели рапортуют: доходы увеличились в два раза. А ты тоже раскудахтался — в полтора раза! И вот тебе новые факты: под моим руководством доходы за год возросли в два с половиной раза, а у Ивана Ивановича — в четыре. Вот это значит опыта у Гребенкина маловато! Так что, браток, не мешало бы нам еще раз получше разобраться с бывшими председателями колхозов, откопать самородки, подучить их — вот было бы дело! Ты же сам знаешь: кое-кто из горожан плохо прививается в колхозе. Уж лучше такого отпустить — в городе, может, пользу принесет. А во главе колхоза надо ставить таких, которые землю любят, жить без нее не могут... Все-таки самое главное в председателе не диплом, а талант организатора!

Так с разговорами мы дошли до конного двора.

— Ты обязательно заезжай, — пригласил Гребенкин, — оно, понимаешь, как Иван Иванович выражается, второе рождение испытываю.

У Соколовых меня устроили на диване. Но сон не приходил. В голсве вертелись целые вороха интересных мыслей, услышанных здесь, в самом отдаленном районе. Не выходили из памяти и слова Гребенкина о корреспондентах и газетах. И чем больше я вдумывался в них, тем яснее становилось: прав Гребенкин. Вспоминалась посланная в редакцию статья одного научного работника. В ней как раз и шла речь о сроках сева в Сибири. Но из редакции сообщили, что статью давали на консультацию в Министерство сельского хозяйства, и консультант нашел, что печатать

ее преждевременно. В другой статье председатель колхоза выдвигал очень интересные мысли об изменении порядка премирования и оплаты труда в колхозах. И снова ответ: консультант считает преждевременным.. А почему бы такие важные вопросы не ставить на общее обсуждение? Напечатать и попросить высказаться желающих. Ведь консультант едва ли знает что-либо об особенностях сибирского земледелия.

Проснулся поздно: в восьмом часу. Соколов уже умчался на поля, а на восемь часов назначил расширенное заседание правления: были приглашены бригадиры и старики.

— В важных случаях Иван Иванович всегда расширенное собирает, — сказал мне Василий Матвеевич Петров, заместитель Соколова и секретарь колхозной партийной организации.

В восемь часов комната председателя была заполнена людьми.

— Нам надо, — начал Соколов, поднимаясь, — нам надо обсудить очень серьезное положение. Наш колхоз оказался на последнем месте в районе. Не сеем — ждем... А соседи вовсю сеют. Мне хотелось, чтобы все, кто здесь собрался, подали свой совет, свое мнение, понимаешь, высказали. Нет возражений?.. Начнем со старших.

— В армии полагается начинать с младших в чине, — негромко сказал кто-то.

— А младший в чине у нас Савелий Петрович, — улыбнулся Соколов. — Давай, дед Савелий, выкладывай свое мнение, только чтобы от души...

Дед Савелий, с короткой седеющей бородкой, встал, но Соколов сказал, что можно и с места.

— Ничего, Иван Иванович, я и постою, — возразил Савелий. — Вот сначала у меня к тебе вопросик: я на полях дня три не был, а ты только вернулся. Как она, земля-матушка: задвигалась или нет?

— Пока не задвигалась, Савелий Петрович.

— А раз спит, то и пусть выспится — вот и весь мой совет! — Савелий опустился на скамейку и взглянул на своего соседа. — Давай ты, Митрий Афанасьич, говори.

Все старики были единоподушны в своем мнении: сеять нельзя. Некоторые предупреждали: будет отзимок, — то есть вернется зима.

После стариков Соколов предоставил слово каждому члену правления и правленцы поддержали стариков.

— А что скажет агроном? — спросил Соколов.

Зина поднялась, подошла к председательскому столу. Держалась она еще более робко, чем вчера в райкоме.

— Мне кажется, товарищи, — негромко начала Зина, — на втором поле пшеницу можно сеять. То поле, мне думается, чистое от сорняков, вспахано хорошо. Тем более, туда у нас намечена позднеспелая пшеница. Мне кажется — большого риска не будет...

Молодого агронома слушали внимательно.

— А если снег выпадет? — спросил Савелий.

— Нам, дедушка, страшен не снег, а сорняки, — правильно ведь, Иван Иванович? — повернулась Зина к председателю.

— Мое слово последнее, — уклонился от прямого ответа Соколов. — А что посоветует нам Орлов?

— А нам как прикажут! — отрапортовал бригадир. — Трактора не подведут!

— А не подведут, тогда и торопиться нечего, — вставил Савелий.

Снова поднялся Соколов. Я взглянул на часы. Говорили человек тридцать, а прошло всего пятьдесят минут. Соколов согласился с мнением стариков и членов правления. Но поддержал и агронома.

— Давайте засеем завтра половину второго поля, а половину пока оставим, — предложил он. — Пусть для науки будет.

И против этого никто не возражал.

— Куда же вас повезти? — обратился ко мне Соколов.

Я сказал, что задержусь еще денька на два, чтобы лучше познакомиться с делами колхоза.

— А это и совсем хорошо, — одобрил Соколов.

...Надо ли говорить, что критической корреспонденции из колхоза имени Молотова у меня не получилось.

Урожай

В начале августа дела вновь привели меня в Дронкинский район. Нужно было писать о готовности к уборке урожая. А в Дронкинском районе около двухсот тысяч гектаров — не всякая область в центральной части страны убирает столько же!

В райцентре созывалось предуборочное совещание. Секретарь райкома Обухов решил, как он выразился, «проскочить в несколько колхозов» и пригласил меня.

Новенькая «Победа», мягко ныряя по ухабам, на большой скорости мчала между начинавшими буреть хлебными массивами.

Обухов молчал, по-видимому, думал о предстоящем совещании. Прерывать его размышления мне казалось неудобным. На перекрестке дорог шофер притормозил машину и не спросил, а только вопросительно взглянул на Обухова.

— К Коновалову! — бросил Обухов и, обернувшись ко мне, сказал: — Нынче для корреспондентов нет работы — урожай хуже прошлогоднего, писать не о чем. А?

Я спросил, почему в хлебах много сорняков.

— Про это моих предшественников надо спрашивать, — ответил Обухов.

Разговор завязался. Зашел он и о сроках посева.

— Коновалов сеял раньше всех, он и убирать начнет раньше других, — сообщил Обухов. — Наверняка хлебосдачу первым выполнит.

Я сказал Обухову, что в соседних районах ранние посевы оказались хуже средних.

— Тут еще разобраться надо, — неопределенно возразил он. — Качество обработки решает многое. Сейчас посмотрим поздний посев. На Косую лягу! — наказал он шоферу, и вскоре машина свернула с накатанной дороги, помчала по узенькой — меж хлебов.

Выйдя из машины, Обухов сказал:

— Я чувствую вашу тенденцию, товарищ корреспондент. Причину низкого урожая ищите.

Я заметил, что для газеты было бы интересно открыть причину низких урожаев. Если причиной окажется срок сева, то надо обратить внимание ученых и специалистов на более глубокое изучение этого вопроса.

Мы зашли на поле густой, но низкорослой пшеницы. Здесь почти не было сорняков. Я определил урожай пшеницы в шесть-семь центнеров с гектара.

— Согласен, — сказал Обухов. — Это посев конца мая. Району как раз дополнительный план довели. Здесь пар должен быть, но пришлось засеять. А вот рядом, — Обухов зашагал поперек полосы к другому полю пшеницы, — вот здесь как раз первого мая сеяли. Сколько даст?

Я сказал, что больше семи не будет. Обухов согласился:

— Значит, одинаково! А срок посева разный.

Порывшись на полосах, я обнаружил, что ранний сев проводился по пару, а поздний — по весновспашке.

— Как ты отгадал? — удивился Обухов. — Сам, что ли, агроном?

Я сказал Обухову о выводах ученых: при нормальных условиях посев по пару дает урожай в три раза выше, чем по весновспашке. Значит, слишком ранний сев на паровом поле снизил урожай в три раза.

— Это все арифметика! — отрезал Обухов и зашагал к машине.

Поехали дальше по полям района, а к четырем часам вернулись в Дронкино. В пять было назначено совещание. Шофер довез меня до столовой. Прощаясь, он сказал:

— А небось не повез вас, товарищ корреспондент, к Соколову... Там бы посмотрели, когда сеять.

На совещании собралось до сотни человек: руководители колхозов, МТС, совхозов. Доклад сделал председатель райисполкома Павлов. Он подробно говорил о состоянии дел с подготовкой к уборке. На этот раз колхоз имени Молотова и его председатель Соколов были упомянуты в числе тех, кто вырастил более высокий урожай.

Одним из первых слово получил Соколов.

Иван Иванович был в той же гимнастерке, что и в апреле, только она сильно выгорела, поизносилась. Но лицо Соколова казалось моложе.

Отчитывался он казенно, как и выступавшие перед ним. Перечислял количество машин, которые будут заняты на уборке, нагрузку на комбайн, сколько человек будет в бригадах. Рассказал, что колхоз заканчивает оборудование механизированного тока. И, взглянув в зал, как-то робко спросил:

— Может быть, у товарищей будут вопросы?

— А ты, Иван Иванович, скажи, как урожай выше всех вырастил? — крикнули из зала.

— Правильно! Поделись опытом, — поддержал басовитый голос.

Соколов покосился на президиум.

— Я, товарищи, давно хотел поговорить по душам. А сейчас, пожалуй, самый подходящий случай, поскольку товарищи интересуются.

— Говори, но про регламент не забывай, — бросил Обухов.

— Ничего, добавим! — крикнули из зала.

— Я уложусь, — ответил Соколов. — Хотелось поговорить про ответственность. Не пора ли нам, товарищи, по-серьезному поговорить насчет строгой ответственности за урожай? Товарищ Павлов называл тут ожидаемый сбор зерна. Получается, что мы соберем примерно в два раза больше с гектара, чем наш сосед — колхоз имени Микояна. А давайте вспомним: у кого переходящее знамя за посевную? У товарища Григорьева. А у кого выговор за ту же самую посевную? У Соколова.

— Выговор-то, кажется, два, а не один! — крикнули Соколову.

— Второй выговор мне дали за приписку, стало быть, за дело, — строго поправил Соколов и продолжал дальше: — Почему же у Григорьева плохой хлеб вырос? Сеять, понимаешь, торопились, агротехнику не уважали. Где бы лишний раз прокультивировать и сорнячки уничтожить, они скорей сеялку в борозду. А кто их одернул от этой ошибки? Надо прямо сказать: никто! А кто помог совершить ошибку? Я бы сказал, помог секретарь райкома Михаил Николаевич...

— Где плохо, там Обухов. А где хорошо... Или ты один высокий урожай вырастил? — иронически спросил Обухов.

— И нам вы помогли, Михаил Николаевич, — повернулся к нему Соколов. — После вашего выговора я пустил сеялки, а вот теперь каюсь. Мы на тех полях сор разводим, а главное, недобираем хлеба не меньше, чем десять тысяч центнеров! Чувствуете, товарищи: десять тысяч!

— Я, значит, виноват? — повысил голос Обухов.

— Нет, Михаил Николаевич! Вина, понимаешь, моя, потому что я председатель колхоза, доверенное лицо от всей артели. А виноват в том, что не сумел доказать правоту нашему секретарю, — Соколов немного пе-

реждал, собираясь с мыслями.— Я, товарищи, предложение имею,— продолжал он.— Обсудить надо. Все-таки, понимаешь, надо так поставить вопрос: колхозы у нас укрепили агрономами, да и председатели в большинстве агрономы, а агротехнику, как и раньше, предписывают люди, не имеющие никакого агрономического образования. По-моему, надо дать полное право каждому колхозу самому проводить агротехнику. И пусть тогда председатель с агрономом и все правление на себя примут перед колхозниками ответственность за урожай. Ошиблись — отвечай по всей строгости. А ведь теперь что у нас получается? Колхоз недобрал только из-за сроков сева половину хлеба. А кто в ответе? Только колхозники и в ответе! Разве это порядок? — Соколов начал заметно горячиться, заговорил быстрее, казалось, спешил выбросить слова, которые давно уже кипели, жгли его. — А почему мы, понимаешь, со своих ученых не спрашиваем такой же ответственности? Дал научный совет — будь добрый, отвечай за него! Про наш район в прошлом году все газеты как писали: высокий урожай получился благодаря широкому внедрению передовой агротехники. А нынче что ж — агротехника передовая нам не понравилась? Нет, не так. Наши люди работают с каждым годом лучше! А вот, понимаешь, непродуманные советы губят хлеб. Надо все-таки понять, товарищи, что колхозник больше, чем любой из нас, заинтересован в получении высокого урожая. Вот и надо дать колхозникам полную инициативу выращивать хлеб. А когда надо, колхозники сами обратятся за советом к агроному и к секретарю райкома. Но дайте колхозникам самим, по своему разуму, брать урожай, и науку, которая хорошая, они сами найти сумеют.

Раздались аплодисменты. Обухов проводил взглядом Соколова до его места в конце зала и предоставил слово Григорьеву. От соседа я узнал, что Григорьев около года в колхозе, до этого работал в городе, по образованию зоотехник.

— Поддерживаю предложение Соколова, — начал Григорьев.

— Ты сначала о подготовке к уборке доложи! — прервал его Обухов.

— Убрать три центнера с гектара не так уж трудно, — отрезал Григорьев. — А я по существу, товарищи. Прав Соколов! А вы, Михаил Николаевич, не правы! Хотя бы потому, что кто вырастил хороший урожай, тот всегда прав. А мы с вами, Михаил Николаевич, урожай загубили. А теперь ответ надо держать перед партией и перед народом.

— Вот и держи! — снова перебил его Обухов.

— Давайте уж, Михаил Николаевич, по-честному: держать ответ вместе с вами. Я здесь новый человек, а вы две весны в этом районе. Вы приказали: сей как можно раньше! Я послушался. Знамя мы завоевали, а хлеба не вырастили. Мне совестно теперь перед своими колхозниками. Они и весной говорили: поглядывай, председатель, на Соколова — там зря ничего не делают. А я не послушал колхозников, вас, Михаил Николаевич, послушал. Да по правде, трудновато вас и не послушать: выговор не жалееете...

— Давай, Григорьев, по существу, — в третий раз прервал Обухов.

— Да об урожае, Михаил Николаевич, разговор всегда по существу. Я, как коммунист, перед этим совещанием заявляю о своей ошибке на севе. Признаю вину и вновь не допущу этой ошибки. Вчера я смотрел поля Соколова и удивлялся: как наше районное руководство не обратило внимания на эти поля? Да если бы везде так мало было сорняков, хлеба горы навалили бы. Между нашим и колхозом имени Молотова не надо и межи искать — по сорнякам узнаешь наш колхоз. У меня, товарищи, такое предложение: обязать меня вместе с товарищем Обуховым и с директором МТС отчитаться перед общим собранием колхозников нашей артели. А если по-честному, то и извиниться перед ними.

В зале снова зааплодировали.

В заключение Григорьев поставил вопрос о знамени. Он считает, что по итогам сева нельзя присуждать переходящее знамя.

— Это если на военный язык перевести, — говорил он, — то высокую почетную награду вручаем за несовершенный еще подвиг, вернее за часть подвига, конечный исход которого совсем не ясен. Это неправильно! Знамя надо вручать за хлеб, который выращен и собран.

— Правильно! — крикнули из зала.

И странно: все ораторы стали говорить не о подготовке к уборке, а о причинах низкого урожая.

— Почему люди верят Соколову? — спрашивал очередной оратор. — Потому что он умеет хлеб выращивать, доказал это всей своей работой. Нам, председателям, надо, как и он, почаще с колхозниками советоваться, а районному руководству — с такими опытными хлеборобами, как Соколов. Я целиком поддерживаю предложение Соколова — надо строже спрашивать с виновных за плохой урожай.

Что ответит Обухов на такую убедительную критику? Этот вопрос интересовал не только меня, тем более, что Обухов перестал прерывать ораторов, внимательно выслушивал их.

Обухов выступал, когда было уже за полночь. Он долго говорил о задачах в связи с уборкой и хлебосдачей, упоминал о соревновании с Чирковским районом, призвал одержать победу в соревновании. И только в конце упомянул об урожае.

— Тут многие товарищи ставили вопрос: кто виноват, что у нас урожай плохой? Конечно, мы далеко не использовали всех своих резервов, но я должен авторитетно заявить здесь, что в целом по району у нас урожай ожидается выше, чем в соседнем, Чирковском. Плохо это или нет? Думаю, что неплохо! Я согласен с товарищами, что надо внимательно проанализировать причины низкого урожая. У Соколова тоже есть поля, где урожай неважный. Так что, товарищи, подождем выводы делать. Пока прислушаемся к мудрой народной поговорке: «Цыплят по осени считают».

Но Павлов в заключительном слове поддержал Соколова:

— Мне кажется, что пора уже прямо и откровенно сказать каждому из нас, где и какую ошибку допустил. Прав и тсварищ Григорьев: кое-кому из нас не мешает извиниться перед колхозниками за свою опрометчивость. Этим самым мы только укрепим их доверие.

Совещание закончилось. А в просторной ограде райкома возле «газиков», «побед», мотоциклов и грузовиков то и дело мелькали огоньки папирос, слышались возбужденные голоса.

В одной многочисленной группе кто-то негромко досадовал:

— Бросают руководителей из района в район, из одного хозяйства в другое — вот потому и за урожай спрашивать не с кого. Да если бы Григорьев в одном колхозе десять лет проработал — разве он не стал бы опытным хлеборобом? А его, говорят, метят в главные зоотехники МТС, в колхоз придет новый человек и опять начнет все ошибки заново повторять.

— Главное-то в чем? — спрашивал в другой группе басовитый голос. — Главное в том, что нам и за передовым опытом не надо куда-то ездить — в своем районе сколько хочешь. Только внедряй!

Я решил побывать и у Соколова и у Гребенкина.

Соколов был на той же самой лошадке, что и в апреле. Когда мы выбрались из поселка, я спросил Соколова:

— А не достанется вам за критику?

— Обязательно достанется, — согласился Соколов. — Он мужик умный, а критику не переваривает. Правда, кого полюбит, то, понимаешь, надолго... Человек без середики... — Соколов о чем-то задумался. — Только молчать я тоже не мог...

Лошадь легко бсжала по твердой, хорошо накатанной дороге. Начи-
ло светать.

— А все-таки не шибко складно получается,— заговорил Соколов.— Урожай у нас неплохой. Конечно, пониже прошлогоднего, но подходя-
щий. Урожай иметь хорошо! А другой раз раздумаешься... не рад, пони-
маешь, и высокому урожаю.

— Странно как-то, Иван Иванович.

— А чего странного? Если о деньгах, то тут хорошо: цены такие, что на хлебе миллионы можно получать. В прошлом году целины две тысячи распахали, посеяли, только с целины тысяч на четыре-ста хлеба продали. И нынче с тех двух тысяч хорошо получим. А вот на-счет беспокойства... Оно и нынче уже наметилось. Григорьеву — нашему соседу — на низкий урожай скидочку сделали: плана закупа не устано-вили. А на наш урожай нам и закупа дали тридцать тысяч центнеров да натуроплата, поставки. Весь план получается тысяч шестьдесят. У Григорьева земли, как и у нас, а план ему двадцать две тысячи центнеров. Вот теперь и посудите — кому жарко придется: Григорьеву или нам?

— Вам машин дадут больше.

— Это правильно. Однако людей-то у нас поровну. Выходит, пони-маешь, наши колхозники должны за тот же срок насортировать, просу-шить, погрузить в машины, скажем, три тонны, а у Григорьева — только одну. График сдачи всем одинаковый — к такому-то сроку рассчитайся, и все тут.

— А как же иначе можно сделать?

— А по-нашему, насчет сроков хлебосдачи надо иначе решать... Обухов уборкой как-то не интересуется. Ему давай процент хлебосдачи. Он в прошлом году так и говорил: ты давай мне хлебосдачу, а убирать можешь и не убирать! А по-моему, самое главное — убрать выросший хлеб. В прошлом году убирали в районе больше сорока дней. Никто не считает потерь, а ведь если по-честному, то осыпали, понимаешь, с каж-дого гектара по несколько центнеров. У нас с первых полос намолачивали до двадцати центнеров с гектара. А с последних — центнеров по двенадцати, а то и меньше. Тот хлеб, который совсем созрел, он в день теряет не меньше трех пудов с гектара. А если на ветру, то и все шесть пудов. Вот арифметика-то какая...

— Но ваш район в числе первых закончил уборку.

— Значит, другие еще больше хлеба осыпали на полосу... — А ну, поторапливайся! — неожиданно прикрикнул Соколов на коня и хлестнул его вожжой.— Вот и я говорю,— продолжал он,— сколько мы знаем примеров, когда за порчу нескольких пудов хлеба люди в тюрьму ух-одили. И это в общем правильно, конечно. А вот за миллионы пудов выра-щенного, но брошенного хлеба вроде и спрашивать не с кого. Другой раз подумаешь: зачем так — бьем тракторы, семена бросаем, горючего реки текут, а вырастет хлеб — даем ему осыпаться?

— Что же, по-вашему, надо меньше сеять?

— Не совсем так. Я к тому это говорю, что все-таки планируем мы пока очень плохо. У нас и в прошлом году шумели: сей кукурузы боль-ше! Кое-кто без паров остался, все засеяли, посевную площадь расширили, а убрать ту же кукурузу до морозов не могли: хороших машин для уборки не было. Погибло много добра зазря. Думается, что в области должны уметь спланировать так, чтобы и для уборки урожая все машины были. А если машин нет, лучше тогда занять эту землю такими культурами, от которых польза будет. А так получается, понимаешь, из пустого в порожнее. Ко мне сын на побывку приезжал, о промышленности мы с ним разговорились. И вот я подумал: разве есть такая домна, что металла может плавить, скажем, тысячу тонн, а когда вычивать его — посуды к ней подают только на пятсот? Ду-

маю, что не может этого быть. А у нас в сельском хозяйстве и так бывает. В нашем районе посев пшеницы прибавился на шестьдесят тысяч гектаров, да и в других не меньше. А «Заготзерно» готовилось принимать хлеб по-старому — добавочно один складик на три тысячи тонн соорудили. И вот начали возить хлеб. Машины по десять часов стоят в очереди, не могут сдать зерно, всю территорию кругом «Заготзерна» хлебом засыпали — прямо под открытым небом. Порча зерна страшная...

Все, о чем рассказывал сейчас Иван Иванович, я своими собственными глазами наблюдал, и не один год. Неужели нельзя предотвратить эти безобразия?

— Можно! — решительно ответил Соколов, когда я задал этот вопрос ему. Он опять подстегнул коня, закурил. — Возьмите хоть уборку хлеба. Почему мы убираем сорок дней? Комбайнов стало много, прикинешь: от силы в пятнадцать дней можно скосить. А косим сорок, пятьдесят, а то и все два месяца...

— В чем же дело?

— А вспомните... Начнется уборка — в газетах читаешь: комбайны стоят — нет транспорта. И надо прямо, понимаешь, сказать, почти половину времени комбайны простаивают у нас только из-за разгрузки. А почему? Вчера мы со своим агрономом пересчитывали. Наш колхоз убирает только пшеницы одиннадцать тысяч гектаров. МТС дает сорок комбайнов. Пустите их на всю силу — в день скосят тысячу гектаров, — значит тысяча пятнадцать центнеров зерна. Чтобы отвезти его на тока, нужно сорок автомашин, не меньше. А мы что поставим? Своих восемь машин да двадцать бестарок. Вот и все. Значит, и половины не обеспечим. Лучше б уж тогда не сорок комбайнов пускать, а двадцать.

— Тогда уборка тридцать дней будет?

— А так и за сорок не уберем. У других с транспортом тоже не лучше. А на уборку надо бы так и посылать: сцеп комбайнов, а к нему трехтонный грузовик. Комбайн с грузовиком — вот это и будет настоящий уборочный агрегат.

Соколов бросил недокуренную папиросу, оглянулся: папироска дымилась. Тогда он вылез из ходка, вернулся к папироске, затоптал сапогом.

— Долго ли до беды, сушь стоит, — сказал он.

Стало уже совсем светло, восток заалел, дальний луг окутывался пеленой тумана, и оттуда тянуло холодом.

— И при наших машинах можно убирать в два раза быстрее, — продолжал Соколов. — Только чувствуется, что и нынче проваландаемся. Возьмите ту же хлебосдачу. Я думаю, наше правительство не зря установило срок для хлебосдачи — до пятнадцатого ноября. Видимо, и элеваторы наши и транспорт на это пока рассчитаны. А что делается у нас, хотя бы в нашем районе? Начнется уборка — и все уполномоченные шумят только о хлебосдаче. Как будто хлеб, который не вывезли из колхоза десятого сентября, двадцатого куда-то пропадет. В прошлом году нам дали график хлебосдачи на двадцать пять дней, а нынче — слышали ведь? — объявили: выполнить план за пятнадцать дней. Какой председатель не хотел бы за один день выполнить план? Но возможности не позволяют. А какой спрос за график по хлебу — всякий знает. Вот теперь и планируем: весь план, понимаешь, делим на пятнадцать дней, из этого намечаем и транспорт, а его не хватает на отвозку зерна от комбайнов. Как тут быть? Конечно, в первую очередь ставишь на хлебовывозку. Все наемные машины возят хлеб только на элеватор. Вот и скапливается машин у элеватора столько, что по полсуток стоят в очереди. Три часа в дороге, а десять на пункте. А в это время комбайнеры председателя ругают.

— Значит, надо растянуть график хлебосдачи?

— Да зачем его растягивать? Правительственный срок — пятнадцатое ноября. Ну, для порядка можно спланировать сдачу к первому ноября. Только, правду сказать, сдадим все равно раньше, если хлеб успеем убрать. Возьмите любой год. Пока не убран весь хлеб, сдача не бывает закончена. Это уж как закон! Вот тогда и элеваторы с приемкой успеют и транспорта на все хватит. Главное-то в чем? Хлеба успели бы быстро убрать, потери искоренили бы. Надо напрямик сказать: если бы у нас в районе было так организовано, хлеба было бы больше каждый год процентов на тридцать и вся эта прибавка оказалась бы пусть не в сентябре, а в октябре, но в государственных складах.

Соколов долго еще продолжал развивать свои мысли. Недостаток сортировок и низкую их производительность он также относил к порокам планирования: не учитывается сильно возросшее производство зерна в целинных районах.

Когда мы добрались до колхоза, колхозники на конном дворе уже запрягали лошадей. Соколов расспросил, кто куда направляется.

— Стареется народ,— заметил он, когда мы вышли из ограды конного двора.— Урожай прояснился, теперь только работы давай — все выполнят, день и ночь работать будут... Человек, понимаешь, любит работать, в крови это у него!

— Ой, Иван Иванович! Вы приехали?

Из ограды выскочила девушка. Я не сразу узнал в ней агронома Зину. Миловидное лицо ее загорело дочерна, она словно повзрослела: детски-наивное выражение исчезло.

— А ты что так рано? Поди, не выспалась?

— Ой, что вы, Иван Иванович! Выспалась, конечно. Сегодня апробацию хлебов делаем, думаю с дальних полей начать.

— Добро, Зина, — похвалил Соколов. — Только сначала давай покажем наши посевы товарищу корреспонденту.

Зина взглянула на меня и лукаво улыбнулась.

— Многие теперь к нам зачастили...

Вот и хлеба.

Побуревшая пшеница спокойно, величаво переливалась волнами при каждом порыве слабого ветра. Резко бросались в глаза крупные колосья и низкие стебли пшеницы: дало себя знать засушливое лето. Я сказал было, что сорняков не видно, но Соколов решительно возразил:

— Есть, понимаешь, и сорнячки. Годика через два-три выведем совсем. Верно ведь, Зина?

Зина, сидевшая на козлах за кучера, обернулась к нам, и по ее ярким губам пробежала усмешка.

— Если мне доверите сеять, то сорняки останутся,— рассмеялась она, но тут же погасила смех, сделалась серьезной.

Соколов поглядел на Зину, на меня, чему-то усмехнулся.

И тут мне вспомнилось заседание правления колхоза, когда было решено одно поле засеять в апреле. Я спросил: каков результат?

Зина отвернулась, и только сразу порозовевшие маленькие уши выдавали ее смущение.

— Иван Иванович, покажем товарищу корреспонденту то поле,— помолчав, предложила она.

— Ну что ж... Ты, понимаешь, хозяйка...

И минут через сорок мы были на «том поле». Оно являло собой чрезвычайно интересную картину — на нем явно выделялись три гряды пшеницы: в середине поля — реденькая, низенькая, сильно засоренная, почти спелая уже, а рядом — такая же полоса густой буйной пшеницы, только еще начинавшей буреть. И, что особенно интересно, на этом

участке никакого сора. И, наконец, другой край поля — более широкая полоса менее рослой, но тоже слабо засоренной пшеницы.

— Значит, это и есть второе поле?

— Да, второе, — как-то нехотя ответила Зина и виновато посмотрела на Ивана Ивановича.

— Но тогда, помнится, говорилось о двух участках: половину засеять сразу, а половину поздней.

— Так и было сделано! — взволнованно заговорила Зина. Она рассказала, что половина поля была засеяна 27 апреля, а вторая — 12 мая. Но в конце мая стало ясно: на первом севе много сорняков, хорошего урожая там не жди. Тогда Соколов предложил половину засоренного поля взлущить, то есть уничтожить всходы и заново засеять. Так появилась полоса буйной пшеницы.

Я попросил Зину определить урожай на всех трех участках.

— Да мы уже определяли, — вздохнула Зина. — На апрельском посеве — центнера четыре, а на пересеянном — шестнадцать наверняка будет... Это Иван Иванович виноват... Больше тысячи центнеров недобираем.

Соколов только усмехнулся.

— Конечно, виноваты, — заупрямилась Зина. — Разве не так? Нет, именно так! Вы же знали, что даже на этом бугре нельзя было в апреле сеять. Знали?

— Знал. Но все-таки по совету агронома решил попробовать... А вдруг удача...

— Нет, вы не правы, Иван Иванович, — горячилась Зина. — Вы знаете — у меня опыта мало... очень мало. На полях института мы действительно и в апреле сеяли, но там, знаете, земля совсем другая: десятки лет ее удобряют, все сорнячки руками выпальваются, семена отборные, зернышко к зернышку... Почему позволили? — В голосе Зины послышались требовательные нотки.

— Для науки, — улыбнулся Соколов, надевая фуражку. — Для науки, Зина.

— Да разве можно для науки столькими гектарами жертвовать? Это вам не грядка в десять метров...

— Эх, Зина! — В голосе Соколова слышалось сожаление. — Для науки и ради поддержания науки мы много уже пробовали, думаем, что от науки будущий урожай зависит. Вот и на тебя, понимаешь, государство уже много истратило — и тоже для науки. Ну, и мы для своего агронома... Да и для своего опыта, конечно... Вдругорядь ты сначала раз десять отмерять будешь, а потом уж и резать.

Зина смутилась и ничего не ответила председателю. Казалось, что на нее давил огромный груз в тысячу центнеров потерянного зерна.

Когда вернулись в деревню, Соколов повел меня на строящийся механизированный ток.

В стороне от поселка к ближней березовой рощице примыкала большая площадка, обнесенная изгородью. С одной стороны ее — ближе к деревне — сгрудилось десятка два амбарчиков, по-видимому срезанных сюда с дворов колхозников в первые годы организации колхоза. Еще ближе к рощице почти во всю ее длину протянулось новое строение — зерносклад под железной крышей. На противоположной стороне возводился второй такой же склад. Деревянные стены его были подвешены под самую крышу.

В центре просторной площадки высилось сооружение, которое Иван Иванович называл коротко: мехамбар.

Соколов оживленно объяснил мне устройство механизмов.

— Наши подсчитали: за четыре минуты трехтонку засыплет, — восхищался Соколов, а потом с укором добавил: — Вот только не дождались

мы пока от промышленности настоящей сортировки. Разве такие сортировки нужны по нынешним размерам сибирских колхозов? Нам и таких вот штук; — кивнул он в сторону мехамбара, — нужно не меньше трех. Да зерносушилок надо бы четыре, а у нас пока две.

— А за механизированный амбар-то, понимаешь, нам досталось от Обухова, — с грустью прибавил он.

— Это почему же?

— Вообще-то не за амбар, а за направление средств.

Оказалось, что в связи с оборудованием механизированного тока колхозу пришлось отказаться от постройки типового коровника.

— Вообще-то с делами строительными разобраться надо получше, — говорил Соколов. — Возьмите того же Григорьева. Он сначала шибко обрадовался, когда ему прикрепили шефов строить четырехрядный коровник из железобетона. Дело, понимаешь, хорошее, только размах-то надо все же по средствам. Коровник тот обошелся Григорьеву в восемьсот тысяч. Шутка сказать! А колхоз годового дохода имеет меньше. Кредит, конечно, дали, но кредит-то надо будет возвращать.

На мое замечание, что капитальные постройки в колхозе — это основа будущего развития, Соколов возразил:

— Все с умом надо делать. Зачем такому бедному колхозу начинать с дворцов для коров. Добро бы еще коровы были какой-то особенной породы, а то двор построили, а удои коров нисколько не прибавились. Для чего же было огород городить? У нас дворы не каменные пока, из местного материала: стены саманные — самые надежные и теплые по сибирскому климату. Полы деревянные, как и у Григорьева. Наш двор на сто коров обошелся нам тысяч в сорок, да трудодней около семисот. Двор тоже с поилками, с подвесной дорогой, на кирпичных столбах. Если два таких двора — то от силы в сто тысяч обошлись бы, а у Григорьева и того дешевле — у них на трудодень меньше дают.

— А продуктивность коров?

— От каждой коровы две тысячи литров получим... Вот я и думаю: хозяйничаем, а худо пока. У Григорьева на трудодень выдали по два рубля, а нынче плохо уродилось — значит и теперь больше не выдаст. Если бы он закатил двор не на восемьсот тысяч, а хотя бы на двести, без металлических балок, без всяких там прикрас, то шестьсот тысяч пошли бы на другие дела, на трудодень добавил бы по паре рублей. Тогда ведь те же доярки больше молока надоили бы и в простеньком дворе. А уж когда поднимем хозяйство как следует, может быть, и каменные дворы будем делать. А так нехорошо, понимаешь, получается. На всю область прошумел Григорьев со своим миллионным двором, в газетах фотография, похвальные статьи, благодарность шефам... А если по-хозяйски разобратся, то разве так надо поднимать отстающие хозяйства?

В пути к Гребенкину я припоминал разговор с Соколовым и записал в блокнот высказанные им мысли. Мой кучер, дед Савелий, наблюдая за моими трудами, сдерживал лошадь, чтобы не трясло.

— А ваш Иван Иванович, видать, хозяин хороший?

Савелий Петрович встрепенулся.

— А то как же... Плохого председателя колхозники пятнадцать годов держать не будут. А наш Иван Иванович на глазах вырос, человек всех правил: не пьет, дело знает. И, скажу вам, мудреный мужик! Чего надумает — сначала с тем-другим поговорит, потом на правление, а там уж и на общее собрание. Да оно, скажу вам, в артельном деле иначе нельзя.

Савелий был в курсе всех колхозных дел. Знал он, оказывается, и всю историю, связанную со сроками сева. При этом он вспомнил, как сеял в своем хозяйстве:

— Бывало, посеешь пшеничку, а уж через несколько дней идешь глядеть, дружно ли всходит. А теперь иной раз месяц всходов не видно. Как же зерно, скажу вам, месяц может пролежать в земле и не испортиться?

Савелий примолк, но ненадолго — пока доставал кисет и свертывал сигарку. Потом начал рассказывать, как он вместе с Соколовым и еще двумя колхозниками ездил к Мальцеву, что там видел и как в колхозе начали изучать мальцевские приемы. И совершенно неожиданно начал критиковать ученых:

— Вот припомните, когда везде писали, что озимую пшеницу надо сеять по стерне. Помните? Ну вот. Мы со своим председателем ухватились сразу. К нам тут приезжал ученый, по фамилии...

— Верхолазов? — подсказал я.

— Вот-вот, он самый. И сейчас иногда к нам заглядывает. Только теперь колхозников он, скажу вам, побанваается и разговаривает с одним председателем. Это было, кажись, в сорок восьмом году... Ну да, в сорок восьмом. Мы тогда ждали первого урожая от озимой пшенички. Ждать ждали, а семян и то не вернули. Боже ты мой! А ведь двести гектаров ахнули!.. Приезжает этот самый Верхолазов, походил по полю, а потом говорит: большую ошибку допустили — стерню надо было оставить выше, не десять сантиметров, как у вас, а вроде как двенадцать или пятнадцать. Ивану Иванычу в районе наклепали: как, мол, ты инструкцию ученых на два сантиметра нарушил. И в тот год приказали: сей по стерне не двести, а уже четыреста гектаров. Помню, наш Иван Иваныч — а он, скажу вам, шибко ученых уважает! — так он все ходил по полям, которые тот ученый сам подобрал под посев, и все стерню измерял, боялся нарушить инструкцию. Только опять все зря получилось: опять пшенички не выросло — так, кусточками кое-где осталось. А что тот ученый сказал? Вы, говорит, стерню очень высокую оставили. У него там последние опыты показали, будто надо очень низкую, тогда снег к земле плотней ложится. Ну, кто же он после всего этого! А? Иван Иваныч еще год помаялся с этой стерней, а потом бросил. Шутка сказать: за три года на полтыщи гектаров только сор развели, семена не оправдали. А он, этот ученый, скажу вам, и в ус не дует...

Гребенкин оказался в конторе и встретил радушно.

— Вот и хорошо — заглянул-таки в наши края! Пойдем, Вера чем-нибудь тебя накормит.

Я сказал, что пообедал у Соколова.

— Наверное, критический материал собираешь, — рассмеялся Гребенкин и здоровой рукой провел по лысеющей голове. — А я собирався на новостройку. Составишь компанию?

Я пошел с ним.

Деревня выглядела неважно: многие избенки покосились, окна в домах маленькие, деревянных домов вообще мало — больше глинобитные.

— Не нравятся хатенки? — спросил Гребенкин. — И мне не нравятся. Вот и решили с жилья начать.

За деревней, на бывшей покотине, кипела работа: возводились саманные стены множества домов. Я попробовал считать, но Гребенкин перебил:

— Можешь не считать — ровно сорок. Мы свою трехлетку по строительству домов составили: каждый год — сорок домов. Через три года деревня вся новая встанет.

Гребенкин обходил строителей и с каждым обменивался замечаниями.

— График держишь? — спрашивал у одного.

— Не забыл, Михаил Петрович, — предупредил он другого, — первого октября новоселье — гулять приду.

— А ежели раньше построюсь? — весело отозвался Михаил Петрович.

— Сильно не гони, — рассмеялся Гребенкин. — В уборочную прогулянье забудем. Да и тебе придется на току действовать.

— Это, конечно, Сергей Устиныч. Но, по всему виду, деньков через восемь управлюсь. Вот только леску на потолок маленько не хватит.

— Завтра машина привезет — тебе и Михееву. На двоих должно хватить.

— Хватит, Сергей Устиныч! Большое спасибо.

— Лесу всем хватит! Еще двести кубов купили.

Обходя стройку, Гребенкин находил о чем поговорить с каждым, узнавал нужды. А часа через два, возвращаясь обратно, он рассказал о стройке. Это ему пришла мысль заново перестроить деревню. Он ездил в один целинный совхоз и увидел там, как строят саманные дома. А те делали их по примеру рабочих совхоза, строившихся еще в тридцатые годы. Многолетний опыт показал, что в саманных домах теплее, чем в каменных, а с деревянными — и тем более сборными щитовыми — и сравнивать нечего. В условиях степи, когда зимой дуют сильные ветры, любой деревянный дом продувает насквозь. Новоселы строили саманные дома на каменном фундаменте, с полом и потолком. По предложению Гребенкина и в колхозе решили строить так же. Плохо было с кровельным материалом, но старожилы посоветовали делать камышовые крыши.

— Скотные дворы строишь? — спросил я Гребенкина.

— А ты что, хочешь посмотреть? Строим и дворы. Ты видел у Соколова? Ну, вот и мы делаем такие: стены, как в новых хатах, фундамент из камня, а столбы кирпичные.

— Кирпич из города?

— Пока нет. Заняли в одном колхозе, вернее поменялись — мы им лес, а они нам кирпич. В будущем году свой будет.

— А лес где взял? В колхозе лесов ведь нет.

— Это длинно рассказывать. Вообще, конечно, безобразие! Но для пользы дела можно. Мне город помогает: съездишь, поговоришь, дают наряд... По старой памяти. Правда, мы тут и на райпотребсоюз нажали — двести кубов взяли. А без этого, — Гребенкин развел рукой, — нельзя! Пока нельзя... И досада берет. Вон сосед никак лесу достать не может. И черт его знает: в Сибири, и без лесу. Все-таки это безобразие! Далеко ли тайга? Река через всю область, паромов и барж до черта, а в колхозах стройки срываются.

— Смотри, у тебя сколько лесу, — показал я на штабель.

— Это на столбы. Застройщики вкопали, видишь? А в воскресенье начнем ставить по всей деревне. У нас к зиме электричество будет и радио. Для этого и столбы бережем.

К нам подошла смуглолицая девушка.

— Сергей Устинович, — сказала она, — доярки послали к вам. Надо бы новые дворы закрепить за бригадами.

Гребенкин рассмеялся.

— А чего закреплять, Тоня? Столбы еще не сложены.

— Столбы почти все поставлены, фундамент есть, саман готов... Мы хотели, Сергей Устинович, и сами поработать... Доярки, пастухи. В свободное время. У вас скоро хлебоуборка начнется, людей мало, а мы и сейчас бы помогли... На своем дворе, — уточнила Тоня.

— Видал их! — подмигнул мне Гребенкин. — Вот что, Тоня! Раз твоя бригада проявила такую инициативу — сами себе и двор выберите.

— Любой можно? — обрадовалась Тоня.

— Любой! Только мне потом скажете.

— Так мы, Сергей Устинович, возьмем с того краю.

— А почему? — удивился Гребенкин. — Ближний-то почти со всеми столбами уже.

— Да мы уж подумали, Сергей Устинович. — Тоня потупилась. — В той бригаде плотники-то — мужья двух наших доярок...

— Ну, ясно! — рассмеялся Гребенкин. — В той бригаде и Степан?

— Вы уж сразу и в краску вводить.

— А ты не сердись. На свадьбу все равно приду.

Девушка смутилась окончательно и смолчала.

— Ладно, Тоня, начинайте. Крайний двор — твой!

— Спасибо, Сергей Устинович. — И Тоня торопливо зашагала по деревне.

— Вот видишь! — кивнул ей вслед Гребенкин. — Дополнительную нагрузку выпросила, да еще и рада. Как, по-твоему, почему люди добровольно идут на дополнительную работу?

— Видимо, заинтересованы.

— Видимо! У тебя и выражения-то все с осторожностью. Видимо! Видимо, ты не все понимаешь! — Гребенкин усмехнулся. — Да по правде, сначала и я не понимал. Дело тут сложное. Люди истосковались в отступающих ходить. А вот фундамент двора увидели, обрадовались, поверили, что двор будет. Это, брат, не только понять надо. Прочувствовать! Только начни хорошее дело — сразу сотня помощников найдется.

— Выходит, заложи фундамент двора — и сразу энтузиазм поднимется?

— Ох, браток! Оказаниса ты совсем. — Гребенкин повернулся назад и, показав на штабель бревен, сказал: — Вот и этот штабель вызывает, как ты выражаешься, энтузиазм! И не только у председателя. Главное — у колхозников. И вот те сорок домов будущих — тоже энтузиазм! И фундаменты будущих дворов! И поля!

— Хлеба хорошие?

— Потом посмотришь. А когда дело с места чуть тронулось да маленько пошло, тогда можно и «Дубинушку» гаркнуть.

Контора была уже на виду, когда Гребенкин, вдруг вспомнив что-то, остановился.

— Заговорился я с тобой и забыл совсем. Пошли обратно! — Он решительно повернул назад и, когда поравнялся с нужным ему домом, сказал: — Надо объявить бригадире первой бригады, что Тоня повела своих двор достраивать. — Гребенкин подмигнул мне и шагнул в хату.

Когда он вышел оттуда, вслед за ним выскочил пожилой человек, который на ходу надевал телогрейку.

— Так нам, значит, Сергей Устиныч, ближний двор?

— Конечно, ближний. Твоя бригада стариковская, сам знаешь, ну и решили дать вам который больше отстроен.

— Вот спасибо-то, Сергей Устиныч... Мы это... подмогнем!

— Вот и пошло дело, — удовлетворенно промолвил Гребенкин, обернувшись ко мне, — а ведь я и сам хотел предложить такой ход, но все ждал: догадаются или нет. Ну, понимаешь меня? Загорятся ли сами? Загорелись!

В конторе Гребенкин познакомил меня с секретарем партийной организации.

— Ты, Сергей Устинович, Тоню Быкову не встречал?

— Только что разговаривал.

— Двор ей определил?

— Определил.

— Хороший народ у нее в бригаде! Я с ними беседовал в обеденный перерыв, разговорились о подготовке к зимовке. Все как один: сами двор поможем достроить. Значит, разрешил? Тогда я пойду со второй бригадой поговорю. Надо и их...

— Поговори, поговори, — улыбнулся Гребенкин. — Только самого-то Самсона надо на лошади догонять.

— Так ты с ним, наверное, уже виделся, — догадался парторг.

— Да. Но и тебе побеседовать не мешает. Ближний двор — для них. Парторг ушел. А Гребенкин вызвал к себе бухгалтера.

— Ну как, Петр Петрович, изыскал деньги?

Петр Петрович — уже немолодой человек в очках, с взъерошенной шевелюрой.

— По два рубля наберем, Сергей Устинович.

— И то хорошо! А за сентябрь, Петр Петрович, надо по три рубля дать.

— Если вы гарантируете, Сергей Устинович, что в закуп дадим десять тысяч центнеров, тогда найдем денег. По три рубля найдем.

— А где найдем?

— По другим счетам пошарим... Временно, до получения денег за пшеницу.

Должно быть, у Гребенкина не было настроения выяснять до конца, как бухгалтер будет шарить по другим счетам. Да по всему было видно, что Петру Петровичу он доверял и на слово.

— Тогда пишите объявление. Самыми крупными буквами, избача вызовите — он мастак.

— Хорошо, позовем, — оживился Петр Петрович. — Только какие слова написать? — Петр Петрович взял лист бумаги.

— Слова? Самые простые. — Гребенкин подумал немного. — Пишите так: товарищи колхозники! Правление доводит до сведения, что аванс на трудодни за август будет выплачиваться пятого сентября... Будут деньги к пятому сентября?

— Лучше бы, Сергей Устинович, шестого. Надежнее...

— Ну шестого! Значит, шестого сентября, из расчета по два рубля за трудодень. А ниже — еще крупнее буквы пустите. Напишите так: за сентябрь аванс будет выдаваться из расчета три рубля за трудодень, выработанный в сентябре. Сегодня же вывесить такое объявление! Во второй бригаде — тоже. Ясно?

— Сейчас мы это организуем, Сергей Устинович. — Бухгалтер заспешил к выходу.

— Только не подумай, что это ради твоего приезда, — повернулся ко мне Гребенкин и весело рассмеялся. Вообще сегодня он был в хорошем настроении.

Я спросил Гребенкина про хлеба.

— Хлеба терпимы, по нынешнему году, конечно... Я возил нашего Шуленко по полям: смотри, мол! У соседа-то, в «Восходе», первыми отсеялись, а убирать... тоже первыми уберут! Центнера по три-четыре с гектара.

— А Шуленко?

— А что! Он говорит: на первый раз ошибся. И не поверить ему нельзя — городской человек. А вот часто менять секретарей сельских райкомов — тоже обезличка. Всякий приезжает и года два напоминает: новичок! Район принимаю! А много ли у нас в области перзых секретарей, которые больше трех лет в одном районе сидят? Я считал как-то: четвертая часть. Наш Шуленко недавно на районном совещании откровенно признался: поспешили, говорит, с севом и людей насмешили. По-моему, в следующую весну он по-другому делать будет. Да и председатели новые маленько обожглись. А ведь Обухов не такой! Нет! Тот с апломбом, свое особое мнение имеет, и никакая сила его не переубедит. Знаю я его еще по старой работе.

— А хлеба-то покажешь?

— Не торопись — все покажу. Только по порядку. Сначала на кукурузу.

На кукурузное поле мы направились пешком. По словам Гребенкина, оно было в двух-трех километрах от деревни. По дороге я попытался вы-

звать Гребенкина на разговор. Что же надо сделать, чтобы все вопросы решались правильно?

Гребенкин раздумывал недолго.

— Надо бы каждую осень так вопрос ставить: кто виноват, что такая-то культура в колхозе не выросла? Председатель — с председателя спросить. Да спросить не просто так, а материально! Половину трудодней списать! МТС виновата, скажем, не выполнила в срок свои обязательства, — директору и его помощникам взбучка. Да не просто пожурить, а жалованье убавить — верни половину! Нынче я учиню скандал. С МТС у нас договор: за пятнадцать дней они обязались скосить зерновые. Хорошо! Мы тут все перевернули: и бричек насобирали, новых с десяток сделали, две тракторные тележки купили, автомашин в городе выпрошу, свои все на разгрузку комбайнов брошу, но стоять комбайнам не дадим. И, если МТС не уберет за пятнадцать дней, предъявим счет на потери зерна: день опоздания — полцентнера с неубранного гектара! Как, здорово?

— Кто тебе это разрешит?

— Уже разрешили. Секретарь обкома заезжал в наши края. Одобрил. В договоре неустойку записали.

— А если колхоз не выполнит обязательств?

— И колхозу записали, не беспокойся. За каждый час простоя — тоже порядочно.

— А если дождь?

И дождь оговорили. Дождливая погода не в счет. Одним словом, зерно оговорено. А вот с кого за эту кукурузу спрашивать?

Мы подходили к полю, на котором торчали редкие и низкорослые растения.

— Вот полюбуйся. Почти вся такая, а мы сдуру махнули сразу шестьсот гектаров. Пропал труд. Пшеницы тут выросло бы центнеров по десять с гектара. А теперь только натуроплату плати.

Я назвал несколько колхозов, где видел хорошую кукурузу. На это Гребенкин возразил:

— Думаешь, я хорошей не видел? Видал, брат. А вот тут кто виноват? План дали большой — культура обнадеживающая! А ни один человек в районе не знает, как ее сеять, какой нормой, когда. Почитаешь газеты — каждая на свой голос кричит. Центральные пишут: сеять можно тогда, когда температура почвы двенадцать градусов тепла. Верхотуров в областной газете свое толкует: чтобы не заморозить початки, надо сеять как можно раньше! Под Москвой, выходит, плохо, если в почве десять градусов тепла, а у нас хорошо, если и три есть. Будто семена не из одного закрома? Одним словом, браток, можешь так и записать: оскандалился Гребенкин! — Он подошел к выделявшемуся на полосе гнезду кукурузы. — Вот гляди! Ты ведь тоже, как и я, грешный, агрономом значишься... Вот видишь: в этом гнезде пять стеблей сохранилось, а рядом один, да и тот еле живой. А в чем дело? Совет правильный был: хочешь иметь початки — оставь в гнезде не больше двух стеблей! У нас же всего три сотни трудоспособных. Кому же прореживать шестьсот гектаров? Вот и старались, чтобы в гнездо больше двух-трех зерен не попало. А они, зерна-то, возьми да и не взойди...

— Неужели вся такая?

— Есть и хуже. И опять виновники есть!

— Ты что-то все виновников отыскиваешь.

— Эх, брат! Если бы по-настоящему искали, не было бы такого промаха. Кукуруза-то растет, и здорово! У нас тут в районе шумят: засуха! А если по-честному, то засуха ни при чем, наши ошибки все на виду.

Я попросил рассказать и достал блокнот.

— Пиши, пиши! Так вот, первая ошибка определяется мудрой пословицей: «Не зная броду — не суйся в воду». Не знали ведь мы, как в

Сибири выращивать кукурузу? Не знали! А почему в первый же год сотни тысяч поселили? Ты смотри хоть у нас: шестьсот гектаров! А ни один из наших колхозников не знал, да и сам я впервые вот увидел, какая она, матушка. А главное, требовали сеять обязательно квадратами. А МТС могла только одну сажалку дать. Машиниста на поле уже кое-как выучили. Вот и мучились. А когда стало ясно: сроки уходят, тогда из института студенты, городские, все наши школьники — на ручную посадку! В сухую-то землю! Мы руками триста гектаров посадили, а всходов почти не оказалось. Прогуляла земля, пропал труд, студентов от учебы оторвали, а результат? Как тут не поставишь вопроса: кто виноват? Но только погоду не вини. Первым долгом виноват я — Гребенкин.

— Ты-то в чем же?

— Я главный виновник. И виноват в том, что послушал совета несерьезных людей. Зачем было сразу на шестьсот гектаров замахиваться? Ну, двести, а то и сто для начала. Да посеять-то их разными способами: и вкрест и ширококорядно — все надо было проверить, этот самый брод-то изучить, узнать! И еще есть промах. Недавно в наш институт ездил, к специалистам по кукурузе. Спрашиваю: почему початков не образовалось, даже на самых ранних посевах? А они вопрос: какой сорт сеял? Говорю: «лиминг» какой-то... А они, знаешь, что они сказали? Они говорят, что в условиях Сибири этот позднеспелый сорт не может дать початков даже молочной спелости. Ты понимаешь, что это значит? Не может дать! А почему же они молчали, когда мы сеяли этот сорт на початки? Почему весной молчали? — Гребенкин почти кричал и все время размахивал своей здоровой рукой.

— А что это меняло?

— Вот и ты такой же! Что меняло? Все меняло! Раз нельзя ждать початков, значит и сеять надо было не на зерно, а на силос. Тогда мы и норму семян удвоили бы. Из брошюр и газет ведь хорошо известно, что у нас в Сибири позднеспелые сорта дают большой урожай вегетативной массы. А нам нужна больше всего эта зеленая масса. Вон у «Восхода» и то кукуруза выросла. Почему, скажешь? А вот почему: сеяли они переоборудованной сеялкой, а она не отрегулирована была и насеяла им зерен по десять в каждое гнездо. Наверняка с гектара центнеров двести зеленой массы возьмут.

По пути на другое поле Гребенкин рассказал о своей недавней поездке в совхоз к известному в области директору Никанорову.

— У Никанорова не кукуруза, а лес настоящий, — восторгался Гребенкин. — Початков у него, правда, нет, но силоса года на два запасет. И что интересно: у него ширококорядные посева самые урожайные оказались!

— Но за ширококорядный сев наказывали.

— А то я не знаю! Вот о шаблоне вашему брату, газетчику, и надо бы говорить, да как следует! А вы и сами... оберегатели шаблона. Приехал бы ты в посевную к Никанорову и увидел бы ширококорядный сев, ведь сразу бы на весь Союз зашумел: нарушение золотого правила! Так ведь? Молчишь. А ведь так! Зато теперь вот моргал бы, если, конечно, совесть есть.

— Корреспонденты инструкций по агротехнике не пишут, — пытался я защищаться.

— Никто тебя не просит писать инструкции. А ты вот про это напиши: у Никанорова хорошо получилось с загушенным севом поздних сортов. Да ты не напишешь! — отмахнулся Гребенкин.

Впереди показалось поле рослой, густой кукурузы.

— Так вот же кукуруза! — воскликнул я и побежал вперед. Действительно, кукуруза была хороша! Я принялся измерять высоту стеблей, подсчитывать возможный урожай массы. Гребенкин только ухмылялся.

— Ну, как? Будет центнеров по двести?

— Примерно так должно быть, — согласился я.

— А ведь тоже широкорядная!

Тут только я заметил, что это действительно так.

— А знаешь, тут мы рисковали. Я ведь тоже слышал мельком: в прошлом году многие сеяли широкорядно — специальных сеялок не было. И хорошо получалось. Вот мы с парторгом и решили рискнуть.

Уже вечерело.

Гребенкин заторопился в контору: у него каждый вечер руководители участков собираются, чтобы дать отчет за день и получить задания на следующий.

— А в будущем году кукурузу будешь сеять?

— А как же! Обязательно! На этом же поле и посею ее, голубушку, — махнул он рукой в сторону реденькой кукурузы. — Будем считать, что поле паровало.

— И широкорядно?

— Сколько машин хватит — гнездовым, а остальное — широкорядно да погуще! Но ты заруби себе на носу: широкорядно можно сеять только на полях, чистых от сорняков. У меня вон там участочек гектаров двадцать. Также широкорядно пустил, но промахнулся! Оказалось, сорняков много, руками не успеть прополоть, ну и... считай, пропала работа... Так что надо к каждому полю по-своему. Этому, помнишь, нас с тобой учили лет двадцать назад, а мы все и перезабыли. — Гребенкин чему-то рассмеялся. — Перезабыли... А вернулись на землю — память-то вроде опять заработала.

Мне давно хотелось спросить Гребенкина, как его жена Вера восприняла переезд в колхоз. Я знал, что Вера — извечная горожанка. А сейчас случай удобный: Гребенкин в хорошем настроении.

— Об этом вечером поговорим. Хотя зачем вечером! — остановился Гребенкин. — Ты шагай к моему дому. Вон там — под тесовой крышей — видишь? На высокой жердине скворечник висит. Вот и шагай. Ты сам Веру и допросишь, чтобы, — Гребенкин рассмеялся, — чтобы без нажима с моей стороны, беспристрастно, так сказать.

Вот и дом под тесовой крышей. Под окнами дома — палисадник. На грядах цвели георгины, гладиолусы и еще какие-то незнакомые мне цветы. И тут я вспомнил, что Вера последнее время работала в школе с юннатами и что школа была участником выставки в Москве именно по цветоводству.

Зайдя в ограду и поднявшись на крыльцо, я увидел огород Гребенкиных. На грядах виднелись небольшие кочаны капусты, зеленые помидоры, горох, мак и много другой зелени. А вдоль жиденькой ограды в три ряда тянулись яблоньки. Они были совсем маленькие и высажены, по-видимому, прошедшей весной.

Гребенкин явился домой в тот момент, когда у нас с Верой — полнеющей, но все еще красивой — разговор был в самом разгаре.

Переехав в колхоз, Вера стала преподавать биологию в местной неполной школе, организовала кружок юннатов. Она жаловалась на мужа: не разрешил ей работать агрономом колхоза. Гребенкин посчитал роскошью держать агронома в сельхозартели, где председатель — сам агроном.

— Ну, как тут популяризатор шаблона, Верочка? — с такими словами Гребенкин ввалился в комнату.

— А ты не можешь поделикатней? — улыбнулась Вера.

— А жена-то у меня — дипломат! — рассмеялся Гребенкин. — Сама утром только говорила: ох уж этот газетчик!

— Да я совсем и не вспоминала о нем.

— А ты, Верочка, не юли — вспомни, как возмущалась статьей о междурядной обработке.

— Да вы сами себе представьте! — перебила его Вера. — Газета, вернее корреспондент, высмеивает утверждение агронома, что культивировать кукурузу в засуху — это сознательно иссушать почву, губить урожай. Но разве агроном не прав?

Веру поддержал Гребенкин:

— Почитаешь такое — злость берет. Читаешь и видишь этих двух людей — колхозного агронома, который наверняка десять ночей не спал, прежде чем принять решение, идущее вразрез с общепринятыми установками, и этого корреспондента, который и знать ничего не хочет: отступает агроном от шаблона — лупи его. А прав он или виноват — корреспондент не вдумался.

Все мы как-то сразу примолкли. И это минутное молчание первой нарушила Вера.

— Знаете, что иногда приходит в голову? — начала она. — Работа в газете — заманчивое дело. Но, по-видимому, к газете иногда пристраиваются и люди без души. И вот понимают ли такие люди, что они иной раз заставляют опускать руки тех, кто искренне желает внести свой вклад в общее дело?

— Ну, Верочка, и ты заговорила газетным языком, — рассмеялся Гребенкин. — Давай-ка лучше насчет ужина, а корреспондента я и сам добыю.

Вера ушла на кухню. А Гребенкин продолжал «добывать»:

— Вообще, конечно, безобразия. По-моему, наши газеты уже по своему призванию не могут быть охранителями шаблона. Влияние газеты очень велико — все ведь так и считают: раз в газете напечатано, значит так и надо делать или, наоборот, так нельзя. Поэтому вашему брату надо думать и многое видеть, прежде чем писать.

Слова Гребенкина заставили призадуматься. Гребенкин заметил это и перевел разговор на планирование.

Он рассказал об интересном случае. В МТС и районе предложили увеличить посадку овощей в колхозе до десяти гектаров, а когда стали обсуждать на правлении, то старик огородник поставил вопрос так: если три гектара посадить, то тысячу центнеров овощей собрать можно. А если сажать десять гектаров, то больше пятисот центнеров не вырастить, потому что людей для ухода не хватает и воды пока недостаточно для полива большого огорода.

— А ведь так и получилось! — говорил Гребенкин. — Мы утвердили план три гектара. Завтра, посмотришь, тысячу не тысячу, а центнеров восемьсот наверняка возьмем. А у колхоза «Восход» пятнадцать гектаров засадили... Это с нашим огородом рядом. Людей — как и у нас в огородной бригаде — десяток всего. Ну и пропало все: не успели ни прополоть, ни полить. Вот отсюда и вывод: ох, как вдумчиво надо планировать! Не только площади, но и возможности, иначе получится планирование для планирования, а не для увеличения валовых сборов.

Но вот Вера стала накрывать на стол, и разговор как-то незаметно перешел на воспоминания о далекой уже студенческой жизни.

...Рано утром мы с Гребенкиным отправились на колхозный огород и неожиданно увидели Савелия Петровича, который вчера привез меня. Он запрягал коня.

— Эге! А ты, Савелий Петрович, что тут делаешь? — строго проговорил Гребенкин.

— Вы еще не уезжали? — спросил я.

— Да вот, скажу вам, лошаденку пожалел... Пусть, думаю, отдохнет, — явно смутился Савелий.

— Рассказывай! — рассмеялся Гребенкин. — Разведчик!

— А вы, Сергей Устиныч, сразу на военный язык, — улыбнулся Савелий. — Это по-военному — разведчик, а в мирное время это, скажу я вам, называется: по соседям в гости ездить, знакомиться, что и как...

Графики и природа

В конце сентября я опять поехал в Дронкинский район.

Совсем недавно открылось регулярное автобусное сообщение: областной центр — Дронкино.

В последней сводке по хлебосдаче, напечатанной в областной газете, Дронкинский район занимал место, как выразился Обухов в беседе со мной, «ниже среднеобластного».

Я попытался успокоить Обухова. Первые восемь мест в сводке заняли северные районы области. А хлеба они все вместе сдают чуть больше, чем один Дронкинский район. К тому же там возделывается озимая рожь, а ее начинают убирать дней на десять раньше, чем на юге пшеницу.

— Нашел чем успокоить, — усмехнулся Обухов. — Меня не спрашивают: рожь или пшеницу сдаю. Дай процент! А мы из-за этого хваленного Соколова два места потеряли. — Обухов порылся в бумагах и с упреком проговорил: — Ты тут летом Соколова в газете расхвалил: руководитель там, видите ли, вдумчивый, опирается на народный опыт... А вот не напишешь, что он весь район подводит!

— Каким же образом?

— Очень просто! По графику в той пятидневке он обязан был сдать шестьсот тонн. А он четыреста отвалил. А теперь, изволь радоваться: с семнадцатого на девятнадцатое место район съехал. — Обухов взял в руки газету со сводкой. — Вот, видишь, как оно получается: если бы Соколов сдал шестьсот тонн — у нас процент поднялся бы на три десятых. А выше нас кто стоит? Лабинский и Тарасовский, а у них у обоих процент на две десятых выше нашего. Понял, в чем дело? Слышал вчера, на переключке меня порадовали: Обухов на два места ниже скатился... С этим Соколовым надо...

В окно было видно, как у райкома остановилась машина.

— Председателя своего пришлось посылать, — раздраженным голосом продолжал Обухов, — воспитывал там Соколова.

«Своим» председателем Обухов называл Павлова — предрика. Запыленный, похудевший, он вошел в кабинет. Обухов встретил его словами:

— Ну, всыпал ты нашему «передовому мыслителю»?

Павлов присел к столу, обтер лицо платком.

— Дело очень сложное, Михаил Николаевич, — проговорил он, покачивая головой. — Соколов объявил аврал на уборке: все поднял! Бригадир Орлов и тот в ночную смену сцеп комбайнов водит — подменяет основных комбайнеров. Животноводов на уборку перебросили: днем коров доят, ночью — на соломокопнителях...

— Ты очень уж красочно описываешь, — перебил Павлова Обухов. — Эти описания ты не отнимай вот у них, — Обухов кивнул в мою сторону, — у товарищей корреспондентов. Для них побереги... Выполнит он график в эту пятидневку?

Павлов облизнул пересохшие губы.

— Нет, не выполнит, Михаил Николаевич.

— Так на чей черт ты там целый день пропадал? Тебя за сказками, что ли, туда посылали? За сказками, да? — Глаза Обухова метали искры.

На худом, загорелом лице Павлова появились темно-красные пятна.

— Дело очень серьезное, Михаил Николаевич! — чуть повысил голос Павлов и поднялся со стула. — На месте Соколова я так же поступил бы.

— Тебе, я вижу, и надо быть на месте Соколова, а не районом руководить...

— Я, Михаил Николаевич, был председателем и в любое время... если доверят.

— Ага! Трудностей испугался? Чего там наделал твой Соколов? — Последние слова были произнесены в тоне примирения, и это, видимо, успокоило Павлова: он опять сел на стул.

— Хлеб перестоял, Михаил Николаевич, зерно сыплется — страшно. А тут, как на грех, ветры чертовские, как с обеда начнет, так до ночи. Только ночью и тихо. Я сам проверял у Соколова: шапку бросишь, — Павлов снял свою военного образца фуражку, — за пять минут два-три зерна в нее попадает, а в день — самое малое центнер с гектара... Соколов думает дней за пять все смахнуть с корня, пока погода хорошая. Я заезжал на станцию — прочат дождь в ближайшие дни.

— Дождь? — испугался Обухов. — Так мы же на тридцатое место слетим, ты понимаешь это?

— Надо, Михаил Николаевич, поговорить с обкомом, просить машин, хотя бы сотню. Тогда мы и хлеба уберем без особенно больших потерь и вывозку...

— Говори сам! — крикнул Обухов.

— Давайте о деле, Михаил Николаевич. — Павлов сказал это твердо, решительно, и Обухов невольно задержал взгляд на худом потном лице предрика. Павлов снова начал доказывать, что за три дня можно потерять половину зерна — осыплется, но если в эти три дня вывозка зерна на элеватор и сократится, то потом можно ее усилить и план перевыполнить. Обухов отверг и эти доводы Павлова. Тогда тот заявил еще более решительно:

— Не знаю, Михаил Николаевич, но я дал такую установку и Григорьеву и Коновалову. Все надо бросить на уборку урожая. Это мое твердое убеждение! И это будет по-государственному. Хлеб ведь гибнет, безвозвратно гибнет хлеб!

— Не паникуй. Ты забыл про график?

— Но поймите, Михаил Николаевич, — природа графиков не признает! Поговорите с обкомом... Все равно наши машины сейчас в день по одному рейсу на элеватор делают, в очередях там простаивают... Ведь каких-нибудь пять—семь дней, и хлеб будет прибран. Тогда и...

— Хватит, Павлов! Прекратим болтовню. — Обухов присел к столу, снял телефонную трубку и вызвал совхозную метеостанцию. — Как погода? — Выслушав ответ, он сердито бросил трубку на рычаг. — Ты слышал: через два-три дня дождь!

— Вот и осыплется весь неубранный хлеб. Весь, начисто!

— А мы обязаны и хлеб убрать и график выполнить! Понял? Давай такую команду: все машины — понял? — все машины, до единой, только на вывозку хлеба на элеватор! А колхозы должны изыскать средства на отвозку зерна от комбайнов. Всё, Павлов. Ты сейчас же поезжай! — Обухов назвал несколько колхозов. Сам он взял на себя Соколова и его соседей, у которых успел побывать Павлов. — И до дождя на эти три дня все автомашины — только на хлебосдачу!

— Я возражаю!

Обухов как-то оторопело взглянул на Павлова. Таким незнакомым, по-видимому, показался ему тон, каким были произнесены слова.

— Я возражаю! — так же твердо повторил Павлов. — И прошу созвать внеочередное бюро.

— Вон ты как? Не выспался, наверное... Бюро соберем первого октября и, если по твоим колхозам график хлебовывозки будет сорван, поставим вопрос о нашем председателе райисполкома. Ясно? — Обухов встал и, забрав папку, вышел из кабинета.

Павлов устало приподнялся со стула, надел фуражку.

— Вот так мы и заботимся о хлебе,— тихо проговорил он. У порога остановился, в раздумье добавил: — О государственном, народном хлебе...

Начинать разговор с Павловым я счел просто неудобным и пошел искать попутный транспорт.

В редакции районной газеты мне сказали, что колхоз имени Молотова по хлебосдаче отстаёт.

— А по уборке как?

— По уборке сводок не печатаем,— ответил редактор.

Я посмотрел подшивку газеты. В последних номерах склонялось имя Соколова. Его называли уже и неумелым организатором, забывшим интересы государства, и многими другими обидными словами.

К Соколову я попал только на следующий день к вечеру. Парторг Василий Матвеевич сказал, что Соколова найти трудно: он где-то на полях, и дня два в конторе не появится.

— Вчера был Обухов, а Соколова так и не мог отыскать,— хитро улынулся Василий Матвеевич.

Он рассказал мне, что на днях по докладу Соколова партийное собрание приняло решение: спасти хлеб! Все машины, весь транспорт закрепили за комбайнами. А чтобы участвовать в хлебосдаче, было решено в эту пятидневку часть зерна ссыпать на глубинный пункт, открытый в новом зерноскладе. Василий Матвеевич был назначен ответственным за работу на току и за сдачу зерна. Когда он доложил Обухову, что за пятидневку они оформят в сдачу тонн четыреста, тот заявил: не меньше тысячи!

— И как же? — спросил я.

— Оформим и засыплем четыреста,— сказал Василий Матвеевич. — На глубинку зерно принимают с влажностью семнадцать, а у нас пока идет девятнадцать.

— А если разрешат с более высокой влажностью?

— Все равно четыреста. Склад-то у нас один, а пятидневка-то не последняя, да и график не последний,— улыбнулся Василий Матвеевич.

Уже ночью на попутной машине я добрался до одного из комбайновых агрегатов. За штурвалом комбайна оказался бригадир Орлов. Еще издали при свете электрических лампочек выделялась его коренастая фигура в кожанке.

— Нажимаем! — крикнул Орлов, когда я взобрался на мостик.

С мостика комбайна открывалось красивое зрелище: по обширному полю двигались огни. Пересиливая грохот моторов, пронзительно ревели сирены. Тревожные сигналы в степи — это сигналы о бедствии: ждем транспорт! Берите намолоченное зерно!

— Все восемь сцепов на ходу! — выкрикивал Орлов, показывая на светящиеся островки. — Душа радуется! Красота!

Действительно, в степи двигалось восемь огненных шаров. Темноту между ними то и дело прорезывали снопы еще более яркого света — это шферы спешили за зерном. И чем чаще раздавались сигналы сирен, тем стремительнее двигались эти снопы электрического света.

Вот и Орлов подал сигнал. Вскоре к его комбайнам примчалась трехтонка. Агрегат остановился, в кузов машины забила мощная струя зерна. При ярком электрическом свете она казалась огненной с золотистым отсветом по краям.

Пока агрегат разгружался, Орлов и его помощники хлопотали у комбайнов, открывали и закрывали разные заслонки, лили на цепи густую смазку. А когда оба комбайна разгрузились, на мостик поднялся высокий человек в комбинезоне, с защитными очками, поднятыми на лоб.

— Чего это, Степан? — удивился Орлов и посмотрел на свои часы. — Твоего отдыха еще час остался.

— Хорошо отдохнул... Говорят, у Сереги маленько не ладится...

— Ну, тогда жми! Я все проверил, пока нормально. — И Орлов спустился с капитанского мостика. Он, оказывается, только на четыре часа подменял этого комбайнера и теперь должен был сменить другого, работавшего на соседней загонке.

— Понимают задачу ребяташки! — сказал Орлов, когда агрегат Степана двинулся в темноту.

Орлов радовался, что и правление артели «подбодрило» комбайнеров: за каждый гектар, убранный в ночное время, работники агрегата получают сверх установленной законом оплаты еще восемь килограммов пшеницы.

— Деньков пять да столько же ночек, и наша бригада всё как есть уберет.

Я спросил о второй бригаде. Орлов ответил, что та немножко отставала, но ей помогает «сам Соколов».

— А он мужик хитрый: чего-нибудь придумает, а не то у Гребенкина комбайнов выпросит.

— Разве Гребенкин может дать комбайны?

— Уже дает. Наш колхоз пообещал ему сортовых семян этого... нового сорта, вот они и рады: за наш колхоз сдали тонн сто пшеницы, а Иван Иванович отвел им одно поле с этой пшеницей — убирайте, говорит, и прямо домой возите. А это большая помощь второй бригаде.

— Успевают отвозить зерно от комбайнов? — продолжал я допытываться.

Оказалось, что Соколов разрешил в крайнем случае намолоченное зерно ссыпать на временные площадки, устроенные возле каждого поля. Если нет транспорта, то комбайн выводит свой агрегат к этой площадке и ссыпает зерно на землю. А рано утром, когда проводится технический уход за машинами и заправка горючим, весь транспорт переключается на отвозку зерна с временных площадок.

— Иван Иванович запретил комбайнам стоять! — с некоторой торжественностью произнес Орлов.

В стороне послышался конский топот. Орлов прислушался.

— Неужели Соколов?.. Он! Больше никому.

— А вы сами-то когда отдыхаете? — спросил я Орлова.

— А вы лучше спросите, когда вон хозяин отдыхает.

Топот приближался, но в кромешной темноте осенней сибирской ночи ничего не видно.

— Иван Иванович! — крикнул Орлов.

— Ты, Степан Петрович? — послышался голос Соколова. Не слезая с коня, он стал расспрашивать Орлова о работе комбайнов.

— Молодцы ребята, — похвалил Соколов. — Скоро к вам на подмогу придет еще трехтонка.

— Где это отыскалась? — заинтересовался Орлов.

— Гребенкин две машины дал... На пятidineвку.

— А где же Гребенкин машины берет? — не удержался я от вопроса.

— Сергей Устиныч... он знает дороги, — неопределенно ответил Соколов. — Мы с ним соревнуемся...

Соколов слез с коня: он решил здесь дожидаться подхода комбайнов, которые светились еще далеко.

В темноте не было видно лица Соколова, но по его голосу, по тому, как тяжело опустился он на копну соломы, можно было понять, что Иван Иванович сильно утомлен. Однако он оживился, когда начал рассказывать о соревновании с Гребенкиным.

— Это, понимаешь, Сергей Устиныч придумал, — начал он. — Как-то приезжает чуть не всем правлением. Посмотрели наше хозяйство, на полях побывали, а потом он, Устиныч-то, и завел разговор про соревнование.

Давайте, говорит, соревноваться не за то, кто кого обгонит, а за общий подъем обоих колхозов. Клятву, говорит, дадим друг другу — помогать во всем. Плохо у вас, трудности, — считаем, что это и наши трудности. У нас тяжело — считайте, что это и ваше горе, помогайте. А если кто хорошее надумал и сделал — сразу соседу сообщить. Наши правленцы поначалу не шибко, понимаешь, обрадовались. Как-никак, а тот колхоз послабее. Наши толкуют: Гребенкин хитрит, не поехал небось к Григорьеву. А когда получше обсудили, решили: убытка от такого соревнования не будет, а польза может и получиться.

— Расскажите, как присягу принимали, — рассмеялся Орлов.

— Почитай, присягу... А все Устиныч придумал. Выстроил своих членов правления в один ряд против наших и клятву вроде прочитал... Обязуемся, мол, не давать отставать соседу, и все такое. Потом руки пожали друг другу. А на другой день Сергей Устиныч присылает машину: дайте кирпича. Домов они много строят, а печки класть не из чего. Видать, они кирпич-то наш поприметили: на своем заводе делаем. Наши сразу зароптали: обошли, мол, Соколова. Потом мы помогали им ток механизировать. Как у нас, уже нельзя было построить, но сортировочку с бункерами наши плотники и кузнецы помогли им сделать. Ну, потом наш живогновод, понимаешь, к ним ездил на пятидневку — помог кое-какими советами.

— А Гребенкин как? — не выдержал я.

— Долг платежом красен. Теперь и они нам помогают... Ох, как сильно выручают! Тут мы семян им решили дать хороших...

— Я говорил уж товарищу корреспонденту, — перебил Орлов.

— Так вот, с семенами, — продолжал Соколов, — мало того, что сами они домолачивают то поле. Устиныч по первому слову дал нам две трехтонки и обещал еще две прислать. Шефов хороших нашел, те ему в машинах не отказывают.

Соколов вдруг притих, и вскоре мы услышали легкое похрапывание.

— Пусть минут десяток отдохнет, — негромко произнес Орлов.

С каждой минутой нарастал гул комбайнового агрегата, а когда он оказался метрах в двадцати от нас, Соколов проснулся.

— Ну как? — спросил он, проворно поднимаясь.

Нас осветили фары трактора, и теперь я видел лицо Соколова, наблюдавшего за приближающимся агрегатом. Оно преобразалось на глазах: морщины будто разглаживались, рот медленно приоткрывался, и казалось, сейчас Соколов воскликнет: вот хорошо!

Орлов сменил комбайнера, Соколов отдал тому свою лошадь, чтобы быстрее доехал до полевого стана — к месту отдыха, наказал ему потопить автомашину.

Некоторое время мы шли вслед за комбайном, а на повороте загонки свернули в сторону и очутились на какой-то дороге. Соколов рассказывал, и в его словах чувствовалась досада.

— Первого октября мне обязательно нагоняй будет... Михаил Николаевич тридцатого сентября сам нагрянет, будет требовать, чтобы оформляли квитанцию на зерно, которое на току, несортированное, влажностью выше нормы. Пригрозит наказанием... Конечно, это важно — хлеб рано сдать. Только пять дней позднее, пять дней раньше — тем более, все равно в глубинку, — по-моему, значения большого не имеет... для государства. Для Михаила Николаевича, конечно, имеет. А вот если на пять дней раньше уборку закончить, это, понимаешь, все равно, что дополнительно много миллионов пудов хлеба дать государству. Много миллионов! — повторил Соколов и остановился, услышав сирену. — Маленько ведь не успел, — укоризненно проговорил он, наблюдая за снопами света мчавшейся к агрегату автомашины.

Из колхоза уезжать не хотелось. Люди работали так горячо, что о каждом можно было писать большой очерк. Трудовой подъем был исключительно высок: в колхозе не было ни одного человека в возрасте от двенадцати до восьмидесяти лет, кто не участвовал бы в уборке.

Но в ночь на тридцатое сентября пошел дождь: сначала только побрызгал, а к утру разошелся как следует. Все небо затянули рваные темно-серые тучи. К обеду комбайны остановились, а к вечеру забуксовали и машины. На полях все затихло.

Но зато шумно стало в колхозной конторе.

Удивительно было то, что дальнейшие события развернулись так, как и предсказывал Соколов.

Вечером тридцатого на вездеходе примчался Обухов. Узнав, что график хлебосдачи не выполнен, он расшумелся и пошел с Соколовым на ток. В одном складе работали веялки, действовал и мехамбар — он был под навесом. Но очищалось семенное зерно — последние дни убирали семенные участки. Увидев горы насортированного зерна, Обухов порекомендовал «оформить» его в глубинку, то есть как бы сдать государству, а позднее заменить его зерном с производственных участков.

— А что это даст? — спросил Соколов.

— График выполнишь!

— Нет, Михаил Николаевич, семена сдавать не буду. Партия приказала заботиться о семенах. Хорошие семена — половина урожая.

— Так это же на день-два. Станный человек! — возмутился Обухов.

— Это же, Михаил Николаевич, обман государства. Сдаем, понимашь, вроде в бирюльки играем. Семена в сводке мы уже показали, а теперь вы советуете показать их еще и в государственных закромах. Один и тот же хлеб...

Обухов, видимо, понял, что разговор об оформлении семян вести бесполезно.

— Дело твое, Соколов, — сказал он. — Я только посоветовал. А теперь как хочешь. Не забудь: завтра в семь вечера на бюро.

И уехал дальше.

А на другой день за невыполнение графика хлебосдачи Соколову был объявлен выговор.

Дожди продолжались целую неделю. В колхозе имени Молотова оставалось еще на корню больше тысячи гектаров пшеницы, или десятая часть посевов. В большинстве других артелей района было не убрано до трети урожая. Хлеба прибило к земле, и когда вновь приступили к уборке, то даже у Соколова стали намолачивать по три-четыре центнера с гектара, хотя перед дождем получали еще по восемь — десять.

Позднее Соколов сказал мне, что октябрьские дожди отняли у колхоза не меньше пяти тысяч центнеров зерна. По его подсчетам, сохранив этот хлеб, можно было бы выдать колхозникам на каждый трудодень еще по два килограмма пшеницы. Вот что значит не убранная вовремя тысяча гектаров хлеба!

Наш председатель лучше всех

Перед ноябрьскими праздниками мне снова довелось заехать в колхоз имени Молотова.

В клубе шло общее собрание колхозников. По всему было видно, что оно подходило к концу. Председатель собрания — агроном Зина — звонким голосом объявила:

— Переходим к последнему вопросу: о приобретении товаров, причитающихся колхозу по госзакупкам.

Из сообщения, сделанного Соколовым, выяснилось, что за проданный хлеб и продукцию животноводства колхоз имеет право купить товаров в

потребкооперации почти на двести тысяч. Соколов перечислил вещи, которые, по мнению правления, следовало приобрести в первую очередь: цемент, известь, лес, электромоторы, автомашины грузовые.

— Возражения будут? — спросила Зина.

— Одобрить! — загудели голоса.

— Позвольте вопросик?

Из передних рядов поднялся Савелий Петрович. Пощипав свою коротко остриженную бороду, он спросил:

— А легковушку нашему председателю мы не думаем, значит, купить? И что же, товарищи колхозники, нам за это не совестно? Забыли, как вчера приезжал к нам Григорьев на «Победе»? Забыли, зачем он приезжал?.. Позаимствовать! Приезжал просить семян пшенички. Свои-то торопился сдавать, ордера оформлял, а теперь подсчитали — семян-то и не хватает. Так вот, на «Победе»! А наш Иван Иванович на лошаденке трясется, а ведь ему, каждый знает, под шестьдесят! Неужто наш председатель не заслужил легковушки?

Савелий Петрович оглядел зал и повторил свой вопрос:

— Неужто не заслужил?

И люди ответили: машину легковую обязательно!

Выступавшие колхозники высказывали удивление: как это правление не предусмотрело купить машину? Куда смотрело правление?

Но Соколов стал разъяснять, что легковых машин под закупки району выделили пока мало и уже продали другим колхозам. Он поблагодарил за внимание и сказал, что этот год можно обойтись и без легковой.

— Значит, утверждаем решение правления без изменений? — спросила Зина.

— Нет, не утверждаем! — возразил Савелий Петрович. — Не можем утвердить! Как же так получилось, товарищи колхозники? Наш колхоз передовой — по пять рублей на трудодень только аванса вырешили, по два кило хлеба получили. А раз наш колхоз передовой, значит и председатель самый лучший! А как машину — то Григорьеву! Давайте решение писать. В обком жалобу! Разве это порядок?

В зале шум: поддерживают требование Савелия Петровича.

Кто-то посоветовал обратиться через депутата, а Савелий Петрович, поднявшись в третий раз, внес новое предложение.

— А к чему это? — спрашивал он. — «Победы» дают под закуп, маловато, видать их. В наше время, скажу вам, большие колхозы не могут без машин. А мы засобирались от Григорьева отбирать последнюю...

— Ты же сам предлагал! — крикнули из зала.

— Мало ли чего вгорячах предложишь! — рассердился почему-то Савелий Петрович. — А теперь мое такое предложение: купить «ЗИМ». Эти машины не под закуп, свободно продаются в городе. «ЗИМ» купить!

И все зааплодировали.

Когда вопрос был поставлен на голосование, против покупки «ЗИМа» голосовал один Соколов.

Ученые и... ученые

На другой день в колхоз приехали сразу двое ученых: доцент сельскохозяйственного института Романов и Каралькин — из Москвы, из академии сельскохозяйственных наук. Тот самый Каралькин, который выступал на совещании сибирских ученых с докладом в пользу ранних сроков сева в Сибири.

Почему же Каралькин появился именно у Соколова, который не признает ранних сроков? Понятен еще приезд Романова: он и на том совещании выступал против Каралькина, высказывался за так называемые

оптимальные сроки сева. К тому же Романов довольно часто навещал этот колхоз.

Вскоре выяснилось, что приезд Каралькина из Москвы вызван помещенной в газете статьей, в которой говорилось, что, несмотря на засушливое лето, колхоз имени Молотова вырастил неплохой урожай.

Зина, которую с приездом ученых вдруг стали называть Зинаидой Николаевной, располагала уже всеми материалами. Посев, произведенный в самые ранние сроки по парам, дал урожай около двенадцати центнеров с гектара, а пары, засеянные в период с шестнадцатого по двадцатое мая, — свыше семнадцати. При посеве по зяби разница в пользу оптимальных сроков была еще более внушительной.

При этом Зинаида Николаевна сделала существенную оговорку: эти данные хотя и близки к действительности, но полностью ее не отражают. Коррективы внесла уборка. На полях, убиравшихся позднее других, допущены большие потери зерна от осыпания.

Именно за это и ухватился Каралькин.

— Вы утверждаете, — рассуждал он, — что ранние посевы убираются раньше, значит и потери устранены. Так?

— Ну, что вы? Разве не понятно? — искренне удивилась Зина. — У нас в Сибири пшеница обычно созревает почти в одно время. Если разница в севе двадцать дней, то разница в созревании — не более пяти.

— Но ведь вы сами утверждаете, что уборка поздних посевов принесла большие потери, — не сдавался Каралькин.

Зина раскрыла свои тетради, стала называть результаты по каждому полю. Самый высокий урожай дали посевы, произведенные в период с десятого по двадцатое мая. Это относилось и к парам и к зяби.

— Но сколько потерь дали поздние посевы? — вопрошал Каралькин.

— Ну, как вы не поймете, — досадовала Зина. — Я же вам объясняла: если бы весь урожай мы смогли убрать за пять дней, то есть без потерь, то разница в пользу поздних сроков была бы еще больше. Мы обсуждали этот вопрос в колхозе и сделали, знаете, какой вывод? Мы так думаем: если не располагаем средствами, чтобы убрать все зерновые за десять дней, то и сеять меньше десяти дней нельзя. Если можем убрать за пятнадцать дней, то и сеять будем пятнадцать...

— Это что-то новое в науке, — усмехнулся Каралькин. Его прищуренные глаза заскользили по лицам собеседников.

— А вы напрасно смеетесь, товарищ Каралькин, — проговорил молчавший до этого Романов, — может быть, эта мысль и не чисто агрономическая, но экономическая, безусловно! А точнее — агроэкономическая! У нас премировали бы всякого, кто посеет яровые за пять дней. Я не знаю колхоза в области, который хоть раз в жизни убрал бы зерновые раньше, чем за двадцать календарных дней! Правильно, Иван Иванович?

— Да и за тридцать, понимаешь, не можем пока управиться.

— Вот видите! — продолжал Романов. — Значит, об этом надо и ученым пораздумать.

— Посевами скороспелых и позднеспелых сортов мы уже регулируем сроки уборки, — отрезал Каралькин.

— Как раз наоборот, — возразил Романов. — Как мы сеем? Вначале позднеспелые сорта, а потом уже — раннеспелые. И опять-таки с единственной целью, чтобы все хлеба быстро созрели. Вот почему Зинаида Николаевна, — кивнул он в сторону Зины, — и имела основание сказать: поздно ли, рано ли сеем, созревает все в одно время. Нет! Как хотите, а мысль, высказанная здесь, чудесна! Это... понимаете, это просто замечательно! — Романов умолк и быстро застрочил в своей записной книжке.

— По правде говоря, я как-то и не думал про это,— негромко произнес Соколов. — А Зина — она правильно. Это, понимаешь, не только по пшенице. По кукурузе тоже сортами надо регулировать. А то посеяли один сорт, подошла она к уборке вместе с пшеницей — разве упрaviшься?

— Вы, кажется, и многолетние травы сохранили? — поинтересовался Каралькин.

— Да, сохранили, — ответила Зина. — У нас они растут неплохо, особенно костер безостый в смеси с люцерной. Мы же придерживаемся нарезанного севооборота.

Каралькин начал подсчеты продукции в кормовых единицах с гектара. На первом месте оказалась кукуруза.

— Почему же вы не распахали многолетние травы? Смотрите, сколько вы недобрали кормовых единиц с гектара.

У него получилось так, что если бы на месте многолетних трав была посеяна кукуруза, то выход кормов с гектара увеличился бы на восемьсот кормовых единиц. Цифры были убедительны. Что же ответит Соколов?

Но ответ дала Зина.

— Ваши подсчеты чисто кабинетные, — заявила она. — Если так считать, то зачем и пшеницу сеять?

— Мы говорим о кормовых культурах, — возразил Каралькин.

— Поговорим как агрономы! — воскликнула Зина. — Если все кормовые культуры, в том числе и травы, заменить кукурузой, то разве скот на одной кукурузе мы продержим? Никогда. А самое главное даже не это. Вы большие ученые, вот и скажите нам: после кукурузы какую культуру можно сеять? В условиях Сибири это требует раздумья. Кукуруза забирает много влаги, и из самых почвенных глубин. А влаги у нас и так очень мало. Обработка кукурузы, как пропашной культуры, вызывает сильное распыление почвы. Чем же спастись от эрозии в наших степных условиях? А ведь после многолетних трав хорошо растет любая культура: пшеница, ячмень, что угодно! Да возьмите ту же кукурузу. На зяби после зерновых мы собрали по сорок центнеров массы с гектара, а по пласту многолетних трав — по сто сорок, по обороту пласта — еще больше. Значит, добавочные сто центнеров кукурузной массы надо отнести за счет многолетних трав. Так ведь?

— Очень правильно, Зинаида Николаевна — поддержал Романов. Он с нескрываемым восхищением следил за спором Зины с Каралькиным. Да это и не удивительно: Зина училась в его институте.

Беседа продолжалась долго, а закончилась совершенно неожиданно.

— Значит, я могу доложить президенту, — сделал вывод Каралькин, — что на ранних посевах, независимо от засухи, у вас получен хороший урожай?

— Нет, не можете! — воскликнула Зина.

— Но ведь в других колхозах столько не получали?

— Подождите, товарищ ученый, — вмешался Соколов. — Наш ранний посев это, понимаешь, по нашему району был уже поздний. — Он рассказал, как было дело весной.

— Именно это и надо вам понять, товарищ Каралькин, — наставительно проговорил Романов.

— Позвольте! — с обидой в голосе произнес Каралькин. — Первые посевы, это мы и называем самые ранние. Они в колхозе дали двенадцать центнеров с гектара, и в среднем по колхозу получено двенадцать. Я опираюсь только на факты.

А вечером, когда ученые уехали, Соколов сказал:

— Да, товарищ корреспондент, есть ученые и... ученые.

И с таким веским заключением Ивана Ивановича никак нельзя не согласиться...

Вопрос по существу

На областное агрономическое совещание собралось больше тысячи человек: агрономы, председатели колхозов, директора совхозов и МТС, партийные и советские работники.

У подъезда — десятки легковых автомашин. Среди них выделялся маленький «ЗИМ». Все уже знали, чей он.

— Забогатель Иван Иванович!

— Три миллиона дохода что-нибудь да значат!

На совещании обсуждались итоги сельскохозяйственного года. Они были не особенно утешительными. Докладчик — председатель облисполкома — несколько раз упоминал о неблагоприятных погодных условиях. Однако из приведенных цифр было видно, что урожай зерновых колебался по отдельным хозяйствам от трех до двенадцати центнеров с гектара, а урожай кукурузной массы — от пятнадцати до трехсот центнеров.

Докладчик читал свой доклад. Чувствовалось, что разделы доклада составлялись людьми с разными стилями письма: оратор произносил то утомительно длиннущие фразы, то вдруг переходил на короткие, решительные выражения, которые сменялись затем стилем хорошо написанной докладной записки. Доклад продолжался почти три часа, но оживления в зале не вызвал. Почти все приведенные в докладе факты были уже известны из газет.

Первым по докладу выступил директор совхоза Никаноров — седоволосый, с клинообразной бородкой. В области Никанорова хорошо знали, и поэтому, когда объявили, что слово предоставляется ему, в зале немедленно воцарилась тишина.

— Я, товарищи, как-то не пойму, — начал Никаноров. — Не первый год товарищ председатель облисполкома выступает с итоговыми докладами, а все они как близнецы! Все на одну колодку сделаны! Разве не правда?

— Верно! — раздалось два-три голоса из зала.

— А ведь времена, товарищи, меняются, новых вопросов много, да и старые по-новому должны решаться. А кто пример должен подавать? Областное руководство, вот кто! В самом деле, есть ли в докладе глубокий анализ причин наших удач или неудач? Нету! И доклад этот писался без души и без сердца!

По мнению Никанорова, докладчик важное дело — анализ причин плохого урожая во многих колхозах — подменил общими фразами, вроде: низкий уровень агротехники, несоблюдение элементарных правил. В связи с этим Никаноров рассказал, как до начала сева ездил в институт, даже в оба сельскохозяйственных института, и не привез оттуда ясности: как же лучше сеять кукурузу? В какие сроки?

— Я советовал бы нашим ученым быть поближе к производству, — горячо продолжал Никаноров. — Приезжайте к нам. Мы дадим в ваше распоряжение не пять коров, а больше тысячи, не делянки, а восемь тысяч гектаров пашни, дадим вам и квартиры с отоплением и даже с водопроводом!

Сразу грянули аплодисменты.

Никаноров снова вернулся к кукурузе.

— Я теперь должен признаться, — сказал он, — что весной я лично пошел на очковтирательство: сеял часть кукурузы ширококрядно, а в отчете ставил — квадратами.

Оживление, смех в зале.

— Все мы кричим: шаблон — страшное дело. А сами голосуем за шаблон! Помните весну: сколько агрономов, председателей пострадало за то, что пробовали сеять ширококрядно, чтобы не упустить лучшие сроки? У нас в совхозе как получилось? Квадраты удались неплохо, но главной

задачи, которую перед нами партия поставила, мы не выполнили: початков не оказалось. А как их вырастишь, если поздние сорта в наших условиях не могут дать початков?

Никаноров рассказал об агротехнике кукурузы и сделал вывод: чтобы получить высокий урожай силосной массы, необходимо кукурузу сеять гуще — оставлять в гнезде не два растения, а шесть — восемь. Свои выводы он подтвердил убедительными фактами из опыта совхоза.

На трибуне Обухов. Его выступление походило на победный рапорт. В сравнении с другими Дронкинский район имел более высокий процент хлебосдачи и неплохой урожай. Но странно: Обухов ни одним словом не обмолвился о колхозе имени Молотова, о Соколове. И выводы Обухова показались мне странными. Он заявил, что более высокий урожай получишь только потому, что райком партии все свои силы направлял на ранний посев яровых.

Сидевшая впереди меня Зина Вихрова удивленно пожала плечами и, вырвав лист из бюкнота, торопливо что-то написала, свернула пакетиком и передала впереди сидящему. Тот переслал дальше.

— Вопрос Обухову? — спросил я Зину.

— Нет, не вопрос. — Она достала тетрадку, углубилась в цифры, изредка делая пометки.

Выступали работники областных организаций, несколько ученых, в их числе Верхолазов. Ему понравились выводы Обухова. Он с них и начал, не преминув напомнить, что и сам бывал в Дронкинском районе, оказывал помощь советами.

— Что это он говорит? — повернулась ко мне Зина. — Как он смеет издеваться над фактами?

Нельзя было не любоваться ее гневом. Как эта Зина не похожа на ту, что была на бюро райкома, — взволнованную, смущенную девочку.

Когда объявили: слово товарищу Вихровой, Зина легко взбежала по лестнице на сцену, невозмутимо прошла вдоль стола президиума и, взойдя на трибуну, гневно вскинула голову.

— Товарищи! Я молодой специалист, два года как в колхозе, и я не собиралась выступать здесь, думала, старшие мои товарищи лучше и больше скажут... — Зина перевела дыхание. Сразу видно, что она высказала заранее подготовленную фразу, это ведь очень важно для начала. — Но как выступают наши старшие товарищи? Послушайте, что говорят во время перерыва в фойе. Все недовольны выступлением ученого Верхолазова, а сами выходят на трибуну и начинают говорить ничуть не лучше — без разбора причин, отбрасывая действительные факты. Что же сделалось с нашими учеными?

— А, это очень интересно! — воскликнул секретарь обкома и, улыбаясь, поглядел на Зину. — Что же с учеными сделалось?

— Мне, товарищи, понять трудно. Очень обидно было слушать здесь Сергея Сергеевича. Он считался лучшим специалистом по севооборотам. Он словно забыл, что для выращивания высоких устойчивых урожаев надо иметь хоть какую-нибудь систему в земледелии. В перерыве я беседовала с Сергеем Сергеевичем. И знаете, что он ответил? Это, говорит, сложный вопрос, и я вам конкретного ничего не скажу. Так как же так, товарищи? Кто же тогда ответит на эти волнующие вопросы?

— Видимо, придется вам! — сказал секретарь обкома.

— Нам? — словно удивилась Зина.

— Да, вам! — подтвердил секретарь. — Вы — хозяйева земли!

— Правильно! — раздалось из зала.

— Но нас, особенно молодых, не слушаются...

В зале засмеялись, зааплодировали, и это одобрение, как видно, пошло Зине. Она тоже улыбнулась и обрушилась с критикой на Верхола-

зова, рассказала, как в колхоз приезжал Каралькин и сделал совершенно неправильные выводы.

— Читаешь потом и удивляешься: неужели для объективных выводов смелости не хватает?

— Поджилки трясутся! — крикнули из зала.

— А теперь, товарищи... — Зина остановилась, подумала и вдруг заявила: — С неправильными выводами на нашем авторитетном совещании выступил и наш секретарь райкома, Михаил Николаевич Обухов.

В зале сделалось тихо.

— Что здесь доложил Михаил Николаевич? Будто наш район собрал выше других урожай потому, что заставляли сеять как можно раньше.

— Нельзя ли конкретней? — крикнул Обухов.

Но его тут же урезонил секретарь обкома:

— А вы, товарищ Обухов, имейте мужество слушать критику.

— Я и буду говорить конкретно! — сказала Зина и, развернув свою сильно помятую тетрадку, начала приводить факты. А они были убедительны: колхоз имени Молотова собрал урожай зерновых в два раза выше, чем в среднем по колхозам зоны МТС. — В докладе хвалили наше районное руководство, а за что? Разве только за то, что оно помогло колхозам района недобрать на каждом гектаре центнеров по пять хлеба? Значит, и в области товарищи не очень-то конкретно разбираются, что и к чему...

— Мы хвалим за выполнение плана поставок хлеба, — возразил председатель облисполкома.

— И тут вы очень ошибаетесь! — воскликнула Зина.

— То есть как?

— А очень просто! Надо глядеть не в одну сводку, а на все, где про хлеб упоминается. План сдачи наш район выполнил, а вы спросите, сколько семян в колхозах не хватает? — Зина начала называть соседние колхозы, в которых ради выполнения плана сдавали семена. — Это как называется, товарищи? Это же самый страшный обман государства! Государство закон приняло — семена засыпать в первую очередь, а мы сдали семена и теперь похвваемся. Отрапортовали и уже начинаем просить: дайте нам зерна на посев. Зачем же для сводки вывозить лучшее семенное зерно, а потом просить хоть какое-нибудь? Тут, товарищи, виноваты мы — агрономам! Надо было под колеса ложиться, а семена не отдавать. Нам, агрономам, партия большие права предоставила, а мы не оправдали этого доверия, стали соучастниками обмана государства.

— А у вас-то семена есть? — спросили из зала.

— У нас, товарищи, семена есть! Но вы спросите нашего председателя, Ивана Ивановича Соколова, сколько он выстрадал за эти семена? Он и за высокий урожай носит два выговора!

— Это как же могло случиться? — спросил секретарь обкома.

— Очень просто! — И Зина рассказала историю с выговорами Соколову. А свое выступление закончила не совсем обычно: — Мне хотелось сказать, товарищи, какую большую и полезную школу я прошла в колхозе, у Ивана Ивановича Соколова — нашего председателя. И я при всех здесь приношу ему глубокую благодарность. Он своим личным примером показал мне, молодому специалисту, как надо бороться за агротехнику и отстаивать правое дело от всяких наскоков.

Зал долго аплодировал. В перерыве к Зине подходили многие, особенно из молодежи, жали ей руку, что-то оживленно говорили. Подошел и секретарь обкома, он попросил Зину после совещания зайти к нему.

Я отыскал Соколова.

— Вот какая молодежь! — восхищенно говорил Иван Иванович. — Такая линия проведет, дай только, понимаешь, правильную установку.

Вскоре стало ясно, что выступление Зины растревожило и подбодрило многих.

Зину поддержал и ученый Романов.

Надо сказать, что Романов, работающий в институте более двадцати лет, пользуется большим авторитетом у агрономов. Он и работники его кафедры поддерживают постоянную связь с рядом хозяйств и на их полях ведут различные опыты. За советом к Романову обращаются многие.

Но было известно и то, что Романов почему-то очень редко выступал в печати со своими выводами, сделанными на основе личных наблюдений. И вот сейчас, с трибуны совещания, Романов спрашивает:

— Почему так сильно критикуют ученых и сельскохозяйственную науку? — И сам же отвечает: — Критика науки и большие требования к науке совершенно справедливы: все хотят именно через науку видеть кратчайший путь к дальнейшему расцвету сельского хозяйства. Но, товарищи, и наука нуждается в помощи...

Романов говорит о необходимости творческих дискуссий на совещаниях и в печати. Но, по его мнению, в этих дискуссиях должны принимать участие партийные и хозяйственные руководители, тогда практические результаты творческих дискуссий быстрее найдут применение. Он напомнил о сибирском совещании ученых и практиков, на котором единодушно были приняты рекомендации относительно сроков сева применительно к различным районам Сибири. Однако, замечает Романов, из сегодняшних выступлений видно, что эти рекомендации зачастую нарушаются, игнорируются. Он упрекнул агрономов:

— Партия и правительство предоставили агрономам большие права. Дело за тем, чтобы пользоваться этими правами в полной мере.

Из зала возглас:

— Это не только от агрономов зависит.

— Да, это действительно так, — соглашается Романов. — Значит, надо сделать так, чтобы партийные решения о правах агрономов уважались всеми, без исключения!

В зале аплодировали.

Председательствующий объявляет:

— Слово предоставляется тридцатитысячнику, председателю колхоза «Путь к коммунизму» товарищу Гребенкину.

— Здесь выступали многие, — начал Гребенкин. — Но лишь немногие, вроде товарища Обухова, считали возможным похвастаться только победами. А чего стоит победа Обухова, нам здесь красноречиво рассказала товарищ Вихрова. Большинство ораторов, выступавших на совещании, обвиняли нашего брата — председателей, агрономов. А я хочу сказать, товарищи, что и руководители области не проявляют достаточной гибкости в работе.

Такое вступление настрожило людей: в зале стало тихо, и эта тишина прерывалась лишь звучным голосом Гребенкина да приглушенным покашливанием простуженных.

— Руководить надо не районами вообще, а поколхозно, уметь разбираться конкретно в делах каждого колхоза в отдельности.

Гребенкин рассказал о росте своего колхоза: самый высокий урожай в районе, за два года оплата трудодня возросла в восемь раз.

— А почему у нас урожай стал выше других? Мы, товарищи, отказались от шаблона, в полной мере использовали предоставленное право самим планировать сельскохозяйственное производство. А ведь и сроки сева и приемы агротехники — это важнейшие элементы в планировании производства. Во всем этом надо разобраться и сделать правильные выводы на будущее. И особенно, товарищи, — продолжал Гребенкин, — надо решительно ударить по фактам очковтирательства во всех его проявлениях. Здесь уже говорили о семенах: сдаем семена, рапортуем о пере-

выполнении плана и сразу же начинаем просить семенную ссуду. А что такое возить в распутицу эти недостающие семена, знаем только мы, председатели колхозов, да, пожалуй, еще шоферы, которые почем зря ругают нас и все руководство — и совершенно справедливо! А знает ли товарищ докладчик, — Гребенкин устремил взгляд на председателя обл-исполкома, — какой ущерб наносится народному хозяйству вот этими встречными переаозками семенного зерна? Я, товарищи, приведу вам цифры по нашему району. В областной сводке по хлебосдаче мы в числе первого десятка, а семян у нас недостает шесть тысяч тонн. Они были вывезены на элеватор почти за двести километров в осеннюю распутицу, а в весеннюю распутицу мы будем перевозить с того же самого элеватора обратно в колхозы те же шесть тысяч тонн. Осенью будем рассчитываться со ссудой и отвезем уже шесть тысяч шестьсот тонн. Вы представляете, товарищи, что это такое? — повернулся Гребенкин к столу президиума. — Кому это нужно? Ради временного самоутешения мы страшно подрываем экономику колхозов. Мы подсчитали: стоимость перевозок этого зерна составляет больше двух миллионов рублей. Я не говорю уже о том, что транспорт мог бы перевозить другие нужные грузы.

Гребенкин говорил далее, что подобная игра с семенным материалом сказывается и на снижении урожая. Колхозы завозят недостающие семена с полей неведомых им хозяйств, с семенами попадают сорняки, которых раньше здесь не встречали. И таким образом происходит как бы организованное распространение сорняков по колхозам области. Этот вред, по словам Гребенкина, невозможно подсчитать — так он велик и страшен.

— А теперь об учете хлеба, — продолжал Гребенкин. — Откуда пошло у нас выражение: бункерный вес зерна? Недобрый человек придумал его. Комбайнеры, даже и те, которые отличаются исключительной честностью, начинают мудрить. Им же выгодно иметь как можно больше массы, а не чистого зерна. У нас делали анализ зерна, поступающего из комбайнов. До чего дошло? Комбайнер Еремушкин — один из передовых в МТС по намолоту зерна — выдавал из бункеров массу, содержащую до сорока процентов сору. А плата ведь и за сор производится чистым зерном, полноценными деньгами. Надо, товарищи, бросить эту игру и считать зерно зерном, а мусор — мусором. Почему у нас до сих пор не получается с третьими очистками для комбайнов? Почему нет хороших конструкций очисток, созданных комбайнерами? Да потому, что самим комбайнерам это невыгодно. А вот давайте сделаем так: если из бункера идет зерно, пригодное для сдачи, давайте уплатим комбайнеру в два, а то и в три раза больше. Вот тогда за один год у нас появятся тысячи предложений об усовершенствовании очисток комбайнов, а еще через год производство веялок и сортировок в стране можно будет смело убавить наполовину.

— Правильно, Гребенкин! Еще! Все выкладывай!

Эти одобрительные возгласы были лучшей и вполне понятной реакцией — об этих вопросах, волновавших всех, говорилось до сих пор только вполголоса.

В перерыве я спросил Соколова, как он расценивает выступление Гребенкина.

— А что ж, понимаешь, — сказал он, — все правильно. У нас в районе поговаривали насчет тридцатитысячников: практики у них маловато. Я тоже так подумывал. А дело-то, понимаешь, не только в практике. Сергей Устиныч сказал то, чего не сказали бы тысячи таких, как я. Стало быть, и пользы для общего дела такой большой не было бы.

К нам подошел улыбающийся Гребенкин. Соколов протянул ему руку.

— Молодец, Сергей Устиныч! Под твоими словами каждый председатель поднищется.

В руках у Гребенкина — книга очерков Овечкина.

— Увлекаешься? — спросил я.

— Читал и в газетах, а теперь вот в книжке... Помнишь, про два костра? Хорошо написано! Но не до конца...

— Тебе, видно, понравилось всех критиковать!

— А что же — критиковать легче всего, — рассмеялся Гребенкин. — А два костра — это... Вот два района — Корниловский и Лабинский. В Корниловском, ты знаешь, дым столбом — шумят. Каждый год обязательно выше всех, в газетах о Корниловке пишут чаще всего, как об инициаторах. Одним слором, дровишек в свой костер они бросают все время, и костер горит. А теперь вопрос: что варится на этом костре? Или люди только огоньком интересуются да, как ребятишки, — помнишь, поди, свое детство? — сырых веток в костер, чтобы дыму больше было. А вот в Лабинском районе дыму этого не пускают, пламени не видно, шуму нет. А ведь на их костре все время кое-что варится, Лабинцы и по животноводству на первое место вылезли потихоньку и по другим делам стали на виду. Так что костер не для костра делается, а для варева...

— Критиковать руководство — самое легкое дело.

Это заявил Обухов. Гребенкин тотчас ответил:

— Но все же не легче, чем подписать рапорт о сдаче семян.

— А ты вот скажи: как же надо руководить?

— На этот вопрос ответ дан давно, — серьезно заговорил Гребенкин. — Руководить — это предвидеть! Если бы ты, товарищ Обухов, предвидел, что сданные семена придется весной завозить, ты бы осенью поставил вопрос перед обкомом: товарищи, семена сдаем! А ты не поставил... Если бы мы предвидели, что к осени не будет нужного количества силосоуборочной техники, — не утраивали бы посеы силосных...

Гребенкин начал перечислять допущенные промахи в планировании. Его поддержали многие. Промолчал только Обухов.

...Прения становились все более острыми. Создавалось впечатление, что у председательствующего под конец совещания были оставлены самые толковые ораторы. Критиковали областных руководителей, называли фамилии уполномоченных, которые заставляли сеять рано на сорных полях или приложили руку к сдаче семенного зерна. Директор зернового совхоза досадовал:

— Странно слышать, когда за счет семенного зерна выплняется план закупок в районе. Но еще более странно, когда районные планы выполнения также и за счет семенного зерна совхозов. Всем же известно, что совхоз — государственное предприятие. Взять у него семена — это просто-напросто украсть зерно из государственного запаса, да к тому же еще и похвалиться: вот, мол, мы какие хорошие, примите наш победный рапорт. А у нас, — жаловался директор, — именно так и получилось. Приехал секретарь обкома по сельскому хозяйству товарищ Винокуров, проанализировал сводку по намолоту зерна...

— По бункерному весу? — спросили из зала.

— Вот именно! Из общего бункерного веса исключил норму семян, а остальное зерно включил в план сдачи. Товарищ Винокуров, конечно, не приказывал сдавать семена, но, чтобы выполнить его задание, пришлось это делать. Разве это нормально, товарищи?

Выступив последним, секретарь обкома отметил как отрядный факт, что на совещании имели место сильная, справедливая критика и открытый разговор по самым главным вопросам сельского хозяйства. Он заверил, что областной комитет партии внимательно изучит все критические замечания, особо рассмотрит вопрос о руководителях, допустивших антигосударственную практику.

Соколов в отставке

В пакете, присланном из редакции, — копия коллективного письма колхозников артели имени Молотова. Из письма было видно, что Соколов уже не работает председателем, что его место занимает бывший агроном МТС Дмитриев, которого, как говорилось в письме, «колхозники не выбрали и не выберут» своим вожаком. Они просили газету помочь «исправить эту большую несправедливость», напечатать их письмо в газете.

Приехав в Дронкино, я зашел в райком.

— Опять заявление, — недовольно поморщился Обухов. — Держатся за последнего неграмотного председателя... А вообще этот вопрос уже разбирался, — заявил Обухов. — Кто-то из колхоза уже писал в обком, оттуда приезжал инструктор, выяснял... Да, собственно говоря, тут и разбираться нечего: Соколов сам просил... По болезни. Чего старика мучить?

Говоря о Дмитриеве, Обухов заявил так:

— Компания Соколова пытается провалить кандидатуру, предложенную райкомом. Соколов там пятьдесят лет живет. Полвека! Все, наверное, родня ему — вот и... Да, — спохватился Обухов, — собственно, о Соколове-то и речи нет. Колхозники его отвергли, они просят вернуть в колхоз этого... бывшего заместителя — Петрова.

Я заметил, что Петров тоже не имеет специального образования, значит в районе стало уже двенадцать процентов председателей без образования.

— Это секретарь обкома свеликодушничал: приезжал он в колхоз Калинина, колхозники просят сменить председателя и называют этого... заместителя Соколова. Ну, секретарь говорит: «Давайте поддержим инициативу колхозников». Вот и послали. А в сводке, — усмехнулся Обухов, — все-таки шесть процентов.

— Но Дмитриев пока не председатель, не избран.

— Изберут! После конференции сам поеду — изберут!

В колхоз имени Молотова я приехал днем. В конторе сказали, что Соколов теперь заходит редко, но, как заметил бухгалтер, «он теперь колхозный огород превратит в золотой клад».

Я отправился на квартиру Соколова, но дома его не застал.

— Давненько что-то не заглядывали, — пожурела меня Матрена Харитоновна. — Или, может, и заглядывали, да уж к новому председателю?

Мы разговорились. Матрена Харитоновна поставила самовар, а с морозу чай был как нельзя кстати.

— А чего произошло? — отвечала на мой вопрос Матрена Харитоновна. — Ничего такого не произошло. Я-то шибко рада за Ивана Ивановича... Он теперь хоть на спокое... Хотя, по правде сказать, и тут весь день, с самой зорьки, на колхозном огороде. Мы, говорит, столько овощей наростим, что пол-области прокормим! Веселый такой стал! Навоз возят. А тут обложили каждую семью: сдавай в неделю по ведру золы и по ведру помета птичьего. Вот и выполняем твердое задание, — рассмеялась хозяйка. — Я ему все уши прожужжала: поедем к дочери — хорошо там в совхозе живут и нас приглашают. Так нет же — ни в какую! «Я, — говорит, — и тут еще могу пользу приносить, да на своей земле как-то спокойней». А за ним уже и из другого района приезжали, — тихо, словно по секрету, продолжала Матрена Харитоновна. — Сергей Устинич, а вместе с ним ихний секретарь приезжали. Долго уговаривали Ивана Ивановича: поедем, и конец. Колхоз-то уж сильно расписывали: все-то будто там можно быстро поправить, и колхозники про Ивана-то Ивановича будто слышали и попросили самого секретаря поехать пригласить. Уж и я напоследок слово замолвила: «Поедем, Иван Иванович, ведь люди

просят, надо уважить». А он ни в какую! И слушать не хочет. «Когда, — говорит, — умру, тогда со своим селом расстанусь...» Да оно, может, и верно, лучше ему здесь... Вот только беспокойство все... Прокурор сколько раз приезжал, допрашивал Ивана Ивановича. Недоглядел, вишь. Осенью-то убирали хлеба и ночами. Вот какой-то комбайнер и высыпал зерно на стерню да, видно, никому не наказал, что хлеб там оставленный. А трактористы зябь пахать стали да кучу эту и увидели. Ну, тогда акт составили, и все уж забыли, а теперь Ивану Ивановичу на шею это все повесили: недоглядел, вот и отвечай. Оно, конечно, недоглядел. Все-таки, говорят, пудов шестьдесят там было — в кучке-то, и все сопрело... Тяжело это слушать Ивану Ивановичу, тяжело. Посоветовались мы с ним да вчера отвезли в колхозную кладовую десять центнеров своей пшеницы. А теперь и спокойней нам обоим.

Рассказ Матрены Харитоновны потряс меня до глубины души. На десяти тысячах гектаров затерялся в стерне бункер зерна, и вся вина — на одного бывшего председателя... Странно как-то... Но мне вспомнились гневные слова самого Соколова: «Кто виноват?» Да, за каждую ошибку, принесшую материальный ущерб государственному или общественному добру, должен кто-то отвечать, и не только морально, но и материально. И Соколов первым подал пример такой ответственности!

Я пошел разыскивать Соколова и на улице неожиданно встретил Зину.

С раскрасневшимся на морозе лицом, в черном полушубочке, подбитом белым мехом, в пыжиковой шапке, Зина выглядела красавицей. Она чему-то улыбалась — видно, дела в порядке. Но когда я заговорил о Соколове, брови ее нахмурились и на лбу появилась едва заметная складочка. Она сразу набросилась на меня:

— Вот ездите, пишете обо всем, кажется: о навозе, о задержании снега, а вот о судьбах несправедливо обиженных людей некому писать.

Однако вскоре Зина успокоилась и, улыбнувшись, уже оправдывалась:

— Эта вспышка не случайна. Иной раз так досадно делается, что, честное слово, не знаешь, как все и понять.

И пока мы шли по поселку, Зина рассказывала мне:

— Приезжает к нам Обухов вместе с главным агрономом МТС Дмитриевым. Ну, думаю, мою работу будут проверять! А они созывают общее собрание. И вдруг: Соколова надо заменить. Обухов начал с того, что у Ивана Ивановича образования нет, а теперь будто нельзя быть председателем без диплома. А кончил тем, что Соколов попросил райком освободить его по состоянию здоровья. Колхозники зашумели: почему председатель о здоровье ничего не говорил? Некоторые заявили, что если надо, то для Соколова дадут отпуск на курорт и за счет колхоза. Словом, началось что-то непонятное. Все требуют ответа от Ивана Ивановича: чем болен? А если болен, отправляйся на курорт. А Иван Иванович говорит, что он староват и что без образования трудно стало управляться с большим хозяйством. Словом, просит освободить. После стали обсуждать кандидатуру нового председателя. А колхозники не хотят Дмитриева — очень молодой. Обухов разъясняет: «Дмитриев — агроном, с высшим образованием, будучи в МТС, несколькими колхозами руководил». А люди кричат: «У нас агроном есть, нам хозяин нужен, давай хорошего хозяина!» Кто-то предложил вернуть в колхоз Василия Матвеевича Петрова. Он председателем в колхозе Калинина. И все за это предложение. Давай Василия Матвеевича, и все тут! Обухов несколько раз выступал, а под конец, видимо, рассердился и крикнул: «Что вы тут антимионию разводите! Вы же знаете, что по-вашему не будет». После этого поднимается наш дед Савелий Петрович, помните его? Вот он и говорит: «А если по-нашему не будет, то нам, мужики, и делать тут нечего!» Прямо так и сказал! Все хотели уходить, но тут объявили, что собрание переносится

на завтра. Потом было партийное собрание. Я не знаю, что там говорилось, но на другой день на собрании выступил Иван Иванович и просил колхозников согласиться с кандидатурой Дмитриева, поскольку его рекомендует райком. А колхозники ни в какую. Они сами давай упрашивать Ивана Ивановича отказаться от своего заявления и оставаться председателем. Уже к вечеру Обухов поставил вопрос на голосование. За Дмитриева — девятнадцать голосов, остальные — против. Так и не избрали председателем. А Обухов уехал и приказал Дмитрисву руководить колхозом. Вот так теперь и живем... Вопреки всяким законам и здравому рассудку.

Вечером я побеседовал с авторами письма в редакцию, и все они в один голос заявили, что Соколова силой заставили уйти и что Обухов невзлюбил его за то, что он сильно критиковал Обухова за неправильное руководство.

Сам же Соколов говорил уклончиво:

— Колхозники просьбу мою уважили...

Я попытался вызвать его на откровенность, сообщил о разговоре с Обуховым.

— Если уж Михаил Николаевич так рассуждает, то вот вам, понимаешь, все как было,— заговорил Иван Иванович.— После уборки я маленько прихворнул. Наш районный доктор, Виктор Петрович, говорит: надо подремонтироваться. Советует в Кисловодск, сердчишко подлечить. И так он строго про мое сердце сказал, что, понимаешь, я маленько испугался. Ведь за всю жизнь отпусков мы не пользовали, не было такого заведения для председателя колхоза, да и здоровье ничего — не пошаливало. А тут... Я первым делом к Михаилу Николаевичу: прошу помочь путевку купить. Мне доктор посоветовал через райком это делать. По правде сказать, Михаил Николаевич внимательно отнесся: попросил написать заявление, обязательно сказать, что с сердцем плохо, потом, понимаешь, приложить справку врача. А после совещания в области...

Соколов добавил еще одну немаловажную деталь: на партийном собрании в колхозе Обухов потребовал от него, чтобы он написал уже официальное заявление об освобождении.

Как же быть с письмом колхозников? Ведь формально все правильно: Соколов собственноручно написал заявление об освобождении, и собрание удовлетворило его просьбу. Ненормально лишь то, что в колхозе нет законного председателя.

В Дронкино я вернулся вместе с делегатами на районную партийную конференцию. Среди делегатов был и Соколов. Представителем обкома на конференцию приехал заводделом обкома Конусов. Я переговорил с ним о письме колхозников, и Конусов посоветовал обождать. Он обещал сразу после конференции заняться этим делом, выехать в колхоз имени Молотова. И я остался ждать.

Времена меняются

С отчетным докладом выступил Обухов. Он умело построил его, сделав упор на дела, принесшие славу району: хлебозаготовки за два года выполнены, денежные доходы колхозов удвоились, подбор председателей закончен: все, кроме одного, — со специальным образованием. Вообще успехи хотя и не особенно крупные, но в сравнении с ближайшими соседними районами были. Это радовало всех. Делегаты тоже говорили об успехах, и было ясно, что работа райкома будет признана удовлетворительной. Это понимал и Обухов. Он был весел, шутил в перерывах с делегатами. Но вот в выступлении Григорьева — председателя колхоза имени Микояна — проскользнул упрек райкому за то, что лучшего пред-

седателя колхоза Соколова сняли с работы и привлекают к ответственности за порчу кучки зерна, забытого комбайнером на стерне.

— Этот пример говорит о том, что райком и его первый секретарь товарищ Обухов легковесно относятся к кадрам председателей, не берегут их, — говорил Григорьев.

После этого в выступлениях еще нескольких делегатов проскользнули упреки в адрес Обухова, пренебрегающего принципами коллективного руководства. Секретарь партийной организации колхоза рассказал довольно неприятную для Обухова историю: коммунисты колхоза дважды выносили решение об исключении из партии председателя артели — за бытовое разложение, за разбазаривание колхозного добра. Но Обухов почему-то взял под свою защиту этого пьяницу, подхалима. И лишь когда в дело вмешался областной прокурор, растратчика отстранили от работы.

Но эти критические замечания, казалось, не особенно волновали конференцию. Делегаты больше говорили о будущем района, о ближайших задачах.

Последним в прениях выступил Соколов. Он заметно волновался. Только теперь я заметил, что у него подергивается правая бровь.

Соколов начал с упреков:

— Слушал я, товарищи, доклад и думал: неужто так много мы сделали, что победами упиваемся? А сделали-то очень мало. Пусть, может, и получше соседей, но так мало, что нам самих себя ругать надо. Михаил Николаевич цифры приводил за последние два года. Это потому, понимаешь, что сам Михаил Николаевич в нашем районе два года. Он как бы за свою работу отчитывался. А ведь мы-то все, вся партийная организация, не можем вести счет с того года, когда новый секретарь придет? Не можем! Вся страна, смотрите, как далеко шагнула, а наш Дронкинский район собрал по семь центнеров пшеницы с гектара и шумит на всю область: победа! Пока, понимаешь, не победа, а поражение. Если в будущем году мы соберем по семь с половиной, Михаил Николаевич тогда «ура» закричит. Как будто у нас в районе нет еще колхозов, которые на круг по три центнера с гектара собрали? Есть и такие! А мы шумим: «Ура!» И вот я, как делегат конференции и как проживший здесь пятьдесят годов, начинаю сомневаться: под силу ли Михаилу Николаевичу вести за собой такую большую партийную организацию в таком ответственном районе? Если он доволен тремя центнерами урожая, то вожак с такими запросами нам не подойдет. Аппетит мал! Задачи-то ведь знаете какие большие поставлены? И вот, товарищи, — продолжал Соколов, — заканчивая свое выступление, я хотел бы сказать так: руководить нашим районом — большим и сложным — должны бы, понимаешь, люди серьезные. А у нас такие есть. Возьмите товарища Павлова. Он сам прошел школу колхозной жизни, во всех вопросах с душой разбирается, его в районе сильно уважают. Мне думается, что во главе нашей организации и надо поставить товарища Павлова.

Взрыв аплодисментов.

Обухов испуганно — именно таким показалось мне его лицо — глядел на рукоплещущий зал. Но едва ли и Обухов мог догадаться о последующих событиях. При выдвижении кандидатов в члены райкома Обухова оставили в списках для тайного голосования, но за него проголосовали только девять человек. И он не вошел в новый состав райкома.

В тот же день на состоявшемся пленуме первым секретарем райкома был избран предрика Павлов.

А на следующий день мы с Конусовым выехали в колхоз.

Конусов говорил, что за двадцать лет работы ему не часто приходилось сталкиваться с такими фактами: работа райкома признана удовлетворительной, а за первого секретаря — девять голосов!

— Времена меняются! — заключил Конусов.

Именно эти слова Конусова мне вспомнились на отчетно-выборном собрании в колхозе имени Молотова.

С отчетом выступил Дмитриев — молодой, лет двадцати семи, с пышными светлыми волосами.

Хозяйственный год колхоз завершил неплохо: свыше трех миллионов рублей доходов, два с половиной килограмма зерна и по восемь рублей деньгами на трудодень.

Однако все это колхозники уже знали и поэтому доклад слушали без особого внимания, переговаривались о чем-то друг с другом. Но зато, когда Дмитриев начал говорить о планах нового года и о мерах по улучшению дела с оплатой труда колхозников, все вдруг затихло: это было уже интересно.

Дмитриев рассказал, вернее, зачитал инструкцию об оплате труда, которая утверждена колхозниками артели «Путь к коммунизму», где председателем Гребенкин, и с которой колхоз имени Молотова соревнуется, как выразился Дмитриев, «по-особенному».

В инструкции было предусмотрено дополнительное начисление трудодеи за стаж работы в колхозе — кто в колхозе больше десяти лет, тому к заработанным трудодням прибавляется пятнадцать процентов. Повышенная оплата на трудодни устанавливается тем колхозникам, которые имеют за год более двухсот пятидесяти выходов на артельную работу, и только половинная плата тем, которые без уважительных причин имели за год меньше ста выходов. Предусмотрены и оплаченные отпуска после трехсот выходов на работу, и оплата дней по болезни и по родам.

Все это вызвало оживленные прения. Было решено создать специальную комиссию для разработки новой системы оплаты труда. При этом за основу собрание рекомендовало взять систему, разработанную Гребенкиным.

И вот вопрос о выборе председателя.

— А чего нам выбирать! — поднялся один из колхозников. — У нас есть председатель — Иван Иванович Соколов.

— Соколова! — дружно поддержали колхозники.

А дальше произошло непонятное. Соколов, поблагодарив колхозников за доверие, сам вдруг предложил кандидатуру Дмитриева.

В зале раздались протестующие возгласы, но Соколов поднял руку, и люди успокоились.

— На этот раз, товарищи, — продолжал он, — я ото всей души предлагаю Валентина Ивановича. Мы же за это время присмотрелись к нему. Теперь главное возьмите: советуется он с правлением? Да, советуется, единолично не командует. И вот, понимаешь, раскиньте мозгами: хорошую он перспективу рассказал про новую оплату? Очень хорошую! Пусть не сам придумал, но дорого то, что почуял в этом деле хорошее, не поленился в другой район съездить, с другим председателем посоветоваться. Вот это — самое ценное. А мы с вами поможем Валентину Ивановичу правильно руководить. Руководство-то должно быть коллективное.

Конусов, с которым мы сидели рядом, удивленно пожимал плечами. Не меньше его был удивлен и Дмитриев. Он беспокойно посматривал своими большими голубыми глазами то на Соколова, то в зал — на колхозников и, казалось, очень смутно понимал происшедшее.

После речи Соколова в зале стало очень тихо: все задумались над словами своего испытанного вожака. И Зинаида Николаевна точно забыла о своих обязанностях председателя собрания — долго не спрашивает: кому еще предоставить слово? Молчание нарушил Савелий Петрович.

— А что, мужики! — начал он. — Подумал я, чего тут говорил Иван Иванович, и скажу я вам: толково говорил.

— Соколова председателем, и конец! — крикнул кто-то.

— А ты подожди, Федька, — одернул Савелий Петрович, — когда старики говорят, молодым, скажу я вам, впору и помолчать... Так вот, я и считаю: хорошо сказал нам Иван Иванович. Хорошо! И правильно! Только не договорил он до конца. Так вот, скажу я вам, из Валентина Ивановича хороший председатель будет... Мы, старики, все к такому мнению пришли.

— Молод! — крикнули снова.

— И это правда, — согласился Савелий Петрович. — Старики тоже так думают: молодежат. А сноровка к управлению есть! А мое такое будет предложение... — Савелий Петрович почесал свою седенькую коротенькую бороденку, поглядел на Дмитриева. — Предложение такое: председателем выбрать Соколова Ивана Ивановича, а заместителем ему — Валентина Ивановича.

Зал ответил шумными возгласами недоумения и одобрения. Савелий Петрович переждал шум, заговорил снова:

— Если Валентин Иванович парень с умом, он и сам поймет, что поучиться ему у Ивана Ивановича есть чему. А нам, товарищи, так и так председателя растить надо. Пусть Иван Иванович не в обиде останется, но старость есть старость... А колхоз он, скажу я вам, шибко любит, вот и пусть поможет замену себе готовить, чтобы вожжи-то сразу в крепкие руки попали. Всякая птица учит своих птенцов летать, гнезда строить, корм добывать. Вот Иван Иванович пусть поучит Валентина Ивановича... А через годок-другой у нас опять председатель будет лучше, чем во всех других колхозах.

Речь Савелия Петровича произвела большое впечатление. И, кажется, самое сильное — на Дмитриева. Он попросил слова и заявил, что если колхозники доверят и Соколов согласится, он с удовольствием стал бы заместителем у Соколова, так как давно уважает его и знает, что поучиться у него есть чему.

Так и было решено.

Когда мы с Конусозым возвращались домой, он, припоминая события последних дней в Дронкинском районе, снова повторил:

— Вот они — новые времена!

* * *

А Обухов получил новое назначение: он стал директором совхоза. Встретиться мне с ним пришлось только на очередном областном совещании в июне. Докладчик — тот же председатель облисполкома — в числе прочих руководителей критиковал и Обухова за то, что его совхоз начал весенний сев очень поздно — лишь десятого мая — и тянул его целых пятнадцать дней.

В перерыве я отыскал Обухова. Он стал более подвижным, сильно загорел.

— А, товарищ корреспондент! — заговорил Обухов, подавая руку. — Что не приезжал — статья получилась бы... критическая: сев мы поздно начали.

Я заметил, что критики ему хватит и от докладчика.

— Это что! — махнул рукой Обухов. — Так и я умею... А вот пусть бы заглянул на поля так называемых передовиков сева — на сорняки полюбовался бы. А у нас порядок. Одним словом, — весело заключил Обухов, — цыплят по осени считать будем!

Апрель 1955 г. — июнь 1956 г.



П. ПАВЛЕНКО

★

КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ*

Ночь бомбардировки была самой напряженной. Каждая бомба несла с собой опасность прорыва. Стена подавалась. Дымясь горячей пылью размолотого снарядами камня, она уже дала трещины и местами осела. Афилон, к которому перешло заведование стеной и волчьими ямами, управление артиллерией и то трудновыразимое, но важное, что в регулярных армиях называется штабной работой, — то есть беспрестанное угадывание обстановки и безостановочное советование то одному, то другому, — посоветовал завалить проходы меж саклями, превратив весь аул в ряды сплошных стен, одна над другой. Женщины развели очаги, готовили кипяток для русских колонн. Решено было обороняться до крайности. Все требующее не боевой заботы приказано было вывести в окружающие аул сады. Скот был угнан еще накануне, речь шла о детях и престарелых, но сопровождать их никто не хотел. Они поневоле остались. Идрис, командуя всей обороной, должен был находиться сверху аула, однако с утра до ночи бродил по крепостной стене, похлестывая себя по ногам плеткой. Его манило отхлестать каждый выбитый из стены камень.

— Быстро! Быстро! — покрикивал он на каменщиков, которые заделывали пробоины под огнем русских пушек.

Афилон в сопровождении Раджаба переползал с крыши на крышу, контролируя состояние волчьих ям. В проходах меж саклями уже заложены были кучи валежника. Если русские проникнут за линию волчьих ям — костры будут запалены, стена огня преградит им дорогу. Русские ядра, впрочем, кое-где уже поджигали сухое дерево в тылу, и огонь взбегал над крышами еще жилых и не покинутых хижин, преграждая защитникам стен отступление в аул.

Афилон предложил Идрису собрать все бурдюки в ауле, наполнить их водой и привязать к спинам передовых бойцов.

— Делай!

Офицер разыскал мельника.

— Сурхай-эффенди, твоя мысль большая, крепкая. Никто, кроме тебя, валлах, не придумал бы. Я сам сразу тоже не понял... Собери все бурдюки, наполни водой, прикрепи к спинам бойцов.

Сурхай, много и растерянно думавший в часы боя, не помнил, была ли мысль о бурдюках высказана им вслух, да и не имел времени заняться этим.

Важно то, что это была верная мысль, весьма возможно, он ее и вправду высказывал.

— Э-э, малый! Мы знаем, как надо воевать! — дружелюбно ответил он, бросаясь за бурдюками.

Афилон посоветовал Идрису вооружить топорами и кинжалами женщин и подростков — для саперных работ позади стен.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 2 за 1957 год.

— Делай! Делай!

Афилон разыскал Халила согратлинского.

— Халил-эффенди, Идрис велел просить тебя... Никто не сумеет другой...

— Э-э, малый! — Халил с остервенением помогал Сурхаю крепить бурдюки за плечами джигитов.

— Крикни баб, подростков — вторую линию ям копать.

— Эх, малый, цены тебе нет!

— Хорошая кровь, глаз крепкий! — одобрил и Сурхай.

Вечером Афилон посоветовал собрать перед стеной лучших стрелков из числа раненых, разложить их на бурках и дать свершить им последний подвиг.

— Делай!

Афилон крикнул Исмила и поручил ему это. К утру девятого уже не хватало жепщи и подростков. Все были заняты в деле.

Раненые стонали без помощи, лекари тушили пожары, Сурхай командовал доставкой воды. Халил согратлинский воздвигал вторую линию обороны. Афилон спасал детей из горящих домов. Он был вымазан в саже, одежда сожжена, руки в струпьях, вид его был бедственным, он горел дважды, трижды падал сквозь прогоревшие крыши внутрь жилищ. Его уже знали в лицо как человека известного.

История его жизни была у всех на устах.

Им любовались, к нему приглядывались, ему вдохновенно подбирали отцов.

— Валлах, не Омара ли сын? — сказал однажды беносвский Байсунгур. — Омар ахульгинский, — продолжал он, — что погиб праведным, двух сыновей, помню я, отдал аманатами.

— Эх!.. Те ребята постарше будут, да и вид не в отца, — ответил мельник.

— Лабазан! Вот на кого малый похож! — заметил Идрис.

— Глаз крепкий, большой, шаг легкий, ходит, как пляшет...

Лабазан тоже когда-то отдавал сына.

В ночь ожесточенной бомбардировки Афилона видели всюду, храбрость его теперь никого не удивляла; он должен быть храбрым, потому что видна была в нем хорошая кровь.

Ночь казалась нескончаемо длинной — ночью последних подвигов. Уже начинало светать, когда пожар с особой силой охватил район вблизи стены. Десятки орудий били в одно место. Летели камни, стлался дым пополам с пылью. Афилон с бурдюком на спине пополз посмотреть размеры разрушений. Он полз на память, на ощупь, дым задушил бы его, если бы новые разрывы бомб не приносили с собой волн свежего воздуха. Стена почти не была повреждена, и он возвращался, прижимаясь к земле. Раздробленная ядром сакля преградила ему дорогу. Полуобнаженная женщина сидела у трупa мужчины. Афилон схватил ее за руку и потащил за собой, на ходу закрывая ее лицо от огня концом головного платка. Испуганная появлением черного окровавленного человека, она отбивалась, потом выхватила кинжал и, скривив губы, приготовилась к бою, но Афилон уже заставлял ее ползти, перебрасывая через завалы, прикрывая собой при взрыве ядер, и когда она схватила его руками за горло не то в припадке отчаяния, что он разлучил ее с любимым покойником, не то в злобе другого испуга, — Афилон мягко упал в ее колени. В нем не осталось никаких сил.

Начало атаки привело его в чувство. Он лежал на крыше сакли вдали от боевой стены. Тихая девушка, очень приятная, добрая на вид, сидела возле. Раны Афилонa были перевязаны. На деревянном подносе стоял горшочек с кислым молоком.

— Яхши? — спросила она, встала и, улыбаясь и махая рукой, скрылась.

В это время уже выбегали на поляну первые ряды апшеронцев. Пушки затихли. На холм выехал Воронцов. Раненые гергебильцы, с ночи лежавшие впереди стены на разостланных бурках, открыли огонь по русским. Афилон разглядел Байсунгура и Исмила. Мюрид бил с колена. Голова его была повязана тряпкой. Чеченский же наиб полз змеею впереди остальных раненых. Он хотел умереть прежде всех и на их глазах.

Шатаясь от слабости, но внутренне бодрый, спустился Афилон вниз, к тому участку стены, где вчера пребывал Идрис. Слабо курились остатки вчерашних пожаров. Раненые лежали на улицах, в проулках, на крышах. Вернувшиеся с пожарных работ лекари на глазах у всех возились с раздробленными костями, с вывороченными ребрами. Тех, кто мог стрелять, с почестью клали на крепостную стену. Ребята волокли за ними патроны, женщины заряжали ружья. Мельком увидел Афилон и ту тонкую, худую девушку, что сидела у его изголовья: она теперь полоскала какие-то окровавленные тряпки и, смеясь, оживленно рассказывала что-то неожиданное для окружающих ее женщин.

Идрис, пережив испуг ночи, был спокоен: он знал — второй такой ночи не будет, все закончится в течение дня, и энергия последнего подвига веселила его. Он стал добр, шутил с Ак-Сурхаем.

— Афилон! Идем с нами! — закричал он прапорщику. — В кинжалы ударим!

— Все приходит для того, кто умеет ждать! Дай волчьим ямам наполниться...

— Верно, верно. Ты, малый, крепко наше дело понял.

И впервые за все эти дни мельник ласково потрепал Афилона по плечу.

Как раз в это время ударили апшеронцы и какой-то офицер первым свалился в волчью яму, на железные острия. За ним посыпалась рота. Бой завязался у самой стены. Раненые мюриды, лежавшие на бурках, ударили кинжалами по солдатским ногам. Русские отхлынули назад, поджидая резервы, уже выходящие из лагеря.

До полудня шло хорошо. В полдень образовалась беда — волчьи ямы были полны. Мельник Сурхай бросился очищать их с группой стариков, негодных для боя. Из солдатских трупов складывали завалы, раненых кончали на месте, добро рассовывали в чучалы. Вид погибших солдат вселял веру в победу, да и отступить было некуда.

Стольких убитых никто не видел.

К вечеру снова образовалась беда — в садах, на западе от аула, холера свалила многих людей. Отряды, испуганные страшной хворью, отходили к аулу. Наиб Байсунгур, гость Гергебиля, вызвался защищать сады с горстью оказавшихся тут чеченцев. Чеченцы умели сражаться среди деревьев лучше всех прочих. С тремя десятками людей он держал все сады до ночи. Ночью случайное ядро свалило Байсунгура вместе с конем. Он не позвал на помощь, найти его в темноте было невозможно.

Это была большая печаль. Узнав о Байсунгуре, Идрис всадил кинжал в ствол дерева на половину клинка.

Шел третий час третьего дня боя.

Раненых велено было спешно грузить на что придется и, не перевязывая, везти в Ходжал-Махи. Их грузили на орудийные лафеты, на патронные фуры, на маркитантские арбы, на офицерских коней, сажали позади седел к казакам, сдавали на руки туземной милиции, которая волочила их на паласах и бурках.

— Не привел бог расправиться с мерзавцами,— кротко сказал Воронцов, съезжая с холма, откуда он руководил штурмом, и оставляя Бебутова одного выпутываться из трудного положения.

Но бой еще длился. Он входил в полную силу. Измотав русские батальоны, Идрис только теперь вводил в дело свои основные силы. Конная батарея, выскочив на карьере из садов, в упор стала бить за рекой в спины бегущих солдат. Всадники Мусы балаханского, подняв кверху ружья, пробовали броды. Оживали пустынные горы вокруг русского лагеря. Бой обходил лагерь дугой. Стреляли всюду. Ни тыла, ни фронта. Лагерь был окружен. Но день клонился к вечеру, плотные тени облаков и гор постепенно укрывали лагерь. Стрельба стихала, отдельные группы храбрецов еще бились, но маневрировать крупными массами уже было трудно.

Шамиль наблюдал штурм Гергебиля с высоких отрогов. Аул отлично был виден сверху. Сидя на корточках перед зрительной трубой на треноге, под большим зеленым зонтиком, имам переживал сражение, как речь к народу, он беззвучно повторял его и, как бы одаренный силой предвосхищения, вел издали так, как ему казалось лучшим.

Его существо излучало в тот день величественную силу, возбуждающую в каждом веру в невыполнимое.

Он слишком верил, чтобы проиграть. До полудня он не решался произнести слово «победа», но затем, когда оно было произнесено, не уставая искал дальнейшего ему направления.

— Хороший день, — проговорил он, не отрываясь от подзорной трубы. Он видел, как залегли в садах вокруг аула гергебельские стрелки, видел, как женщины подтаскивали к стене кипящую воду в котлах и кувшинах, как русские снаряды громили сакли Гергебиля, как горели дома, рушились лестничатые улицы, как раненые гергебельцы все гуще, все плотнее устилали гудекан, потом верхнее кладбище, потом, наконец, Аймакинское ущелье близ мельниц. Видел, как русские солдаты падали через фальшивые крыши на утыканые железными колами полы жилищ и как гергебельские старики выбирали из этих ловушек труп за трупом, освобождая место для новых жертв.

Издали, с гор, штурм казался легким, оборона веселой. Далекий гром сражения не отягощал ни слуха, ни сердца.

Но прибывающие с донесениями рассказывали ужасы. Вид самих гонцов был пугающ. Говоря или слушая, они оглядывались вниз, на аул, не веря тому, что он еще цел.

Когда имам узнал, что русских побито четыре слоя, то есть что солдаты идут в атаку по четырем рядам убитых и раненых, он отстранил трубу.

— Коня!

Его удержали ссылками на позднее время и, следовательно, на близкий конец сражения, но он настоял на том, чтобы показаться на самых близких к аулу отрогах, пока солнце выделяло его и свиту на фоне скал, и молча долго стоял на краю обрыва.

— Сражение только начинается, — сказал он. — Пусть все старшие соберутся ко мне.

Да, сражение внушало надежды, горячило воображение.

Два года назад Воронцов прошел весь Дагестан от Чечни, чтобы взять Ведено, теперь его остановили в самом начале гор.

Два года назад его побили вдаль от складов и крепостей, теперь бьют в двух днях пути от Темир-хан-Шуры.

Гергебель открывал страницу побед.

— Идрис мой, а? — шептал имам, добрая, и уже второй раз в течение дня велел послать ему серебряный орден и наибский значок.

Кибит-Магома тилитлинский, объединявший в своих руках по приказу имама руководство всеми собранными под Гергебилем частями, уже не раз спрашивал благословения на разрешение отдыха гарнизону.

— Рано! — отвечал имам.

Однако внизу, в долине Койсу перед аулом, и в лагере Воронцова было уже полусумрачно. Расстояния сближались. Горы сходились в одну.

— У Идриса не спал народ двое суток.

— Рано!

— Народ не молился сегодня.

— Я здесь для этого, я молюсь с утра.

Он велел скакать к Идрису, сказать ему: «Твой сон — твоя смерть. Помни!»

В ауле готовились к отдыху, когда гонец имама привез это красноречивое распоряжение.

Люди храпели на улицах, прислонясь к стенам жилищ. Раненых не перевязывали за недостатком лекарств. Пожаров не тушили, жалея воду. Мертвых не хоронили из-за усталости.

На стенах Гергебиля и перед русским лагерем держались сотни двести самых отчаянных. Силы их иссякали. Смены не было. Джебраил унцукульский мучился животом, лежал, изрыгая из себя кровь. Омар салтинский рыскал со своими людьми в приаульских садах. Инко-Хаджио с мюридами следил за демонстративной колонной. Хосро из Куппы умирал в доме Идриса. Был еще под рукой Исмил, но слабый, едва державшийся на ногах. Был Афилон, но его дело — стены.

Идрис сел на коня и в сопровождении всадника, везшего новый, только что полученный от имама значок — на желтом бязевом поле арабская фраза: «Верность есть мужество чистых», — выехал к стенам аула.

Конь спотыкался о трупы. У волчьих ям, рыча, лежали псы. Оттуда шло непрерывное клокотание стонов.

При тусклом свете маленьких костров пленные русские очищали ямы от своих земляков. В саклях с фальшивыми крышами восстанавливали тонкие настилы для утреннего сражения. Тут распоряжался Афилон с мельником. С ног до головы окровавленный, Ак-Сурхай снимал с убитых одежду и амуницию. Вороха сапог, шаровар, мушкетеров, белья, фуражек, флагов, ружей, нательных крестов и иконок, зашитых в полотняные мешочки денег и писем, топоров, кушаков, складных ножей, расчесок, деревянных ложек, ремней, рапцев, серебряных свадебных колец, часов, медалей лежали всюду. Это был доход боя, его урожай. Мельник управлялся тут с необыкновенным проворством.

Он сдирал одежду, как мясник шкуру с барана, молниеносно срезал подкижальным ножичком с нее все медное (медь шла в доход имама для производства пуль) — пуговицы, крючки — и раскладывал сапоги к сапогам, штаны к штанам, флаги к флагам.

Некоторые русские были живы. Их добивали. Некоторые были, к общему удивлению, даже не ранены, лишь ушиблены. Таких сдавали под наблюдение Раджабу, сыну мельника.

Не без интереса глядел Идрис на оживленный труд старика.

— Валлах, тебе сборщиком налога надо быть, а не хлеб молотье, — почти довольно произнес он.

Старик, одержимый восторгом победы, запальчиво ответил ему с достойной грубостью:

— Я воевал, когда ты еще не знал, кто будет твоей матерью, уважаемый.

Второй гонец от Кибит-Магомы едва разыскал коменданта. С благоговейным ужасом заглянул он в одно из жилищ, служившее волчьей ямой. Лицо его стало зеленым. На него вышел, шатаясь, высокий, мокрый от крови солдат с железным колом меж лопаток.

— Пришибите же кто-либо за ради бога! — прохрипел он, протягивая вперед руки, черные от засохшей крови, казавшиеся обугленными.

Отстранив солдата, Идрис вынул из патрона листок бумаги.

Кибит-Магома писал Идрису: «Если русские смогут заснуть хоть на один час, все будет потеряно для нас и для тебя».

— Яхши.

— Что передать?

— Я сказал: яхши!

Он поглядел вокруг. За ним стояли несколько бойцов с засученными по члокоть рукавами черкесок. Они приготовились умереть по первому его взгляду. Губы их шептали молитвы. Они хрипло, вполголоса бормотали возбуждающие возгласы. Идрис слез с коня, отдал его Раджабу.

— Совершим, что нам надлежит, — сказал он муллам и пошел через брешь — за стену, в темноту ночи.

Афилон поспешил за ними. Выхода не было. Предстояла смерть. Он уже готовился нырнуть в брешь стены, как чья-то маленькая шероховатая рука потянула его к себе. Он огляделся, прищурясь. Было темно. Худая девушка, та, что вытащил он из горящего дома и которая потом берегла его беспамяństwo, что-то произнесла. Уши его оступели от грохота. Он не слышал. Она потянула его за собой, провела под защиту груди камней, показала — сесть. Из-за пазухи она вынула две луковицы и кусок сыру с ячменной лепешкой. Он вырвался от женщины, но Идрис был уже далеко.

Вернувшись, Афилон съел ужин и тут же заснул, ничего не соображая, ни о чем не задумываясь.

Скоро с темной равнины, что простиралась от стен до русского лагеря, донеслось острое, рыдающее пение Идрисовой группы. Они пели песню герсев, идущих на смерть.

— Ла-илаха-иллялах! — пронеслось над поляной.

И, услышав этот страшный зов, Ак-Сурхай бросил разборку тел, обнажил шашку и тоже закричал, запел, закрыв глаза.

Он весь дрожал от возбуждения, от славы. Ноги его стали легкими, будто не знали ни пуль, ни годов, а руки напряглись в предчувствии тяжелой работы.

Он побежал к Идрису, куда бежали уже со всех сторон. Бежали, крича и беснуясь. Раненые, что не могли двигаться, стреляли вверх. Кто не в состоянии был стрелять, тот пел молитвы, тот возбуждал других.

От криков Афилон проснулся.

Халил согратлинский сидел возле него, перевязывая себе раненую ногу.

— Почему не разбудил? — спросил Афилон. — Мне умирать с последними не годится.

— Корхма! Сиди!.. Кто первый, кто последний — не нашего ума печаль. Сиди! У тебя голова сильная — последним должен погибнуть, за всех думать.

Афилон с трудом поднялся на ноги.

— Нет! Думать поздно!

— Сиди! — повторил Халил. — Я камню верю, я свой камень знаю — они не возьмут нас!

Тонкая, высокая девушка прошла мимо, молча поставив перед ними кувшин с водой.

— Она меня спасла сегодня, — сказал Афилон.

— Знаю. Сегодня все мы друг друга спасали.

— Храбрая!

— Знал, что так скажешь.

— А что, нет?

— Эта храбрая свой смех имеет. Так бы не рассказал, да ты повый, тебе надо знать.

Полки Воронцова садились ужинать, когда Идрис, порубив часовых, врезался в коней туземной милиции. Нельзя было придумать ничего более удачного, как ударить по людям, служившим захватчикам. Милицию в горах ненавидели сильнее русских, в плен милицейских всадников никогда не брали, раненых замучивали насмерть, как ренегатов.

В лагере началась паника.

Забили барабаны. Тут и там взвились ракеты. Помчались на поиски противника казаки.

Унтера тушили бивуачные костры.

И вдруг все стихло.

Стихло настолько, что, казалось, ничего и не было, кроме этой полной, неустранимой тишины, и, как обвал, в лагерь стал доноситься далекий рев Кара-Койсу.

Однако через час стрельба возобновилась с удвоенной силой — теперь уже в тылу лагеря, по ходжалмахинской дороге. Батальоны встали в ружье. Казаки бросились на коней.

Затем, когда весь лагерь был на ногах, готовый драться в любом направлении, все снова стихло. Запели у костров солдаты, поп забормотал молитвы над убитыми, запахло жареным у огней, и опять ненадолго. И так до самого утра. Ни один батальон не прилег, не присел, не был накормлен.

А на рассвете на минаретах Гергебиля запели будуны. Аул выглядел тихим и сонным. Кое-где курились развалины, но, быть может, это был дым уличных костров, разведенных всю ночь дежурившими горцами. На рассвете стал затихать и русский лагерь — солдаты побатальонно ложились спать, едва пропев утреннюю молитву.

Взошло солнце, но сражение не начиналось. Казаки осторожно выводили коней на водопой, артиллеристы смазывали пушки, конная милиция, распевая песни, перевозила раненых. Утро тучнело, вызревая в полдень. К полудню Кибит-Магома прислал гонца к Идрису: «Вижу лагерь русских — ты им добра много сделал, накормил, напоил, спать положил».

Получив письмо, Идрис разбудил вернувшегося с разведки Омара чохского, послал за неизвестно где находящимся Афилоном, велел прибыть Исмилу и поднял на ноги последние девяносто человек — ежедневно тревожить русских.

Сегодня Воронцов действовал саперами. Он приказал деятельно рыть прикрытия для орудий и вести сапы.

Джебраил унцукульский, начальник всей артиллерии, состоявшей из четырех орудий, осторожно постреливал в саперов, все время перевоза пушки с места на место. Пушки были маленькие, вреда от них русским не было.

После обеда — только лагерь Воронцова устроился на короткий отдых — нашелся Байсунгур. С десятью отчаянными ребятами он еще ночью обошел лагерь со стороны гор и, окопавшись завалами на большом холме, на виду лагеря, бил на выбор каждого, кто появлялся на ходжалмахинской дороге. Бил быков, бил коней, бил санитаров, простреливал бочки с водой, остапаивал все живое.

Исмир учил молодых рыть окопы и стрелять по команде. Как стемнеет, он и с ним сорок парней должны были проползти к артиллерийским укрытиям, окопаться, перебить всю прислугу передней батареи и взорвать орудия.

Но люди едва двигались. Многие потеряли слух и с трудом понимали, что им говорят. Воздух был сладковато-тошный, чуть-чуть с дымком, от

него начинало млеть лицо и голова делалась сонной. Жаркий день припекал мертвецов вчерашнего сражения. Хоронить их было некому.

Но жизнь шла.

Амузгинцы правили кинжалы, согратлинские каменщики чинили стены, старухи волокли из окружающих аул садов неразорвавшиеся гранаты.

Под вечер прискакал третий гонец и долго искал Идриса по всему аулу. Никто не знал, где наиб. Его нашли наконец на мельнице у Сурхая. В одних шароварах, обнажив торс, он молча хлестал себя нагайкой по плечам, а мельник растирал избитые плечи и спину тряпкой, смоченной в соленой воде.

— Якши, хорошо будет, — приговаривал он, — сон соли не любит. Три дня спать не сможешь.

Гонец привез распоряжение Идрису и всем уважаемым гостям его: Омару чохскому, Джебраилу унцукульскому, Байсунгуру беноевскому, Хосро, а также Афилому — прибыть на гору для серьезного разговора.

— Когда я выеду — все заснут, — сказал Идрис. — Я должен остаться.

Гонец, забрав приглашенных, выехал, не медля ни минуты.

Идрис надел чоху на разгоряченную спину, вскочил в седло и поехал по улицам аула, играя плеткой.

— Благочестивые — на подвиг! — кричал он, будя ударами спящих, а малоподвижным сообщая юную быстроту походки.

Человек пятьдесят битых бежали перед его конем.

— Кто шарияту верен, тому нечего говорить! Кто в бога верит, тот всегда храбрый! — покрикивал Идрис, выводя людей за стены аула и бросая их — в который раз — на ошалевший от усталости русский лагерь.

Совещание военачальников назначено было в палатке самого Шамиля. Съехались к полуночи. Долго ждали Хаджи-Мурата и наконец начали без него.

Докладчиком был Кибит-Магома, командующий всеми отрядами от лица имама.

Обычно красноречивый до глупости, он на этот раз был молчалив и, неясно представляя, что надлежит сейчас предпринять, охотно предоставил первое слово для сообщения о Гергебиле Афилому.

План прапорщика был прост и оттого всем показался опасным. Он предложил бросить конницу Хаджи-Мурата на Ходжал-Махи и запереть дорогу Воронцову из гор на плоскость. Конницу же Даниэль-бека следовало поставить на кумухской дороге, чтобы закрыть Воронцову и путь отступления на юг Дагестана.

Выслушав прапорщика, Кибит-Магома щелкнул языком:

— За один раз много думать нехорошо. Туда пойдем, сюда пойдем — только свою силу раздробим.

Ему хотелось действовать, не деля отряды и сохраняя в своих руках управление боем, но командиры думали иначе. Им план Афилона понравился. Он был простой и смелый, понять его было легко. Имам предложил высказаться. Омар салтинский, молодой, недавно ставший известным наиб, привез с собой из Гергебиля спокойное сознание победы. Он видел, что там, внизу, Идрис уже победил и что надо теперь думать о дальнейших делах. Он высказался за набег. Муса же балаханский, не видя на совете Хаджи-Мурата и не зная, какого мнения будет тот держаться, молчал. Его мнение было готово — поступить наперекор Хаджи-Мурату.

Инко-Хаджио оказался, напротив, за выжидание.

— Афилон хорошо говорит, только дело плохо знает, — сказал он зло. — Наш народ в бою хитрить не любит, наш народ честь любит. Надо защищать Гергебиля, а начнут отступать русские — бить их.

Опять послали за Хаджи-Муратом, но не успел гонец вскочить на коня, как начальник кавалерии вошел, прихрамывая, и, поклонившись имаму и пробормотав что-то, сел поодаль. Шах-Аббас, правитель дел, вкратце передал ему, что обсуждалось. Хаджи-Мурат кивнул головой, ничего не сказав.

Шамиль спросил его:

— Ты как думаешь, Хаджи-Мурат?

— Как скажешь, так и поступим, имам. Должен быть один хозяин, одна голова, — с неестественной скромностью произнес знаменитый аварец.

Тут Кибит-Магома сделал ошибку, начав говорить. Был он полной противоположностью Хаджи-Мурату — молчаливому, упрямому. Все вертелось в Кибит-Магоме. Он заговорил, покачивая туловищем и вертя в руках четки, заговорил вдруг здраво, цитируя коран и Шамиля, но заговорил как бы сразу за всех, высказывая все точки зрения, и было непонятно, что он думает и чего хочет сам. Полчаса назад он еще не знал, соглашаться ли ему на предложение Афилона или отвергнуть его, но сейчас — в процессе говорения — твердо пришел к мысли, что именно так, как говорил Афилон, и следует поступить. И главным образом потому, что в этом плане Хаджи-Мурату придется взять на себя самый серьезный участок операции и он не сумеет ни сказать, что его не пустили в дело, ни приписать себе потом, если будет победа, общий замысел операции.

За Хаджи-Муратом водилась такая привычка: считая себя лучшим военачальником, он избегал операций, где не был главным. Он не любил подчиняться, не умел работать сообща в сложном деле, а откровенно предпочитал набег, не стесненные рамками большого, ответственного сражения.

Слушая Кибит-Магому и понимая из его речи только то, что дело будет запутанное, Хаджи-Мурат несколько раз медленно покачал головой и посмотрел на имама. Он отлично понимал, чего от него ждали. Если удастся запереть Воронцову путь в Ходжал-Махи, то, конечно, вся слава достанется ему, Хаджи-Мурату, но зато если сардар уйдет, то вся вина будет на нем одном, на Хаджи-Мурате.

Поняв это, он перебил Кибит-Магому, сказав, что поздно думать о таком деле, сейчас трудно перебросить в тыл русских нужные силы так, чтобы русские не заметили.

— Наш народ хитрить в бою не умеет, — опять сказал Инко-Хаджио, — наш народ честь любит.

Хаджи-Мурат, чуть улыбнувшись, взглянул на него и, хотя, по-видимому, не был согласен по существу, все же одобрительно кивнул головой. Он не разделял увлечения имама и Кибит-Магомы европейской манерой воевать и всеми силами противодействовал ей, где мог.

Из Гергебиля неслось легкое грохотанье залпов и криков. Идрис шел в атаку на русских. Она была десятой в этот день. Командиры молчали.

— Я говорю дело, — сказал Афилон. — Идрис не отдаст Гергебиля, но нам этого мало. Разбить князя...

— Идрис должен сам разбить русских, — не скрывая раздражения, сказал Инко-Хаджио. — Аул крепкий, народу много, начальник хитрый.

Кто-то засмеялся.

— Тогда зачем собрали столько народу? — спросил Афилон. — Одних конных три тысячи.

Хаджи-Мурат покачал головой.

— Нет, нельзя. Народ у нас сильно болеет.

Он имел в виду холеру, начавшуюся дня два назад в его частях и перешедшую к русским.

— Из Ходжал-Махов, — добавил он, — не выведу обратно и половины. Смерть большая, народ жалко.

Прислушиваясь к звукам ночного боя и задумчиво качая головой в лад своим мыслям, Шамиль сказал с печальной, немного торжественной иронией:

— Хорошо бьется, Идрис, очень ладно бьется, и — смотрите — холера ему не мешает. Русские тоже стояли и стоят — и им она не мешает.

— Идрис ладно бьется, хорошо дело идет, — сказали один за другим начальники, но никаких предложений не высказали. Ссориться с Хаджи-Муратом никто не хотел, да и к тому же некоторые из них были обижены. Муса балаханский, рассчитывавший, что предложение отрезать русских будет сделано ему, а не Хаджи-Мурату, сидел, потупив глаза, и не принимал участия в прениях; Муса-Хаджио чохский имел небольшой отряд и тоже помалкивал. Муртузали, брат Кибит-Магомы, Афилон и Даниэль-бек одни настаивали на обходе.

— Идите, — сказал Шамиль, — я подумаю, что предпринять.

Наибы, пятисотенные и сотники, выйдя из палатки, стали вполголоса обмениваться мыслями о плане завтрашнего сражения, а Хаджи-Мурат, ни на кого не глядя, сел на коня и поехал к своим частям.

Глава 7

Князь Воронцов еще утром, при обходе раненых, спросил Бебутова, каковы его предположения.

— Ну-с, дорогой князь Василий Осипович? — шутливо обратился он к Бебутову.

Худой, длинноносый, с взъерошенными, прямыми, будто из темной хвой, волосами, Бебутов недовольно поглядел на Воронцова.

— Что ж, ваше сиятельство, война всегда война, — неопределенно ответил он.

— Конечно, князь, конечно. Всё в руке божьей. Ну-с, а, так сказать, ближайшие ваши планы?

Бебутов еще раз взглянул на него с резкой злобой и отвернулся.

Следуя всегдашней своей привычке — в трудные минуты избирать роль гостя, — Воронцов и теперь делал вид, что начальство здесь не он, что командует и за все, следовательно, отвечает Бебутов.

— Было бы мне поручено, ваше сиятельство, начальствовать в операции, так я бы имел такой план. А так одни пустые мнения в голове, ваше сиятельство, — неучтиво ответил начальник Дагестанского отряда.

— Да, трудно, трудно, — произнес Воронцов, понимая, что Бебутов отвечать согласен за что угодно, но не поможет ему ни в чем.

Днем он перемолвился об операции со своими адъютантами, которым, по стариковской манере, весьма верил, а ночью, за ужином, вызвал на разговор Аргутинского. Этого тучного и грубого армянского князя он высоко ставил и побаивался его. Старый кавказский генерал, князь Моисей Захарович Аргутинский-Долгоруков был в ту пору уже очень известен, если даже не знаменит, на Кавказе, но слыл за человека хитрого, жестокого, чрезвычайно скрытного, медлительного в действиях. О нем говорили, что он никогда еще в жизни не приходил к месту сбора вовремя, да и родился он на семнадцать суток позже, чем следовало. В нем было что-то славянофильское вместе с грубым остроумием духанщика, самодурством армянского помещика и демократизмом солдата. Мнения о нем людей расходились. Одни считали его не столь храбрым, сколь сообразительным, другие — в том числе и наместник — находили его оригиналом с крупным военным талантом, третьи — в их числе и генерал Бебутов — называли его за глаза Моисеем-духанщиком, скрягой и жуликом. У горцев же был он известен под кличкой Донгуз-Аргут, что значит Аргут-кабан, человек без слова и чести, грабитель и палач. Но одного все же никто скрыть не

мог — генералом он был выдающимся, хотя и тут пытались удачи его объяснить счастьем, не находя в его личности ничего яркого, что всегда-де должно отличать полководца.

В боях Аргутинский бывал действительно скорее смешон, чем вдохновенен, с первыми выстрелами надевал — даже летом — шапку с наушниками, чтобы не слышать выстрелов, от которых у него болела голова. Лесов не любил и упрямо старался не иметь в них боевых действий, говоря в оправдание, что у него от деревьев «очень мелькает в глазах». Даром речи не обладал и людей разговорчивых, красноречивых не терпел. (О покойном Пассеке говаривал: «Ну, какой Пассек генерал? Пассек — генерал! Пассек — поп, ей-богу. Поет, поет — ничего не понятно».) Когда Аргутинский говорил сам, то всем на смех, потому что русский язык знал скверно. На коне сидел грузно, по-маркитантски, но при всем том фигура его производила большое впечатление. Был он широк в плечах, толст, крепок, одет с ермоловской небрежностью, молчалив в испытаниях, вынослив, всегда с трубкой на длинном, почти до полу, чубуке. Чубуком этим он нещадно колотил горских ханов и любил хвастаться, что чубук у него из особого кизила, армянского, крепче железа.

— Ни один голова не может его выдерживать, — говорил он. — Очень сухой дерьево, приятнейши запах имеет.

К числу его недостатков относили также и то, что он откровенно презирал эту сложную и увлекательную игру с лазутчиками, ханами и духовенством, которой изо всех сил занимался Воронцов и которой теперь занялись его генералы, заведшие у Шамиля своих кунаков и тайных союзников. Аргутинский плевал на все это. Он был слишком ленив, чтоб об этом заботиться.

— Вот мой союзник, — говаривал он в кругу близких, похлопывая себя по толстому, не по-мужски мясистому заду. — Когда ей тепло — я наступаю, когда ей холодно — значит домой пора, тогда я отступаю.

Князь Моисей Захарович Аргутинский явился к наместнику на обед молчаливее обычного, неумеренно ел, зорко всматривался в наместника своими маленькими, жирными глазками и, громко чмокая, посасывал трубку, что всегда было признаком его крайнего возбуждения.

— Ну, что скажешь, князь? — спросил Воронцов. — Вашим мнением всегда дорожу.

— Э, что скажу, ваше сиятельство! Отстали мы тут, ей-богу, — пробурчал Аргутинский. — И как нынче правильные войны ведутся, того мы совершенно не знаем. Ей-богу!

Воронцов улыбнулся и, желая сказать комплимент, приготовился побить его, но Аргутинский, увидя это, быстро заговорил далее:

— Рази война тут? Охота, ей-богу, охота, не война. Волка ноги кормят. Также охотника. Вовремя прийти, вовремя уйти. Так я толкую.

— Видите ли, милый князь...

— На вверенном мне участке я не воюю, ей-богу — хожу туда-сюда. Война — это ноги, ваше сиятельство, — выпалил разом Аргутинский и, израсходовав красноречие, глубоко затянулся трубкой, окружив себя облаком едкого дыма.

Худой и топкий Воронцов слабо взмахнул рукой перед глазами, от габака Аргутинского у него щипало в глазах.

— Да, трудно, князь, трудно, — сказал он, морщась и кашляя, но продолжая смотреть на Аргутинского и как бы ожидая от того дальнейших высказываний.

Выхода не было, и Аргутинский вздохнул и продолжал, но уже не торопясь и не философствуя.

— О сем гергебильском деле... — забурчал он, — о сем деле так думаю, что они нас в этом горном мешке беспрерывно запрут. Клянусь бо-

гом! Ноги у них хороши... В маневре опасны. Хаджи-Мурат это может, клянусь богом!

Вытаращив свои полуживые, склеротические, с кровавыми белками глаза, он смело высказал предположение о возможном рейде Хаджи-Мурата в тыл соединенному отряду.

Воронцов, слушая его, улыбался снисходительной улыбкой, будто генерал плел явную ерунду, которую лишь неудобно прекратить. Но в душе предположение опытного Аргутинского привело наместника в ужас. Не дай бог повториться сорок пятому году!

А князь Моисей Захарович между тем как раз явно намекал на возможность его повторения и, не скрывая злорадства, высказался за скорейший отход на Ходжал-Махи. Князь Воронцов, дурной и книжный полководец, раздражал Аргутинского своей страстью к войнам. Аргутинский, да и все кавказские генералы предпочли бы выполнить все его мечты своими руками с большим успехом и меньшим риском.

За столом в тот час были одни штабные, свои, и врач Толмачев, человек, близкий к наместнику, резко и очень страшно заговорил о холере, вспыхнувшей два дня назад в некоторых частях. Аргутинский, услышав новый, вполне благородный мотив для отступления, не желал давать Воронцову ни одного оправдательного соображения, а добивался того, чтобы тот сам, без всякой холеры, сознался в дурном ведении боя. Он запыхтел и накинулся на врача.

— Самые большие потери от холеры,— говорил Толмачев,— в частях, имевших соприкосновение с противником.

— Нэ с противником, — перебил его Аргутинский, — с зеленым персиком соприкосновение, клянусь богом! Которые роты лежали в садах, — сказал он с явной радостью, — все сейчас сидят без штанов; которые ходили в дело — все здоровы.

Но холера в самом деле была не маленькая, и Толмачев без труда убедил Воронцова, что отмахиваться от опасности большой эпидемии будет неосторожно.

— Я уже роздал маркитантам Воронежские капли, — сказал Толмачев.

— Помогает? — прищурился глаз, спросил Аргутинский.

— Весьма заметно, князь, но средства мои ограничены.

— Да, трудно, трудно,— сказал Воронцов, улыбаясь своей удивительной мудрой улыбкой, и больше ни о чем не расспрашивал.

Вскоре Аргутинский откланялся, и князь-наместник остался один. На окраинах лагеря шумела стрельба. Почти уже решив снять осаду Гергебиля и вернуться в Ходжал-Махи, Воронцов все еще, однако, надеялся на что-то и медлил с приказом.

— «Испанка», — сказал он адъютанту Маевскому, — генерал Массена рассказывал мне в Париже, что это была там у него за война. Великолепный полководец, знаете, этот Массена, а проиграл Испанию только благодаря своему императору. Когда каждый шалопай имеет возможность, запершись в каменном доме, драться с батальоном, борьбу приходится вести с душой отдельного человека. Тут большие батальоны не всегда побеждают, — сказал он фразу Наполеона и учтиво улыбнулся. Он был современником и, более того, противником Наполеона в войне 1812—1814 годов и даже победил под Лейпцигом, поэтому он позволял себе иронизировать над гением по праву победителя.— Массена, помню, выдвигал оригинальные меры. «Если бы я умел писать, князь, верьте мне, я бы усмирил Испанию в течение месяца», — говорил он тогда мне... Умно, очень умно! Конечно, писать-то — в расширительном смысле, в смысле провозглашать, афишировать.

— Ваше сиятельство, Массена, быть может, ничего другого не оставалось, как искать недостатков в военной системе Наполеона, и это умно,— заметил Маевский.

— Однако не вполне верно. Вы знаете, мой дорогой капитан, среди ошибок гениальных людей не так уж много ошибок посредственных. В том, что они, эти великие люди, отвергают или обходят, скрываются столь же великие возможности, как и в том, что они делают. Отвергнутые возможности оказываются чаще всего преждевременными в истории или несвойственными этим гениям. Много, отвергнутое гениями, было бы великим делом для их противоположностей. Бонапарт — уверяю вас — сумел бы выиграть Испанию, выиграл бы и Москву, но Наполеон уже не умел этого.

Он помолчал, пожевал тонкими губами, ласково улыбнулся хорошей мысли, пришедшей в голову.

— В Испании требовался проповедник,— сказал он,— да, нечто вроде законодателя, да-да, что-нибудь вроде Карно или Лафайетта, а генерала Массена, как и нашего милого князя Моисея Захаровича, не учили уловлению человек. Сожалеть приходится. Наш милый Шамиль выигрывает именно потому, что он литератор.

И, встав с походной кровати, на которой он согласно предписанию врача должен был проводить час или два после еды, Воронцов потребовал плащ, фуражку, шарф, трость и, по-стариковски аккуратно одевшись, вышел в полузаснувший лагерь, приказав никому не сопровождать его.

Всюду чадили костры, шумели и стонали люди. Стрельба раздавалась довольно близко, но никого уже не тревожила. Возле маркитантских арб раздавались песни. Воронцов приблизился к ближайшей такой арбе, у которой хиленький, ловкий старичок в коротком тулупчике с великой нежностью разливал в стаканы из глиняного кувшина темную жидкость. Офицеры и солдаты вперемежку стояли перед стариком.

— А ну, голубоньки, родненьки, откушайте докторской,— приговаривал старик. — А ну-ка, будьте здоровы, дай вам господь бог удачи.

— Шкалик Воронежской, Илюша! — услышал наместник говорок знакомого капитана Оленина, кажется, из Дагестанского полка.

— Командирской, любительской? — спросил старичок и, не ожидая ответа, наполнил рюмку вместительностью не меньше чайного стакана.

— Будьте здоровы, дай вам господь бог...

Капитан опрокинул в себя рюмку. Солдаты смотрели с блаженным сочувствием.

— Ах, крепка! Ах, в пятки шибанула,— произнес капитан и закрыл глаза ладонью.

Солдаты зашмыгали носами и плотнее придвинулись к арбе. Едкий, удушливый запах Воронежских капель распространился в воздухе.

Покачав головой, Воронцов отошел за арбу и стал подвигаться на крики раненых, раздававшиеся где-то рядом, почти у его ног.

Темнота, ярко освещенная то тут, то там огненными пятнами костров, была тяжела для его глаз. Вьючные обозы грузились, как ему казалось, на самой дороге, солдаты из колонн, работавших поутру, вповалку лежали на голой земле, вскрикивая сквозь сон. Он шел медленно, часто нагибаясь к земле.

— Тише ты, господи исусе... Надень глаза на ноги-то! — услышал он голос женщины и почувствовал, как чьи-то руки схватили его за плащ. Он нагнулся. Полная, безобразно-красивая от слез женщина сидела на камне над телом рослого апшеронца-фельдфебеля.

— Иди, ваше благородие, куда шел, — махнула она наместнику, не

узнав его, и снова запричитала: — Ой, господи исусе, господи! Ой, и что ты наделал мне! Отдай, слезно прошу, отдай, умрешь ведь! — лепетала она, дергая его за волосы и стуча кулаком в грудь. — Пожалей, отдай, Ефремушка...

Апшеронец лежал, закрыв глаза.

— Что случилось? — строго спросил Воронцов.

— Ай, да присмотрите, люди добрые, сердце мою выслушайте, сердце мою вдовью прижалеите, — нараспев заговорила женщина, глядя серую руку фельдфебеля.

— Ах, боже мой, перестаньте вы, — сказал Воронцов. — Все мы, милая, в руке божьей... Да и не место, знаете...

Апшеронец открыл глаза, хрипло произнес последним, падающим, неверным голосом:

— Уйдите к хренам, ваше благородие, кончаюсь я.

Женщина трянула фельдфебеля за руку.

— Ефремушка, бог тебе судья, отдай!

— Отойди от меня к ляху, кончаюсь я, — и стал выгибаться, как бы прислушиваясь к чему-то и косым, мертвеющим взглядом как бы приглядываясь к последним движениям своего тела.

— Да вы, милая, перестаньте, — опять тихо сказал Воронцов и отодвинулся.

Женщина поднялась с земли, страшная, косматая.

— Пристал ты ко мне, старик, не в тот час. Иди, пока силóm не наладила.

И, покачав головой, он покорно пошел дальше. Впереди все еще раздавалось много криков, и по ним он судил, что находится в середине лагеря.

Теперь попадались одни раненые. Они лежали рядами на разостланных шинелях, на ворохах травы, на чувалах, арбах, на конской сбруе и просто на земле. Фонарь на высоком шесте у фельдшерского места тускло освещал ряды стонущих тел. Тут же, под фонарем, и перевязывали. Священники наклонялись к умирающим. Плакали товарищи.

— Кого проводили, батюшка? — спрашивал санитар. — Третьего с краю, что ли?

— Да вот того, рябенького...

— Рябенький ще живой..

— Твое дело за сим смотреть, — устало отвечал священник, переходя к свежей группе и спрашивая устало сразу нескольких раненых:

— Ну, кого, христолюбивые воины, проводить?

Унтера шныряли меж тел, выкрикивая по ротным спискам фамилии и отмечая карандашом убитых и раненых.

Кто-то, шевеля умирающее тело старого егеря, беспокойно спрашивал:

— Панкрат, а вожжи ты куда девал? Вожжи, говорю, а?

— Прости меня... — едва лепетал тот в ответ.

— Да шо мне тебя прощать, ты мне про вожжи скажи, на меня записаны.

Главкомандующий отошел стороной. Тяжелый запах пота, крови и испражнений стоял над поляной. И было темно и страшно, и от грохота неумолкающих за лагерем выстрелов и криков становилось зябко на душе, но вернуться за, не дойдя до конца этой печальной поляны, он не мог и шел, опираясь на палочку и сутулясь, чтобы скрыть свой высокий, заметный рост.

— Ефрем помер! — пронеслось по рядам. — Первой роты фельдфебель!

Молодой красивый солдат, сидевший у костра с перевязанной ногой, крикнул в ночь:

— Отошел, значит, Ефрем Ефремович, хозяин?

— Фольсированным! — подтвердил кто-то. — Кругом марш и бегом помер.

— Ну, тогда помянем Ефрема Ефремовича, — сказал солдат. — Как был он отец нам и попечитель, я, значит, от всех помяну, ребята.

Все, кто способен был двигаться, быстро заковыляли к костру.

Весела солдатская доля,—

запел солдат, и Воронцов узнал в нем того песенника, которого третьего дня выставил ему Бебутов среди хора.

Умирай во чистом поле,
В чистом поле, на горе,
В лесу темном, на реке,
Да на море-океане,
Да на острове Буяне,
Игде люди, игде нет,
Игде только божий свет.

«Что за песня? Никогда не слышал», — подумалось князю, но он не удивился этому, а был рад, что в эту ночь узнал невиданное, неслыханное и проникал не столько в глубину своего лагеря, сколько в живую человеческую душу своего солдата.

Песня была, конечно, самодельная, слова играли в ней последнюю роль.

Умирай, солдатушко, геройски,
Про родимую сторонушку не плачь,
Эх, не плачь, да не горюй, да не вспоминай.

И стало важно, торжественно на этой тяжелой, грязной, кровавой поляне.

Эх, да не плачь, не горюй, не вспоминай,—

повторял поющий пронзительно, во всю силу голоса, будто он кричал кому-то дальнему, кто не услышит.

Эх, да не плачь, не горюй, да не вспоминай, —

повторил он назойливо, не желая расстаться с этими ласковыми и печальными словами песни, и кто-то другой, из тьмы, из длинного ряда неподвижных тел, примкнул к песне надтреснутым, грубоватым баском. Голоса искали один другого в темном, путаном воздухе и, найдя, сливались.

Да твоя сторонушка при тебе осталася,
Сколько земли ни схватил — вся твоя.
Сколько травушки ни скосил — вся с тобою,
Сколько цветиков ни сорвал — все в руке.
Ты не плачь, не плачь, солдатушко,
О семействии, солдатушко, не жалеи,
Вся пристроена, вся в довольствии,
Вся в довольствии—счастлива.
Отдали супругу твою в чихгауз отдыхать,
А сапожки у соседушки на ногах,
А шинелька у ротного на сохранении,
А телок мирно спит у меня.

И опять, как те разговоры, не понял Воронцов песни. Молодая нескладность ее, еще не отесанная веками, резала его ухо и отвращала слух от мелодии, бесконечно грустной и нежной, нежной, как молитва. Но как ни морщился он, как ни качал головой, а дошла наконец песня и до него. Где-то в глубине, в далекой, давно не троганной глубине души, под княжеством, под капиталами, лежало зерно простой, тоже солдатской души. И она вздрогнула — потянулась к песне. Он остановился, сжав тонкие умные губы, и почувствовал себя старым царским солдатом, таким же, как эти вот, только еще более старым и несчастным, чем они.

«А ведь ты дуришь на старости», — сказал трезвый голос сознания, и, качая головой, охая и улыбаясь, Воронцов заторопился к себе в палатку.

А песня шла по лагерю. Голоса примыкали к ней один за другим, и, обгоняя и заглушая друг друга, они долго еще будили лагерь, заставляя вздыхать и плакать не одну солдатскую душу.

— Воронежских капель, — сказал Воронцов, входя к себе.

— Человек не может выдержать этого лекарства, ваше сиятельство, — замялся адъютант.

— Рецепт!

Он сел за походный столик, бывший с ним под Дрезденом и Лейпцигом, далеко отставил от глаз рецепт доктора Толмачева, прочел, и у него закружилась голова.

Взяв на столе коран во французском переводе, сопровождавший его повсюду со времени приезда на Кавказ, раскрыл наудачу, прочел: «Между людьми есть такие, которые служат богу, как бы стоя на чем-либо остроконечном: если с ними бывает что доброе, они при нем спокойны; а если с ними бывает что бедственное, они совершенно изменяются — они несчастны и в настоящей жизни и в будущей; это есть очевидное несчастье».

И хотя ни с чем не смог ассоциировать прочитанную фразу, но решил осаду снять и, не раздумывая, отойти к Ходжал-Махам. Кстати, в Петербург еще ничего не было сообщено о походе, который и ранее характеризовался как рекогносцировочный. Немедленно распорядился: одному батальону из Дагестанского отряда и команде саперов привести Ходжал-Махи в надлежащее оборонительное положение, а общее командование отходом поручил Аргутинскому.

— К черту из этого мешка! В горы!

И, немного почитав из корана, заснул на двадцать третьей суре, гласящей: «После них мы воспроизвели другие поколения. Ни один из этих народов не предупреждал назначенного для него срока, не замедлял его. Мы посылали посланников наших порознь одного после другого: каждый раз, как приходил посланник к которому-либо народу, он принимал его за лжеца; и мы давали возникнуть одному народу вслед за другим и делали один для другого предметом рассказов».

Сны шли значительные, снилась история, бал у маршала Мармона в Париже, где — после танцев — обсуждали лейпцигское сражение и Бертье сказал: «Поскольку мы живы, я полагаю, что мы все сражались плохо».

Раджаб, сын мельника, был с Афилоном на совещании и должен был немедленно вернуться в Гергебиль с вестями для коменданта Идриса, но дело повернулось иначе.

Имам решил небывалое — уговорить Хаджи-Мурата на операцию в тылу русских. Велено было поехать и уговорить его Афилому. Время шло к заре, ночь оседала, как виноградный сок, когда выехали они к ставке Хаджи-Мурата.

Стояла тишина. Гергебиль виднелся внизу.

— Идрис спит, — сказал Афилон.

Но вот донеслось отдаленное эхо выстрелов. Идрис не спал четвертые сутки и никому не давал спать — ни своим, ни русским.

В палатке Хаджи-Мурата было темно, часовые расспрашивали вполголоса, кто и за каким делом.

— Кисса? — раздался спокойный голос аварского наиба.

— От имама.

— Зайди.

Когда вошли, Хаджи-Мурат зажигал огарок свечи (русское новшество), лежа под буркой.

— Здравствуй, — сказал он Афилону по-русски, — учить приехал? А это кто? — спросил про Раджаба. — Если нукер твой, пускай с конями будет.

— Это помощник мой.

— Молишься, шариат признаешь? Валлах, через год наиб будешь, — зло засмеялся Хаджи-Мурат.

Хаджи-Мурат лежал одетый, в оружии. Перед ним на куске русской газеты валялся огрызок яблока. На русском штыке, вколотом в землю, мигала свеча. Серьезное, злое и умное лицо наиба было весело.

— Ну ладно, учи меня, — сказал он. — Опять про Ходжал-Махи?

— Опять, — и, развернув карту, Афилон стал медленно объяснять наибу всю важность предполагаемой операции, убеждая, уговаривая и улещивая Хаджи-Мурата. Тот слушал строго, внимательно переспрашивал, заглядывал в карту, снова переспрашивал, и, когда Афилон был уверен, что убедил, Хаджи-Мурат вымолвил:

— Имам если б хотел меня послать — к себе позвал бы, а не тебя послал. Там у него три сардара сидят, четки перебирают. У русских один сардар, у нас — три. Кибит-Магома — сардар, Муса балаханский тоже сардар, и Омар чохский — третий. Я кто? Я никто перед ними. Ты молодой, а старше меня ходишь, учить приехал. Не обижайся, правду тебе говорю, я уважаю тебя, слыхал твое дело.

Потом подумал, коротко сказал:

— Ёх.

— Твердо?

— Твердо.

— Иمامу что передать?

— Имам мой ответ раньше знал, чем ты приехал сюда. Он у нас святой человек, вперед на много видит, — серьезно отвечал Хаджи-Мурат, не глядя на Афилона.

Обратно ехали молча. По краям неба, вдали, гремели горы, внизу, наверно, шел дождь.

— Не согласен? — спросил Сурхай.

— Не согласен, — ответил Афилон. — Обиду имеет. Если бы имам поручил ему быть главным, тогда пошел бы.

— Наши говорят — ханский человек он, — сказал Сурхай. — Имам новый закон дал, народ учит, а Хаджи-Мурат легко живет, без заботы.

— Да.

— А лихой джигит! — с завистью сказал Сурхай и неожиданно добавил: — Такого зарубить — вот слава пошла бы!

Холера тотчас прекратилась, как оставили Гергебиль. Воронцов недолго был огорчен неудачей: осада Салтов занимала его целиком. Оставив в Ходжал-Махах Дагестанский отряд Бебутова, он догнал Аргутинского на Дюз-Майдане, полный удивительных замыслов. Согни арб и

выючных коней уже тащили со всех сторон бомбы и ядра, орудия несли на руках.

— Если б он маленький был, я б его курить научил, — сокрушенно сказал Аргутинский своему отрядному доктору, такому же циннику и чудаку, как и он сам. — Надо ему, кацо, какое-нибудь дело придумать — не даст же воевать нам, не даст, ей-богу.

Дело быстро нашлось.

Еще весной, задолго до похода, приехал к Аргутинскому из Тифлиса профессор Абих, геолог. По поручению наместника он изучал Кавказ и с небольшим конвоем путешествовал из аула в аул, собирая камни. На Аргутинского работа профессора тогда еще произвела впечатление чепухи, и не было для него лучшего удовольствия, как выслушивать рассказы казачьих урядников о поисках камней для профессора. Однажды, в порыве непонятого озорства и хамства, он и сам послал Абиху три арбы речных голышей в подарок.

Пока шла осада Гергебиля, Абих странствовал по Дюз-Майдану. Сейчас он донес — найден каменный уголь.

— Генацвале, вот как раз! — И Аргутинский, крестясь, заторопился к наместнику.

— Чем горжусь, что в ваше время живу! — вдохновенно сказал он, входя в палатку наместника. — Камни, кацо, камни вам повинуются, ваше сиятельство! Как все мы мечтали, как думали, а ну, найти что-нибудь — и никогда ничего! И вот — нате! — Абих, как вы его послали, нашел. Угольный камень, вы только подумайте!

Тотчас же были посланы инженерные батальоны для разработки залежей. Наместник дни и ночи проводил теперь за разговорами о каменном угле. Открытие это во всех отношениях было блистательным — уголь решал судьбу зимних кампаний и зимних укреплений в горах. Без топлива зимние походы были невозможны. Без топлива все укрепления носили летний характер. В осенние экспедиции солдат сверх положенных восьмидесяти фунтов нагружал на себя еще и вязанку дров.

Через неделю после находки угля обнаружили торф. Наместник ходил радостный, окрыленный. Планы рождались у него один за другим, и, чтобы не отвлекаться от новых дел, он полностью передал осаду Салтов в руки Аргутинского.

— Ну-с, каковы ваши намерения? — рассеянно спросил он у генерала, провожая его.

— Война объяснять невозможно, ее показать надо, — самодовольно ответил Аргутинский, теперь уже совершенно уверенный в успехе. Отъезжая к Салтам, он все же оставил распоряжение, чтобы наместнику через два дня на третий приносили по куску каменного угля из небольшого — в две арбы — секретного запаса, сделанного Аргутинским через своих казаков. Выехал он с твердым намерением показать наместнику, как воевать в горах, и взять Салты во что бы то ни стало. Но с намерением этим он не спешил.

Назад в аул гергебильцы возвращались медленно, удивленные всем содеянным. Не хватало ослов для перевозки ядер и ружей, заработанных в бою. Пленные были нагружены тяжелее быков. Их гнали осторожно, чтобы они не ослабели в пути.

Не веря случившемуся, Идрис растерянно обгонял толпы победителей, влочивших коней и оружие. Одни сдирали шкуры с павших обозных лошадей, другие подбирали железный лом.

— Эй, эй! — покрикивал на них Идрис с тревожной иронией. — Что, я один погоню всех ослов, понесу все ружья? Что вас, бить надо?

Народ отвечал на его иронию победными выстрелами и криками.

Казалось теперь, что Идрис все знал заранее. Вспомнили его нагайку и нелепые, туманно сформулированные присказки в начале осады и находили в них остроумные предвидения. Его малоподвижность от бессонниц и утомление расценивали как удивительное спокойствие, приятное в таком молодом начальнике.

Случай, когда он велел Сурхаю потереть себе спину солью и отхлестать себя нагайкой, передавали в его духе — будто он просто-напросто выпорол самого себя, чтоб проверить, как это помогает в деле. Его встречали выстрелами из ружей, как героя, но этим только беспокоили его — он не знал, имеет ли право на такие почести, и, боясь взысканий сверху, останавливал плетью чрезмерно шумные приветствия.

Мокрая от пота спина его кровоточила и горела — он мог бы теперь не спать еще дней пять подряд, но для бодрствования уже не было никакого предлога, и он ехал, вздрагивая всем телом от неожиданности нахлынувшего счастья, и только сейчас, когда сражение кончилось, но еще не утерало последних следов своего бега, припоминал линию его развития, основные, решающие узлы и мелочные детали, все более и более веря тому, что он действительно победил. Лишь только эта мысль утвердилась в нем, как он дико взвизгнул и пошел на карьере к аулу. Визжа и нещадно нахлестывая коня, он сам не знал, куда и зачем несется. В нем ходил ветер. Ему было не по себе. Он несся по следам русского лагеря — полем, пахнувшим ржаным хлебом, по тряпью, железу, стеклу и трупам.

— Взяли! Взяли! — визжал он.

С холма, на котором в часы штурма пребывал Воронцов, он оглядел долину перед гергебельскими стенами и, мысленно представив себя в положении русского военачальника, не мог обнаружить ни одной ошибки противника и не понимал, благодаря чему победил сам.

«А если они опять вернуться, хитрость сделают?» — подумал он неожиданно. Спина его вмиг перестала гореть и холодно затвердела от ужаса. Он понесся к аулу и, ничего не объясняя, собрал своих ближайших, опять разделил аул на сотни и на десятки, поставил во главе их старшин, веля немедленно приниматься за починку разрушенных жилищ и крепостной стены.

Ужас овладел им до крайности.

— Делай! Делай! — кричал он, носясь из конца в конец аула, и, когда победители, возвращавшиеся пешком, достигли аула, Идрис их встретил без шуточных побасенок. Нагайка сверкала в его руке, как змея.

— Кто в бога верует, тот понимает! — кричал он, расшвыривая людей по десяткам, и веля Сурхаю поставить всех пленных в каменоломни, и требуя разыскать ему Афилона для составления нового плана обороны, и приказывая Халилу искать самый твердый камень.

Афилон въезжал в аул, приветствуемый всеми. Стоя на крышах, женщины кричали ему ласковые слова. Он искал среди них свою худую, высокую девушку с бледным, запуганным лицом и увидел ее на плоской крыше дальней сакли. Она стояла молча, не принимая участия в общей радости, и, сжав руки на груди, как бы ожидала несчастья.

— Делай! Делай! — кричал Идрис, и крик его сначала поняли как призыв чествовать Афилона, а когда разобрались, были подавлены ненасытной энергией своего начальника.

Неизвестно чем кончились бы его начинания, если бы в тот час не въехал в аул имам. Мюриды гарцевали вокруг него, крича и стреляя. Раненые выглядывали из жилищ. Махали руками с плоских крыш старухи. Бойцы поспешно вскакивали на коней для торжественного приветствия. Шамиль приветливо улыбался на беспорядок встречи. Он был по-

лон удивления перед содеянным, которое волновало и гергебильцев, и не скрывал его, а, сколь можно, подчеркивал игрой лица.

Он знал свой народ и знал свое дело — ему полагалось быть выразителем общего. Он и выражал то, что всех теперь волновало, выражал с подчеркнутой взволнованностью, которую нисколько, впрочем, он не наигрывал, а которая была у него сильнее, чем у всех остальных, потому что он и сам был сильнее их.

Народ бросился к Шамилю, ожидая от него крайнего высшего жеста, который так был необходим сейчас всем.

Шамиль въехал в толпу и остановился.

Все смолкло.

Афилон ждал, что он скажет, и боялся отвести от него взгляд и в то же время боялся глядеть на него.

Вдруг стало еще тише, чем было.

Шамиль обвел рукой поле сражения и негромко засмеялся.

Вопя и хохоча, народ оглянулся вокруг вместе с имамом.

Да, да, да! Все это сделали они.

Афилон закричал, как и все, но голос изменил ему. Он заплакал.

Вот человек, думал он, в котором ярким огнем пылает воля его дней и зарождаются мысли, ведущие к пути, по которому он должен идти и идти, пока не услышит радостный крик толпы и, оглянувшись, не заметит с удивлением, что он совершил подвиг.

Имам остановил коня близ мечети и поднялся, как на трибуну, на крышу ближайшей сакли. С ним были лишь Кибит-Магома и молодой Идрис.

— Кто храбрые, кому почет сделать? — спросил Шамиль коменданта.

Идрис растерянно заиграл нагайкой, и Шамиль, взглянув на нее, улыбнулся. Все поняли, что он знал слабость Идриса, и шумно захохотали, но имам не хотел затягивать шутки.

— Я знаю, кто у тебя первый в деле был, — сказал он, вглядываясь в народ на площади, и поманил к себе мельника, Исмила, Омара чохского и Афилонá.

Прихрамывая, мельник суетливо поднялся на крышу и поцеловал край имамовой чохи.

— Сосед мой из Гимр, — сказал о нем Шамиль народу, — кунак мой, довольны им? Воевал хорошо, а муку молоть может?

И, пошутив, торжественно вручил ему четырехугольный серебряный орден, прочтя вслух сделанную на ордене надпись: «Храбрый человек не думает в бою о последствиях».

Потом вызвал он Исмила, Омара чохского, Раджаба, сына мельника, и всем им тоже сказал несколько ласковых слов и одарил подарками, а Идриса вслух поздравил хиндаляльским наибом.

Последним вызван был Афилон. Народ закричал от радостного возбуждения, увидя своего всем уже полюбившегося юношу перед имамом.

— Ты к нам пришел отца найти, — сказал Шамиль, — поможем тебе. Хорошо себя показал — голова есть, глаз есть, сердце простое, крепкое. Пока отца не нашел — я твой отец.

Афилон упал на колени. Народ закричал, запел. Загрохотали выстрелы. Джигиты вскинули коней на дыбы. Все были рады великой чести, выпавшей на долю Афилонá.

Имам потрепал офицера по плечу и поднялся с ковра. В это время старая женщина растолкала стражу имама и с безумной поспешностью, падая и спотыкаясь, взобралась на крышу.

Она обхватила руками ноги имама.

— Святой имам! — произнесла она, задыхаясь от гордости и волнения. — Святой имам!.. Это сын мой.

Имам наклонился к ней.

— О ком говоришь и кто ты, женщина?

— Святой имам, я жена Сурхая, мельника... Помнишь Казикумух?..

Он — грех мой от Аргута. Простил аллах меня в нем!

Многие это услышали.

Имам освободил свою ногу из объятий женщины и, ничего не сказав ей, стал спускаться с крыши.

Она не заметила этого. Низко склоняясь на колени, она все что-то бормотала, и всхлипывала, и била сморщенными руками в грудь, и лицо ее было счастливо, как у родившей.

Шамиль не стал останавливаться у кадия и, сдержанно отклонив все приглашения остаться на ночлег в Гергебиле, быстро уехал в Кикуну, где, говорят, его ожидали начальники отрядов. Площадь мгновенно опустела.

Афилон, начинавший понимать, что случилось, подошел к старухе и бережно поднял ее.

— Скажи теперь, мать, и мне, кто мой отец?

— Аргут! — шепнула она. — Простил аллах, вернул тебя!

Афилон попробовал рассмеяться, но только сжал губы и бережно, осторожно стал сводить мать с крыши по узкой и шаткой лесенке.

Вечером пришли печальные вести — первая была та, что беноевский Байсунгур взят раненым в плен русскими, о чем сообщено жителям Ходжал-Махов. Русский хаким отрезал ему вчера одну ногу.

Вторая весть была о скорой осаде Салтов.

На Сурхаевой мельнице наступили тяжелые дни.

После отъезда имама Сурхай слег. Позор жены свалил его, как болезнь, и обессилил до потери разума. Все двадцать пять лет жизни с Фирдоус были испорчены, оскорблены. Дурная слава пришла к нему в дом. Смешной делала она жизнь Сурхая, смешной и жалкой, и это приводило мельника в состояние крайнего озлобления.

Растерян и угнетен был и Раджаб, третий сын, едва передвигала ноги и сама Фирдоус.

Но хуже всех, конечно, чувствовал себя Афилон.

Он перебрался из дома мельника в турлучный сарайчик, к лошадям, никому не показывался на глаза и похудел, осунулся, постарел, но от несчастий стал еще как-то одухотвореннее, заметнее, что было уже вовсе не кстати. Неясное сознание вины мучило его все время. Хотя в чем он был виноват? Нет, он, конечно, был во всем виноват. Он вернулся в горы в поисках отчей славы, таинственность его происхождения уже заранее определила особый интерес к его личности. Теперь все были обмануты позорной развязкой дела. Афилон как бы насмеялся над общей любовью к нему, солгал, присвоил себе не принадлежащее ему. Имя его действительного отца — Аргута, Донгуз-Аргута, зверя, — делало и его самого частью чего-то враждебного, чужого, неверного и фальшивого.

Не скажи он о знаменитом отце, которого разыскивает, не породил бы сказки о славной семье своей, а приди бы просто, как горец по крови или как перебежчик вроде Исмила, — жизнь пошла бы ровнее, он никому не принес бы разочарований.

«Уйти отсюда в Чечню, — думал Афилон, — там меня никто не знает, там начну жизнь простого горца».

Но и это простое решение было теперь невозможно. Две славы его, славы храбрости и позора, переплетаясь, бежали по горам. Оставалось самое трудное — все принять и все преодолеть, не убегая и не скрываясь.

Сын горянки и Аргута должен стать большим, чем отец, должен затмить отца, явиться ему живым укором, его благородной противоположностью.

Решив это, Афилон ускорил свой переход в мусульманство и, будто ничего не произошло, занялся исправлением гергебильских укреплений, продолжая жить в коношне Сурхая и ни с кем не сближаясь.

Он чувствовал, что уйти от Сурхая, как ни тяжело им вместе, нельзя теперь. Так было бы хуже для всей семьи. Но на душе его не стало спокойнее от этого шага.

Долг не всегда означает веру, и хотя он должен был поступить именно так, как поступил, но про себя думал, что излишества его самоунижения вернут ему славу, потускневшую от покаяния матери.

Он шел в горы как сын вождя, как личность, влиятельная от рождения, и понимал, что без этих качеств ему незачем жить в горах.

Перед ним открывался теперь тяжелый и неповторимо яркий путь.

И поэтому, когда пришла весть от имама о необходимости приготовления к защите Салтов, осаждаемые которыми будет Донгуз-Аргут,— на мельнице стало оживленнее. Имам приглашал храбрейших джигитов Гергебиля помочь Салтам и давал указание использовать гергебильский опыт в скорейшем усилении салтинских башен и стен.

В Гергебиле поняли весть от имама как путь восстановления доброго имени Афилона.

Радость была всеобщей. Горцы жалостливы. Вдоволь насмеявшись над Афилоном, они были теперь довольны, что жизни его указано какое-то направление, и верили, что Афилон восстанет. Все-таки все видели, что он джигит, и это никак нельзя было забыть или обойти.

В один из вечеров, вскоре после получения вести от имама, на мельницу Сурхая собрались поговорить с Афилоном о ближайших делах Идрис, Омар чохский и Инко-Хаджио. Одно дело было большое: предстоял штурм русскими Салтов, и Омар, надеясь защищать их, хотел заранее посоветоваться, что надлежит сделать. Второе дело было товарищеское — о Байсунгуре. Исмил предположил выкрасть его от русских с помощью верных людей, что были у него в Дагестанском отряде. Идрис и хотел и боялся этого предприятия и собирался обсудить его с Афилоном, как с человеком, хорошо знающим русских.

Хозяин дома, Сурхай, предложил и свои услуги. И у него были кунаки среди русских. Он сказал об этом с присущей ему высокомерной ленью, тихим и безразличным голосом.

Бой кончился, и вместе с ним кончилось и оживление мельника. Он снова был робким стариком, не знающим своей силы, и откровенно пугался Идриса, на которого еще недавно кричал в сражении. Но геройское поведение старика и общая радость по случаю победы делали всех внимательными и уважительными к нему.

Угощение было обильным. Поев, заговорили о Салтах и вообще о войне и скоро свели разговор к тому, что всех больше интересовало,— к тому, что этот год был годом молодых, то есть их личным годом, годом их счастья.

Омар, готовясь к обороне Салтов, был возбужден и говорил без стеснения о многих важных вещах, о которых иные побоялись бы думать.

— Молодежь за Хаджи-Муратом идет,— говорил он,— потому что Хаджи-Мурат веселую жизнь обещает, за плохой шариат не судит, вино и табак прощает. Ему так: кто хорош на коне, тот всюду хорош.

— Наши молодые своего имама должны готовить,— загадочно сказал Инко-Хаджио.

— Тссс! От таких слов большой ветер бывает,— заметил Омар.

А мельник добавил:

— Хаджи-Мурат имамом не будет, Кибит тоже, Кази-Магома будет. Инко-Хаджио встал, произнес невзначай:

— Гадать не надо. Время придет, решим с помощью божьей. — И быстро собрался уезжать.

О Салтах говорили на выходе и ничего решить не могли, так как не имели еще сведений о русских намерениях.

Одно было ясно — в Салтах надо действовать конницей, что упустили сделать в Гергебиле, и Омар должен был перетолковать с Мусой балаханским и Хаджи-Муратом о маневренных действиях, Афилому же следовало немедленно выехать в Салты и, не теряя времени, усилить там укрепления.

Самое же главное было в том, чтобы имам не назначал общим начальником Кибит-Магому, который побаивался молодых и никогда не доверял им. Это дело поручили разузнать Идрису.

— Хоть Салты и мое место, но будь там старшим, я за тобой пойду, — сказал Омар. — Ты дело сделал, я пойду за тобой, лица не потеряю.

Идрис приложил руки к груди и склонил голову.

— Я гость твой в Салтах, — сказал он с почтительной серьезностью. — Сам буду и всех своих к тебе приведу.

— Я вот Раджаба женю, — сказал мельник, — и тоже у тебя, Омар, буду.

— Афилона женить надо, — подсказал Омар. — Приедешь в Салты, такую жену тебе найдем — персик в цвету, клянусь аллахом, ты забудь, что было, помни то, что впереди будет.

Горцы любили женить. Этой чести не хотел уступить и Идрис.

— Первую жену ему мы и здесь найдем, — сказал он. — Вторую Салты даст. Только славу добудь, Афилон, все тебе будет.

— Слава не серебро, ее много можно на себе унести, — сказал Афилон.

— Против отца пойдешь, помни! — шепнул, расставаясь с ним, и Ис-мил.

— Наши тут вчерась о тебе говорили... Большое дело будет, если Аргут Салтов не возьмет. Понял?

Глава 8

Весна 1847 года запомнилась современникам ветрами и жарой. Старики не помнили, чтобы в мае уже бурела и высыхала трава, а скот приходилось выгонять в горы не в июне, как обычно, а в мае. Реки переполнялись из тающих ледников, и рвали в клочья скалистые берега, и сносили мосты, и не было исхода их неожиданно прорвавшейся силе.

В середине июня Байсунгура из гарнизонного госпиталя в Темир-хан-Шуре перевели в тюремный госпиталь, и уже началась переписка о том, куда его направить по выздоровлении.

Чувствовал он себя крепко, был здоров и много думал, как уйти в горы, но все планы один за другим проваливались из-за того, что Байсунгур был без ноги. Русские же, как назло, не давали ему деревяшки, а держали на костыле. Жара в Темир-хан-Шуре измучила Байсунгура. Он не привык к ней. Ночи были душны, пыльны, а дни зловеще горячи, сердце его томилось по вольному ветру гор, и в конце концов он заболел бессонницей, о которой никогда не имел представления. По утрам он обмерял бечевой голову, серьезно чувствуя, что голова его увеличилась в объеме, разбухла, стала мягкой, как дыня. Палата его была в подвале. Узкое грязное оконце с трудом ловило дневной свет с деревянного тротуара, проходившего на улице перед стеной госпиталя. Грохот подвод, ржание коней, песни и болтовня обозных солдат были единственным, что он слышал сейчас в жизни. Впрочем, раз в неделю к тюремному госпиталю сходились на свидание с родственниками и местные горцы, но это были кумыки, и Байсунгур с радостью думал о том, что его скоро отправят в Грозную, где много чеченцев и где он услышит наконец свой родной говор.

Но отправка его все задерживалась, а культяпка отрезанной ноги, должно быть от жары, распухла и не давала покоя.

Июнь приходил к концу. Иногда в палату доносился приятный запах сена и абрикосов. От этих запахов хотелось биться головой о стену, и едва он закрывал глаза, снились горы. Все горы, что видел он с детства, снились ему.

Они являлись в картинах самых хороших дней, пережитых Байсунгуром. То закат на Шалинской поляне, когда врезались — весной — в казачьи сотни и рубились отчаянно. То ранняя весна в Салатавии и горы, покрытые последним, спекшимся и блестящим на солнце, как жир, ледком, и встреча с покойным Ахверды-Магомой на маленьком хуторе среди высоких, общипанных, подобно старым орлам, тополей. То ночь на Тереке в камышах, когда, едва дыша сырым, душистым воздухом приречных зарослей, выжидали часа броситься на русскую сторону и в руке, сжимавшей ружье, отдавалось биение сердца.

«Да, не вернется это, — думал он с тоской и отчаянием. — Не уйти от русских на этот раз».

Было ему пятьдесят три года, но жизнь его прошла легко, свободно, не заминаясь. Он всю ее помнил и всю любил. Ничего, кроме коня и оружия, — ни хозяйства, ни семьи. Ничего, кроме желания драться и уходить из сражения живым. И потому ему было особенно обидно, что он навсегда отстранен от любимой жизни, будто заживо погребен, и никогда не сумеет вернуться к тому, что составляло главный смысл его жизни, — к войне. Он думал даже, что его и не выручают только потому, что без ноги он не воин. И он жалел, что не погиб под Гергебилем.

О том, чтобы выручить Байсунгура, однако, думали многие. Первым узнавшим, где находится пленный наиб, был Ак-Сурхай. Он явился в крепость с двумя тощими баранами и, дряхлый, седой, не возбудил подозрений. Иса свел его с Асадуллаевым и Марьей Андреевной. Те обещали помочь, но медлили. Дело упиралось в невозможность тайно отправить Байсунгура из крепости в горы. Исмиль ждал в Ходжал-Махах, потом пробрался еще ближе, в Левашаи, наконец — в Дженгутай. Он ожидал сигнала, чтобы прискакать в крепость и увести Байсунгура на коне, за своей спиной. Ежедневно Ак-Сурхай являлся к тюремному госпиталю, торгуя жареными тыквенными семечками, и уже имел нескольких кунаков среди санитаров.

Наконец стало известно — в первых числах июля Байсунгура направят с оказией в штаб начальника левого крыла кавказской линии, в Грозную. В оказии будет одна рота Куринского полка, без орудия, и десять или двенадцать арб с едущими на лечение офицерами и вышедшими в отставку солдатами. Тотчас дали об этом знать Исмилю. Решено было отбить Байсунгура на марше, но в самый последний момент Марья Андреевна сумела договориться с куринцем-фельдфебелем, что рота отдаст Байсунгура за 200 рублей в суматохе нападения. Исмиль тотчас прислал и деньги. Укрыть Байсунгура уговорились на хуторе Максима Максимыча, где как раз в те дни работники Асадуллаева грузили арб двенадцать соли для Дербентского гарнизона. Ак-Сурхай передал Марье Андреевне задание, ударили по рукам.

— Ну, может, хоть тут выручу убыток, — вздохнула она. — Под Гергебилем здорово села. Окурко-покойник подвел. Вы что, и в Салтах так драться будете?

— В Салтах еще лучше пойдет, — важно сказал мельник. — У нас там большая сила.

— Ну, а от нас Аргут выйдет, штаны с вас снимет, погодите. Этот охулки на руку не кладет.

Марья Андреевна искренне хотела помочь освобождению Байсунгура, главным образом потому, чтобы уладить отношения с Исмилом, — он был

нужен ей для выкупа от Шамиля капитана Оленина, судьбой которого был занят начальник Дагестанского отряда князь Бсбутов.

В одно из ближайших утр оказия двинулась из Темир-хан-Шуры на Грозную. Рота Куринского полка, сложив свои ранцы на арбы, весело вышла, с песнями. Оказия представлялась легкой. Полурота с двадцатью казаками шла во главе колонны, за нею тянулись арбы с едущими и провиантом, затем важно шествовали сотни две великолепных гусей, которых командир роты гнал в Грозную для продажи, за ними, в арьергарде, с песнями двигалась вторая полурота.

Байсунгур лежал в первой арбе, тотчас за головной полуротой.

По бокам колонны двигались верхами отпускники офицеры.

Один из них был раненный под Гергебилем прапорщик Зуев, поэт, песенник, мечтательный и романтический юноша, второй — капитан Брехниченко, здоровый и молчаливый пьяница, едущий стчитываться в недостаток штабного имущества, третий — командир роты Сиверцов.

Прапорщик был ранен легко (надрублена рука в предплечье) и уверял, что был ранен именно Байсунгуром, в поимке которого он действительно принимал участие. Поэтому он был особенно внимателен к пленному и величал его кунаком, часто справляясь о самочувствии, и всем очень серьезно рассказывал, что делает это из чувства чести, потому что у горцев это сразу станет известным и произведет нужное впечатление. Прапорщик, хоть человек и романтический, все знал, как и что надо делать, несмотря на то, что на Кавказе был всего месяцев шесть.

Он был любознателен, много читал, без конца слушал рассказы старых кавказцев и, имея литературный талант, легко обращал все слышанное в подобие собственного жизненного опыта. Его ценили в крепости за всезнайство. Кроме того, он сочинял романсы и играл на гарнизонной сцене.

Начинался день, дымный от зноя.

Близкое море не освежало воздуха. Безлюдная солончаковая равнина изнурительно поблескивала пятнами грязной, зловонной от испревших водорослей соли. Чистая, белая, горько-солончатая пыль вилась над колонной.

Время от времени прапорщик подъезжал к арбе Байсунгура и спрашивал по-кумыкски, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь.

Когда приблизилось время полдневной молитвы, Байсунгур, знавший, что его непременно должны выручить в ближайшую ночь или он погибнет в перестрелке, и оттого бывший в благодушном настроении, позвал прапорщика.

— Эй, кунак! — крикнул он. — Скажи, молиться хочу.

Прапорщик тотчас передал просьбу пленного ротному командиру. Колонна остановилась. Поддерживаемый солдатами, Байсунгур слез с арбы, раскинул старенькую дырявую бурку, данную ему в госпитале, и горячо, возбужденно помолился.

Помолившись, сделал несколько шагов на костыле, поглядел на море.

— Это что? — спросил он прапорщика.

— Вода! — ответил тот. — Барыда вода, бир гюн — вода, ики гюн — вода, море!

Байсунгур опять посмотрел на море и недоверчиво покачал головой. Он в первый раз видел море и не умел объяснить его себе.

— Рука болит? — садясь в арбу, спросил он офицера и хитро улыбнулся. — Байсунгур так не рубил, ёх. — Он догадывался, что прапорщик хвастался о боевой встрече с ним, и так как не знал за собой таких дурных ударов, то видел в офицере лгуна и не хотел потакать ему. — Матушка резал, валлах, — засмеялся он, выразив предположение, что прапорщика, наверно, ранила женщина.

Зуев благородно помог ему взобраться на арбу, покрыл буркой и отъехал, не отвечая.

— Курьёзитэ! — сказал он ротному. — Анекдот в духе покойного Бестужева-Марлинского.

— Чего это?

— Да сентиментальный, говорю, прямо роман. Он мне чуть руку не погубил, а я везу его, ухаживаю, он шутит со мной, кунаки, а доведись ночью раздобыть кинжал, подползет и зарежет во славу божию.

Ротный, не видя в этом никакого сентиментального романа, промолчал.

— Эх, хорошо бы придумать конец новелле... Э, Миша Лермонтов мастер был на кавказские штуки!.. Очень приятная вещица может выйти... Конец, конец... Нынче как вещь без курьёзитэ, хоть и слог есть и мысль, все равно не в моде. А заглавие-то какое могло бы быть... Кунаки! Черт возьми, рискнуть разве, Никодим Петрович?

— А какой тут риск? — вяло спросил ротный. — За писания эти не убьют, не ранят, пиши валай. Да только я вам скажу: все эти рассказы — все чистое вранье, ей-богу. Я Пушкина не знавал, и Лермонтова не доводилось встречать, а одного такого все ж посмотрел. В Червленной втрелись. Забыл теперь и фамилию. Известный все-таки. Так он, я вам скажу, он на Кавказе, кроме собак, ничего и не знал.

— Каких собак? — спросил прапорщик.

— Вот вы спрашиваете — каких? Именно — каких! Приехал на Кавказ собак заводить. А ведь офицер, вроде вас, и фамилия знатная, и вообще граф, кажется... А эти походы, экспедиции, дела — это он ни в грош не ставил, нигде не бывал. Ему только рассказывай — он бурдюк чихирю спойт. Ну, был тогда у меня друг — Максим Максимыч...

— Знаю, — подтвердил Брехниченко, — кавказская душа.

— Решили мы с ним поучить того, собаку ему кавказского штиля продать... с привешенными ушами. И что бы вы думали? Оказался без чести, без совести, а ведь граф, между прочим. Взял да всю эту историю и напечатал, этакая свинья. Сам себя, знаете, оплевал, ну и нас заодно с Максимом... Смеху было! А ему хоть бы хны. Я ему говорю — зря это, мол, на себя плюете, ну прошляпили — какая беда. Молодо-зелено — гулять велено!.. А он мне — люблю, говорит, Кавказ за то, что здесь смеяться умеют. И еще поблагодарил, понимаете... Да только какой же это Кавказ? Трень-брень, мозги набекрень!

День длился долго, как бы неотступно идя за колонной, но завечерело быстро. Ночь спускалась на вечер, захватывая отсветы заката.

Идти стало легче, свободнее, ужинать и ночевать рассчитывали в укреплении, верст через пятнадцать, куда уже выслали капитана Брехниченко с двумя казаками.

Море, волнуемое мертвой зыбью, раскатисто гремело у низких берегов. Шум его располагал к мечтам и молчанию.

Байсунгур, откинув бурку и опершись здоровой рукой о край арбы, вслушивался в ночь. Ему было плохо. Тряска, жара, пыль, песни солдат утомили его. Давно уж к тому же он хотел справиться свои несложные нужды — и не мог. При солдатах, офицерах, при всех этих гяурах, которые посмеялись бы над беспомощностью одноглазого, однорукого и одного человека, он не решался показаться смешным и сейчас задыхался от ненависти к русским. Он не хотел ни о чем просить их, не желал от них никакой помощи, и было досадно, что сам он, один, уже теперь не мужчина, не воин, а только часть человека, оставленного для нищей жизни. Ах, как он резал их, этих всех, как рубил! А теперь сопляк офицер хвалится, что Байсунгур не отрубил ему руки! Загрыз бы насмерть! Хоть и сейчас. Зубами, без кинжала, прикончил бы! Задушил бы одной рукой! Вот так! А-а, яхши?

Он сжимал себе горло цепкими широкими пальцами и дышал, открыв рот, и вдруг сразу, сам ничего не соображая, хрипло завыл.

— И-и-э-э-х-х-р! — заклокотало у него в горле и далеко разнеслось вокруг.

— Ах, черт! — испуганно произнес прапорщик.

— Растрясло, — сочувственно сказал ротный.

— И-и-э-э-х-х-рр! — ревел во всю длину своего дыхания Байсунгур, и теперь уже ни о чем не думал, никого и ничего не стыдился, злясь лишь на то, что ему ни за что суждена такая долгая, страшная и скучная смерть.

Солдаты в колонне, присмирившие было с началом ночи, оживленно загалдели:

— Чакал проклятый! Загундосил!

— Своих зовет! Спасите, мол! Ни хрена, брат, не будет! Привал!

Впереди раздался выстрел. Потом еще. Ротный послал узнать прапорщика, что случилось. Сейчас же раздался выстрел в арьергарде. Колонна рассыпалась по краям дороги.

— Ла-хавла-вала-кувата! — донесся из темноты крик горцев, и Байсунгур, услышав его, замолчал.

Ротный проехал к голове колонны. Отставные солдаты, шедшие возле арбы, перекрестились.

— Надо ж такую историю... — сказал один. — До штабу не доберешься, — и, осторожно отойдя от арбы, присоединился к полуроте.

Теперь стреляли всюду, кто в кого — непонятно. Неприятель не атаковал, но пока только замедлял движение оказии. Наконец колонна остановилась совсем. Гуси, оглушительно гогоча и бросаясь в сторону, сковали ее движение.

— Эх, мать честная, из-за гуся пропасть можно. Его тут сколько сот — не усмотришь!

— Двадцать лет отмахал, а от гуся погибну... Шутить!

— Хоть от гуся, хоть от князя — смерть одна!

Низко склонившийся с седла казак подлетел к арбе с пленным.

— Энтот, что ли? — громко спросил он.

— Он самый, — ответили солдаты, залегшие по краям дороги.

— Как его, анчихриста, взять-то? — плюясь, сказал казак. — Раненый, что ли? А ну, братцы, подсобите мне за седло его вскинуть...

Кто-то приподнял Байсунгура. Он почувствовал под собой круп коня.

— Корхма! Бояться не надо! Карапчи ёх, — проворчал казак.

— Что, много их? — тихо спросил помогавший солдат. — Каб не отбили, что ли? О господи исусе!

— А черт их знает. Приказано привезти, мне что! Привяжи-ка — на ремень! — к пояску... Не спадет?.. Ну, держись, зараза! — И казак вскачь понесся к голове колонны, на выстрелы, бойко покрикивая в темноту: — Эй, хабарда! Постерегись там кто! Хабарда!

Донгуз-Аргут, не торопясь, обкладывал Салты, избегал стычек и, видимо, не рассчитывая на штурм, отовсюду стягивал к себе тяжелые орудия. Из Дербента, Петровска и Темир-хан-Шуры ему везли бомбы и ядра. Караваны арб день и ночь скрипели на дорогах. Дело затевалось нешуточное.

Но не дремали и в Салтах, знали, что Донгуз-Аргут просто не уйдет, всю кровь сполна потребует, — и рыли подземные ходы из аула, сооружали каменные блиндажи, а в окрестных ущельях укрыли конницу Мусы балаханского и две тысячи отборных джигитов Хаджи-Мурата для удара по русским флангам.

От Шамиля не было, однако, никаких указаний относительно обороны Салтов. Аргутинский уже установил батареи вокруг аула, когда Омар салтинский собрал приехавших к нему на помощь воспачальников.

Были Идрис, Афилон, Инко-Хаджио — представитель Хаджи-Мурата, Муса балаханский и шестеро сотенных. Решили обороняться маневром, а не отсиживаться за стенами, как в Гергебиле, благо у Аргутинского кавалерии было не много, а пушки лишь затрудняли ему маневрирование. Выбрали себе и старшего — Омара салтинского, хоть был он моложе прочих. Иначе не выходило. Хаджи-Мурату нельзя, на Мусу Хаджи-Мурат не согласится, Идрис сам молод, да и поработал только что, Инко-Хаджио — из других мест, гость в Салтах. О способе обороны и выборе старшего написали имаму. Ответа долго не было.

Наконец, ответ прибыл со специальным гонцом — Доного-Магомой. В дом Омара прискакали сотенные и пятисотенные командиры, съехались, окруженные мюридами, Идрис, Инко-Хаджио, Муса балаханский. Пришел в сопровождении мельникова сына Афилон. Письмо было важное, раз такой гонец, как Доного-Магома.

В тот самый час, когда началось чтение письма, в Салты въехало трое конных. Было еще светло — стоял яркий, полный отраженного солнца вечер, когда предметы и лица видны издалека и так четко, так тонко, как только могут быть видны они в тишайшем воздухе гор. Оранжевый свет гор освещал все неясными тонами зарева. Птицы, суется перед сном, шныряли над самыми головами, словно заглядывали в лицо. Скот возвращался с пастбищ, всюду пронзительно раздавались крики ребят и женщин, от источника по узкой тропе красивой вереницей шли девушки с медными кувшинами на плечах. Они шли особой, медленной и ритмической походкой, чтобы не расплескать воду, — как бы плыли. Движения ног под длинными юбками были почти незаметны.

Как только салтинские мужчины увидели конных, раздались крики приветствий.

Старухи сгоняли с дороги коров.

Девушки с кувшинами остановились.

— Да осчастливит тебя господь! — кричали в толпе. — Со счастьем ты вернулся!

Первым, едущим впереди, был Байсунгур. Длинная бурка, накинутая на плечи, скрыла его фигуру, лишь желтая в вечернем свете кисть руки, держащая повод, да желто-серое, костлявое лицо его были видны народу.

За ним ехали Исмил и Сурхай, оба в казачьих черкесках, на казачьих тавренных конях. Переметные сумы были тяжело нагружены.

— Вах! Байсунгур едет! Байсунгур! — кричали на улицах, и уже тут и там раздавались приветственные выстрелы.

Байсунгур, оскалив желтые зубы, молчал от счастья и возбуждения.

Ловко оттеснив толпу бросившихся за Байсунгуром салтинцев, Исмил прыгнул с коня у дома Омара и, незаметным движением руки обхватив Байсунгура, снял его с седла. Сурхай сунул ему под бурку костыль. Переваливаясь со стороны на сторону, наиб медленно вошел в дом.

— Если сын мой там, пусть выйдет, скажи ему, — шепнул велед мельник.

Но тотчас его и Исмила позвали в дом. Заседание было прервано. Байсунгур повествовал о своем плене и освобождении.

— Что нового? — тихо спросил Сурхай сына, делая вид, что слава его несколько не интересует.

— Э-э, такие новости, отец!

И так как мельник сам все хорошо знал о Байсунгуре, а Раджабу не терпелось рассказать отцу новости, они вышли во двор.

— У нас с Исмилом ничего, хороший хинкал был, — сказал мельник. — Шестерых убили, трех коней угнали... Байсунгура вот отбили.

Раджаб, оглянувшись вокруг, махнул рукой.

— Имам прислал сюда письмо — старшим в Салтах быть опять

Кибит-Магоме, а Кибит посылает сюда брата своего Муртузали, Омару же велено выехать в Ведено, а Идрису ни во что не вмешиваться и ждать славы и почета в бою. Что касается Афилона, указано тому на совещаниях без слова имамова не бывать и укреплений на свой лад не строить. Семь рублей серебром, что дадены были ему за Гергебиль, вернуть имаму.

Сурхай схватился за голову.

— Валлах, не знаю, что еще дальше будет! — сказал сын, продолжая рассказ о том, что Муртузали сообщил все с тем же Доного-Магомой, что хочет отсидеться в Салтах, как Идрис отсиделся в Гергебиле, но с планом этим никто тут не согласен и уже идет жестокий спор между начальниками. С часу на час ждут приезда Муртузали. Послали гонца к Хаджи-Мурату, верст за пять. Тот отвечал — выгоняйте Муртузали, и я подчинюсь Омару. Будем бить Донгуз-Аргута на маневре, как условлись.

— Вай аман! Валлах, имам узнает — кости вам всем ломать будет, — в ужасе произнес мельник и пожалел, что доставил Байсунгура в осажденный аул, а не прямо к имаму, как вначале предполагалось.

Так началась осада Салтов.

Много дней Муртузали отсиживался за стенами Салтов. Три недели громил Аргутинский пушками сакли и завалы. Их восстанавливали ночами, как в Гергебиле. Каменщик Халил согратлинский и Афилон делали чудеса.

Настроение было крепкое — близилась осень с ее дождями, туманами и ветрами, так не любимая русскими, мелькала надежда, что Аргутинский скоро снимется и уйдет. Но он не мог снять осады и потому, что она была делом его самолюбия, и, главное, потому, что после открытия залежей угля наместник считал осенние операции уже вполне осуществимыми, хотя угля в войсках еще не было и в помине. Горцы не знали об угле и бодро отсиживались, веря, что осада будет короткой и для Аргутинского неудачной.

Всеми мерами торопили салтинцы Аргута начать штурм, чтобы повторилось гергебильское дело, — Исмиль еженощно делал налеты на русский лагерь, Афилон закладывал фугасы перед их окопами, жег траву вокруг лагеря, Муртузали перехватывал обозы с провиантом. Солдаты теряли сон, но Донгуз-Аргут упорно медлил. Он как бы чувствовал, на что его вызывает Муртузали.

В то время несколько салтинцев были схвачены русскими в плен, и Аргутинский говорил с ними.

Генерал спросил их, долго ли намерен аул держаться.

Пленные ответили, что не знают этого, — наверно, долго.

— Кто там у вас за старшего? — спросил Аргут. — И кто ведает укреплениями?

— Старшим у нас Муртузали, брат Кибита, а укреплением ведает сын твой, от лезгинки Фирдоус, бывший ваш офицер Афилон.

Аргут приоткрыл глаза.

— Какой сын? Если таких за сыновей считать — половина Дагестана моя.

Пленные объяснили все, что знали сами относительно Афилона. Аргут рассмеялся.

— Черт его, какой история! На весь Дагестан пойдет.

Недолго подумав, он опять рассмеялся и велел отпустить пленных в Салты.

— Что вы мне сказали, надо проверить. Если верно, что сын, — так я скоро возьму Салты. Пусть ждет меня.

История была для Аргутинского неприятной. Надо было ее тушить.

Вечером Аргутинский был снова весел, шутил с офицерами, рассказывал им о донесениях лазутчиков, что в Салтах голод, и несколькими намеками дал понять, что с аулом будет покончено быстрее, чем думают.

Пленные горцы возвратились в Салты, широко оповестив о своей беседе с Донгуз-Аргутом.

Афилон слушал их, вновь переживая стыд за отца.

Но в Салтах думали сейчас о себе — не об Афилоне. То, что он сын Аргута, как-то даже всех успокаивало в том отношении, что он сумеет пресечь все козни Аргута и привести аул к победе.

— Что думаешь? — спросил Афилон Муртузали. — Возьмем верх?

— Возьмем.

— Аргут уйдет?

— Уйдет.

— Если так выйдет — ближе родного сына мне будешь.

— Уйдет, — повторил Афилон.

Говоря так, говорил правду, потому что знал: если придет несчастье, он умрет раньше всех.

Аргут, отец его, непременно должен был проиграть. Дело шло к этому. Осень уже спешила прервать осаду. Ущелья клубились серыми туманами, и ночи стали пронзительно свежи. На дальних горах зашевелились предосенние ветры и пробежали холодные и затяжные дожди.

В проснувшемся ауле только что затопили очаги. Под мирные крики петухов заверещали точильные камни, пришлые абреки развели на улицах костры, женщины-водоноски прошли с кувшинами от источника к завалам, башням и батареям.

Ак-Сурхай, состоящий конюхом при штабе Муртузали и нукером при Байсунгуре, получал воду вслед за ранеными. Он напоил пять жеребцов-карабахов, седых, узорных, как мрамор, и разбудил штабных мюридов на утреннюю молитву. Слышалось и пробуждение русского лагеря — били барабаны, солдаты пели гимн.

Теперь, когда позор жены и несчастная история Афилоня отдалялись, Сурхай стал внимателен к офицеру и подолгу беседовал с ним. С легкой руки Афилоня мельников сын Раджаб состоял при штабе, а сам мельник, уважаемый за спасение Байсунгура, был теперь ближайшим помощником Байсунгуровой жизни. Позор жены забывался, тускнел. Старуха держалась крепко, и любовь ее к рожденному в грехе сыну теперь уже никого не сместила. Она дала Афилону кровь горца — простое горячее сердце, — это все видели, в этом ему никто отказать не мог.

Храбрость же росла на глазах. Это тоже все видели. Он был простой, суровый. Жил хорошо. Мать уважал, как подобает горцу, и не покидал ее. Привез с собой в Салты, поселил близ штаба и каждый раз просил у нее совета для дела, как будто была она для него самой умной и знающей. Все это видели и ценили. Старуха ценила больше всех.

— Доброе утро, отец, — произнес Афилон, выходя из штабной сакли и садясь, как всегда, на низенькую скамеечку во дворе, перед конюшней. — Что слышно?

— Работы много, — вяло ответил мельник. — Вчера всю ночь укрепляли завалы, спина болит.

Он чистил тряпкой деревянную с пружинами ногу Байсунгура, красиво и ловко сделанную кубачинским мастером.

Ногу эту Байсунгур очень ценил, а потому мельник заботился о ней, как о живой.

— Русские уйдут — еще больше дел будет, — сказал Афилон. Он любил сочинять работу вперед. — Плотину начнем строить в Хартинуах.

Мельник покачал головой.

— С этой плотиной, честное слово, одни хлопоты. На что нам плотина?

— Большое дело будем иметь. Закроем ущелье плотиной, река поднимется. Пойдет еще раз Воронцов — взорвем плотину, затопим ему дороги.

Мысль Ак-Сурхай от этих слов сразу пошла по другому пути: если будет большая плотина, будут и новые мельницы, его старой придет конец.

«Сад хорошо бы сейчас купить,— подумал он сразу.— Сад и овец».

— Эй, старик, давай ногу! — прокричал Байсунгур из сакли.

Ак-Сурхай быстро натянул на деревянную ногу чувак и ноговицу и побежал одевать своего мюршида.

Одев, оседлал двух коней, посадил Байсунгура в седло, на хбду, долго не находя стремени, взобрался сам на рыжего ладного донца и поспешил за беноевским наибом, полный возбуждения и озабоченности, как большой начальник.

Байсунгур не мог быть полезен в осаде, но Муртузали упросил его остаться для подбодрения гарнизона. Вид Байсунгура воодушевлял самых робких. Он ехал сейчас в одном чекмене, и пустой рукав его лихо мотался по ветру. В правой руке он держал поводья, на локте ее висела нагайка. Ружья не было. Один пистолет за поясом, на боку кинжал да шашка. Зато Ак-Сурхай выделялся своим оружием среди многих. Шашка его была в серебре, на рукояти висел георгиевский темляк. Пистолеты тоже были отделаны серебром и засунуты в красивые кобуры из желтой русской кожи, а приклад ружья искусно отделан перламутром.

Переметные сумы тоже были не шерстяные, а кожаные, блестящие, с серебряными накладками, так же как и конская сбруя. Зато чекмень был старый, вылинявший, а папаха в клочьях. Во всем богатом и странном своем убранстве походил Ак-Сурхай на заезжего из дальних мест старого абрека без роду, без племени, возившего с собой все добро и всю славу свою, хотя жена его Фирдоус жила тут же и каждый день варила ему кукурузные галушки.

Пушки всё били и били по аулу. Взлетали земля и камни, горело старое дерево, валялись окровавленные овцы, собаки лакали кровь, тихо ползущую вниз по улицам.

В этот день прибыл в шатер Кибит-Магомы сам Шамиль. Участь Салтов была ясна всем. Но имам не любил поражений и не признавал их. Поражения он считал преступлениями и карал за них с обычной строгостью.

Он распек Кибит-Магому, выразил неудовольствие Хаджи-Мурату и послал в Салты лазутчика с уведомлением, что жизнь Муртузали окончится с падением Салтов и потому он желает ему долголетия.

Возможность неудачи после гергебильского успеха сильно волновала его. Он понимал, что под Гергебилем сделано было не все, что Воронцов упущен Хаджи-Муратом и что в Салтах можно теперь вознаградить себя поражением Аргутинского. Два поражения русских обещали нагорному Дагестану спокойную осень.

Но участь Салтов была ясна. Аргутинский не торопился со штурмом. Пушки его раскрошили половину аула. Инженеры испортили воду. Стрелки день и ночь стерегли одиночных лазутчиков, пробирающихся от Кибит-Магомы.

Салты должны были умереть от жажды и голода.

Тут Муса балаханский подал мысль — послать в осажденный аул стадо овец. Каждой овце привязали под брюхо бурдючок с водой или сумку с жареной мукой. Впереди стада пустили трех старых козлов из Салтов и лучших овчарок.

В первую темную ночь стадо вышло к аулу. Собаки вели его с крайней осторожностью, далеко обходя русский лагерь. Овцы были на поло-

вине пути, как вдруг что-то вспыхнуло под горами, перед аулом. Ракета! Овцы шарахнулись в сторону. Русские секреты открыли по ним ружейный огонь; пластуны, лежавшие в залогах, поползли им наперерез. К овцам же бросился и Муртузали с двумя сотнями самых отчаянных джигитов. В плотной темноте ночи, изредка освещаемой голубым рассыпчатым огнем ракет, сшиблись две партии. Солдаты бросились в штыки на овец, салтинцы взяли русских в кинжалы. Начался бой среди стада. Спотыкались об овечьи туши, скользили в крови, хватали овец за ноги и волокли за собой.

Опять очень отличился Исмил.

В русском мундире метался он среди стада.

— Братцы, сюда загоняй худобу, сюда! — осатанело кричал он, путая солдат, и пригнал в аул триста голов, а с ними бурдюки с водой, муку.

В то время как шла резня среди стада, Ак-Сурхай с бабами пробрался в нижние сады, добыл шестьдесят кувшинов с водой. Раненым и коням выдали нормальную порцию, дети сосали смоченные в воде тряпки, бойцы и женщины не получили в ту ночь ничего.

План, принятый в свое время Омаром и затем отвергнутый Шамилем, начал теперь вновь будоражить головы. Если жизнь зависит от победы, то победа может потребовать всего риска, всего невозможного.

К маневренным боям склонялся сейчас и Муртузали. О том, что к Хаджи-Мурату пойдет лазутчиком Исмил, вслух говорили на завалах.

Но события шли, не считаясь с тем, как к ним относятся люди.

Салтинцы по-прежнему умирали. Кони разлагались на улицах. Раненые бредили в саклях. Дети бились в судорогах.

Самые сильные могли лишь стрелять из ружей лежа. Не было никого, кто сумел бы работать шашкой. Маневренный бой не увлекал теперь салтинцев, и Исмил, совсем уже было собравшийся к Хаджи-Мурату, остался, тем более, что каждая пара рук была на счету — по совету Афилона теперь рыли подземную галерею к русскому лагерю.

Второго сентября Афилон взорвал мину, повредив русскую батарею. Радость была большая, но порох на вторую мину оказался испорченным.

— Эх, Донгуз-Аргут, да постигнет тебя проклятье божье! — говорили в Салтах, обсуждая создавшееся положение.

— Если б грузин командовал, не вытерпел бы столько стоять, пошел бы на штурм.

— Хоть бы Воронцов-сардар приехал, он бы сразу на штурм пошел.

— Эй, Афилон! — покрикивали враждебно. — Кто сказал твоему отцу, чтобы порох испортил?

Неясный слух, рожденный чьей-то вздорной головой, что и сам Афилон прибыл в горы не зря, не с добром, пополз по аулу.

Тихо, страшно стало в ауле. Мерзостный запах трупов лениво курился в глухих, загаженных улицах Салтов. Мертвых не погребали, не убирали. Мухи жужжали над ними, кружась, как дым сырого костра.

Афилон посоветовал собирать по ночам росу. Мать его вышла первой. Складывали горкой круглые камни, расстилали по земле тряпье.

Как назло, были сухи все ночи и не сырели, не охлаждали ни камней, ни ткани.

Муртузали созвал последний совет. Говорили мало. Идрис высказал то, что думалось всем, — идти в атаку и в тот же день просить Хаджи-Мурата ударить на русских с фланга.

Вылазку назначили на утро, и Исмилу снова было поручено пробраться в течение ночи к Хаджи-Мурату.

Афилон провожал его. Вдвоем они залегли вблизи русских секретов и долго пели в два голоса.

— Эй, чего нудите? Кто такие? — не раз окликали их тихие голоса, но никто не стрелял.

Попрошались, не видя друг друга.

— Плохо, брат, твое дело,— шепнул Исмил.— Слух про тебя бедовый.

— Чертовски плохо.

— Я тебе скажу слушай меня: брось ты замашки русские, на кой они тебе. Горец ты — ну и будь горцем. Две жизни не проживешь, ей-богу. День барином живешь, день мужиком, а на кой тебе это барство.

— Чертовски плохо!..

Кибит-Магома знал о том, что творилось в Салтах, и хотя был уверен в своем брате Муртузали, таил все же большие сомнения в благополучном исходе дела. Человек осторожный, он, однако, поступал так, что сомнения его не мешали делу. С прежней энергией распоряжался он издали Салтинским гарнизоном, ежедневно посылал ему через лазутчиков секретные инструкции и ободрял, обещал успех. Неуверенный в себе, он умел вселять бодрость в других, чего никто не сумел бы сделать на его месте. Вот Хаджи-Мурат если не уверен, так у него все не уверены.

Предвидя близкий штурм Салтов, Кибит-Магома ежечасно придумывал что-нибудь новое, чтобы повредить русским, вывести их из спокойствия и принудить к открытому бою. Ничто не действовало. Осталось последнее средство — от имени Шамиля он приказал Хаджи-Мурату выручить Салты. Вслед за гонцом Кибит-Магомы прибежал к Хаджи-Мурату и Исмил.

Хунзахский храбрец был зол, мрачен и — что совсем не шло к нему — вял. Долго и рассеянно расспрашивал он Исмила о положении Салтов, потом стал вспоминать, где он видел Исмила, и, вспомнив, как Исмил, тогда еще русский драгун, отрубил уши его коню, задумчиво улыбнулся в бороду.

— Пойдем ко мне, пятьсот конных в команду дам,— сказал он, не глядя на мюрида.

— Имам не отпустит.

— Бойся меня, что ли?

— Аллах знает.

Хаджи-Мурат закрыл глаза и стал думать о выручке Салтов, стараясь представить себе, как развернется бой.

Видения не было. Бой не воображался. Но такое видение было необходимо.

Не видя, что надлежит ему сделать, Хаджи-Мурат не возбуждался. Ему нужно было овладевать сражением, как женой. Но ничего не было. Он вздохнул.

— Поезжай к имаму, скажи — поутру выступлю... Стой! Хочешь со мной быть?

— Лучше поеду.

— Ха!.. Поезжай.

— Ну, яхши, дай сотню конных — останусь.

— Старый друг — известная дорога! — веселее произнес Хаджи-Мурат и стал готовиться к бою, до начала которого оставались считанные часы. Разведчики доносили, что салтинцы уже бросились на русских.

— Какой план возьмем себе? — спросил Хаджи-Мурат.

— Да какой там план! Ударим с тылу — пожгем, порубим, коней пережем, а там видать будет...

— Валлах, хороший план! Я сам так люблю.

Близкое сражение нервировало их. Его очертания уже начинали прорисовываться сквозь хаос разведочных донесений и общих догадок.

Не проронив слова, две тысячи конных прыгнули в седла, двинулись лавой. Выстрелы у аула определяли путь колонны.

Когда рассвело, Афилон поднялся с подозрительной трубой на самую верх-

нюю саклю аула. Конница Хаджи-Мурата выходила ущельями во фланг Аргутинскому.

— Здорово взяли! Здорово!

Он послал отчима Сурхая к Муртузали, советуя напрямч последние силы, но Идрис хиндаляльский уже врубился в русские цепи. Хаджи-Мурат, еще не замеченный русскими, между тем спокойно и красиво раз-вертывал конницу к бою. Всадники спешили, осматривая коней, оружие.

— Эх, с-сукины дети!.. — Афилон отбросил трубку и отвернулся. Сил не хватало смотреть на безобразие конницы.

Мать подошла, взяла за плечи.

— Свет моих очей, сын мой, Алибек! Смотри, прошу тебя, за всех нас смотришь, всем ответ даешь. Что видно?

— Ничего не видно. Хаджи-Мурат своим отдых дал.

В это время казаки у русских окопов убили Идриса. Мюриды его хлынули назад. Муртузали остановил их — вновь началась сеча. Желтое знамя Гергебиля замелькало, поднялось на брустверы батарейных прикрытий, остановилось за шестиорудийной батареей. Крики дерущихся погло-тили грохот выстрелов.

Русский лагерь дрогнул. Эскадрон драгун вдруг вылетел из-за холма и, не разбираясь, в чем дело, ворвался в толчею рукопашного боя, давя и рубя своих и чужих.

— Ах ты, черт возьми!.. Что же это, а?—завизжал Афилон и заплакал. Конница Хаджи-Мурата все еще мирно стояла в ущелье.

Весь русский лагерь теперь пришел в движение. Эскадроны неслись на горцев Муртузали, казаки вылетали на фланги, и наконец Хаджи-Мурат был замечен ими. Какая-то разудалая донская сотня бросилась на его колонну.

Блестки шашек заиграли на солнце.

— Ну-ну-ну!.. Ах, мать честная!..

Издали, из Салтов, сотня казалась обреченной на гибель. Клубясь пылью, неслась она навстречу смерти.

Вдруг Хаджи-Мурат повернул две тысячи своих конных и, не дав ни одного выстрела, стал торопливо скрываться в глубине ущелья.

Забрызганный кровью, с рассеченной головой, подскочил Муртузали. С ножен его кинжала капала кровь, будто кровоточил самый клинок.

— Что?

— Ушел.

— Дело плохо. Идрис убит.

— Не хочу слушать,— сказал Афилон. Ему было теперь все равно.

— Слушай, когда говорю. Сын мой, Юсуф, убит.

— Вай, дир аллах! — прошептала мать Афилона.

Муртузали поглядел на нее, добавил:

— Твой тоже лежит.

— Раджаб?

— И Раджаб и племянник твой Хабибулла — оба.

Муртузали слез с коня, устало провел по лицу окровавленной ладонью.

— Четыре раза смерть я брал, не принял сегодня аллах.

— Думай последний раз, Афилон.

Мать распустила седые волосы и, всплеснув руками, побежала туда, где дрались. И не вернулась.

Наконец-то русские выходили на штурм. Моисей Захарович Аргутинский, заткнув уши ватой и опустив крылья шапки-ушанки, сам руководил движением рот. Он торопился и, непривычный к спешке, был зол. Наместник только что прибыл в лагерь и уже возбужденно ввязывался в командование. Не желая пускать его в дело, князь Моисей Захарович спешил закончить с Салтами в течение дня.

Роты врывались на плечах отступающих, полумертвый гарнизон Салтов работал вяло, «ура» бежало по улицам вверх. Начиналась резня.

Аргутинский глядел в бинокль.

— Сильный, сильный впечатление! — говорил он, жуя губами, щуря глаза. — Очень сильный впечатление!.. — и по-стариковски смеялся, видя знакомых офицеров, работающих штыками. — Кого вижу первый ряд, это я Векилова вижу, — с нескрываемым удивлением говорил он свите, показывая пальцем на толстую фигуру офицера туземной милиции, известного своей трусостью. Размахивая руками, Векилов вертелся перед саклей, в самом центре уличного сражения, распоряжаясь ее блокадой. — Смотри, пожалуйста! А?.. Какой прогресс имеем.

Вдруг Аргутинский запнулся на слове, отер рукой лицо и зашатался в седле.

— Кажется, ранился, а? — произнес он, недоумевая.

Адъютанты подхватили генерала под руки. Из простреленной щеки Аргутинского текла густая, черная, похожая на деготь кровь.

Поддерживаемый офицерами, он медленно направился к своему штабу. Платок, которым он прижимал рану, был весь в крови.

Рядом с конем бежал фельдшер.

— Дозвольте перевязать, ваше сиятельство... — лепетал он, касаясь рукой стремени, но князь отталкивал его ногой. Рана была простая, и Аргутинский не хотел выказывать слабость перед батальонами, знавшими его железную выносливость и удивительную непрехотливость.

Навстречу, предупрежденный ординарцем о случившемся, скакал встревоженный наместник. Строгое лицо его выражало усталость, но он, как и Аргутинский, тоже крепился и играл перед солдатами, которые, впрочем, отлично замечали эту игру генералов и, перемигиваясь и посмеиваясь над ними, как над актерами, отдавали предпочтение своему Аргуту. Это был их актер. Они привыкли к его игре.

— Князь Моисей Захарович! — крикнул Воронцов. — Горд буду закончить так славно начатый вами штурм!

— Нет, нет, не извольте, клянусь богом... — бормотал Аргутинский, сплевывая кровь. — Не извольте беспокоиться. Салты взяты, там теперь без меня и Векилов справится, клянусь богом!

Солдаты, услышав эту остроту, закричали «ура» и, хохоча, стали передавать ее от одного к другому и опять кричать «ура» своему старику Аргуту, который всегда умел, как никто, отбрызнуть начальство.

Аргутинскому так самому понравилась сказанная фраза, что он стал повторять ее, хрипло смеясь, всем встречавшим его у штаба.

— После нас и Векилов справится. А?.. Так воюем, клянусь богом!

Перед палаткой имама лежали уцелевшие салтинцы. Муртузали, потерявший глаз и все зубы, Афилон с изуродованной кистью левой руки, простреленный в грудь Раджаб, Байсунгур с расщепленной деревянной ногой, раненный в плечо Омар салтинский, раненный в голову мельник и еще десять — двенадцать мюридов из отряда Идриса, вынесшие тело своего наиба и теперь мрачно сидевшие вокруг него, завернутого в окровавленную бурку.

Ждали, что скажет имам, но он не выходил из палатки:

Время от времени Хаджио, домоправитель имама, выходил на выступ горы и подолгу глядел на горящие Салты.

Бледный и расстроенный Кибит-Магома ждал вызова к Шамилю в стороне от салтинцев. Он не говорил даже с братом Муртузали, не проявлял забот к раненым, не узнавал знакомых. Даже он не знал, что надлежит делать. После днешней молитвы приехал из отряда Хаджи-Мурата Исмил. Он был как пьяный. Руки его дрожали, палаха падала с головы, ноги делали путаные движения.

— Салам алайкум! — крикнул он, сойдя с коня и подходя к салтинцам.— Видали, как мы и Хаджи-Мурат бились? Не хуже его! — показал он на Кибит-Магому.— Все они правы, туды их, одни мы виновные!..

Старики прикрикнули на него, и он замолчал, разостлал бурку и лег спать, делая вид, что его сейчас ничего не интересует, кроме отдыха.

Вышел Хаджию.

— Кто здесь кричал? — спросил он.

Мюриды, охранявшие Шамиля, показали на Исмила.

— Сто плеток!

Байсунгур вскочил с земли и, опираясь на ружье, заковылял к палатке имама.

— Имам, гость принять просит! — громко сказал он, чтобы слышали окружающие.

Шамиль ответил после некоторого молчания:

— Входи, гость божий.

— Здравствуй, имам!

— Здравствуй, наиб Байсунгур! Садись, гость будешь.

В палатке было темно. Лицо Шамиля смутно угадывалось. Бледное, мрачное и в то же время печальное, оно нервно вздрагивало.

Байсунгур не знал, с чего начать, но медлить было некогда, и он начал с того, что его больше всего сейчас волновало и злило.

— Нельзя бить Исмила,— сказал он.— Много добра нам сделал.

— Знаю.

— Меня спас, русских крепко рубил, в Салтах вместе с нами горе имел.

— Знаю и это, Байсунгур. Еще что имеешь?

— Отмени приказ, имей жалость к нам.

— Не имею ее, Байсунгур, не имею.

Слышно было, как за палаткой стегали Исмила.

— Меня бьешь,— сказал беноевский наиб,— свои руки бьешь.

— Знаю и это. Себя бью, Байсунгур, себя бью.

Они помолчали, слушая сдержанное мычание Исмила.

— Ладный джигит он! Твой человек, имам.

— Знаю, что мой. Бью за то, что плохой. Кто жив остался, всех отстегаю.

— Вот Кибит живой, Хаджи-Мурат живой, почему их не бьешь, имам? Меня стегать хочешь? Буюр! Сурхая-мельника бей, меня бей, Афилона бей.

— Знаю, всех вас много бить надо,— не чувствуя иронии Байсунгура, сказал имам.— Иди отдыхай, здоровье твое плохое. Ты был бы вместо Исмила — другое б сделал. Если б я как Хаджи-Мурат был — пожалел бы, я знаю... А Исмилу что? О моей голове не думает, так и своей не жалко. Иди, Байсунгур, иди отдыхай.

Чеченец придвинулся к имаму, заглянул в темную зелень его глаз.

— Я был бы, голову Хаджи-Мурата тебе принес бы,— сказал он тихо, одним дыханием.

Имам прикрыл глаза, будто ничего не услышал.

К вечеру того же дня Сурхай достал двух ослов и, усадив на них Раджаба и Афилона, отправился к Гергебилю. Байсунгур прощался сухо. Он оставался при имаме в ожидании починки ноги и, видно, был расстроен позором Исмила и хотел, но не мог объяснить, почему разозлился на него Шамиль.

— Как поеду в свои места — в Гергебиле остановлюсь,— сказал он, прощаясь.— Говорить там будем.

— Э-э, что у нас говорить, ты лучше здесь слово скажи,— недовольно ответил мельник.

Все складывалось для него убытком. Война играла с ним в разорительную любовь, суля достаток и даже протягивая его в руки, чтобы тут же отнять с неожиданной оскорбительностью. Сначала дело его шло хорошо — осада Гергебиля дала ему рублей двести, спасение Байсунгура прибавило еще трех казачьих коней и дорогое оружие, но в Салтах был проигрыш — кони пали, седла и сбруя остались в ауле, Фирдоус погибла, Раджаб ранен, сам он ранен, Афилон ранен, и Сурхай возвращался домой, полный досады: его оскорбляло недоверие имама к Исмилу, к которому он привык и которого почти полюбил. Он думал и не мог, не умел понять раздражение Шамиля. Злила Сурхая и судьба Афилона — он уважал и в то же время презирал этого малого и не хотел иметь с ним дела, но жизнь, видно, крепко связала их вместе.

— Что от нас хочет — не знаю, что мы хотим от него — не помню, — бормотал он, идя за ослами по окольной, малоезженной и потому заброшенной тропе на Гергебель.

Новости догоняли их, однако, и здесь.

Бойцы, возвращавшиеся по домам из отряда Кибит-Магомы, рассказывали: Муртузали лишен наибского звания, Кибит отстранен от командования, Афилон обруган свиньей и изменником, Исмил — отступником веры, а Хаджи-Мурату назначено собрать людей от анцийского Койсу до Дусраха и сделать набег на Кумухское ханство, область, подчиненную Аргутинскому.

В Гергебель путники добрались без особенных приключений.

Ак-Сурхай толкнул грустно дверь опустевшей мельницы. Все молчали. Не о чем было говорить.

Глава 9

Трудные времена настали для тех, кто любил имама.

В ущелье за Гергебилем все еще было мертво после июньского штурма. В разбитых ядрами мельницах поселились орлы, шакалы ютились в безлюдных саклях аула.

Раджаб и Афилон, не вставая, лежали на мельнице, на ворохах сухой травы, покрытой солдатскими шинелями. Мельник безучастно ухаживал за ними. Придвигалась зима, самая худая из всех его зим. Надежд ни на что не было.

Гнев Шамиля висел над всеми ими. В жестокой голове имама никогда не засыпали мысли об изменах и кознях, упорная воля его не знала жалости, чужда была привязанности к близким. Самыми близкими были Шамилю те, кто погиб в сражениях. За ними стояли побеждающие в боях, а неудачники и несчастливцы шли рядом с предателями.

Храбрый, удачливый Хаджи-Мурат всегда был ближе Шамилю, чем робкий, несчастливый в делах Даниэль-бек или чересчур осторожный Кибит-Магома.

Но стоило Хаджи-Мурату струсить под Салтами, как имя его перестали произносить перед имамом.

Зато имя Идриса вознесено было в сиянии славы. Память его почтил имам вкладом в гергебельскую мечеть и выдачей десяти рублей серебром семье Идриса.

Желтый нанбский значок Идриса, вымазанный в крови и саже, висел в мечети.

Калеки, глядя на него, перебирали воспоминания славы. Каждый из них держал древко этого знамени в боях, перед лицом смерти, — и значок был знаком их собственного мужества.

Касался его рукой и Афилон. Он помнил ощущение от горячего и мокрого древка, липкого от засыхающей крози, и помнил, что само полотни-

ше было тяжелым от крови и не развевалось по ветру, а хлопало его по спине. Это была кровь Идриса и его собственная. Они навсегда породнились под этим знаменем в дни штурма Гергебиля.

Зима после лега, богатого фруктами, должна бы прийти безболезненно, но нагрязнула шумно, вздорно и всех перепугала ветрами и холодами. Дров не было, кизяка не запасли из-за частых сражений. Много было раненых и истощенных — им нужны были тепло и крепкая пища, а ничего не было.

На мельнице теперь хозяйничал Афилон, он умел помочь каждому, хотя не был ни хорошим хозяином, ни охотником и ни мельником — он был помощником.

Планы у него никогда не кончались. Он подсказал, как устроить новый желоб для воды из ущелья, и он же учил красиво исправить попорченный бомбами минарет. Молодежь приходила к нему за советами, куда лучше пойти в набег, — и он советовал им.

Сам он ничего не умел делать, но толково знал, что надо делать другим, и ошибался редко. Гергебельцы любили его, как человека, казалось им, юродивого, со странностями, которому все прощается, потому что он блажной.

В середине зимы Ак-Сурхай велел Афилону выйти к реке для разговора с глазу на глаз. Камни в потоке стали седыми от льда и выросли, заострились, от воды шел пар, она неслась, паря в середине и застывая по краям, как свежая рана.

Туман, черный, как дым, способный задушить все живое, скопился поверху. Его густые валы медленно переворачивало ветрами.

Края ущелья тихо звенели выгоревшей за лето травой.

— Зима для нас хороша, если кукуруза в доме, — сказал отчим. — Зима — покой. Русские себе спят, мы себе спим. Никакой войны нет ни днем, ни ночью.

— Верно, отец.

— А когда кукурузы нет, соли нет — тогда могила зима.

— Тоже верно.

— Вот и напиши письмо имаму, аллах милостив, может ничего и не будет.

— Что написать? О чем?

— Я знаю что? Всем помогаешь — себе помоги, себе неохота помогать — о нем подумай.

— О ком?

— Думай, думай о нем. Наша беда — его беда.

— О ком?

Ак-Сурхай по-отцовски схватил Афилона за плечо.

— Он что сказал? Буду тебе вместо отца. Верно?

— Верно.

— Так и ты будь ему вместо сына.

— Он не любит меня, отец.

— А за что такого любить? Тебя никто не любит. Как мы живем — так жить не хочешь, а как сам живешь — никто не знает.

Старик повернулся и пошел к мельнице, не поворачиваясь к Афилону, сказал еще напоследок:

— Матери у тебя нет, отца нет, должен о себе много думать.

Афилон тотчас написал Шах-Аббасу, секретарю Шамиля, просил разрешения приступить к исправлению разрушенного Гергебиля.

Смело и даже непочтительно изложил он перед Шах-Аббасом вопросы, которые, по его мнению, должны были встать, — и чем скорее, тем лучше. Он написал, что пора приступить к основанию в горах Чечни казачьих станиц, что не следует пренебрегать настроениями христиан в

Осетии и Закаталах, наконец, о том, что сама христианская религия требует вдумчивого отношения к ней имама.

Ответ пришел быстро — ехать в Гуниб, к инженеру Хаджи-Юсуфу, работать, что он прикажет, к имаму без дела не обращаться.

Гонец, привезший ответ Шах-Аббаса, впопыхах рассказал, что к имаму прибыл поляк, бежавший от русских, но куда он будет назначен, еще не известно.

Новость взволновала Афилона. Хотелось помчаться в Дарго, к имаму, увидеть там поляка и узнать, что делается в большом мире. Но письмо Шах-Аббаса написано было сухо, кратко. Афилон чувствовал, что ехать в Дарго ему незачем.

К этому времени Сурхай твердо решил женить Раджаба. Без Фирдоус разрушалось хозяйство. Невесту наметили брать в Чечне — чеченки славились красотой, да к тому же было очень удобно завести родню в хлебных чеченских местах. Это сильно укрепляло дела семьи в случае набегов. Так давно еще думала Фирдоус, и Сурхай всегда одобрял ее замысел.

Афилон собрался быстро. Дня за три до ухода в Гуниб сказал, чтобы просватали ему Шуанат, ту высокую, бледную девушку, что запомнилась в дни штурма. Ак-Сурхай кряхтел от раздражения.

— Опять смех людям.

— Пускай!

— Тогда сам и делай.

Под общий смех всего аула Афилон и Шуанат вышли к Гунибу, влача на спинах легкие узлы своего добра.

Глава 10

Дороги из Дагестана в Чечню были в те времена трудны и опасны. Они вились по склонам ущелий, терялись в лесах, окруженные валами гор, укрытые обломками скал, рассеченные быстрыми реками.

Сурхай, ехавший в Чечню вместе с сыном Раджабом, не торопился, однако, оставить Дагестан позади. Пересекая места своей юности, он как бы заново повторял ее.

В Гимрах, родном ауле Сурхая и Шамиля, путники остановились на дневку у дальнего родственника, в трех шагах от старого имамского дома, где когда-то молодые парни Кази-Мулла и Шамиль задумали распространять шариат.

Здесь началась и жизнь Сурхая и его ранняя тесная дружба с будущими имамами, здесь родился и этот проклятый Афилон и настоящий, с в о й, первый сын, потом погибший. Здесь, наконец, раздвоилась жизнь Сурхая и Шамиля на две особые, разные жизни.

Осмотрев сад, некогда принадлежавший кузнецу Деньгасул-Магоме, отцу имама, Сурхай нашел и развалины собственной сакли, густо заросшие лопухом.

Старых кунаков почти не осталось, а молодежь не знала, что сутулый старик, печально бродящий по шумным Гимрам, одет воином самого имама в дни, когда тот был полуголодным учеником. Никто не умел представить, что такое время когда-то было.

Он ехал молча, отворачиваясь от мест давних сражений или припадая к нежданно встающим на его пути могилам, во множестве разбросанным на путях к Ахульго. Друзья лежали в них. Он мог бы рассказать, как они умирали, как он опускал в землю их разрубленные тела. Он знал по именам, где кто лежит. Он сам душой был здесь, вот там скакал, крича невесть что на русскую пушку, тут вот, в овражке, скрипел зубами, охлаждая горячую пулю своей медленной, осторожно бегущей кровью. Он мог бы лежать тут со многими, в славе и почестях праведника, и то, что он еще жил, наполняло его сердце сладкой, острой, легкой силой.

Да, жить, чтобы когда-нибудь умереть, задохнувшись от боевого азарта, запыхавшись в беге или обессилев рубить с плеча, умереть на взмахе собственной шашки, на выкрике губ и не успев поблагодарить жизнь, благословившую его на подвиг смерти.

И думать о жизни ему теперь не хотелось, хотя и надо было: эта свадьба — шайтан ее окрути! — много суеты обещала.

Раджаб, не чувствуя печали старика, ехал, весело болтая о путевых впечатлениях. Кони были хорошие, взяты на время у кадия. В стороне виднелись скалы Ахульго.

Раджаб хотел, чтобы старик рассказал, как было когда-то тут дело, и торопился прибыть к месту за светло, но мельник не пожелал торопиться. Если бы долгая ночь покрыла весь остаток его пути до Ауха, где предположено было сватать невесту Раджабу, он был бы лишь рад.

Он злился, что глаза Раджаба равнодушно рассматривали святые места его подвигов и его страданий.

Там, где две Койсу — одна, стремясь из Аварии, другая из Анди — соединялись в Сулак, их встретил грохот вод, сталкивающихся меж собой тяжелые камни.

Звуки, сходные с выстрелами, наполняли ветреный воздух вокруг Ахульго. Казалось, сражение, происшедшее в этих местах восемнадцать лет назад, еще не отзвучало во времени.

Сурхай велел остановиться вблизи утеса и совершил безмолвную молитву. Место было неприветливо для ночевки. Полные гроз тучи лежали одна на другой пластами, никогда не давая солнцу развернуться в просторном блеске. Они клубились меж гор, подчеркивая своей серо-синей мрачностью общий дух здешних мест. Это было место последних вздыбленных гор, последнее место горных гроз. Отсюда к северу горы падали, пригибались, плашмя ложились среди просторных долин, пролианных рекой Сулаком в когда-то узких ущельях.

На другой день въехали в Чечню. Все чаще встречались сады, ореховые рощи, леса одичавших яблонь и груш, заросли ежевики, за которыми скрывались сытые, нетоптанные пастбища. Аулы не громоздились вверх, а лежали, разбросавшись в длину.

— Бурки тут здорово хороши, — сказал, шелкая языком, Раджаб. — По двенадцать рублей за штуку. Красивый товар! — И оглядел даль, веселую, вниз — к северу — сбегающую даль Чечни.

Зима в Салатавии в тот год была особенно хороша, хлеб летом уродился крепкий, и молодежь готовилась теперь к набегам, подбирались партии, справлялись свадьбы.

Село Аух, куда приехал Сурхай брать жену Раджабу, лежало на северных склонах салатавских гор, вблизи укрепления Хасав-Юрт, и считалось важным аулом. Тут всегда дрались крепко. Ауховцы не пропускали ни одного большого набега и не раз пересекали горы Салатавии, Койсубу и Аварии, чтобы поддержать имама в глубине Дагестана или даже на юге его, в Кумухском ханстве. Но чаще всего дрались они с русскими недалеко от своих аулов, были мастера ночных налетов и долгих скитаний в русских тылах.

Сурхай с Раджабом остановился у старого кунака, товарища по сражениям. Дом был бедный, но уважаемый, а теперь — главное — почти пустой, так как неженатые сыновья хозяина уходили в набег, а невестка, вдова старшего сына, переселилась к своим.

Пока шли проводы в набег молодых наездников, Сурхай проводил вечера на площади перед мечетью в рассказах о дагестанских делах, а Раджаб присматривался к чужой чеченской жизни.

Чеченки были куда разбитнее дагестанок, и тоньше их, и, пожалуй, красивее, сытее. Жизнь в Чечне была, конечно, намного легче, да и свобод-

нее, непринужденнее, нежели вблизи суровых глаз имама. Тут на свадьбах даже лезгинку плясали, и Шамиль никак не мог искоренить зловредного этого обычая. Что до женской одежды, то роскоши ее здесь никто не стыдился. В праздники бабы наряжались в шелк, в тяжелую, тафту, грудь убирали резным серебряным лифом. Близость русских станиц сказывалась во многом — в каждом доме был киргизский чай в плитках, кусковой сахар, серники. В праздники пекли пшеничные лепешки, варили лапшу или чорпу, приготавливали пряники из кукурузной муки с медом, а в будничные довольствовались берымом и просяной лепешкой с водой и солью, иногда с добавлением молока.

Но воздух, горы, открытость холмов или дремучесть диких лесов не нравились ни Раджабу, ни Сурхаю. В Дагестане было уютнее, тише, дальше от русских.

— Здесь будто голый хожу, отовсюду видно, — брюзжал Сурхай.

В Аух что ни день приезжали лазутчики из Внезапной и Хасав-Юрта. Нищие у мечети рассказывали, что делается на базарах Кизляра и Грозной — русские были будто на ладони, и оттого вся жизнь торопилась куда-то за их делами, их лошадьми, которых стоит отбить, за их бабами, которых выгодно было красть, за их торговцами, обобрать которых всегда хорошо.

Сыновья хозяина, у которого остановился Сурхай, как раз и сговорились с одним из лазутчиков, что он наведет их на транспорт купца, который на днях должен был перебираться из Внезапной в Хасав-Юрт с большой партией товара.

Но неожиданно в аул прибыл знаменитый Агалау — собиратель отчаянных на большое дело, и все повалили к нему.

Из аула в набег отправлялось человек шестьдесят, и почти в каждой сакле шли проводы.

Молодые девушки пели. Песня, сначала протяжная, потом убыстрялась, веселела и, наконец, взвивалась в неслыханном возбуждении. Мужчин это пение влиновало.

Из-за всех этих дел Раджабова свадьба шла в суете и кое-как наконец была улажена.

Молодую в доме, где остановился жених, ждали наутро.

Еще не рассветало, как Раджаба выслали из дому, что требовалось обычаем, и невеста в закрытой арбе показалась на длинной, в густых садах, улице, у дома жениха.

Кругом арбы скакали, стреляя из ружей, мужчины. Такого свадебного поезда давно не было.

Отправляясь в набег, мужчины были возбуждены и приветливы и с охотой принимали участие в сопровождении молодой и красивой невесты. Сам Агалау джигитовал возле ее арбы.

Молодую звали Айша. Ей не было и пятнадцати лет. Белое лицо ее выглядело опухшим (она, как и другие, два или три дня пела и кружилась на проводах), движения были медленны, сонны. Она держала в руках кошелек с несколькими серебряными монетами и, пугливо озираясь вокруг, все боялась упустить момент, когда кто-нибудь из мужчин бросит ей под ноги бурку у порога жениховой сакли и тогда она быстро отдаст ему этот самый кошелек, который отвлекал ее от рассматривания главного, что происходило вокруг.

Бурку бросил Агалау, которого она давно считала возможным своим женихом, и она отдала ему деньги, улыбаясь, что вот наконец-таки развязалась с кошельком и что взял его тот самый, на которого она загадала.

За саклей жениха молодые ребята лет тринадцати-четырнадцати уже пробовали на звук русские медные тазы и молотили расщепленными палками по бревну, другие, которым рано еще было плясать, с шутками и смехом утаптывали двор. Танцоры прибывали отовсюду. Некоторые от-

ложили из-за свадьбы выступление в набег, а двое самых отчаянных плясунов, неоднократно битых набом за не в меру веселый характер, отправлялись в дело сразу же после лезгинки.

Она уже начиналась.

Ее еще не плясали, но весь воздух дома был полон плясового ритма и дурмана. Пританцовывали молодые ребята, бывшие в тазы, поварахи за саклей, любопытные на улице.

Говор людей стал громким, дрожащим, движения особо упругими.

Пляска продолжалась три дня, и все это время Раджаб бродил по садам, за аулом, возвращаясь к жене поздним вечером.

Он еще не привык к молодой жене и мало говорил с нею, да, по правде сказать, она и сама не была разговорчивой и, утомленная плясками и суетой, только о том и старалась, чтобы не заснуть раньше мужа.

Брак считался хорошим, молодые были красивы, но Раджабу хотелось сделать что-то такое, что бы навсегда запомнилось в связи с его свадьбой. И ничего другого, как сходить в набег к Чир-Юрту, он не умел придумать.

До сих пор он ходил в дела с отцом, а сейчас было удобно сходить с чужими, и, бродя по миатлинским садам и слушая стон отдаленной лезгинки, он со многими здешними уже перетолковал о набеге. Агалау звал его с собой как дорогого гостя из Дагестана. Дагестанцы славились своим боем, их все уважали за смелость, и Раджабу очень хотелось воочию показать ауховцам, чего он стоит как джигит.

Дело было, однако, трудное. Чеченцы умели отлично драться в лесах, хорошо нападали в конном строю, здорово отступали, увлекая на себя неприятеля, зато не любили обороняться, ходить в атаки предпочитали малыми партиями, да и то лишь тогда, когда достигали внезапности, — долгий открытый бой был чужд им.

Они были увертливы и из этого исходили. Раджаб, как и отец его, считал свою манеру боя лучшей. В Дагестане спешить не любили. В Дагестане, если человек залег за камень, только смерть способна была согнать его прочь.

Спустя три дня после свадьбы Айша в первый раз вышла по воду. Это был знак, что она начинает хозяйствовать в доме мужа. Женщины и ребята провожали ее к реке, мужчины же, встретив молодую у берега, открыли стрельбу, когда она, набрав воды в кувшин, поставила его себе на плечо. Мать ее тут же раздала присутствующим блины. Напевая и стреляя, все вернулись домой, очень довольные, что свадьба прошла красиво и вызвала хорошие разговоры.

Теперь надо было думать о деле, и Раджаб собрал трех братьев жены и двух нищих из Андрей-аула, чтобы точно уговориться о набеге.

— Приготовь лепешек, в дело уйду, — строго сказал он Айше и сразу увидел, что она обрадовалась, вспыхнула. Ей было приятно, что у нее такой муж.

С детской суетливостью выбежала она на женскую половину и рассказала матери. Опять началась кутерьма.

Мужчины совещались до вечера.

Ночью выехали. Дело было лихое, требовало отчаянной удачи: Агалау решил одним ударом угнать из Чир-Юрта всех драгунских коней, сотни две с половиной. Короткие ночи и густая трава в присулакской долине, на которой наутро оставались росные следы, затрудняли поход. Многие не советовали предпринимать дело без мюрида Исмила, но Сурхай уговорил и Агалау и Раджаба.

— Расход большой имели, — сокрушенно сказал он, — а славу возьмем — все ладно будет. Зачем нам Исмил, мы сами русских хорошо знаем.

Знаменитый салатавский джигит Агалау давно уже просил наиба Каирбека разрешить ему набег на Чир-Юрт, но тот, боясь неудовольствия

Шамиля, отказывал. Теперь же, после падения Салтов, дело оборачивалось в пользу Агалау — хороший набег очень нужен был для ободрения народа.

Молодые наездники стекались к Агалау отовсюду. Он выбирал лучших и безжалостно отказывал малодушным или неопытным.

Раджаб с братьями своей жены и двумя бродячими нищими из Чир-Юрта прибыл к Агалау в ночь набега. Не отдыхая, двинулись дальше вслед за разведчиками, с вечера засевшими на левом берегу Сулака, против самого укрепления, и уже дважды присылавшими гонцов, что переправа чиста и надо торопиться.

Операция была задумана очень рискованно, но не для всех наездников одинаково выгодна.

Отбить драгунских коней Агалау задумал на водопое. Обычно коней поили в том месте, где кончались полковые огороды и берег, изрытый десятками ям, круто снижался к реке. Полусотне храбрецов предстояло засесть в ямах и дожидаться рассвета, когда дежурные поведут поить эскадронных коней, перестрелять коноводов, быстро перегнать коней вплавь на левый берег, под защиту второй половины джигитов, и скрыться в лесах.

Все хотели быть в передней полусотне — она получала большую долю добычи — и спорили с Агалау о местах в бою и дележе.

Раджаб с товарищами, хотя и прибывший с опозданием и заслуживающий включения в резервную партию, был включен в передний отряд как уважаемый гость, герой Гергебиля, братья жены и нищие-кунаки благодаря ему также попали в полусотню, которая своим молодечеством и должна была решить успех дела.

— Если аллах сохранит наши головы до утра, сделаем дело, какого никто не делал! — сказал Агалау, давая знак первому десятку переправляться на русскую сторону.

Джигиты слезли с коней, скинули черкески и оружие, сунули в тулуки и бесшумно поплыли через реку. За ними двинулись второй и третий десятки.

Стояла совершенная тишина. Глухой плеск реки лишь изредка прерывал ее.

Протяжное «Слушай!», которым в Новой слободке перекликались часовые, тревожило слух.

Агалау, коренастый, широкоплечий малый на коротких и кривых ногах, вытянув шею, стоял у самой воды.

Он весь был слух. Он весь был в звуках с того, сейчас заплывшего туманом берега и по ним одним представлял, что там происходило. Не говоря ни слова, он махнул два раза рукой. Четвертый и пятый десятки вошли в воду и скрылись в темноте. Потом разделся сам и, окруженный пятью храбрейшими ребятами, осторожно поплыл по течению.

Раджаб как гость был с первым десятком. Мокрые, проползли они к огородам и залегли в самой дальней от берега яме. Больше они ничего не слышали и не видели до самого рассвета, но план был им ясен: как только кони трех эскадронов спустятся к реке, отрезать их от укрепления.

Раджаб никогда не бывал так близко от русских. Чужие места, чужие дороги!

Светало медленно, недружно, туман лежал, как снег.

Но вот скоро вдали затопали, заржали кони.

Коноводы вели по три-четыре коня. Были они в исподнем, за плечами болтались ружьишки, шаек ни у кого не было.

Прошел один эскадрон, за ним сразу второй, а третий еще только выходил из ворот укрепления, и это задержало передовую партию. Но вот и третий эскадрон у воды.

— Ла-хавла-вала!..

И сразу ударили из ружей по коноводам.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1

Афилон всю ночь одолевал забитое туманом ущелье Кара-Койсу, осторожно поднимаясь вверх по тропе, к Гунибу. Он сидел на коне, широко раскрыв глаза, но был слепым — ни огонька, ни черного пятна, белесый бред тумана с нелепым шумом один стоял перед его глазами.

Конь дрожал. Дрожал и Афилон. Туман, туман, и отдаленный рев реки, и отдаленный холод пропасти, и чуть звучащий шорох покотившегося камня, как будто выскользнувшего из-под чужой, где-то далеко ступившей ноги, — но пропасти были рядом, их близость решала путь. Опасность была сильнейшим удовольствием этой прогулки.

Как зверь, пробирался Афилон по узкой тропе, холодея от возбуждения.

Вот уже полгода жил он в заброшенном, малолюдном Гунибе, ничего не делая и ни о чем не заботясь. Инженер Хаджи-Юсуф еще не прибыл. Планы работ по Гунибу оставались неясными. Измученный неизвестностью своего положения, раздраженный одиночеством, бесцельно скитался Афилон по горам. Из старых знакомых тут у него никого не было, новые относились к нему отчужденно. Жизнь шла без слухов — в Гуниб ничего не доходило о том, что происходит вокруг. Жизнь гор поступала сюда с опозданием. Пастухи Гуниба никогда не слышали боевых выстрелов. Их аул, лежащий высоко и в стороне от жизни, лениво пас своих малорослых горных коров, шкодливых, как козы. Старшина аула в невнятных, но решительных выражениях советовал Афилону не выезжать никуда без особого на то разрешения. Понадобилось ходатайство согратлинского кадия, чтобы однажды съездить на трое суток в Согратль, в гости к каменщику Халилу.

На краю аула Гуниб, вблизи березовой рощи, стояла маленькая Афилонова сакля. Река Гунибка шумела в глубоком желобе каменных берегов перед самой саклей. Аул располагался за спиной — сакля глядела на небо и горы.

Маленький дворик был огорожен дикими камнями и напоминал боевой завал. Место было красивое, самое дикое в диком Гунибе, стоявшем ближе к небу, чем к земле. За зиму Афилон изучил Гуниб со всех точек зрения и, хотя Хаджи-Юсуфа не было, предпринял на свой риск некоторые шаги к укреплению места. Затем он выстроил крохотный пороховой завод, на котором работал один или с помощью Шуанат. Старшина аула посылал пищу. Одиноким полукафыр, полугорец, имевший славу джигита-хитреца, возбуждал сочувствие женщин — он постоянно бывал зван в гости и заботы о пропитании никогда не занимали его. Звали его все по-прежнему Афилон, хотя он уведомил, что имя его Алибек. Идучи с женой из Гергебиля, он рассказал молодой подруге, кто он и как попал в горы. В положенные часы он молился. Биография его и молитвы не вызвали у жены ни удивления, ни почтения.

Когда он молился — она улыбалась. Когда он рассказывал, что нашел в горах родину, — она опускала глаза, не веря ни одному его слову.

В Гунибе, в сакле, похожей на боевой форт, он стал жить так, как жил один, — по утрам вскакивал голым с дырявой бурки, служившей постелью, делал гимнастику, сухой, тонкий, бронзоватый, а у жены, искаса поглядывавшей на необычное и недостойное зрелище голого мужчины, улыбались пушистые и всегда как бы погруженные в тень глаза. Он заставил и ее раздеваться на ночь, чтобы беречь одежду, и вел себя с нею так, как если бы их ничто не разделяло: ни разные культуры, ни разные привычки, ни противоречивый опыт их жизней.

Она подчинилась мужу мгновенно, как и подобало жене, но не без робости и страха вначале. Потом, когда почувствовала, что он полюбил ее, удивилась. Когда он спел ей непонятную песню — расстроилась, но, махнув рукой на все соображения, отдалась новой жизни с неистовством женщины, впавшей в безумие.

— Теперь я сама вижу, что ты кяфыр, — твердо сказала она ему однажды, — и не Алибек ты, а Афилон.

И, к безграничной обиде его, стала звать мужа, как все, Афилоном. Но любила и привязывалась к нему все больше и больше и скоро вошла в него, как неотделимая часть его существа.

С отеческой нежностью ласкал он молодую жену, глядящую на него с трепетом и восторгом. Куда бы ни сказал пойти ей этот ласковый человек, она пойдет, она все сделает. Хочет уйти он из гор — она выведет его, они уйдут вместе.

— Разве ты не любишь свой аул? — спрашивал он ее.

— Нет, я тебя люблю, — отвечала она, обнимая сильными руками его худые ноги.

— У тебя отец, мать.

— У меня — ты, — строго отвечала она. — Хочешь убить кого-нибудь — я убью. Я одна у тебя, другой не будет, ты старик. — И она глядела в глаза, шепча: — Открой их мне,пусти меня туда, — и стучала пальцами в его сердце.

Но там нет никого. Даже сам он не бывает в темном и смутном мире своего сердца. Ему неясно, что делать, да и здоровье его, такое всегда добротное, теперь ослабевает, распадается на хворобы. То прихватит злостная лихорадка, то боль отнимет ноги, он худеет, его сердце задыхается.

Но только лишь тело его было немощно и бессильно, душа же рвалась к жизни. Он достал обрывки военной карты, заметки прошлых лет, чертил планы войны и обороны Гуниба, погрузился в тонкие расчеты русской тактики и продолжал делать порох, теперь уже всегда с Шуанат.

Иногда в осенние ночи, когда все спали в Гунибе, они вставали и крадучись выходили за аул. Почти вслепую пересекали они долину реки, взбирались на крайние отроги Гунибдага и ошупью спускались по овечьим тропам вниз, к темной ветреной Кара-Койсу. Они пробовали тропы, на руках поднимались по отвесным скалам, намечали места завалам, потайным ходам и крепостным стенам. Шуанат была точно уверена, что ее Афилон безумен, но безумие его было привлекательно, и она подчинялась ему и разделяла его со страхом и увлечением.

С ревнивой страстью разглядывала она его чертежи, пытаясь проникнуть в таинственный смысл расчетов и линий. Она хотела знать все, что составляет его жизнь. Подробно расспрашивала о его прежних женщинах и смешно подражала им в повадках. Она просила научить ее танцам и, лукаво подмигивая ему, с потешной грацией топотала ногами в широких шароварах, глухая к незнакомому ритму, но очень довольная тем, что совершает запрещенное. Твердо знала, что ее переживания с Афилоном — сплошной грех. Он целовал ее, он раздевал ее, он сам ходил перед нею голый, чего никто не делал в горах. И все это был грех и грех.

Однажды Афилон услышал — она поет. Прелестным голосом, невыкшим к пению и беспомощным еще, как голос начинающего болтать ребенка, она издавала по складам какие-то смутные звуки. Она пела «Марсельезу», единственную песню, которую он знал и часто напевал вполголоса.

«Аллон, Афилон», — шептала она нараспев, покачивая смуглой голловкой.

И что ты ей скажешь? Что ей откроешь? Рассказать о России, о декабристах, о Стеньке Разине? Научить ее танцам и песням? Зачем?

Плясала бы она, впрочем, чудесно и в Петербурге считалась бы красавицей.

— Зачем поешь? Шариат не велит.

— Эх! Мой шариат — ты.

— Имам дал закон один для всех.

— А ты сына мне дашь, — смеялась она. — Ты мне больше, чем имам.

— Сына?

— Знаю, что будет сын. Не бойся. Хороший сын будет.

Думал ли он когда-нибудь, что станет отцом сына-горца? Теперь горы свои, родные, их надо защищать для сына. И снова он углублялся в планы, в бред фантастических замыслов, прерываемый бредом недалекой чахотки.

Но как велика, как просторна теперь была его жизнь. Все умерло в нем, кроме мыслей, а они делались все ярче, все смелее.

Шуанат была невиданно красива особенной, не часто на нее нисходящей, зато упительной до утомления красотой. Ей дано было загораться невесть от чего и тогда, загоревшись, меняться неузнаваемо. Лицо светилось, руки обретали плавные, благородные линии, фигура блаженно нежилась тонкими движениями. Она набухала благородным бесстыдством, смелым и кротким в одно и то же время. И чем больше лисбил ее Афилон, тем она становилась красивее и красивее, и не было границ ее росту. Казалось, что где-то внутри она берегла неисчерпаемые запасы сил делаться лучше и что тот облик, который до сих пор был свойственен ей, лишь временная девичья форма, давно уже стесняющая ее. Нищета не смущала ее. Настороженность аула не беспокоила. Она жила в недосказанной сказке о своем Афилоне, и ничто не способно было убедить ее в том, что сказка может окончиться дурно. Она всегда ждала, что должно случиться хорошее, и была настороже даже во сне. Женясь, Афилон перестал выезжать из Гуниба. Зима прошла вдвоем с Шуанат. Но весной, когда нежный запах горячих под солнцем скал наполнил аул, он вспомнил о соградинском Халиле и несколько раз посетил его.

Сейчас он возвращался как раз от Халила. Туманная ночь застала его на обратном пути, в ущелье Кара-Койсу. Он подвигался на ощупь, почти бессознательно, махнув рукой на опасность дороги, и думал о Шуанат.

Черт с ними, с опасностями! Мало он видел их! Важнее было думать о ней.

Ее смуглая худоба была смешна и сладострастна, вопреки всякой логике. Маленькая головка, круглая и жесткая, освещалась зелено-серыми глазами цвета дикого камня. От нее исходила энергия невиданной силы, тревожная и привлекательная, энергия покорности.

Когда она бралась за что-нибудь с увлечением, она выполняла работу десятка мужчин, хотя это происходило с нею и не особенно часто.

Никакой труд не отталкивал ее. Вообще же любить она любила очень немногие вещи. Долго не понимая, зачем муж раздевается, ложась спать, и не особенно доверяя его рассказам о гигиене, она вела себя сначала поразительной грязнухой. Затем прозрела. Он целовал ее только чистой. Тогда все, что окружало Шуанат, вдруг обязалось обрести эту высшую добродетель и качество. Она отдалась чистоте, как греху, с восторженной маниакальностью. Нищая сакля ее, с двумя дырявыми паласами, двумя штопаными одеялами, дырявой буркой и несколькими подушками, быстро засияла цветами радуги. Чтобы не грязнить вещей, она сама спала в сене, и только Афилону, да и то в почи, когда можно было ради большого греха забыть все меньшее, разрешалось поваляться на бурке. На пороховом заводе она работала полуголой. Ему нравилась она обнаженная, и он не стал возражать, да и не было никаких доводов — простудиться она не могла.

Привыкнув видеть свое тело при свете дня, она научилась владеть им — все красивело в ней изо дня в день. Она научилась, не подозревая сама, быть грациозной. Одежда, скрадывая тело, позволяла ей делать движения, которых она теперь бессознательно стыдилась, хотя она могла бы поклясться, что нет ничего, чего бы сна не способна была сделать голый.

Пороховой завод стал их местом самой страстной, самой дьявольской (как она думала) и колдовской любви. На всех вещах оставался запах ее тела, на всех трудовых процессах лежала тень ее движений — взмах руки, колыхание бедер, дрожание маленькой груди. Как все прониклось ею!

Как стало все ею!

Она присвоила вещам свои запахи, приучила их к ритму своего обращения с ними, и в этом, черт его возьми, действительно был какой-то увлекательный грех.

Но это был труд, могущий стать смыслом и честью жизни. Порох получался великолепный.

...Афилон очнулся от шуршания воздуха. Туман, шурша по его лицу и одежде, пронесился вниз.

На тропе появились легкие тени скал, коня, всадника. Лошадь острожно шагала через тени. Запахло далью и захолодело, засияло. Как из чаши, отстраняя рукой белесую листву тумана, вырывался Афилон в лунный свет. Острый запах горного воздуха клонил ко сну. Открывалась ночь, какой не бывает в долинах, — ночь спящего воздуха. Тополи курились остатками зацепившегося за них тумана и таяли, таяли на глазах, почти сливались с небом.

Стояла тишина, в которой Афилон был единственным движением.

Хотелось запеть или сказать что-нибудь стихами. Каменные валы, один за другим, во много рядов, простерлись необозримым, мрачным, застывшим морем.

Окаменелый всплеск их напрягался в неустойчивом взлете.

Подобно чайке на оцепеневшей зыби, сверкала луна. И было так просторно, так широко, так вольно глядеть на море гор, так был силен и радостен глаз, так чутко ухо, так привычна к пространствам грудь, что уже в самой возможности переживать это таилось веселое и легкое счастье. Оно было смело и чисто. Ничто не омрачало и не тяготило его. Глаза, сначала млеющие от опасности, глядели теперь с простодушием и безмятежностью на пространства и время, раскрытые им. Да, время. С вершины Гуниба оно было видно.

Афилон видел дорогу от Согратля, которую он одолевал поутру, видел путь свой в течение дня и ночи — глухую щель Кара-Койсу — и мог разглядеть начало нового утра — кривизну тропинок в березовой роще, в Верхний Гуниб, к дому, где жил он.

Афилон слез с коня и лег на выступ скалы. Ему казалось — он падает с неба на землю, как задумавшийся орел. Где-то вздохнула недоспавшая птица. Кашель пса донесся снизу, из аула Хиндах. Прокатился камень под телом ящерицы или змеи, и, сбрасывая последнюю плеву тишины, пошел дождь утренних звуков. Заблеяли овцы, пропел петух, донесся лязг реки, мелодично запел родничок. Под звуки эти стало дружно светать. Из серых каменных ножен ущелья вырвался сизый клинок Кара-Койсу. Пятнами ржавчины на металле ее потока выступили большие рыжие камни.

Лежать так долго, долго, как бы паря над землей. Лежать и чувствовать себя совсем счастливым, молодым, любимым кем-то.

Ему казалось, что он всегда носил в себе образ именно такой худой и высокой, надменно-гордой и терпеливой женщины, которая встретила только в Гергебиле, и что стоило начать новую жизнь, видеть смерть и

стоять на краю отчаяния, чтобы воскресить себя этой давно предчувствуемой любовью и ради нее начать еще более смелую и быструю жизнь.

То, что случилось с ним в течение последнего года, тоже было как бы исполнением давнего предчувствия и потому глубоко волновало его даже в мелочах.

Привыкнув с детства к мысли о том, что он сын знатного и влиятельного в горах человека и что судьба его состоит в том, чтобы вернуться в горы и дать им, чего здесь нет, что добыто им у русских, чтобы влиять на здешнюю жизнь, он не мог уже отказаться от этой мысли даже сейчас, когда был лишен самой малой и отдаленной возможности какого-либо влияния. Но иногда для сильного характера нужны наихудшие условия развития. В условиях легких, благоприятных он мог бы не развернуться, захиреть от лени и лишь в обстановке тягчайших испытаний, когда инстинкт самосохранения подсказывал борьбу с полным напряжением сил, он способен был раскрыть себя полностью. Искусство влиять было в его натуре. Сейчас оно закипело в нем могуче и страстно, потому что оно было его единственным искусством существовать.

Что такое влиятельность?

— Это — умение быть выше, чище и нужнее, чем окружающие тебя.

Умный, честный и твердый человек всегда имеет множество данных к тому, чтобы быть первым среди многих других таких же умных, честных и твердых, если он не щадит умом и честностью прежде всего самого себя.

Тот, кто обладает силой вслух сказать о своих грехах, не тая самых постыдных, тот уже велик. Величие есть, в сущности, беспощадность к себе. Мужество и беспощадность, и ничего больше. Смелостью делать и говорить только то, что он считал хорошим, Афилон обладал.

Он понимал и то, что смелость значительнее и видимее в человеке маленьком и бесправном, и несколько не печалился о своем тяжелом существовании, зная отлично, что оно озаряет дополнительным светом свет его личного существа.

Он поднимался по тропе. Березовая роща шумела птицами. У моста через узкую Гунибку на камне дремала Шуанат.

— Аллах тебя спаси! — сказала она тревожно. — Я думала, ты пропал. Хаджи-Юсуф прибыл, ждет тебя. Полонез с ним приехал. Имам завтра пожелает.

Пленный русский солдат, в цепях, сидел на взгорке и тихо скреб рукой желтое тело в ссадинах и рубцах.

Лениво взглянул на Афилона, крикнул:

— Тсс! Выкупи, землячок! — Поглядел равнодушно вслед. — Покурить бы хоть дали, черти, ей-богу!.. Выкупи, брат, я тебе дело сделаю! Гаврилова кто не знал!..

Но, увидев, что просит нищего, солдат плюнул и рассмеялся.

Афилон, задыхаясь, вбежал в саклю гунибского старшины, и чьи-то сильные руки схватили его и обняли в темных сенях.

— Вы и есть Афилон?

— Да. А вы?

— Владислав Туржанский.

Они заплакали.

Хаджи-Юсуф, пока они целовались, сидел, разглядывая их с иронической усмешкой.

— С прибытием, — наконец сказал он. — Где был? Думали, погиб ты, а может, к своим бежал.

— Я дома, мне бежать некуда.

— А, яхши. Тогда садись, расскажи, что здесь делал.

— Завтра имам приедет, должны план ему дать.

— Какой план?

— Крепость велел тут строить. Сильное место.

Афилон отер рукой лицо.

— Я тебе все расскажу. Я укоренил Гуниб в мыслях, как самого себя. Взять его невозможно. Дай только поговорить с поляком.

— Мы с вами, по-моему, встречались?

— Ну как же. На походе, кажется. В Грозной.

— Верно. Каким образом вы в горах и давно ли?

— Сказать вам, что я бежал сам, не скажу, а уверять вас, что взят в плен, не стану.

— Значит, как выйдет?

— Значит, как выйдет. Орел или решка.

Умное лицо Туржанского таилось, не раскрывалось, берегло в себе что-то еще недосказанное.

Владислав Туржанский, поручик Тенгинского полка, брат арестованного в Варшаве за вольные мысли и сосланного в Сибирь Павла Туржанского, был дважды разжалован в рядовые и дважды производился в офицеры за храбрость. Афилон слышал о нем, когда еще служил в Чеченском отряде юнкером. Туржанский бежал в походе. Три недели горцы держали его, как пса, в цепях и наконец доставили к Шамилю. Он командовал батареей в двух стычках с русскими. Состоял переводчиком при имаме. Писал прокламации к казакам и, заинтересовав имама рассказами о русской армии, был послан на пробу и испытание к Хаджи-Юсуфу.

— «А приедет мой Афилон, тогда еще обсудим вопрос твой», — сказал мне Шамиль при расставании, — закончил он свой быстрый рассказ.

— Давно это было? — спросил Афилон, не веря тому, что слышит.

— Недели две.

— Значит, в последние дни что-то произошло с имамом, — сказал он, все еще волнуясь и чувствуя, что не сумеет побороть волнения. — Расскажите скорей, что в России, в Европе.

— Что я знаю? Говорят, Франция — республика.

— Наконец-то!

— В Вене — революция. Меттерних бежал.

— Вы с ума сошли! Что же тогда с Италией?

— Восстание в Милане, Бергамо, Брешии, Сицилии. В Ломбардию стекаются со всей Италии. Венеция — республика.

— Боже мой! Какой год нынче?

— Конец сорок восьмого. Вы тут в горах запутались, а?

— Нисколько. Но мне сейчас показалось, что с тех пор, как я покинул Россию, прошло двадцать лет, не меньше.

Он закрыл глаза, откинулся на мягкие подушки. Италия, о которой привык он думать по книгам, как о рае, вставала перед ним в сиянии вечной молодости. Вместо мыслей в мозгу неслись давно читанные картины Рима. Толпа народу на Корсо, песни на Пьяцца дель Пополо, цветы на Пьяцца ди Спанья. Он освежал усталое лицо мягкой водой фонтана Тритона, считающейся магической. Кто пил из фонтана Тритона, тот никогда не покинет Рима, говорил декабрист Дольский. Пушки громыхали на башне святого Ангела, и в тракториях на окраинах города народ пел и кричал: «Да здравствует свободная Франция!»

— А Польша? — спросил он, поднимая заплаканное лицо.

— Наши поляки теперь везде, — ответил Туржанский. — В Берлине и Франкфурте, в Праге, Кракове и Венеции. У Кошута в Вене шесть тысяч поляков, Мерославский освобожден из берлинской тюрьмы. Весной восстала Галиция, бунтовал Краков. Вам плохо? Я перестану.

Бледное лицо Афилона пугало его. Вид человека, брошенного в испытании долгого одиночества ради неизвестных целей, расстраивал его. В рваной черкеске, сквозь дыры которой просвечивало грязное, давно не мытое тело, стоял перед ним красивый и грустный человек, еще недавно бывший щеголем.

— Мне не плохо, говорите, — сказал Афилон. — Мне очень хорошо, честное слово.

— Готовится к восстанию Прага.

— Значит, этой же осенью решится судьба Польши?

— Возможно.

— А Марокко?

— Абд-эль-Кадыр разбит, сдался, движение замерло.

— Слушайте, Туржанский, если заговорит народ в России, мир может измениться.

— Россия стонет, — развязно сказал Туржанский, чем очень удивил Афилона. — Молодежь поглядывает на Запад, мужики бунтуют, дворянство в разброде. Нужен один, два крепких нажима — все полетит вверх тормашками.

— Дела пойдут не так быстро, не так быстро, как мы хотим, — сказал Афилон. — Если бы история шла со скоростью нашего сердца!..

Он прошелся по кунацкой, почесал бритую по горскому обычаю голову.

— Теперь я спрошу вас, — сказал Туржанский, — здесь можно жить? Кстати, я говорил Шамилю при встрече...

— Шейху Шамиль-эффенди! — поправил его Афилон.

— Ах, проше папа, и тут обряды. Я говорил ему, что в Европе о нем знают мало, совсем почти ничего не знают, — слышали: Шамиль, Кавказ, мюриды, а что, где, почему, толком никто не знает, — и что ему надо вести пропаганду на Западе.

— А имам?

— Предложил повидаться с вами, заметив: «Мой Афилон сколько живет у нас, столько слов не сказал, сколько ты за один раз». А Хаджи-Мурат, который, кстати сказать, мне ужасно как понравился, отнесся к моим предложениям еще суше. Сначала, говорит, разобьем русских, замирился с казаками, а потом будем думать.

— Это «потом» у него никогда не наступает, — заметил Афилон.

— Я говорил и с Кибит-Магомой, — продолжал Туржанский, — представил ему положение в Европе. Вы победите с Европой или погибнете вместе с нею, говорил я ему.

— Что он?

— Зачем мы должны идти к чужим людям, которых не знаем, — сказал он. — Кто согласен с нами, пускай идет к нам. Я говорю ему: это ж Европа! А он мне: они все кяфыры.

— Со мной было то же самое, — сказал Афилон. — Сначала я возмущался, потом многое понял. Чтобы помочь горцу, надо стать горцем, жить, как они, двигаться вместе со всеми. Нам с вами придется принять ислам, жениться на молодых аварках и добывать свободу под зеленым знаменем Магомета.

— Ну, знаете, благодарю вас...

— Вы говорите: он победит вместе с Европой. Я ж говорю: он победит вместе с Россией. Дело его — дело наше, общероссийское; Шамиль мне близок, как Пугачев, понимаете?

Туржанский искоса поглядывал на Афилона, не перебивая его, но, видимо, и не соглашаясь с ним.

— Перед отъездом сюда я вновь видел Шамиля, — прервал Туржанский монолог Афилона. — Помня его иронию насчет моего красноречия, я молчал. Он подозвал меня к себе сам. «Говорить хочешь?» — спросил.

Я ответил ему, что могу. «Ну, поговори что-нибудь». Я сказал, что наметил план пропаганды среди гребенских казаков-староверов. Старик слушал меня внимательно, хотя я и не знаю, как переводили ему мои слова. «Русские торговать любят, — сказал он, — а у нас торговли нет. Боюсь их. Будут бегать вперед-назад. Ну ладно, думай еще что-нибудь», — сказал на прощание и ушел.

— С Шамилем трудно, — согласился Афилон, — да и нас мало. Не верит он в наши силы, не знает нас. Вы говорите ему — Европа, а что Европа дала ему, чем поддержала? Турки и англичане иногда посылают ему ружья, подбрасывают агитаторов, но ведь это делается не для него... С Шамилем трудно, — еще раз повторил Афилон. — Вы мне рассказали приятную новость, что он добр ко мне. А ведь по существу я сейчас в опале, в ссылке.

— Что вы говорите? А на линии еще рассказывают легенды, что вы тут командуете чуть ли не всей армией...

— Гергебиль, мной укрепленный, выдержал осаду и штурм, но я не имел за него никакой благодарности. А теперь, когда Гергебиль, несомненно, возьмут, вспомнят, что это я его когда-то строил, и уж воздадут сторицей, — сказал он, иронически улыбаясь. — Я для Шамиля умный рабочий, он меня, может быть, даже любит и ценит, но и все. А на то, что я несу в себе идеи России, ему плевать.

— Это страшно интересно и в общем ужасно. По вашему мнению, он не сторонник блока с казачеством?

— Да не ужасно, Туржанский, а верно. Как ни жаль, что Шейх Шамиль-эффенди не карбонарий и не социалист, а ничего не поделаешь и ничего тут не переделаешь. Слушайте, теперь последний вопрос: чего вы бежали сюда?

Туржанский улыбнулся, развел руками.

— Я вам скажу прямо: боялся.

— Брат мятежника, разжалование в солдаты, ссылка в Сибирь и так далее?

— Да, это самое.

— И что же теперь?

— Европа! Горы меня привлекают мало, я за Европу. Не знаю сам еще, как это выйдет. Может быть, сначала выберусь в Константинополь, к туркам. Мне говорили, что у черкесов сидит какой-то английский резидент, но я не нашел его.

— Значит, сначала турки?

— Сначала турки, потом англичане, а потом, может быть, Гарибальди или какая-нибудь очередная польская авантюра, я сам еще ничего не знаю.

— А может, Индия?

— Может, Индия. Мне сейчас как-то все безразлично. Только не горы — я здесь в плену. И боюсь, что это надолго.

— Да, скоро вам отсюда не выбраться.

— Ну, изучу быт, черт их возьми, язык, обычаи.

— Зачем? В Европе едва ли будете заниматься кавказской темой.

— Делать-то что-нибудь надо.

Беседа иссякала. Афилону было неприятно новое знакомство, оно тяготило его тем, что самого делало чужим здешней жизни.

— Ладно. Мы еще потолкуем... Завтра приедет имам... Надо приготовить...

— Скажите мне, верно это, что вы сын Аргутинского? — спросил поляк. — У нас болтают о вас черт знает что.

— Кажется, верно. А что?

— Повезло же вам. Женились тут, говорят?

— Мне во всем везет. — Афилон не хотел продолжать разговор. — Мне всегда везет. Я, знаете, счастливый.

— Бывает, — сказал Туржанский. — Это я даже где-то читал. Бывает, но ненадолго.

Афилон попросился, ушел к себе. Сна не было. Попробовал думать — не нашел в душе ничего, кроме раздражения. Еще не рассветало — услышал дальние выстрелы имамского конвоя и пение мюридов, хотел было выйти, но, раздумав, остался и, ожидая, что вот-вот его позовут к имаму, заснул внезапно и с болезненной обалделостью.

Его будили потом долго и напряженно.

Имам, не ложившийся по приезде спать, был утомлен, раздражителен. Аргутинский, покончив с Салтами, подбирался к Гергебилю и разведывал положение Чоха. Шамиль сухо встретил своих инженеров и рассеянно слушал их сообщения. Говорил, собственно, Афилон, Хаджи-Юсуф и Туржанский поддакивали. Афилон представил семь мыслимых вариантов штурма Гуниба и доказал затем полную их бессмысленность. Гуниб был неприступен. Шамиль оживился лишь тогда, когда Афилон уведомил о постройке порохового завода, и пожелал немедленно его посетить.

Шуанат работала на большом сите, в обычном своем костюме, то есть в дырявой рубахе, едва покрывавшей ее колени и открытой у шеи. Она окаменела, увидев имама, и от испуга не тронулась с места. Он взглянул на нее остро и деловито, и было видно, что одобрил ее, хотя и разгневался. Хаджи-Юсуф крикнул и отвернулся, а Туржанский вежливо поклонился ей.

— Ну и грудь же у вашей мадам, — качая головой, сказал он Афило-ну. — Повезло, повезло, вижу теперь.

Афилон был красен от стыда и обиды.

Осмотрев завод и окрестности аула, имам удалился отдохнуть, но уже через час снова позвал инженеров. Лицо его было зловеще спокойно, глаза невидны.

— Аргут замышляет против Гергебиля. Ты, Хаджи-Юсуф, поезжай туда — сделай что надо... Чох тоже надо проверить. Кого туда послать? Афилон кашлянул.

— Ну, скажи, — вяло разрешил ему Шамиль.

— Имам, я назову верного человека — Халила из Согратля.

— Что он может?

— В его руках камень тверже железа.

Шамиль, помолчав, задал вопрос Туржанскому:

— Ну, полонез, скажи про себя, что хочешь у нас делать?

— Что прикажешь, имам, — ответил Туржанский. — Я докладывал тебе о посольстве в Константинополь, в Париж.

— Скажи, Туржанский, твоя земля ближе или наша земля ближе к франкам? — спросил Шамиль. Узнав, что Польша ближе, удивленно покачал головой. — Вот скажи мне теперь, зачем ты бежал к нам, а домой не пошел? У вас разве дела нету для войны?

— Видишь ли, имам, вот это я и хотел пояснить тебе, но боюсь, что не все окажется ясным для тебя по причине сложности обстановки. — И Туржанский стал рассказывать о польском национально-освободительном движении и о Гарибальди.

— Ладно, — прервал имам. — А этот Гарибальди — крепкий старик? Почему к нему не ушел?

И опять должен был Туржанский пуститься в сложные объяснения, едва ли интересные для Шамиля.

— Ну ладно, — вздохнул имам, — есть еще один крепкий человек, Абдул-Кадыр. Его знаешь?

— Слышал. Он здорово бил франков в Марокко.

— К нему почему не пошел?

И Туржанский, изнемогший от бесплодных попыток рассказать Шамилю всю сложность общеевропейской обстановки, вдруг понял, что старика интересует не Европа, не мир, а его душа и что до нее он уже добирается своими зелеными глазами и не упускает из поля зрения.

— Видишь ли, имам, — сказал Туржанский. — Я пришел к тебе бороться за свой народ против царя. Он и нас угнетает. Теперь Кавказ много значит. Если ты его здесь побьешь, это нам сильно поможет.

— Так. Нам бороться — вам хинкал есть. Ладно сказал, честно. А вот, Туржанский, ты бы у себя дрался с русскими, а я отдыхал бы, а? Так-так. Значит, для себя шел... — Он задумался, совсем сощурил глаза, как в дремоте. — Аллах тебе судья, зачем ты пришел. Но человек с головой, действуй... спасибо скажу...

Не задерживаясь в Гунибе, Шамиль отправился далее. Афилому не было сказано ни одного слова. Мюриды уже седлали коней, и народ окружил имама, чтобы принять его благословение перед отбытием.

Не желая толкаться среди гунибцев и полный обиды на Шамиля, Афилом попрощался с Хаджи-Юсуфом и поляком.

— Вы, по-видимому, пока оставлены при особе имама, — сказал он Туржанскому, — так прошу вас, не путайте его, а помогайте.

Туржанский пожал его руку с особым чувством.

— Это я сделаю, я о вас буду ему говорить до тех пор, пока не увижу вас при имаме.

— Я не себя имел в виду, не делайте зла мне и ничего не говорите обо мне. Я прошу вас. Вы не защитник мой, я всегда буду сильнее вас здесь и всегда несчастнее вас. Не завидуйте, но и не помогайте мне.

Вернувшись в саклю, он кликнул жену. Она оглядела мужа тревожно и грустно.

— Злой? — спросила чуть слышно.

— Злой, — ответил он.

Они встали на плоскую крышу, как раз перед проездом имама мимо их сакли.

Имам не взглянул на них.

Они стояли долго.

Проехав мост, на повороте дороги в березовую рощу имам остановил коня и обернулся. Увидел две тонкие фигуры на крыше последней сакли и что-то сказал старшине аула.

Потом кивнул аулу головой (Шуанат подумала: «Это нам») и скрылся в лесу.

Теперь ничто не рассеивало Афилона и не отвлекало от мыслей для повседневных, будничных дел. Порох стал его искусством, его мучением. Скоро аул перестал видеть тонкую фигуру Афилона и слышать его красивый, так всех женщин волнующий голос.

Отвлекаясь от обдумывания своих несчастий и окончательно убедившись в невозможности изменить свою судьбу к лучшему, Афилом отдал всего себя пороху. Его верность имаму тут находила свое особое выражение, свою поэзию, свою песню.

Для Шуанат же завод был большой саклей, не требующей особых хлопот с уборкой. Кроме того, все новое, не принятое в горах, она по-прежнему переживала как нечто ей одной ниспосланное за перенесенные обиды и наслаждалась особостью своего положения.

Любовь и труд слились. Человек, казавшийся чудачком, раскрылся в вещах, создаваемых его одиночеством, страстью и верностью, и, хоть сам он не покидал аула, дело рук его шло по горам, торжествуя в новой и сильной славе.

Издавна в горах славились мадыарские ружья Серали и крымские Хаджи-Мустафы, казанищенские кинжалы Базалай-Али и хорасанские сабли. Теперь к знаменитым предметам вооружения прибавился Афилонов порох, гунибский.

Иногда ночами сухое эхо дальней грозы будило их. Аргут громил из орудий его, Афилонов, Гергебиль. Он почти видел, что там происходило, и искушение сбежать из Гуниба и очутиться на гергебильских стенах было едва преоборимо. Тогда, чтобы рассеять, отвлечь и утолить собой мужа, Шуанат звала его на завод. По особому тону, каким она всегда звала его, слово «завод» стало ласковым словом. Они бежали молча, молча брались за работу.

А ночной сторож или пастух, слыша шум труда на заводе, шептал молитвы — он знал, что ночью кяфыр заговаривает свой порох.

В Гунибе почти не знали, что происходит в Гергебиле. В Гуниб давно уже никто не поднимался из ущелья. Пастухи, пасшие скот у южных оврагов, рассказывали, что видели зарево, и Афилон с Шуанат однажды пошли к утесу Гунибдага, висящему над ущельем, как раз над аулом Хиндах, откуда была далеко видна долина Кара-Койсу.

Гуниб давно уже спал. В долинах верхнего плато, ниже березовой рощи, было безлюдно, как в раю. Нетоптанные травы стояли высоко и густо. Река, окружив аул, неслась по склонам веселой песней. Было лето. Земля Дагестана лежала на два километра ниже их, мгла ночи покрывала ее тонким бело-зеленоватым слоем.

Они дошли до утеса, никем не встреченные, когда небо стало светлеть и поигрывать тоненьким светом зари.

— Мало ночи, — сказала Шуанат. Она, как и Афилон, не любила дня.

— Еще нет солнца, — сказал он. — Корхма, еще ночь долга.

— Ей конец. Сейчас будет солнце.

— Нет, Шуанат. Это не солнце идет, это Аргут идет. Это огонь над Гергебилем.

Горел Гергебиль Идриса и Афилона, слава Байсунгура, гнездо Сурхая.

Пылали прадедовские сады, старейшие в Хиндаляле.

Тонкий плачущий смех стоял в ночи. Были и причитали горы. Это кричали шакалы и волки, пугаясь огня в поле. Птицы, вереща, уносились стаями прочь.

Аргут взял Гергебиль и выжег его дотла. На кострах из абрикосовых и персиковых деревьев варили щи. Семь ночей было в огне небо, солдаты спали в палатках, раздевшись до белья. Офицеры играли в карты, не зажигая свеч. Стояли оранжевые ночи, как написал в стихах прапорщик Зуев, «аргутинские ночи».

Крепость, считавшаяся неприступной, была снесена с земли, жители ее разбежались.

Смятение было грозным.

— На горе нам приехал ты, — сказала даже Шуанат. — Сделай что-нибудь, поверни зло назад.

— Да.

— Сделаешь?

— Сделаю.

Не сказав ничего старшине, он украдкой вышел из Гуниба в Согратль, к Халилу. В пути узнал — Халил назначен имамом укреплять Чох и уже работает на новом месте.

«Черт его, мои отношения с Шамилем не такие уж, надо сказать, дурные», — подумал Афилон.

Встретились как бы случайно. Афилон был сыном Аргута и приносил несчастье, а хочцы верили в свое место и не желали судьбы Салтов.

— Если б твоя голова моей была, а мой отец твоим был... — задумчиво приветствовал его Халил.

— Аргут не возьмет Чоха, если ты сделаешь, что скажу. Свози отовсюду камень, вдвое утолщи стены домов, покрой улицы каменными навесами, заготовь камень для завалов, проведи заранее воду в аул и припаси кукурузы.

— Афилон, сердце мое, душа моя, сделай нам порох, как ты умеешь.
— Сделаю.

— Слово свое скажи, чтобы сухим был, крепким.

— Скажу. Я сделаю еще тебе две пушки, Халил. Поручи их Исмилу. Ему такой приказ дай — с одного места два раза никогда не стрелять.

— Сделаю. Еще что?

— Что есть в ауле деревянного выбрось, замени камнем.

— Камень я знаю, — сказал Халил, — камню я всегда верю.

— Только обороняйся, Халил! Маневров не делай! Обороняйся — и победишь.

На обратном пути в Гуниб Афилон встретил обозы беженцев из Гергебля, но обошел их стороной, боясь быть узнанным.

Однажды утром перед саклей Афилона остановился осел, нагруженный рваными одеялами. Старик погонщик спросил по-аварски, здесь ли живет пороховщик Афилон.

— Сюда, сюда! — закричал Афилон, узнав голос Ак-Сурхая.

— Салам алайкум, — сказал старик, входя. — Тебя вижу — весело на душе.

— Ва алайкум салам. Что слышно?

Старик снял чукяки, степенно сел на рваный палас, запахивая пыльный бешмет.

— Видно, неплохо живешь, — сказал он, довольно оглядываясь. — Сакля хорошая, аул крепкий, гора высокая.

— Аргута видел? — спросил Афилон.

— Не человек он. Воронцов нас не взял, Бебут не взял, этот пришел — все сломал.

— Взял?

— Взял.

— Сжег?

— У-у, все сжег. Сакли сломал, сады порубил — костер сделал. Ночь стала как день. Помнишь наши сады, Афилон? Старые сады были, крепкие, деды сажали. Все сжег. Я опять большой убыток имею, — добавил старик, виновато и растерянно улыбаясь.

Дело его было грустное.

Купил он у кадия пять персиковых деревьев, у самой реки. Хороший урожай думал снять. Подошли русские, обложили аул, однажды старик увидел, что персики его срублены, а за их стволами лежат казаки и стреляют по аулу. Решил он хоть дрова заработать и ночью пополз к реке — разрубить стволы на поленья, сложить в стороне. Смотрит — на персиковых стволах лежат семь мертвых русских. Иншаллах! Бог послал за убыток. Он раздел убитых, принес в аул много добра. Как полагается по закону, все медное (пуговицы, пряжки, два котелка) сдал старшине, а ружья, сапоги и одежду решил продать. Вдруг зовут к кадию. «Я тебе продал плоды деревьев, но самые деревья остались моими, — говорит кадий, — и земля под ними моя. Русские, Сурхай, лежали на моей земле...»

— Собака, брат, твой кадий! — заметил Афилон. — Оставайся пока у меня.

— Я к тебе и шел, Афилон, — сдержанно сказал старик. — Один я остался, дома нет, ничего нет.

— Раджаб где?

Старик поднял глаза к небу.

— Э-эх, тоже купец, как я. С Чечни как вернулись... да, наш убыток чеченский не знаешь ты... хворый он стал, хромой... Бабу его убили, сам он еле живой.

— Вах!

Долго молчали.

— Ну ладно, живи у меня. Хоть тебе не родной я, да и не чужой.

— Хозяйство имеешь? — спросил Сурхай.

— Эх. Порох делаю. Помогать будешь.

— Ладно.

— Баба у меня добрая вышла. Доволен ею.

— Мне что? Твой дом, твоя и честь.

— Наш дом будет твой тоже. Кто у тебя есть? Я. Отцом считаю. Порох будем делать и слово тебе даю — Чоха Аргут не возьмет.

Старик поднял испуганные глаза.

— Наши и то говорили: был бы Афилон, отстоял бы Гергебиль. Очень тебя жалеют.

Вошла Шуанат с медным тазом и кувшином, почтительно склонилась перед старым хозяином.

— Со счастьем прибыл!

Она сияла — в доме ее появился настоящий хозяин, седой и всеми уважаемый человек.

Глава 2

Они не работали — они мстили Аргуту за несчастья собственной жизни. Каждая пушка была их подвигом. Они сводили счеты с обидами. Они поминали своих друзей. Тайком, чтобы никто не слышал, называли пушки именем Идриса и матери. Самую крепкую прозвал Афилон своим именем — Алибек. Она разорвалась на третьем выстреле. Он рассмеялся от страха. Вот, в самом деле, судьба!

— Думай, думай! — торопил его мельник. — Мы псы имама, наше дело — сторожить землю. Что мне в Салтах говорил о плотине?

— Погоди, время еще не пришло.

Пока Аргут стоял под Чохом, Афилон не мог думать ни о чем постороннем. Но вот Аргут снял осаду Чоха, оставив под стенами немало убитых. Каменщик Халил из Согратля получил серебряный орден, значок наиба. Тогда только Афилон послал отчима к нему с приветствием и советом — ехать к имаму, поговорить о плотине в Хартикунах.

Для Афилона государственность Шамиля была хороша тем, что напругала его деятельность до последних пределов.

Он был одержим страстью к работе, и Шамиль мог завалить его работой. Афилон ни от чего не отказывался.

Анекдоты, рисующие быстроту его труда, бескорыстие и одержимость, рождались ежечасно, иной раз легенды о личности таинственного горца переплетались с комизмом, почти неуважительным к нему.

Но Афилон стремился к работе, потому что душа его была переполнена деловыми замыслами и обуеваема смертельной жаждой воплощения.

Воображение жгло Афилона, и оно же — двигатель всей его жизни — было главной слабостью его натуры, сообщая неуместную широту всем увлечениям и раздражительную неосуществимость проектам.

За его воспаленной головой не всегда поспевали руки, и не все, задуманное и сделанное Афилоном, было хорошо до конца.

Героические усилия его кончались многими неудачами. Но смелость и благородство несущественных стремлений привлекали к нему тех,

кто понимал цену риска и первой пробы, кто переживал собственные поражения. Но именно за это и не любил Афилона Шамиль. Все, что могло оправдаться величием поражения, пугало его. Шамиль верил победам и уважал удачи. Проигрыш же, какой бы великой причиной ни объяснялся он, был для него всего только проигрышем, и чем глубже были причины, объясняющие его, тем хуже. — Шамиль не любил неожиданностей.

Твердо зная, что имам не выслушает его, Афилоновых, советов, ибо имам не приближал к себе никого, кто был нелюбим в народе, решил он быть мыслью в других. Он вырастал и креп в чужих судьбах, в чужих успехах, был как бы создан цвести на чужих ветвях. Так, он посоветовал Халилу говорить о плотине, а кубачинскому кадию — сказать о выделке железа, Сурхаю — доложить о добыче соли, серы и угля, Кибит-Магоме подсказал план ткацкой фабрики. Исмил, хорошо отличившийся в трех больших экспедициях и живший сейчас при имаме, сообщил стороной, что имам в последние дни не раз вспоминал Афилона. О том же дважды уже писал из Ведено и Туржанский, получивший назначение кем-то вроде инспектора артиллерии и работавший над уставом горской пехоты.

«Губительная затея», — подумал тотчас Афилон и, верный своей идее высказываться через других, стал соображать, через кого бы представить иные соображения. Мысль остановилась на Хаджи-Мурате, но добраться до него было трудно. Мысль пошла к Абакару-Дебиру, доверенному наибу имама.

А в Хартикунинском ущелье уже скрипели арбы, согратлинские мастера валили скалы, хиндаляльские садоводы отводили реку.

Имам в это время созвал в Анди большое совещание всех наибов и уважаемых кадиев. Многие, едуци на съезд, заворачивали в Гуниб — взять мысль. Афилон советовал мудро и для всякого находил дело, но один лишь он догадывался, да и то весьма смутно, о том, что предстояло решать людям в Анди.

Давно уже чувствовал он невидимую опасность, угрожавшую Дагестану, и боялся ее, как болезни, спасение от которой никому не известно.

Так и случилось. Потолковав о том о сем и выслушав многие умные мысли своих наибов, Шамиль предложил решить вопрос, кому быть четвертым имамом. Преемником своим назвал он сына — Кази-Магому.

Сын был храбрый и умный, но славой не велик, делами не знатен. Поговорок о нем не складывали. Кибит-Магома — по учености первый человек после имама — согласился на Кази-Магому, за ним и все остальные, кроме Хаджи-Мурата. Хунзахец сказал, что о четвертом имаме говорить еще рано. Будет имамом храбрейший, и сабля решит, кто он.

Большинство, тем не менее, было за Кази-Магому, он и был утвержден, при нем же создан совет и во главе совета поставлен Абакар-Дебир, неглупый и храбрый, но до смешного подозрительный человек.

Иначе нельзя было поступить Шамилю, и все же дело его было неправо. Свообразное государство имама создали храбрые, государство на своих плечах нес народ, и народ хотел по своему праву выбирать главу гор. Сам Шамиль должен был уступить в свое время место Гамзату — и народ это ценил и помнил. Недовольны были и старшие наибы, ибо каждый из них готовил своих людей и мечтал победить соперников, когда дело дойдет до выборов.

Но Шамиль не мог поступить иначе — он знал, кто возьмет верх, если его не будет, и боялся и не хотел такого преемника. Верх взял бы, конечно, Хаджи-Мурат. А этого нельзя было. Теперь, назвав преемником сына, стал укреплять и расширять его славу, а славу Хаджи-Мурата повергать в частые и темные испытания. Прошел год, другой — Хаджи-Мурат с немногими ближайшими нукерами бежал к русским. Еще год — и он погиб у них.

В горах волновались горячие головы. Качали головами наибы. Все чаще и чаще посылали они людей к Афилому — взять мысль, но у него теперь для всех была одна: сейте хлеб в Дагестане!

— А воевать кто будет?

— Сейте хлеб.

— Камень у пас, где сеять?

— Где два шага земли найдете, там и сейте.

Дошло до имама. Он сузил глаза, помрачнел.

— Далеко Афилом смотрит, глаз плохой будет.

И к Афилому перестали присылать за мыслями. Он не обиделся. Он твердо знал, что услышан и понят.

Шуанат же только обрадовалась уменьшению посетителей. Она носила теперь второго сына (первый родился мертвым и был как бы жертвой за все грехи ее). Во второго сына верила твердо, больше, чем в Афилона.

Что касается Сурхая, то он неутомимо работал вместе с сыном Раджабом по доставке сырья для порохового и пушечного заводов, гостевал по аулам, вел жизнь странника и чувствовал себя счастливым, будучи всюду вестником новостей.

Он первый сообщил Афилому о смерти Аргута.

— Умер? Услышал аллах голос матери.

Ни слова больше не сказали друг другу, но было молчаливо условлено — искать Сурхаю хозяйство. Предвиделись большие набеги. Надежды на счастье, как всегда, обострялись. Смерть Аргута освобождала их от несчастий.

Афилом безумствовал на пороховых и пушечных заводах. Пушки лили у него русские пленные солдаты. Порою он работал по-прежнему только с Шуанат да изредка с отчимом.

Мастером пушек был солдат из уральских рабочих, человек молчаливый и беспечный, как все самородки. Дед его, пушкарь, ходил с Пугачевым на Оренбург, отец, тоже пушкарь, дошел до самого Парижа и привез оттуда домой легкую пушечку прусского литья, чтобы было чем гордиться Сазоновым на веки вечные.

Сын Гордей вышел и пушкарем и странником в жизни, с завода — в солдаты и отшагал с Урала до Варшавы, из Варшавы пропутешествовал до Тифлиса, видел леса, степи, горы, моря, людей. В Грозной попался чеченцам, бог милостив, не убили. Стал им замки дверные делать и чинить ружья.

Имам вызвал его к себе в Ведено, поручил лить пушки, обещал бабу.

— Посадишь мне бабу на шею — уйду.

Имам спросил почему.

— Сазоновы с чужой кровью не знали. Будет русская — дай. И то, ежели любовь выйдет.

Послан был в Гуниб, к Афилому.

Звал Афилона Алибек Алибекович, а если в сердцах был — без имени, «ваше благородие».

Работали дружно. Сазонов ни разу не спросил, почему Афилом в горах, да и о себе рассказывал мало. Иногда лишь, когда приезжали за пушками джигиты из близких к линии мест, интересовался, что слышать о свободе, нет ли каких интересных законов и что говорят о земле.

Жил он на пушкарном заводе, вечерами подолгу пел песни, не обращая внимания на все угрозы муллы.

Бабы аула, идя за водой к реке, всегда покрикивали ему поощрительно:

— Эй, Иван! Пой!

Он выходил на завалинку и пел, не глядя на баб.

Зрю ль тебя, не зрю ли, равну грусть имею,
 Равное мучение терплю...
 Уж казать и взором я тебе не смею,
 Ах! — ни воздыханьем, как люблю...

Но любимая была:

Ты прости, ты прости,
 Ты прости-прости, сердечный друг!

Глава 3

— Гость есть от имама,— постучала Шуанат в стену порохового за- вода.

— Иду. Кто такой?

Издали услышал он голос Исмила.

— А, старый дьявол! — Но, спохватившись, чинно приветствовал го- стя, как подобает мусульманину.

Все сели к огню.

— Ну, как там, что думают делать? — сразу же спросил Афилон, чув- ствуя, что по малому делу Исмил не приехал бы, и не умея и не желая вести окольный разговор.

— На спор иду, не догадаешься.

— Опять экспедиция какая-нибудь. Чего же более?

— Про войну слышал?

— Про турецкую-то? Ну, слышал.

— А что Магомет-Эмин с Черного моря пишет, не знаешь?

— Не знаю. Откуда же?

— Англичанка флот свой выставила в Черное море, слышал?

— Не может быть!

— Вот тебе и не может быть! Туржанского твою посылали, сам видел. Английский, французский, турецкий флоты — все тут. По-над берегом шли — сигнал нам давали.

— Десант был?

— Десанта не было, не слышать. Ну и значит, теперь планов у нас каж- дый день по три, по четыре. Пришло время сильно вдарить. С умом бы только решить, не промазать.

— Мне есть что-нибудь?

— За тобой и приехал. Сам имам меня вызвал. Поезжай, говорит, привези. Эти кяфьрские дела я, говорит, без него решать не могу. Завтра собирайся. Эх, большой давла будет, отец,— сказал он возбужденно ста- рику Сурхаю.— Вот когда заработаешь так заработаешь.

— Мне тоже ехать? — спросила Шуанат.

Мельник перебил ее, закричав:

— А кто дома будет, кто хозяйство беречь станет? Я сам с ним поеду.

— А? Всегда вместе возвали! Кто будет ему коня содержать? — за- смеялся Исмил. Порешили выезжать все вместе.

— Если хороший давла будет — возьму и себе хозяйку,— сказал ста- рик.— Живем, как саперы.

Шуанат обиделась, слушая из сеней. Старик был капризный, но она служила ему, как могла.

В начале 1854 года Магомет-Эмин прислал имаму из Туапсе донесе- ние, что англо-французский флот появился у кавказских берегов.

Войны ждали не первый день. Император Николай I давно искал по- водов для войны на Балканах.

Человек ограниченный, он во всяком случае одно знал хорошо и твердо: что революция, где бы она ни происходила,— враг монархии и

его личный враг в первую очередь. Он никогда не забывал о том, что взшел на престол под треск картечи на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Революция мерещилась ему всюду, он всюду искал ее и находил. Найдя, искоренял жестоко. Его раздражало освободительное движение марокканцев под началом Абд-эль-Кадыра против французов, ему подозрителен был египетский паша Магомет-Али, ставший правителем полусамостоятельного Египта, ненавистен Шамиль, ненавистны даже босняки и черногорцы, восставшие против султана, он подозревал их во французских и польских симпатиях и в их движении за независимость видел черты ненавистной ему революции. И он по-своему был прав. Все, что происходило в Европе начиная с 1848 года, было революционным и, следовательно, по одному этому уже антицаристским. Николай I лелеял мысль разгромить июльскую революцию во Франции, мечтал помочь нидерландскому королю против его мятежных бельгийцев, усмирить венгерское восстание и, если бы обстоятельства благоприятствовали его мечтам, огнем и мечом прошел бы всю Европу, подчиняя народы их королям и насаждая порядок, установленный богом.

К началу 1853 года, давно точа зубы на слабую Турцию, он нашел удобный повод для угрозы войной. Он поднял вопрос о «святых местах», о гробе господнем, о льготах православному духовенству в Иерусалиме, ведя переговоры таким образом, чтобы обязательно ввязаться в войну с султаном. Рассчитывая иметь на своей стороне Пруссию и Австрию и не ожидая, что Франция проявит в данном вопросе опасную активность, он в конце концов приказал своим армиям занять придунайские княжества, а Черноморскому флоту подойти к берегам Босфора. Война казалась императору Николаю делом нетрудным и для России совсем не опасным.

Летом 1853 года русская армия перешла Прут и заняла дунайские княжества. Европа всколыхнулась. Во Франции и Англии заговорили о русском деспотизме. Пруссия и Австрия, на поддержку которых так надеялся император Николай, однако, сохраняли нейтралитет. Австрия дала понять, что занятие русскими дунайских княжеств она рассматривает как выпад против нее, и Россия оказалась перед лицом войны, предоставленная своим собственным силам.

Русские медленно занимали дунайские области. А на Кавказе собрали все, что могли, с горского фронта и бросили на азиатскую границу турок. Восемнадцатого ноября адмирал Нахимов разгромил турецкий флот у Синопа, а девятнадцатого кавказские генералы разбили турок при Башкадыкларе.

Разгром турецкого флота в турецкой гавани произвел в Англии и во Франции сильное впечатление. Они стали договариваться о совместной войне против России.

Зима 1853 года, однако, прошла без новых побед русского оружия, а весной следующего года соединенные флоты союзников появились в Черном, Балтийском и Белом морях. Они начали войну и в Белом море, и на Камчатке, и на Дунае, подготавливая в то же время сильный морской десант на берега Черного моря.

Французский маршал Сент-Арно предлагал высадить десант в Анапе и отрезать от России Кубань и весь Кавказ, но англичане, заинтересованные в разгроме российского флота на Черном море, предлагали штурм Севастополя.

Победила английская точка зрения — высадить десант в Крыму и разгромить базы русского Черноморского флота, а самый флот уничтожить в открытом сражении.

Турки тоже предлагали свой собственный план. Они стояли за высадку десанта на берегах Западного Кавказа, намереваясь поднять против царя горские народы от моря до моря и отрезать от России Закавказье.

Еще весной 1853 года командовавший турецкими войсками в Крыму Омер-паша, австриец по рождению, домогался, чтобы его отправили с десантом на кавказский берег Черного моря, но английское правительство не сочувствовало этой операции, либо не рассчитывая на успех, либо боясь отдать туркам Кавказ. Союзники решили всю силу первого своего удара направить на Крым. Турки начали движение в Гурию из Батума, и Шамиль получил от них уведомление, что на него возлагается важная задача быстрого движения к ним навстречу.

Шамиль сделал теперь два распоряжения: Магомету-Эмину, своему наibu у берегов Черного моря, немедленно поднять восстание шапсугов и черкесов, а наибам Чечни и Дагестана готовить людей для вторжения в Грузию. Свалиться с гор на беззащитные поля ее, быстро двинуться к Тифлису с северо-востока и, пользуясь тем, что основные военные силы русских заняты на турецкой границе, отрезать Тифлис от Кубани и Северного Кавказа.

Таков был план.

Люди сзывались быстро. Шамиль формировал две колонны. Передовая должна была идти под командой сына его, Кази-Магомы, вторую вел он сам. Кази-Магома, после выдачи русским старшего брата Джамалдина в 1839 году являвшийся наследником имамата, глава девяти наибств, был еще очень молод, лет двадцати четырех, красавец, лихой наездник и франт. Веселого, даже буйного нрава, но в общем человек добродушный, демократический, он любил славу, имел жену, первую красавицу в горах, удивительных коней и редчайший арабский клинок. О нем говорили, что он храбр, и правда, это был человек несдержанно-смелый и дерзкий в бою, но по-ребячьи тщеславный и легкомысленный, что плохо для полководца и не придавало авторитета будущему имаму.

«Он еще хуже Хаджи-Мурата, — говорили о нем бойцы. — Когда шашку в руки берет, ум в карман прячет».

К нему приставлен был для опеки тесть его Даниэль-бек, бывший султан элисуйский, генерал русской службы, не так давно прибежавший в горы. Этот хорошо знал русских и умел рассуждать. Думали, что Даниэль-бек научит зятя осторожности. Однако Кази-Магома мало считался с тестем. На него возложил он рассказы о русских и соображения о большой войне англичан, французов и турок, которую сам он никак представить себе не мог, и деловыми советниками его стали Афилон и Туржанский.

Несколько раз вызывал Шамиль Туржанского и Афилона, которые вот уже месяц жили в Ведено, и приказывал им думать вслух, где англичане, где турки, какой их план. Афилон считал, что турки, высадив десант севернее Батума, высадят и второй у Туапсе, а сами всей массой двинутся в Крым и Азовщину, чтобы отрезать от России Новороссию и Кавказ, поэтому он предлагал выждать развития событий, чтобы выступить на решающем участке, каким он все-таки считал Владикавказ. Туржанский держался мнения, что центр удара будет из Батума на Грузию, и предлагал помочь туркам со стороны Кахетии.

Гонец, что привез Шамилю письмо турецких пашей, выехал из Батума три месяца назад. Он знал лишь, что Авди-паша начал движение из Карса, к Александрополю, Али-паша — к Ахалциху, а десант из Батума овладел Николаевским постом. Ну, уж теперь, наверное, турки идут к Тифлису, говорили в горах. Гурия, наверное, восстала. Флот англизгов и франков, наверное, высадился у реки Туапсе. Авди-паша, наверное, побил русских у Александрополя.

На самом же деле Авди-паша все еще сидел в Карсе, князь Андроников разбил Али-пашу под Ахалцихом, турецкий отряд, направлявшийся из Батума в Озургеты, был уничтожен Каргановым.

Весной 1854 года, когда колонна Кази-Магомы уже собралась в Южном Дагестане, пришли новые вести — в Карсе у турок шестьдесят тысяч войск, корпус Селима-паши — в Батуме, отряды Гассан-бея двигаются из Озургет к Кутаису.

В тот самый день, как назначен был совет у Шамиля, генерал Эрнстов, потеряв шестьсот человек убитыми и ранеными, разбил Гассан-бея, а князь Андронников прогнал турок за реку Чолок. Но горцы еще не знали этого и готовились к походу на Грузию бодро и весело.

На совете Шамиль принял за основу план Туржанского — всеми силами ударить на Кахетию и, если удастся, выйти к Тифлису, разгромить столицу Закавказья, а затем, соединясь с турками, с тылу ударить на русские силы, оперирующие под Карсом. План был рискован и смел, но не сулил явного выигрыша.

— В христианской Грузии каждый камень будет против нас, — сказал Афилон. — Допустим, что мы даже возьмем Тифлис. Что это даст? Ничего. Пока мы будем драться в Грузии, на нас ударят из Грозной и Темир-хан-Шуры. Русские идут на нас с севера, значит мы должны отвечать ударом на север. Здесь нас знают. Тут и с казаками можно столкнуться.

Исмил высказал третий план — не делать набега ни на Владикавказ, ни в Кахетию, а, пока русские заняты, хорошо укрепить аулы и сидеть, отдыхать, запасти пороху и отлить десятка два пушек.

— Камень и тот травы просит. Чуть трещина в нем — так сейчас туда и растет. Два дня чувяк не надень — на подошве трава взойдет. Земля просится в дело, отцы родные! В подмышке поддержи шматок земли — ей-богу, аллах свидетель — дикий лучок проглянет. Намучилось семя, несет его тучею скрозь, открой земельку ему, положи, накрой — ах, боже мой, нас же ни один царь не стронет.

— Ты что хочешь? — спросил Шамиль. — Воевать нет охоты?

— Я воевать, имам, хоть во сне могу, да на кой нам Кахетия? Укрепимся года за два, силу возьмем, казак — он тоже дюже устал, и его земля манит, зовет, я казачью природу знаю...

Шамиль махнул рукой.

— Туржан и тебя испортил — разговор длинный любишь.

— Имам-эффенди, я Туржана не знаю и веры к нему не имею, а на Афилона удивляюсь, валлах. Наш человек, а как офицер разговор держит... Неверно нас обучаешь! — закричал он Афилону. — Туржанский интерес соблюдаешь, сволочь! Надоело тебе порох делать, собаке. Командовать захотел, аргутское дите! Ну, или, лезь, сволочь, чахотка!

— Эх, длинный язык какой! — Шамиль покачал головой. — Ладно, Исмил, велю дать тебе бабский платок...

— Имам, как скажешь — так будет. А только не шальвары на меня надень, а пошли в Хунзах пряжу пряхть или в Анди бурки валять...

Шамиль прикрыл глаза. Исмил сразу смолк.

Услужливый Кибит-Магома, уставший от молчания, сразу попросил слова и заговорил, что набег, конечно, начать надо.

И совет не поддержал ни Афилона, ни Исмила. План Туржанского нравился больше. Горцы любили новые походы, а Тифлис давно прельщал их своими богатствами. Грузия издавна манила их воображение. Кроме того, турки были уже в Батуме, что облегчало удар на Кахетию.

В комнате было темно. Отраженный свет фонаря, горевшего за окном, у ворот, слегка подсвечивал лица. Имам не начинал разговора, и все трое долго молчали, слушая вечерний говор аула. Из русской слободки Гирник доносились гармонь и пьяная песня.

Так прошло много времени. Потом раздалися шаги на деревянном балкончике, и вошел со свечой в руке Хаджио, ведя за собой низенького седого человека в длинной бурке и глубокой папахе. Это был начетчик

староверской обители близ Дарго Ерофей Мартынович. Сняв бурку и папаху, он разгладил волосы и вынул из узелка икону — святителя Николая-чудотворца, древнего киевского письма.

— Мне можно смотреть? — тихо спросил Шамиль.

— Можно, отец,— добродушно сказал по-аварски Ерофей Мартынович и приблизил икону к имаму.

— Хорошо,— сказал имам,— старых лет человек, хорошо,— и впервые за весь вечер поглядел на Афилона и поляка.

— Хочу с вами честный разговор повести,— сказал он задумчиво.— Ты, Афилон, две веры имел, ихнюю веру много лет знал... Вот старика затем и позвал, он мулла русский, казаки его уважают...— Шамиль затруднялся говорить быстро и нервно поигрывал четками.— Надо, чтобы все у нас с вами хорошо получилось. Много горя вместе имели, нехорошо, если вред друг другу сделаем... Мы хорошим людям всегда верим, плохих людей боимся...

Туржанский схватил икону и, перекрестив себя латинским крестом, прильнул к темной потрескавшейся доске.

— Клянись верой моей и родиной,— зла не сделаю,— сказал он взволнованно.— Шамиль, ты и я — мы боремся вместе за одно дело.

— Мать у тебя есть? — спросил Шамиль.

— И ею клянусь, имам. И честь у меня есть — и ею клянусь.

Он еще раз благоговейно поцеловал и вытер глаза ладонью, как вытирают обильный пот.

— А что ты молчишь, Афилон? — спросил Шамиль.

— Имам, он вернется.— И не стал давать клятву на русской иконе.

Шамиль поглядел на начетчика. Тот закачал седой головой.

— Не верь, отец, не верь. Паны, паны чертовы, ты им не верь, Россию продали, тебя продадут. Ты казака найди, отец, казака пошли. Казак веру в себя имеет, не выдаст.

Шамиль пожал плечами, ничего не ответил.

Подумав, вынул серебряный рубль, протянул его начетчику и легким движением руки ласково отпустил его.

— Как жизнь идет? — спросил на прощание.— Ссоры между собой имеете, из станиц есть новости?

— Много новостей, отец.

— Хорошо. Приеду к тебе завтра, будем свой разговор иметь.

Вместе с начетчиком вышел и Хаджио.

Шамиль строго и испытующе поглядел на Туржанского.

— Слова ты сказал добрые. Теперь я тебе одно скажу: не забывай Афилона.

Туржанский опять протер лицо и глаза широким взмахом ладони.

— О нас не думай, Туржан, об Афилоне не забывай,— повторил Шамиль тихо, со значением и как бы стесняясь сказанного.— А теперь давай решать, как поедешь, что от меня говорить будешь пашам хункара.

И быстро, четко он набросал план предполагаемого набега на Кахетию, присоединения к себе кистинцев, удара по Тифлису через Лори с помощью местных татар, восстания в Гурии и Лористане.

— Денег дам, сколько надо, но с собой не вези, беда может случиться. В Тифлис адрес дам одного кунака, у него остановишься, мой человек найдет тебя там, привезет деньги. Хорошо кушай, одежду купи хорошую, чтоб не сказали про нас с тобой — бедняки... Чего хочешь в пешкеш, Афилон? — спросил он весело.— Вот попросим мы с тобой пешкеш из Тифлиса, хвалиться потом будем.

Затем он отпустил их, веля Туржанскому выехать завтра поутру. Афилону же приказал быть при Кази-Магоме в пабеге на Кахетию, но без определенной должности. Афилон понял, что он будет полным хозяином, и растерялся.

Выйдя от имама, Афилон и Туржанский побрели в аул, к кунаку, где ждал их Сурхай. Стояла великолепная ночь. Аул был тих, лишь за оврагом, в слободке, допевали песни пьяные пленные солдаты.

— Пойдем к ним, выпьем чего-нибудь.

— Нет. Я устал. Посидим.

— Хорошо.

— Да нет, пойдем, правда, выпьем.

Ощупью перебрались они в русскую слободу, постучали в темную саклю, из которой неслась песня.

— Кто такие, откуда? — спросил их пьяный голос.

— Выпить имеешь?

— Сколько потребуется.

Из темных сеней им вынесла кувшинчик кукурузной водки худая косматая казачка.

— Одни гулять будете или позвать кого? — безучастно спросила она и добавила: — За день-то натрудились девки, теперь, поди, никого не разбудишь.

— Да одни будут гулять, одни! — закричал какой-то солдат. — Пристала, хвороба. Да я вам и сыграю и спою, — сказал он успокоительно. — Останетесь очень довольны, ей-богу. Поляки будете? Ну, уж я вижу! Сразу угадал — по обличью. Я, право, сам удивляюсь — поляка или вот грузина сразу выделяю. А сыру, сыру? — закричал он бабе. — Вот хвороба! Да баранины нарежь, черт косматая! Ломтиками, как я учил.

— Откуда сам? — спросил его Туржанский.

— Орловские, ваше благородие, капитана Оленина мужики. Сам-то на выкупе, а об нас и не заикается.

— Давно попали?

— В сорок восьмом, ваше благородие, шестой год. Под Гергебилем попали. Сам-то хозяин наш даже в тот день пьяный был, Воропежской стукнул две чапашки, ум отбило...

— Выкупили его?

— Базар идет, торгуются. А нас, черт его, сначала было к хозяину присовокупили, а потом в слободку откомандировали, на пушкарню, два абаза с орудия получаем.

— Пой! — сказал Туржанский, перебивая бестолковое красноречие солдата. — Старую песню спой!

— Ах, да ведь я какой песенник, ваше благородие! — залепетал солдат, трясущимися руками наливая себе стакан кукурузки. — Я ведь в старшие лакеи, в камердины, попал не по годам и не по чему другому, а все за песни.

— Лакеем?

— Н-ну, да ведь я...

— Пой!

— Сейчас, сейчас, ваше благородие, — продолжал лепетать солдат, еще раз наливая и опрокидывая в себя стакан водки. — Вот дойду сейчас, очень довольны останетесь, дымком меня схватит, закружит... Сейчас закружит, в голосе тоска появится, вот она, сейчас, сейчас... — И, сбросив с себя движением плеч шинель, он без предупреждения запел испуганным голосом, но тотчас притих, откашлялся и снова начал, теперь уже и вправду хорошо.

И мы ходили-то, солдаты, по колен в крови, —

запел он старую кавказскую песню.

И мы плавали, солдаты, на плотках-телах;

И ручьем кровь да туда-сюда разливалась,

И наше храброе сердце да разгоралось.

Но он пел ее на свой особый лад, протяжнее и печальнее, чем пелась она в полках, и как бы с улыбкой, чуть-чуть горько посмеиваясь над собой:

Тут одна рука не може — другая пали,
Тут одна нога упала — другая стои.
И где пулей не имем, там грудью берем.
А где грудь не бере — душу богу отдаем.

— Вы его, ваше благородие, деньгами не дарите,— сказала из сакли косматая баба,— он вор, ваше благородие, все покрал, что мог, барина своего обокрал, обормот орловский.

— Сейчас я до верного пульса дойду,— сказал солдат, наливая себе водки,— так я такую спою, душа вон. А я с ней жил,— весело кивнул он в сторону бабы.— Темной ночью могу в том признаться, при солнце — стыд возьмет.

Но уже светлело издалека. Ночь проходила, как давняя тугая боль, и все легчало на душе.

— Значит, так. Возвращайся.

— Да. В строю товарища не бросаю, я понял.

— А вот веселенькую, про любовь,— вставил солдат, откашливаясь, но Туржанский вынул из кармана серебряный рубль, повертел его перед глазами солдата и бросил в темноту за саклей.— Возьми себе и скройся с глаз.

Афилон расстегнул мундир, поскреб грудь.

— Прочтем, как утреннюю молитву, что-нибудь из Пушкина и Мицкевича и разойдемся. Сказать в эти минуты невозможно ничего.

— Да.

Рассвет шел в ногу со стихом, крепчал, мужал и на глазах превращался в утро.

Они хотели обняться и оглянулись: пьяный солдат ползал по земле, ища рубль, и часто взглядывал на них острым взглядом. Они просто пожали друг другу руки.

Глава 4

Через три часа Туржанский выехал. Он был еще полон утренних переживаний, они волновали его, как мальчика.

«Черт возьми, какое глупое приключение»,— думал он. Ему хотелось вернуться назад. Улыбаясь и качая головой, он бил себя в грудь.

«Годá! — думал он.— Годá! В мои годы еще хочется быть совершенно честным». Но мыслей не раскрывал даже себе, как бы боясь, что их узнают по его лицу.

Поэтому спешил невообразимо, почти не спал, загнал трех коней и, только выбравшись за Дербент, на большую дорогу в сторону Закатал, час вздремнул в духане какого-то мрачного армянина.

Здесь переделся он в старый офицерский костюм, попрощался с сопровождавшими его горцами и повернул обратно к Дербенту, но быстро раздумал. Нет. Придется до Тифлиса соблюдать осторожность.

Последние двенадцать лет жизни Владислава Туржанского прошли на Кавказе, и за все это время, как бы ни шли дела и чего бы они ни касались, Тифлис служил единственной столицей его духовного мира.

Высланный на Кавказ из Оренбурга, куда в свою очередь он был еще раньше выслан из Пскова, Туржанский впервые (двенадцать лет назад) увидел Тифлис со стороны Соганлугской долины. Сады за ежевичными изгородями, желтые глинобитные домики у реки — Тифлис показался тогда не веселей Елецкой крепости. В тот раз из Тифлиса выехал он в Эривань, показал себя там отличным офицером, песенником и шутником,

приобрел небольшие связи и скоро добился перевода в штаб главнокомандующего Кавказской армией как человек, хорошо знающий языки.

В Эривани к знанию французского и немецкого он присоединил бавардаж по-армянски и «ручной» разговор по-турецки. Когда он вернулся в Тифлис из Армении, непосредственность южного быта показалась ему искусственной, нарочитой. Он не понимал ее и не доверял ей, но восхищался.

Нигде в России не смели бы так петь и плясать на улицах, драться на кинжалах и кутить неделями в пригородных садах, сочинять уличные песни о гарнизонных начальниках и вслух говорить с проезжими немцами и англичанами об Индии или Иране.

Такой — озорной, веселой страной — мерещилась ему неведомая Италия.

В третий раз остановился он на Авлабаре, где среди домов новых жителей — немцев и осетин — были отстроены казармы и заезжие дворы. Метехский замок, выросший из гребня самой скалы, закрывал вид на город. Внизу, скрытая отвесными обрывами берегов, шумела Кура, пронизывая воздух сырыми запахами серы. Все кричало каким-то сильным, но будто развезанным, расщепленным на нити криком. Песни, звуки бубна и зурны, ворчанье громадных деревенских псов, скрежет немецких фуршпан, ритмический грохот танцев в духанах и сонные крики бродячих торговцев составляли голос города.

В летнее время года Тифлис невозможен. Уснув, человек тотчас видит во сне, что он заснул в горячей бане. Днем все обливаются потом, скрываются в комнатах с занавешенными от солнца окнами, и жизнь начинается лишь вечером, продолжаясь иногда до рассвета.

Ремесленники при свете коптилок тарахтят молотками, стругают, пилят, гвоздят, сверлят, переключаясь между собой. Из духанов валит масляный дым шашлыков. В мясных свежуют баранов к рассветному торгу. Зеленщики окатывают водой копны петрушки, цицмады и кинзы, которыми назойливо пахнут целые улицы.

Тифлис в ту пору был, конечно, Европой России, Италией Кавказа для провинциального русского человека. Таким принял его и Туржанский. С детства мечтал он о Европе и выучен был ненавидеть и презирать все русское, вернее, российское, а любить славянское, то, что еще жило в Польше, у чехов, у сербов, — великие смутные идеи о национальной свободе. Но вместо Парижа послан был в оренбургские степи, в чахлые крепостцы, в нудный бред бессмысленной гарнизонной службы. «В Европу! В Европу!» — мечтал он годами. Там Париж, там Италия. Но из оренбургских степей пришлось ему перекочевать в астраханские, пересечь Каспий и прошагать по камням Армении, и Кавказ с его особенным темпераментом стал постепенно заменять ему Европу.

Гораздо меньше стал он думать о Польше, о родине, ему казалось, что его родиной мог быть и Кавказ, да и вообще, иногда раздумывал он, нужна ли своя родина, если мир всюду принимает человека в широкие родственные объятия?

А главное, что ничего особенно близкого в Париже у него не было, и он не знал, что именно от польского он мог бы полюбить.

Когда-то в Тифлисе он впервые услышал стихи Пушкина и, встретившись затем на балу с вдовой Грибоедова, сказал и о ее покойнике несколько слов, смелых и умных, как настоящий европеец.

Острое слово Тифлис ценил и уважал беспредельно.

Прослужив год при штабе, Владислав послан был из Тифлиса на Черноморское побережье.

— Вам пора выдвигаться, — сказано было в штабе, но часть указана бедная, должность неясная, прощание сухое. Одновременно были разо-

сланы в части еще человек шесть молодых офицеров свободного образа мыслей.

Туржанский понял, что следует искать быстрый выход. Бежать ли в горы, создать ли тайный кружок молодых и честных военных или, переодевшись турком, скрыться в Константинополь? Решить ничего не успел — пришлось поехать к месту нового назначения.

После участия в двух схватках с абхазцами Туржанский был отправлен обратно в Тифлис. А затем бежал из полка в горы.

Все это давнее пришло на ум, вернулось в сердце сладкой тревогой, когда — четвертый раз в жизни! — Туржанский приближался сейчас к Тифлису, спустившись с гор Дагестана с паспортом интендантского чиновника.

Он был очень осторожен, пил на остановках не много, но лихо и рассказывал дурацкие гарнизонные анекдоты.

Три или четыре линейки, составлявшие «почту», были запряжены множеством худых расседланных лошадей. Давясь криками, ямщики-грузины неистово погоняли их. Все вглядывались в даль. Вот сейчас откроется город. Вот уже виден Давидовский монастырь, приютивший Грибоедова. Вот верх крепостной башни над старым городом. Тифлис! Тифлис! Откуда взяли, что это Азия? Пусть кривы и смрадны улицы. Пусть закутаны женщины. Пусть ревут ослы. Это Еврспа.

От Эриванской площади вниз, к базару, идет улица винных подвалов, гостиничек, пансионов, та гостеприимная улица, где всегда останавливались приезжие из Москвы и Петербурга.

Еще сидя в линейке, Туржанский крикнул:

— Гиго! Комнату!

Толстый, в блестящем от жира архалуке духанщик радостно развел руки, хотя и не узнал гостя. Он был рад всякому знавшему его имя.

Потрясая гигантским животом, скованным поверх архалука золотым поясом, Гиго проводил Владислава до дверей номера. Знакомый запах азиатских отхожих и комнатной затхлости встретил Туржанского.

— Вайме, какой ви красиви, батоно,— лепетал духанщик. — Что слышно? Воевал? Вайме, вайме, когда кончит эта история? — И старался узнать гостя, но пока безуспешно.

— Иди к черту, завтра поговорим.

Туржанский быстро и легко вошел в старую роль богатого офицера.

— Берсенев здесь, не знаешь? — назвал он случайное имя. — Жулики вы, сукины дети! Ты небось и меня забыл. Крушевицын Александр Павлович.

— Уймэ, я забыл? — ошеломленно разводит руками Гиго.

— Иди, иди, завтра поговорим.

Отоспавшись как следует, он вечером сбежал вниз, в духан. Вдоль стен на узенькой стойке — яства.

Портреты царей склоняются над ними, как приказчики.

— Гиго, а мой портрет когда велишь написать на стене?

— Батоно, не раньше, как помрешь. Генацвале, не серчай — такой закон.

— Врешь ведь, не закажешь.

— Мне же все равно, батоно. Еще лучше — знакомый человек.

Гиго достает из-под стойки кувшинчик ви́па для особых гостей.

— За ваши уважени, батоно,— говорит он и смелым медленным жестом наливает два стаканчика бледного, чуть мутноватого свирского.

Есть некая праздничность в обстановке такого духана. Здесь к пище отношение уже не как к еде, не только как к удовольствию и обряду. В Грузии, как всюду на Юге, едят очень мало и скромно. Кусок кукуруз-

ного хлеба с крошками старого сыра, зелень и кувшинчик вина. Несмотря на умеренность в пище и привычку недоедать, раза два в год можно позволить себе отпраздновать сытость.

— За ваши уважения! — говорит Гиго. — Теперь куда ваша дорога идет? — спрашивает он, с удовольствием высасывая вино из стакачика.

— В Кутаис моя дорога.

— Ах, генацвале, проздравляем. Знаешь, какой город Кутаис? Одни женщины и одно вино, одни сады кругом.

— Что ты говоришь?

— Ей-богу! Ты сам так будешь говорить — сперва посмотри.

Шум улицы доходит сюда отцеженным, размельченным. Синеватый свет, кажется, никак не зависит от дня и стоит, не меняясь.

— Эй, виришвиле, — кричит Гиго подручному, — не видишь, батона здесь? Заведи орган!

Растянутый мотив венского вальса скорбно начинается сквозь дремоту.

Так возникают покой и ясность в сердце. Он дома. Он без поступков. И вся жизнь как бы уже прожита.

Да, прожита одна, и начинается другая.

Поздним вечером он выходит, довольный и веселый, на Головинский проспект, к дворцу. От здания штаба к дворцу и обратно. Здесь весь Тифлис. Сад напротив штаба полон народу. Извозчики чинной гурьбой ожидают у караван-сарая. Их сытые гнедые кони убраны лентами. Кругом говорят о войне, о Европе.

Он идет, презирая штабных чиновников, вышагивающих по-русски деревянно. Он идет, как горец, легким качающимся шагом. Он, как грузин, невесом, его бедра едва соединены с туловищем, а ноги рассчитаны не для ходьбы — для прыжков. Им идти скучно. И он недолго остается в толпе. По улице, уходящей вверх, за конюшнями конвойной сотни наместника, где совершенна тишина ночи, есть у него старый знакомый дом. Постучаться? Все-таки прошло — ни мало ни много — семь лет.

Он стучит в окно и тихо зовет:

— Тамара!

— Кто это?

— Я. Откройте.

— Берсень?

— Откройте.

Он входит в неосвещенную прихожую и стучается о тело, растворенное в темноте.

— Нико? — шепчет она, шаря рукой по его лицу, и вдруг испуганно спрашивает: — Простите, вам кого нужно?

Да, это она, Тамара. Он молчит.

— Слушайте, вы не туда попали. Я закричу.

— Кричи! — говорит Владислав и выходит на улицу. Да, это она. Не узнала.

— Нахал, сукин сын, — негромко и как бы стыдясь своего испуга и своей ошибки, произносит за его спиной голос женщины.

Медленно направляется он в сторону Сололак, где в турлучных, чаще двухэтажных домиках с балконами, среди тенистых садов живут тифлиссские буржуа и штабные офицеры. Этот квартал напоминает предместье, пригород. Пахнет сладковатым дымом, лают собаки, пряно пахнет листья инжирных деревьев, слышится музыка — то сонное бречание тары, то робкая капель фортепьянных струн.

— Полковник Легафт проживает здесь по-прежнему?

— Только пришли из штаба, ваше благородие. Прикажете доложить?

— Доложи... Поручик Туржанский прибыл, мол, из командировки.

И тотчас слышит: «Проси, проси!»

— Честь имею явиться!..

— Ну, друг мой, такого фортеля одобрить я не могу. Кой черт, вы что, до Тифлиса ехали, как Шамилев лазутчик?.. Безобразие!.. В какое дурацкое положение вы меня ставите... Вас ждут в Дербенте.

— Иначе я не мог — следят, Генрих Петрович. Да и миссия моя не закончена. Я еду к Авди-паше.

Денщик полковника приносит вино.

— Рассказывайте и пейте. Небось там отвыкли?

И Туржанский рассказывает — сначала робко, затем смелее — все, что он видел и пережил в горах.

— Одно могу вам сказать, дорогой,— искупите все свои вины, все грехи, все прошлое. Завидую и поздравляю. Военный министр, по-видимому, будет докладывать о вашей поездке самому государю. Теперь так. Отдыхайте. Что передать паше — скажу завтра. Быть может, вам придется вернуться к Шамилю с нашим ответом.

— Генрих Петрович, этого я не смогу.

— Что?

— Не смогу.

— Отдыхайте. Нервы. Для вас, голубчик, нет ничего невозможного... Это ж, черт возьми, что проделали!.. Не бывало, ей-богу, не бывало... Виват! Ей-богу, виват!

Полковник был одет по-домашнему, то есть в легкий шелковый бешмет и в домашние шелковые шальвары, стянутые у щиколоток.

— Я, голубчик, не помню другого такого хождения в горы, как ваше,— сказал полковник,— а я, кажется, знаю Кавказ. Когда в сороковом я пересек земли назрановцев, обо мне писали в Лондоне, мои записки об абхазцах немцы печатали как нечто фантастическое. Но что все это? Мелкие пустяки.

Рука полковника, украшенная кольцами, несколько раз задумчиво прошла у подбородка.

— Очень рад. Блестящая поездка, превосходный документ. Заслуженный успех и впереди блистательная карьера ваша. Победенный учитель — победившему ученику! — галантно прибавил он, склоняя голову.— А помните, с каким недоверием относились к вашей поездке? Поляк, говорили. Боже мой, лазутчик должен вызвать к себе сочувствие, отвечал я... Да Шамиль не слыхивал о поляках, отвечали мне. Не слыхивал! Этот великий старец гор все знает, все слышал, мудрец, мудрец легендарный, ученый, полководец... Верно?

Туржанскому не хотелось говорить о том, что не имело отношения к делу.

— Да,— ответил он.

— Отметьте в докладе. Если вам нужно знать, что он читает, дам вам все справки. Я слежу за его чтением девятый год, я читаю те же самые книги, что и он... Да, так о поляках. Люди, не имеющие родины,— лучшие разведчики мира. Из штабных офицеров лучшие разведчики — либералы. Мы ж все это давно знали из индийского опыта англичан и марокканского — французов...

Он встал, прошелся по балкону мелкими шагами.

— Мы с вами неплохие географы, ей-богу. Очень неплохие. Чернышев нашего полку человек, поймет... Теперь несколько слов о людях. Кто там, что?

— Есть кое-кто.

— Портреты, пожалуйста. Тут не надо стеснять себя жанром наших докладных записок. Поживописнее!

Полковник ходил по балкону. Туржанский встал тоже.

— Наши книги написаны жизнью, поручик. Это всегда волнует. Я вот

сейчас вспомнил свои поездочки. Слеза бежит по лицу — какие люди открыты мною, какие характеры зарисованы... Хотелось остаться там? — Он подошел к поляку и нежно взял его за плечи.

— Да.

— И мне тоже. Но такова наша доля — отказываться от поступков сердца. А какие характеры, а? Встречались? Ну, Шамиль ведь совершенно великолепен, да? Великий старец!.. Послушайте, а что там за история с этим, с прапорщиком Аварским? Персона?

— Да:

— Что можно сделать, как вы думаете? Чик-чик, а? Не выйдет? Подумаем. Надо что-нибудь.

Он хотел расспрашивать много о мелочах, но Туржанский попросился уйти — он устал.

— Да. Но ведь сам мыслью был всегда с вами. Идите, отдыхайте, голубчик.

Дня через три в номер его, не стучась, вбежал Гиго.

— Погибаем, кацо! В Цинандалях Шамиль!

— Что?

— Не души за горло, батона, извиняюсь. Народ прибежал, народ рассказал. Княгинь три штуки взяли, детей всех взяли, завтра Шамиль в Тифлисе будет, клянусь честью.

Шатаясь, вышел Туржанский на Головинский проспект. Магазины были пусты. Растерянные офицеры толпой стояли у штаба.

Извозчиков с лентами не было.

Вдоль армянского базара мчались фургоны и линейки с дворянским добром.

Лавочники обсуждали события.

Тем же вечером Туржанский выехал в Кутаис. Шамиль шел с гор. Туржанский должен был опередить его.

Перед ним открывалась давно ожидаемая жизнь. «Сначала турки,— думал он,— а там посмотрим. Вперед, вперед!»

Глава 5

В Цинандали, родовом имени князей Чавчавадзе, собралась в этом году вся женская родня, вся последняя царственная Грузия. К жене хозяина Давида Чавчавадзе Анне Ильиничне, внучке царя Георгия XIII, приехала сестра ее, княгиня Варвара, вдова генерала Орбелиани. С нею — племянница, княжна Нина Баратова. Прикатила и старая тетка хозяина княгиня Тиния Орбелиани, и ждали еще из Мингрелии сестру князя Давида Нину, вдову Грибоедова, с третьей дочкой Давида Чавчавадзе — Еленой. Шестеро ребят Чавчавадзе, сын Варвары Ильиничны Орбелиани и многочисленная детвора дворни с утра наполняли старый двор криками, от которых не было никакого отдыха.

Французенка мадам Дрансе, недавно приехавшая из Парижа, растерянно приглядывалась к провинциальной и оттого немного смешной пышности Цинандали, рая в раю Кахетии.

Уже затевалось лето, ждали хорошего урожая на виноград. Воздух, голубовато-розовый, едва подернутый дымкой, хмельной, как молодое вино, веселый воздух Кахетинской долины, уже наливался и созрел над землей, как айва, как яблоки, как инжир.

Проветривали винные подвалы, стучали молотками по бочкам, черным красным от винных пятен, мыли глиняные сосуды величиной с комнату.

Французенке многое напоминало юг Франции — и небо, и плодородные края, и люди. Впрочем, она сама понимала, что сходство было лишь

внешним. Кахетия ничем не похожа была на Францию. Она осталась древней, медленной, наивной. Над ней стоял еще дым прошлого столетия. Кахетия была еще Востоком.

За нею начиналась темная бездна Ирана, великой Азии, великой неизвестности, откуда сваливались на Европу то полчища завоевателей, то эпидемии, то дары невиданной роскоши.

Мадам Дрансе, помнившей по рассказам отца девяносто третий год, представлялось, что время истории не всюду идет одинаковой поступью. Сорок восьмой год бросил Францию на сто лет вперед. Дрансе сама бежала слушать Ледрю-Роллена и Герцена, и вдруг — отброшенная временем назад — стоит на балконе большого княжеского дома, в стране, залечивающей раны персидских нашествий и едва ли слыжавшей о хартии прав человека и гражданина. Новизна впечатлений даже как бы состарила мадам Дрансе, но француженки старятся лишь до тридцати, а затем молодятся до смерти.

Самого князя Давида второй день не было дома. Числясь адъютантом главнокомандующего и состоя в чине полковника, хотя и не служа в армии, он что-то должен был изредка делать в иррегулярной милиции и как раз в эти дни получил задание собрать резервную кахетинскую милицию на левый берег реки Алазани, так как стало известно о скопищах Шамиля в ауле Карата.

Слухи о приближении горцев мало кого беспокоили в Цинандали. Не было еще случая, чтобы они хоть раз перешли Алазань, да и войск сейчас было вполне достаточно.

Третьего июля, на рассвете, с балкона цинандальского дома увидели пожары на левом берегу Алазани, верстах в двенадцати от имени. Княгиня Анна Ильинична тут же приказала нацвалу, сельскому старосте, поставить сторожей в саду и во дворе, по всех свободных людей еще с вечера затребовал к себе телавский уездный начальник князь Андронников. В Цинандали остались женщины, дети и старики. Семья Гульбата Чавчавадзе, жившего на другом конце Цинандали, собралась укрыться в лесу за деревней, а затем быстро выехала в Телав. Тетка Тиния Орбелиани, перевидавшая на своем веку множество передраг еще в дни грузинских царей, когда она была ребенком, сказала, узнав о выезде Гульбата:

— Которые помоложе, те первые пусть бегут. Гульбат убежал, теперь пускай Роман бежит, а потом и мы посмотрим, как быть. Мы старше их.

Вечером прибежал с Алазани человек, назвавшийся сигналахским духанщиком Шакро, и сообщил, что аварцы уже переправились на левый берег реки. Он попросился переночевать в людской. Через час нянька Василиса, из русских солдаток, прибежала сказать, что духанщик велел дворовым собраться в людскую и завязал с ними тихий разговор по-грузински, а затем, вынув из кармана бумагу, спросил, точно ли это дом князя Давида и кто богаче — Давид или Роман. «Наш богаче», — ответили дворовые, и духанщик сказал: «Ну, значит, тут гулять будем».

Княгиня вызвала управляющего именем отставного штабс-капитана Ахвердова. Взяв пистолет, он побежал в людскую. Духанщик заряжал охотничье ружье, стоя посреди двора.

— Ты кто такой, мамадзагли? — крикнул ему Ахвердов, но духанщик юркнул за дворовую стену.

Поставили сторожами бондаря Месхишвили и садовника Соселия, а конюхам велено было скакать в Телав за почтовыми каретами — свои были в починке.

Решение о выезде еще не было принято, но дом втихомолку засутился. Все стали готовиться к бегству. В самый разгар хлопот прискакал человек от князя Давида с письмом, что все обстоит благополучно и для беспокойства нет оснований. Правда, письмо было от вчерашнего дня, но тем более, значит, не стоило волноваться.

— Ах, какая прелесть этот Давид! — сказала Тиния. — Какой спокойный человек. Мужчина, честное слово!

И, отбросив начатые сборы, все с облегченным отправились спать, пошучивая над семьями Гульбата и Романа, которые удрали без всякого стыда.

На заре раздался со двора выстрел. Человек, назвавшийся духанщиком, громко что-то прокричал за сараями и, не таясь, тяжело и шумно побежал на окраину деревни. Княгиня Анна Ильинична открыла окно в бельведер — скрип арб и конский топот слышались отовсюду: деревня уходила в лес.

По выстрелу весь дом поднялся на ноги. Стали поспешно собираться, но дети одевались и пили чай лениво. В семь утра пришли из Телава почтовые кареты. Тетка Тиния быстро уложила в экипажные сумки бриллианты, деньги и кое-что из наиболее дорогих вещей, все стали одеваться, сходить вниз. Вдруг прибежал из сада штабс-капитан Ахвердов.

— Моднан! Моднан! — крикнул он дрожащим голосом, вскарабкался на дерево и, накренив своей тяжестью гибкий ствол его, повис на виду у всех.

Дети стали смеяться. Люди бросились в разные стороны от экипажей.

— Сюда, сюда, ко мне! — закричала, хватаясь за голову, Анна Ильинична, и, вместо того чтобы садиться в почти нагруженный экипаж и выезжать в ближайший лес, до которого было не более получаса, все, крепясь и причитая, бросились во второй этаж, в комнату, ведущую в бельведер. Старшие стали глядеть в сторону реки. Француженка разрыдалась.

— Малам, — сказала Анна Ильинична и коснулась плеча француженки. — *Quelle fatale destinée vous reunît à nous en ce moment! Pardonnez-moi d'en avoir été plus ou moins la cause!*

Мадам Дрансе, не отвечая, продолжала стоять у окна. Анна же Ильинична, давая грудь маленькой Лидии, опустилась на колени, спиной к дверям, сестра Варвара с княжной Баратовой стали рядом.

Горцы врзались в усадьбу. Топот и храп коней, резкие, приглушенные крики доносились все явственнее. Загремела посуда в столовой. Треск разрубаемой на куски мебели раздался из парадной залы. Деятельный и нервный шум разрушения двадцати нижних комнат целиком заполнил сознание женщин. Он как бы даже их успокаивал своей бесконечной однообразностью.

Так прошло более часа, и княгиня Варвара выглянула на площадку лестницы.

Она увидела угол кабинета и ложе длинного ружья, методически опускающегося на клавиши пианино. Белые щепочки слоновой кости валялись на ярком утреннем полу.

— Варвара, ступай назад! — оттолкнула племянницу тетка Тиния и неестественно длинными и быстрыми шагами ринулась вниз.

Через минуту наверх донесся ее страшный крик: «Уймэ! Уймэ! Генацвале!.. Спасите, я вас прошу!» — и затем веселый хохот горцев.

Они, видимо, только сейчас сообразили, что в доме могут быть и, наверное, есть люди, — послышалось несколько мужских прыжков по лестнице. Скрип двери в соседнюю комнату, разочарованный шепот, обратные шаги вниз. Но нет, опять идут наверх, трогают дверь, осторожно нажимают на нее, прислушиваются, кто-то, вскрикнув, как дровосек, наносящий удар топором, бьет спиной в дверь, она разлетается, и человек десять молодых горцев с разбегу почти падают на укрывшихся женщин, хохоча и ругаясь на своем жестком, металлическом языке.

Варвару Ильиничну, ближайшую к двери, осторожно сводят по

¹ Какая роковая судьба свела вас с нами в этот миг! Простите меня, что я отчасти послужила тому причиной.

лестнице, на ходу раздевая. За ней волокут няnek с детьми, голосящую француженку с поднятой до головы юбкой, в которую она прячет лицо, и, торопясь не отстать от этой шумной толпы, боясь даже на секунду остаться одной, княгиня Анна Ильинична, держа у груди дочку, поспешно спускается вслед за всеми. Старая лестница вздрагивает и оседает. Все кучей падают вниз. Ребенок вырывается из рук Анны Ильиничны. Она протягивает вперед руки, их принимают снизу, и она чувствует, как вертятся ее пальцы в жестких руках, снимающих кольцо за кольцом.

Седой горец пронесит на руках француженку, голую, как ребенка перед сном, и до Анны Ильиничны еще доходит фраза: «О боже, какой отвратительный запах!»

Всех медленнее движется она сама, она идет, упираясь и зовя детей, которые давно уже во дворе.

Запарившись внизу с вещами, которых было невероятно много, горцы— это был отряд Исмила — едва не забыли, что в доме люди. Утром в начале деревни лазутчик Шакро передал бумагу, где записаны были все обитатели дома по именам.

Тогда Исмил велел броситься на поиски ханш и стал торопить с упаковкой забранного. Старик Сурхай, когда отряд влетел во двор княжеской усадьбы и молодежь ринулась в комнаты, занялся экипажем и стал запрягать в него четверку почтовых лошадей, но, тут же сообразив, что экипаж в горы не увезешь, срезал кинжалом кожаную полость, схватил два детских шелковых одеяла и, не затрудняя себя долгим осмотром ящичков и картонок, побегал к сараям. Там было как раз то, что надо: лопаты, грабли, серпы, подковы. Старик решил упаковать все в одеяла и, сделав из них две переметные сумы, навьючил на свою лошадь. Пока он возился с вьюками, дом очистился весьма заметно. Ребята набивали хурджины серебряной посудой, одеждой и кухонными вещами. Старик вошел в дом, разбил мимоходом стенные часы и, не зарясь на крупные и тяжелые вещи, так как знал, что такое поход, подобрал хорошую суковатую палку с золотой чернетью.

Мадам Дрансе сидела на камне в корсете и панталонах, держа на поводу четырех коней. Владельцы их стремглав носились в дом и обратно, вьюча на седла ковры и занавеси. Тот, кто считал себя хозяином француженки, смеясь, грозил ей пальцем и указывал на коней, чтоб берегла.

— В конце концов нужно каких-нибудь три года, чтобы научить это чудовище языку,— сказала она спокойно княжне Баратовой, которая, совершенно одетая и даже в кольцах, сидела верхом на лошади возле мрачного рыжебородого мюрида, ковырявшего в зубах соломинкой.

— Но где же княгиня?

Мюрид спокойно ответил по-русски:

— Да вон поехали! Одна, которая постарше, так тую раздели до голяка, а тая — в своем. Ничего, доберемся как-либо! — И, вскочив на коня, он посадил позади себя княжну, заложив ее руки себе за пояс, и на карьере пошел меж садов к реке, обгоняя всадников, за спинами которых сидели няньки, поварихи, горничные и дети.

За рекой остановились на полчаса; проводник француженки одел ее своей буркой и, вынув из кармана горсть жареной муки, предложил съесть. Она замотала головой. Снова поднял он ее на коня и пошел шагом в хвосте стада быков, захваченных в Цинандали.

Когда княгиню Анну Ильиничну Чавчавадзе свели вниз по лестнице, Баратову схватил Раджаб.

Но он не надеялся, как ей тогда показалось, на свои силы — княжна была исполнена жизни и цветущего здоровья, она могла отбиться от него.

Раджаб связал ей за спиной руки и, сведя во двор, поставил у своего коня.

Она была в пышном грузинском костюме, в кольцах и драгоценностях и, видя голую мадам Дрансе, повизгивала от страха, что и с нею сейчас поступят так же.

В это время вывели во двор в одной рубашке Анну Ильиничну. Одна ее нога была в туфле, другая в чулке, мокрым от крови. Княгиня звала детей, рвала волосы и причитала. В ее ушах еще блестели бриллиантовые серьги и на руках сохранились из червонного золота старинные браслеты персидской работы.

Двое молодых горцев побежали за детьми, приговаривая: «Корхма, корхма, не надо бояться»,— и скоро принесли пятерых раздетых и плачущих ребят, за исключением старшей девочки Симоне.

Княгиня попросила пить. Ей принесли воды в кокосовом ящике, всегда стоявшем на столе в гостиной, и она стала пить из этого странного сосуда под смех и шутки горцев.

Потом один из них подскочил к ней и сорвал браслеты, а серьги она сама отстегнула, боясь, чтобы не порвали уши.

Стали садиться на коней и всех ребят разобрали по рукам, а княгине дали грудную Лидию.

Тот грузин, что вчера появился в усадьбе под видом духанщика, подъехал к ней, нагруженный коврами.

— За детей будь покойна,— сказал он, посмеиваясь,— будут все невредимы. Я сказал, кто вы такие, к самому Шамилю вас доставят.

Княгиня не рискнула ехать на коне с ребенком на руках и пошла пешком рядом с лошадей своего похитителя, но идти было трудно, и он часто огревал ее плетью по голым плечам.

Так дошли до реки Кизисхэви и стали переправляться через нее. Анна Ильинична и тут не села на коня, а пошла, подняв Лидию к плечу. Брод был глубокий, дно неровно, и, погрузившись по грудь, Анна Ильинична споткнулась и нырнула с ребенком в воду. Раджаб выхватил девочку из ее рук и крикнул вниз по течению, чтобы ловили ханшу,— ее вытащили сейчас же и, доведя до берега, велели бежать, чтобы отогреться. Но она не могла идти, и Исмил крикнул старика Сурхая, чтобы он взял княгиню на свое попечение.

Лошадь Сурхая была нагружена сверх меры. Из хурджинов торчали топоры и лопаты, медный таз, самовар, два серебряных блюда и большая персидская ваза величиной с бочонок из фарфора, украшенного цветным рисунком.

Отплевываясь и ворча, старик подъехал к княгине, не зная, что выбросить из хурджинов.

Сын крикнул ему:

— Бросай медь! Зачем везешь, все равно отберут!

А сосед Исубилау засмеялся:

— Наш Сурхай-беком стал, большой хинкал будет варить, посуду везет.

Старик вынул из хурджина самовар и, повертев его в руках, бросил на землю, сбросил и медный таз и одно серебряное блюдо, потом посадил княгиню позади себя, правую руку ее засунул себе впереди за ременный пояс, крепко стянув его, чтобы рука не вырвалась. Так переправились через Алазань и вошли в невысокий прибрежный лес. Караван был длинен. Горцы ехали, весело перекликаясь, и отовсюду слышалась грузинская речь. Человек сто пленных из деревень вокруг Цинандали шли со связанными руками или ехали на конях. Конвоиры на ходу менялись трофеями, а тяжелые вещи везли нести грузинам. Старик Месхишвили, бондарь, тащил два паласа из дома Чавчавадзе и кричал, что пускай свои ковры тащит княгиня-хозяйка.

— Где правда? — кричал он. — В плену тоже на нее работать? Я пленный, она пленная — пускай сама тащит!

Но, видно, был приказ щадить важных пленниц, и конвоиры, посмеиваясь, стегали грузина нагайками.

Лучше всех было русским кухонным бабам из дома Чавчавадзе.

Солдатки, опытные в жизни, они ехали смирно, болтали между собой, и конвоиры отпускали их от себя ехать верхом вперед и угощали их жареной мукой из карманов.

Был близок полдень, и караван входил в ущелье между двумя горушками. Долина Алазани пряталась за ними. Вдруг раздался орудийный выстрел, и картечь запела, завизжала у дороги. Горцы шарахнулись в сторону и, не разбираясь, в чем дело, повернули коней назад. Картечь свистела теперь над самой дорогой. Кони падали, давя людей, — это была засада, которую оставил князь Давид Чавчавадзе еще поутру. Вслед за картечью заработали ружья. Горцы падали один за другим. Старик Сурхай выбросил серебряное блюдо и две лопаты, огрел коня плеткой и пошел на карьере, обгоняя товарищей.

Анна Ильинична едва держалась на коне. Правая ее рука была стянута ремнем, а в левой она держала Лидию, сама же скользила вниз по крупу и, не умея удержаться ногами, пыталась высвободить из-под пояса горца правую руку.

Оглянувшись назад, она увидела скачущую лошадь без седока, с развевающимся на седле черным платьем.

— Варэ! — крикнула она, зажмутив глаза. — Уймэ! Это Варина юбка! Стойте, стойте!

Совершенно ослабев, она теперь едва держалась. Левая рука ее, прижимавшая дочку, одеревенела, вырвать же правую из-за пояса горца ей не удавалось. Сурхай, не оглядываясь, гнал коня в обход горы Конухи.

— Стойте, умоляю! — еще раз прокричала княгиня, чувствуя, как рука с ребенком опускается все ниже и ниже, как ребенок выскальзывает с руки и она держит его только за ножку, головой вниз, как большую куклу.

А Сурхай все торопил и торопил коня, картечь свистела и рявкала, не умолкая, надо было промчаться еще две-три версты.

Ребенок несколько раз стукнулся головой о ноги скачущей лошади и замолчал. Рука княгини разжалась сама собой, но она не почувствовала этого и еще долго плакала и просила Сурхая остановиться.

Оставшиеся в живых горцы разделились на мелкие партии и одна за другой стали собираться к Похальской башне, где назначен был сбор.

Первым прибыл Исубилау, везший кормилицу Василису с маленьким Александром Чавчавадзе, за ним Муса с Дареджаной Гамкрелидзе и тремя крестьянскими девочками, потом Раджаб с княжной Баратовой, Махмут, односельчанин, с Варварой Орбелиани и, наконец, старик Сурхай с Анной Ильиничной. Немного погодя подошли и пешие пленные. Из хурджинов на конях конвоиров выглядывали детские головы и вещи.

Все цинандальские были налицо, а сколько должно быть всех пленных — никто не знал.

Важных пленниц вместе с их женской прислугой заперли в башню, прочие велели ложиться и отдыхать на лужайке. Расставив часовых, отряд заснул. Горцы спали, однако, недолго, часа два или три, а затем, позавтракав кто сухими кукурузными лепешками, кто мукой, выпили по чашке горячей воды и стали собираться в путь.

Раджаб прошел в башню, поглядел, цела ли его добыча — княжна Баратова, и сунул ей в руку кусок сахара, забранный в доме.

— Вы, грузины, привыкли есть всякий день, — сказал он по-аварски, — так и ты проголодаешься. Возьми!

Подошел Шахро и перевел.

— Я вижу, что ты задумал,— подмигнув, сказал он потом Раджабу,— только напрасно, не выйдет по-твоему.

Раджаб улыбнулся.

— Кто знает! — ответил он.

— Я знаю, что не выйдет,— повторил Шахро.— Шамиль за них выкуп возьмет, в жены никому не даст. Да и тебе прибыли от нее не будет — тебе надо, чтоб работала... Иди. тех погляди! — И он толкнул Раджаба в сторону большой группы крестьянок, среди которых было много молодых, почти девочек.

Раджаб мельком взглянул на них, пошел к отцу.

Старик лежал на траве, менялся. Он отдавал персидскую вазу за три столовых ножа, но охотников на вазу не было. Зато подковы его шли в ход. За четыре подковы взял быка, за две — папаху для сына и за одну — прекрасный ременный пояс тифлисской работы.

Надев на себя папаху и перебросив через плечо тифлисский пояс, он медленно пошел по лагерю, опираясь на суковатую палку с чернетью. У него оставалось еще три подковы, и он не знал, продать ли их или бречь. Решил бречь — поход тяжелый. Если менять, так топоры. На топоры тоже был спрос. Молодежь, бывшая в отряде, мало еще понимала, что следует брать, и соблазнялась тяжелыми коврами, громоздкой посудой или безделками, а он знал, что везти домой надо вещи легкие, удобные — одежду или такие, каких не достать, — топор, лопату, кирку. Вспомнив, что он еще не выбрал быка за четыре подковы, он кликнул сына и пошел к стаду.

Уговор был, что он выбирает любого, и Раджаб показывал ему на черного, громадной силы бугая с кровавыми глазами, но старик выбрал маленького, сухого бычка с короткими и крепкими ногами.

— Плохо выбрал! — заметил сын.

— Я хорошо выбрал,— ответил старик.— Большой бык в горы не пойдет, сдохнет, а этот еще один тюк с добром потащит! — И он, не откладывая дела в долгий ящик, крикнул пленного старика Месхишвили и велел ему прикрепить к спине бычка вьюк с одеялами.

— Малый заработок имеем,— сказал он потом сыну.— Мне эту ханшу дали — забота. Тебе тоже ханшу, надо с нее хоть одежду снять, пока цела.

И пошел к башне.

— Не надо,— сказал Раджаб.

— Как не надо? Все равно она нам не попадет. Лучше отдадим наших ханш, возьмем двух девок — тебе пойдут. Или двух девок, или того старика. Смотри, крепкий старик, хорошо работает.

Сын молчал, и старик, крикнув, прошел в башню и внимательно, осторожно раздел молодую Баратову, аккуратно скатал ее платье и сунул себе в хурджины.

Раджаб достал тогда из своих сумок три золотых кинжала, ружье и сапоги и послал Махмута к старику — торговать одежду княжны. Старик не выдержал, отдал. Махмут, смеясь, бросил одежду Раджабу, и тот, хмурясь, отослал ее в башню.

Когда сдились на коней, Баратова опять была во всем своем.

Старик Сурхай, взглянув на нее, плюнул и поехал вперед, здорово рассердясь, но потом передумал, вернулся к стаду и поехал возле бычка.

Грузинский старик шел в стаде, мурлыча песню. «Хороший старик,— решил Сурхай,— буду вечером менять его...»

И вечером, на второй стоянке, когда лежали у костра, он начал дело издалека. Стал рассказывать о походах, о заработках, о том, как взяли лет пять тому назад русского полковника с женой, а потом жену хакима ихнего и как здорово торговали тогда.

— Ты должен помнить, эй, Исубилау! — кричал он. — Ты сам тогда пришел, двух иванов нам продал.

— Уж тогда торговали! — с удовольствием сказал бывший мирный горец Исубилау. — Я тогда восемь маришек привез в горы да двух иванов, большой давла получил.

— Бабу выгодней торговать. На нее закона нет. А не продашь, себе остается польза.

Сурхай решил, что пора приближаться к делу.

— Я девять раз имел русских, — сказал он. — Два офицера имел, три сапера имел, четыре бабы имел. Если можешь их кормить, цену ждатель тебе прибыль, если сил нет — лучше бросай.

Он вздохнул.

— Богатый был бы, за свою ханшу такой выкуп получил бы!

— Имам будет менять.

— Имам, конечно. Но моя часть остается. А ее хорошо кормить, она письмо мужу напишет, ты это письмо свезешь в крепость, от мужа пешкеш возьмешь... Э-э, это дело знать надо, — сказал он таинственно. — Жаль, старый я, бедно живу:

Тут Махмут не выдержал:

— Давай меняться! — и встал.

У Махмута было своей рукой взятых шесть человек: четверо мужчин, две бабы. Позвали переводчика Шакро и пошли к пленным. Сурхай велел тонко выспросить, какая у мужчин специальность. Один был плотник, другой — бондарь, третий — кузнец, четвертый — кучер.

— Какое их дело? — спросил Сурхай грузина Шакро.

— Саперы они все! — ответил тот.

— Тогда не хочу. Тогда давай мне того старика, что идет со скотом, и двух баб.

Старик знал, что саперов брать никогда не выгодно. Закон есть, чтоб саперов отсылать к имаму. Махмут тоже перепугался.

— Скажи им, пусть не говорят, что саперы, а то зарежу в дороге, — сказал он грузину Шакро, и пленные, перекрестившись, сказали, что они рыбаки.

Махмут успокоился, отдал двух баб и старика Сурхаю и взял себе княгиню Анну Ильиничну.

Шакро ходил по лагерю, присматривался. Грузины окликали его.

— Жальтесь, батоно, — говорили они. — Возьмите нас себе, не дайте, просим вас, на оскорбление мусульманам:

Но Шакро ничего не мог сделать. Ему нравилась нянька Василиса, солдатка, но он понимал, что на дворню князей лучше не зариться, все равно уйдут из рук, а решил, как увидит завтра Кази-Магому, сына имама, просить у него двух коней и ковер.

— Бабу возьмем на чеченской линии, — ободрял его Исубилау. — Я тебе из-под Шуры русскую достану, в арбу запрягать — так здоровы.

(Окончание следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ЛЕВ ЛЮБИМОВ

★

НА ЧУЖБИНЕ*

Глава 5

В ГРОЗНЫЕ ДНИ

Большевики у власти, но подавляющее большинство дворянско-буржуазного Петербурга относится к этому факту крайне поверхностно: «Мыслимое ли дело? Преходящее явление! Как-то кончится, и, очевидно, очень скоро...» Но как и почему «очевидно», никто не объясняет.

Большевики у власти, но выходят антибольшевистские газеты. Новые власти закрывают газету, а она тотчас же появляется вновь под чуть измененным названием. Кадетская «Речь» становится «Нашей речью». Выходит даже антисоветский листок «Кузькина мать». Вот ему-то как изменить название в случае надобности?

Большевики у власти, но в нашем кругу очень довольны, что так плохо пришлось Временному правительству.

Со смехом передают разговор, якобы имевший место в Петропавловской крепости между бывшим царским министром юстиции Щегловитовым и бывшим министром иностранных дел Временного правительства Терещенко, богатейшим промышленником, широко субсидировавшим при монархии либерально-буржуазные организации и газеты. Во время прогулки заключенных Щегловитов подошел к нему и сказал, сочувственно покачивая головой:

— Вот видите, господин Терещенко, как вы плохо распорядились. Дали целый миллион, чтобы попасть сюда! Право, обратились бы ко мне в свое время, и я мигом устроил бы это без всяких для вас расходов.

Большевики у власти. Но, хоть и с опозданием, в лицее возобновились занятия. Правда, это уже не лицей, а лишь отдаленное его подобие. Занятия происходят только в младших классах. Нам дают возможность наспех пройти гимназический курс: два класса в один учебный год! Управляет нами родительский комитет. Первое время учимся в самом лицее, но вскоре нас переводят в соседний горчаковский дом: в память своего деда, канцлера и пушкинского товарища, владелец оказывает приют последним лицеистам. Воспитанников — подостава; остальные не вернулись в Петроград. Живем дома, можем ходить в лицей, а можем и не ходить. Никто из начальства за этим настояющему уже не следит. Носим то форму, то штатское, как придется. Но треуголку уже не надевает никто...

Мы выбиты из прежних рамок. У одного из моих товарищей появляются бешеные деньги. Ему едва семнадцать лет, а он уже содержит хористку и веселится направо и налево в последние месяцы незабываемого 1917 года. Как-то рассказывает, откуда у него такие возможности. Отец его (очевидно, раньше многих сообразивший, что «все пропало») каждую ночь играет на тысячи, а то и десятки тысяч рублей. Приходит на рассвете и перед сном выбрасывает на стол ворох ассигнаций. Сын сторожит его возвращение, прокрадывается в спальню и берет со стола немного, совсем немного сравнительно с тем, что там лежит, но достаточно, чтобы отвесть под занавес самой

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

широкой жизни. Год назад мы бы тотчас исключили его из курса. А теперь что нам до этого?

Зима 1917/18 года останется для меня навсегда памятной.

Пусть не полностью, значение событий той поры, конечно, доходило до меня. Чем дальше, тем все яснее я сознавал, что происходит огромной важности катаклизм. Сущности этого катаклизма я не понимал, но я отдавал себе отчет, что нагрянувшие события не только имеют решающее значение для судьбы моих родителей и моей собственной, но и определяют надолго исторический путь России.

В эту зиму мне впервые открылась несравнимая красота, быть может, величайшей повести о человеческой жизни, написанной в последние столетия. И в этой повести — в «Войне и мире» Толстого — я находил сокрушающее все сомнения доказательство величия моей страны. Помню один из петербургских концертов этой зимы. Под музыку, под пение Собинова звучали во мне с новой силой только что прочитанные страницы, где Кутузову сообщают, что Наполеон покинул Москву. Эта незабываемая сцена, волнение Кутузова, короткие фразы разговора, исполненного самого высокого смысла, сплетались в моем сознании со всем, что было вокруг: с настроениями значительной части слушателей, полностью обращенными в прошлое, с их тревогами, желанием забиться хотя бы в этот вечер и дальше, за сводами зала, с грозным городом, ошетилившимся против несметных врагов, с грозными судьбами родины, с трагизмом брестских переговоров и с трагизмом нашей собственной судьбы. Толстой давал мне веру в свою страну, в свой народ, хотя я упорно продолжал мыслить его развитие только в нами проложенной колесе.

Да, все так. И я не могу себя упрекнуть в каком-то легкомысленном отношении к происходящему. А между тем зима эта осталась навсегда в моей памяти еще и потому, что я никогда так много и с таким воодушевлением не танцевал.

Днем было учение спустя рукава, были тревожные разговоры старших, иногда были и жуткие минуты.

В январскую стужу я проходил по Литейному тотчас после того, как антисоветская демонстрация столкнулась с Красной гвардией. Стрельба едва затихла. Я замешкался на тротуаре, как вдруг окрик:

— Чего тебе надо здесь, буржуйский сын? Живо домой!

Суровый, плечистый человек в кожаной куртке стоял против меня с наганом в руке. Вид у него был усталый, измученный и в то же время решительный, так что я предпочел ни одной лишней секунды не мозолить ему глаза...

А вечером ходим в «Павильон де Пари» на Садовой. Это театр-варьете, гвоздь программы — Мильтон, французский комик, который, ужасно картавя, поет песенки на злободневные темы. Вот скетч, высмеивающий кухарку, которая добилась равноправия с господами. Появляется Мильтон, нарумяненный, в юбке, в фартуке, с громадным красным бантом, в шиньоне и с кастрюлькой в руке. Поет, подбоченясь:

Да, я кухарка
И тем горжусь!
Держу я марку,
Не дешевлюсь!

Хохот и громовые аплодисменты. На лицах торжество! «Ой, берегись, Советская власть!»

На Невском в знаменитом «Солейле» или «Паризиане» идет картина по рассказу Толстого «Отец Сергей». (Впрочем, это, кажется, было несколько позднее — летом.) Каждый день в темном зале, как только на экране появляется Николай I, гремят дружные аплодисменты.

Хоть и темно, тут все же некоторый риск. Но, оказывается, можно и без малейшей опасности громить во весь голос Советскую власть.

Мне рассказывают знакомые:

— Вчера в тысячной толпе мы кричали: «Долой большевиков!»

Они не шутят, и это не сумасшедшие, вроде того офицера, который уверял, что распекает на Невском солдат.

былые годы ставил правительству палки в колеса. Особенно же рьяно нападают на близких, на уехавшего из столицы, но вечно присутствующего в их разговорах дядю Михаила Ивановича.

Но тот, хоть и читал Ленина (в этом, пожалуй, главное его отличие от брата и обоих шуринов), тоже предпочитает не думать о действительности, расточая свои профессорские громы против заядлых консерваторов, которые из года в год мешали таким людям, как он, «довести народ до полной политической зрелости», то есть до буржуазного парламентаризма, и, окопавшись в Киеве, с горя объявляет себя... украинским сепаратистом.

Конец весны и начало лета 1918 года... К этому времени у нас перевелись деньги: доходов давно уже не было, а от банковских текущих счетов остались в нашем распоряжении одни чековые книжки. Начались распродажи художественных собраний, и тотчас, как грибы после дождя, чуть ли не на всех главных улицах Петрограда появились частные комиссионные магазины, всевозможные «покою» (посреднические комиссионные конторы), как их тогда называли. Вместе с группой друзей мои родители тоже открыли такой магазин — «Караван» — на Караванной, ныне улице Толмачева.

В «Караване» я просиживал часы, любясь и наблюдая.

Вот приносят ящик с фарфором из богатейшего собрания баронессы Мейендорф. Фигурки императорского завода, гарднеровские, поповские: стройные девушки с коромыслами в лазоревых сарафанах, сбитенщики, крепостные «Психеи», пузатые кучера; чашки, тарелки с затейливыми узорами, амурами, усатыми генералами или видами царских дворцов. Исчезнувший быт! Мне приятно смотреть на эти вещицы, приятно держать их в руках. Нет больше настоящего, которое не «мое», которого я не знаю, есть только романтика прошлого.

Спекулянты — лучшие клиенты «Каравана». Приходят в магазин вместе со специально нанятым знатоком, мало смотрят на вещи, смотрят на знатока. Что он выберет, то и берут. Им важно скорее обратить в абсолютную ценность быстро нажитые «керенки». И тут же между собой продолжают деловой разговор:

— Вагон риса? Дайте мне платину! А ваш рис — пара пустяков.

— И что значит пара, когда вы сами мне обещали целых триста пар сапог?

Много сокровищ проходит через «Караван». Вот я просматриваю уникальное собрание цветных гравюр восемнадцатого столетия. Но на другой день их уже нет. Зашел иностранец и купил все. Иностранцы соперничают со спекулянтами. Но у них другой тон, другой подход, они менее крикливы и более самоуверенны. Я чувствую в них острую жажду наживы: расхватать побольше русских сокровищ!

Иностранцы считают нужным выражать нам сочувствие. Ругают новую власть и русский народ. Быть может, полагают, что нам это должно быть приятно, а еще вероятнее — не задумываются над нашими переживаниями, так как среди нас чувствуют себя начальством. В их речах проскальзывает высокомерие, которое меня раздражает. Высокомерие по отношению к России, по отношению к нам самим. И мы терпим это. Более того, в нашем кругу низкопоклонствуют перед всеми этими господами; столь же почтительно, как с самими Романовыми в прошлом году, разговаривают с немцем из консульства на Морской, у которого такой вид, будто он в покоренной стране, с бывшим приказчиком английского магазина на Невском, с французским буржуа-краснобаем, неизменно объявляющим, что русские должны пенять на себя, раз «изменили союзникам».

Бывают минуты, когда меня подмывает обругать всех их крепким словом. Высказываю такое желание старшему товарищу; его родители в восторге, что их десять тысяч десятин заняты сейчас солдатами кайзера, и сам он подчас импонирует мне полным отсутствием идеологических сомнений. Этот молодой человек обстоятельно объясняет, что мой порыв свидетельствует о политической незрелости. Политика требует острого чувства реальности. Иностранцы — все равно немцы это, англичане или японцы — единственная сила, которая может спасти нас и вновь водворить в «законных правах». Значит, мы должны помогать им, даже если они желают расчленить Россию. Важнее всего свергнуть большевиков, а там видно будет!

Говорит все это как-то бесстрастно, словно повторяет заученный урок, причем лицо его сразу темнеет, становится деревянным. Такой урок он заучил тогда на всю жизнь.

Как бы влез в герметическую жестянку и законсервировался на вечное прислуживание иностранцам.

В деятельность свою он меня мало посвящает, считая слишком молодым и «неустойчивым». Но мне случается иногда наблюдать ее, так сказать, одним глазом.

Как-то мы вместе собирались в театр, и он мне назначил свидание в небольшом холле, на втором этаже Европейской гостиницы. Я спутал время и пришел на час раньше. Народу было много. Во всех углах шли вполголоса какие-то совещания. Мой приятель сидел на диване, слушая с крайне почтительным, даже подобострастным выражением на лице хмурого дядю вполне определенного англо-саксонского типа. Я удалился. А когда вернулся, застал его беседующим уже с другим лицом, по виду офицером, которого, как мне показалось, он в свою очередь обдавал начальническим холодком.

«Опять цедит слова», — подумал я, зная за ним такую привычку, заимствованную у некоторых дурно воспитанных иностранцев.

Когда мы вышли на улицу, он хвастливо поведал, что этот офицер непосредственно подчинен ему, добавив, что холл Европейской гостиницы стал центром конспиративных встреч. В этом не приходилось сомневаться: чуть ли не все там имели вид заговорщиков. И действительно, туда являлись люди, прибывающие с Дона или из Киева, оттуда отправляли офицеров в белую армию, там попеременно сталкивались немецкие агенты и агенты Антанты, вырабатывались какие-то планы и подготавливались контрреволюционные дела.

Я высказал недоумение:

— Петроград буквально кишит заговорщиками. Достаточно зайти на пять минут в этот холл, чтобы опознать десяток-другой!.. Вряд ли так может продолжаться...

Старший товарищ ответил самоуверенно:

— Большевики вовсе не так сильны. Знают, что час расплаты настал, напуганы и не смеют действовать против нас.

Усердствуя перед любым иностранным шпионом, такие люди упивались бредовыми надеждами. Что бы ни случилось впоследствии — разгром интервенции четырнадцати государств, разгром гитлеровских захватчиков, — их самообольщение не убывало. И по сей день, доживая свой век где-то по ту сторону океана, мой тогдашний приятель думает, конечно, что советский строй — случайное явление, с которым давно бы расправились, если бы вовремя выставили против «смутьянов» нужное количество пулеметов, и упивается атомным бредом, чтобы чем-то напитать свою личность, еще в 1917 году утратившую живое восприятие действительности.

В слабости большевиков он меня так и не убедил. Я ходил Первого мая на Марсово поле и видел там несметные ряды солдат революции. В их монолитности, в их лицах, в их решительной поступи была грозная сила.

Я смотрел на похороны Володарского, сраженного эсеровской пулей. Этого человека я тоже видел, тоже с ним разговаривал, но как с чужим, с которым не может быть общей дороги. Когда проходила траурная процессия, я вспомнил его черты, его небольшую решительную фигуру. Гремело тысячько голосов: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» И опять ясная решимость вести борьбу до конца поразила меня в лицах людей, шедших за прахом убитого комиссара.

Схватка не на жизнь, а на смерть бурей врывалась в нашу судьбу. Все больше друзей перебиралось на Юг. Но мы еще не думали об отъезде. Семья моя срослась с Петербургом. В это лето я полюбил на всю жизнь этот город, красивейший во всей Европе, может быть, во всем мире!

Акрополь и собор св. Петра — светочи красоты для всего человечества. Но Акрополь — не все Афины, и собор — не весь Рим. Сиена, Брюгге дышат единым художественным ритмом, но это небольшие города. Париж — великий город, с великими памятниками, прекрасный в своем ансамбле. Но этот ансамбль не органический. Парижские кварталы соединены воедино новыми широкими магистральями, но по своему архитектурному стилю каждый внутренне обособлен, чужд соседнему, никак не перекликается с ним.

Иным вырос Санкт-Петербург. Под аркой Главного штаба, перед фасадом Зимнего дворца, на стрелке Васильевского острова, у памятника Петру I или перед колоннадами Марсова поля видишь единую величественную картину. Нет нигде такой целостной, совершенной панорамы! Нет нигде этого мерного чередования площадей и дворцов, нарастающих торжественными аккордами строгой и грандиозной симфонии!

Я ездил в Царское, в Павловск осматривать императорские резиденции, превращенные новой властью в музеи. Я восхищался решеткой Летнего сада и панорамой Невы. И хотя никто не покушался на эти красоты, я говорил себе, что вместе с «нашим миром» суждено погибнуть всей культуре моей страны. И потому, что я думал так, я был с теми, кто звал на борьбу с новой властью.

Так жили мы. Беспечно. Бессмысленно. Ничего не понимая. Ни значения революции, ни того, что она принесла народу, ни, следовательно, почему народ был с большевиками.

Боялись. Но пока что не очень... Власть еще не взялась за нас по-настоящему. А враги ее были всюду, и от слов они переходили к делам.

Недалеко от Литейного открылся в ту пору ресторанчик «Замори червячка». Содержал его гвардейский казачий генерал. Вместе с комиссионными магазинами такие ресторанички обеспечивали неплохой заработок наиболее предприимчивым людям из старого мира. У казачьего генерала было и очень вкусно и очень дорого. Прислуживали дамы с громкими именами, а клиентами были преимущественно спекулянты, которых прежде эти дамы не пустили бы к себе дальше передней. Поэтому спекулянты валом валили туда. Так уже в красном Петрограде выработались навыки и сноровка, которым суждено было определить многие стороны эмигрантского быта в Константинополе, Париже, Шанхае..

В этом ресторанчике я услышал первые отклики на грозные события: убийство Урицкого, покушение на Ленина.

Странное дело, не самые эти события, не их смысл и не последствия, которыми они были чреваты, служили главной темой разговоров. Впрочем, это, может быть, и не так странно... Не о значении Бородинского боя, а о гибели в этом бою Кутайсова, которого все знали в петербургском обществе, толковали, согласно Толстому, в петербургских гостиных в последние августовские дни 1812 года. Ныне остатки этого общества больше всего уделяли внимание неожиданной неприятности, случившейся с «бедным старым князем Меликовым».

Передавали, что, спасаясь от погони, убийца Урицкого, Канегиссер, бросился с Дворцовой площади на Миллионную (ныне улица Халтурина). Вбежал в какой-то подъезд, поднялся по лестнице; дверь одной из квартир оказалась открытой; вошел в переднюю, снял с вешалки первое попавшееся пальто и в нем спустился на улицу. Но пальто не помогло — его узнали и схватили.

По слухам, в тот же день в Чека долго допрашивали генерала князя Меликова. В кармане пальто, которое было на убийце, нашли бумажник с его визитными карточками...

За столиками «Замори червячка» сочувствовали грузинскому князю, но и посмеивались над таким злоключением.

— Воображаю, как был удивлен!

— Говорят, он даже не заметил, что у него украли пальто.

— Бесподобно!

Но беспечность длилась недолго. Власть решила очистить город от заговорщиков, от террористов.

Об этих днях я вспоминаю, пожалуй, как о самых страшных для нас в ту пору. Вот отец раскрывает газету, и я вижу, как лицо его темнеет, перекашивается: прочел о расстреле царских министров Маклакова, Щегловитова, Протопопова. Он не любил их, сам считал накануне Февраля однозными фигурами, но с каждым из них его связывают воспоминания былых лет. «Неужели рухнуло все окончательно, безнадежно? Нет, не может этого быть», — читаю в его глазах.

Мой приятель заговорщик, каждый день ходивший в Европейскую гостиницу для конспиративных встреч, не возвращается домой после убийства Урицкого, некоторое

время скрывается, а затем бежит на Юг. Передал через общего знакомого, что группа, в которую он входил, разгромлена и что три ночи подряд он прятался на каком-то чердаке. Несколько лет спустя, уже в эмиграции, он хвалился, что за месяц до выстрела Канегиссера этой группе было поручено выяснить, в какие часы Урицкий обычно приезжал в Чека.

Холл Европейской опустел: заговорщики либо схвачены, либо сбежали. Закрыты кафе типа «Замори червячка», где вперемежку со спекулянтами встречались вербовщики офицеров и юнкеров для Добармии.

Люди из нашего круга передают испуганно, что схвачены многие члены какого-то таинственного центра, «Союза возрождения родины», в котором монархисты объединились с эсерами для подготовки покушений и подрывных операций, что обыск в английском посольстве лишил верного убежища и опорного пункта сторонников Антанты среди антисоветских групп.

В ответ на выстрелы, раздавшиеся в Москве и Петрограде, на нас посыпались удар за ударом, причем они наносились и по террористам, вербовавшимся в нашей среде, и по тем лицам, которые по своему прошлому ярче всего олицетворяли яростно сопротивляющийся старый мир.

Арестовали и моего отца.

Глава 6

ИСХОД

В хлопотах по освобождению отца моя мать проявила действительно максимум энергии.

Ходила к следователям Чека.

Связалась с польским посланником, старым нашим знакомым Ледницким: в благодарность за гуманную деятельность в Варшаве и Вильне тот объявил отца польским гражданином и выступил с официальным ходатайством о его освобождении.

Обратилась к курьерам бывшего министерства земледелия, где отец был некогда директором департамента, и те с готовностью написали в Чека, характеризуя его как заботливого начальника, всегда внимательного к нуждам низших служащих.

Объездив всех, кого можно, звонила во все высшие советские органы Петрограда и, кажется, не оставила без внимания ни одного, даже самого малого шанса на удачу.

Раз была вместе со мной у следователя на Гороховой. Вот что сказал ей этот человек, олицетворявший для нас самый грозный орган Советской власти:

— С вашим мужем можно разговаривать просто. Мы его больше уважаем, чем тех придворных и генералов, которые клянутся теперь, что в душе всегда были против царизма. Он прямо заявил нам, что он монархист, служил царю по убеждению. Кроме того, ваш муж отказался признать себя поляком. Мы так и ответили посланнику: вы за него хлопочете как за поляка, а он сам считает себя русским. Что ж, как поляка мы его не освободим. Следствие еще не закончено. Ничего утешительного сказать вам не могу.

Мы вышли от следователя в большом волнении. Я гордился отцом, но опасался за его участь. Не слишком ли он прямолинеен?

Отец был освобожден в октябре. Как-то вечером позвонили у входа. Когда открылась дверь, я по радостному визгу нашей собаки понял, что это он. Как и жуткой встречи на Невском, никогда не забуду этой минуты.

В освобождении отца сыграли решающую роль два заступничества: письмо курьеров министерства земледелия и заявление одисго из членов коллегии, его допрашивавшей. Он подтвердил, что население Вильны сохранило об отце память, как о самом благожелательном губернаторе с начала века. Заявил он это в самом ходе допроса, подчеркнув, что считает своим долгом сказать правду о классовом враге.

— Вот кто меня спас, — говорил отец.

На семейном совете было решено, что отцу надо уехать как можно скорее. Аресты продолжались. Теперь нам было уже ясно, что по мере расширения гражданской

войны власть будет охранять все строже порядок в тылу своих армий. Большевики, конечно, скоро, скоро падут: в этом по-прежнему все были уверены среди нас. Весь вопрос — как уцелеть до этой поры. Мы можем еще повременить, но отцу рисковать опасно. Лучше всего ему поехать в Варшаву, где у него множество знакомых. Как же это устроить?

Пока отец отдыхал после тюрьмы, моя мать с обычной энергией взялась за дело. Очень скоро старания ее увенчались успехом. К нам пожаловал гражданин Наэль, латыш по национальности, благодаря которому некоторые из наших друзей уже покинули пределы Советской республики. Они-то и сообщили нам, что Наэль — комиссар Союза коммун Северной области — за соответствующую мзду готов выдать документ на выезд за границу, причем по таким делам не принимает в комиссариате, а сам приходит на дом.

Меня допустили в гостиную, когда сделка уже состоялась. Наэль, мужчина средних лет, с небольшим брюшком, в коротеньком пиджачке и крикливом галстуке, сидел за чашкой чаю, поглаживая бородку. Он пошучивал, хихикал, рассказывал сплетни про известных актрис.

Взятые на себя обязательства он выполнил безукоризненно. Через день, как обещал, принес нужную бумагу. На бланке наркомата значилось, что гражданин такой-то (отец уезжал под чужой фамилией) командирован на Украину «для организации товарообмена»; внизу стояли печать и подпись наркома, то есть самого Наэля. Стоило это моим родителям дорого, сколько — точно не помню, знаю лишь, что ушли все деньги, только что вырученные от продажи двух прекрасных пейзажей Поленова, украшавших нашу гостиную, и очень ценного чайного сервиза начала прошлого века. Наэль опять рассказал какие-то сплетни, опять похихикал, выразил удовольствие «от такого приятного знакомства», затем шумно расшаркался, пожелал отцу счастливого пути и ушел, сказав, что всегда рад оказать посильную услугу достойным людям.

Отец тотчас же выехал и, как мы узнали впоследствии, благополучно проследовал через границу. А вскоре до нас дошло известие, что Наэль попался и расстрелян, но не как взяточник, а как мошенник-самозванец. Он вовсе не был наркомом, да и такого комиссариата, бланки и печать которого он себе изготовил, вообще не существовало! Что и говорить, хитрый был человек! Рассудил, что власть только еще строится, что не все толком знают, какие созданы новые органы, и что на границе бумага с печатью и «наркомовской» подписью произведет соответствующее впечатление.

Поздняя осень, зима 1918 года. Все изменилось в нашем быту. Частные комиссионные магазины закрыты. Доходов никаких. Нет топлива. Голод наступает на Петроград.

Но наша семья живет еще сравнительно не плохо: моя мать, не жалея, продает обстановку. Большинство же наших знакомых хочет переждать, верит, что «ужас скоро окончится». Мерзнут и голодают среди былой роскоши. «Буржуйками» мы отапливаем кое-как добрую половину квартиры; питаемся почти вдоволь. Нам помогает одно обстоятельство: председатель домового комитета бедноты — наш повар; он умеет доставать продукты из-под земли, то есть из-под полы, у мешочников, спекулянтов.

Значительную сумму денег отец увез за границу. Немало драгоценностей и денег моя мать переправила туда же с иностранным курьером. Дома у нас настоящий магазин. Каждый день приезжают спекулянты; скупают все, что осталось: картины, серебро, старинную мебель, библиотеку. Да и не только это. Увозят расшитые золотом мундиры отца, придворное платье моей матери с кокошником, сшитое в 1913 году для торжеств по поводу трехсотлетия дома Романовых (много выручаем за его драгоценные кружева), звезды отца, всю мишуру старого режима. Но рукописи великих русских писателей не достанутся спекулянтам; как я уже говорил, отец перед самым отъездом отвез свое собрание в Академию наук, где и сдал под расписку на хранение.

Спекуляция — чрезвычайно заразительное явление. У покупателей, которые ходят к нам целый день, карманы набиты деньгами; они вынимают их кипами, и это рождает во мне завистливые мечты. Как бы и мне пуститься в легкие заработки? Долго обдумываю этот вопрос и наконец решаюсь... Покупаю в кредит у нашего повара фунт сахара (уже втридорога) и на улице ровно в полчаса продаю его по кускам в два раза

дороже. Милиция преследует спекулянтов, надо быть осторожным. Лучше всего действовать вечером, предлагая товар одиноким прохожим,— редко кто не возьмет два-три куска. Ведь сахару почти нет в бывшей столице.

Такая операция позволяет мне затем блистать перед барышнями своими финансовыми возможностями, даже катать их на извозчике, что чуть ли не высшая роскошь.

Мой приятель Васька Лорис, тот блистает другим. Поступил рабочим на галетную фабрику и оттуда приносит барышням галеты, твердые как камень, совершенно безвкусные, но которые всегда обеспечивают ему завидный успех.

Публичным вечерам мы предпочитаем частные вечеринки с галетами Лориса и «буржуйкой» — строго в своем кругу, в какой-нибудь маленькой комнате ледяной квартиры, где и танцуем до упаду под граммофон.

Днем же часто встречаемся в столовой Дома Армии и Флота. Там всегда полно знакомых; кормят в лучшем случае лошадиными легкими. Для некоторых из нас и это уже редкость. Впрочем, есть ведь не обязательно: садимся и разговариваем, не снимая пальто. Многие, что приходят сюда, минувшим летом собирались в холле Европейской гостиницы. Но железная метла прошла с тех пор по нашим рядам, и потому каждый «из-за Чека начеку!».

А как же с учением? За редкими исключениями мы об этом не думаем; почти у всех в голове другая мысль: отъезд.

У нас к чаю всегда гости. Чай с сахаром, а иногда подается даже печенье. Следовательно, у нас много друзей. К тому же моя мать действует ободряюще на окружающих. Она всем существом любит жизнь, считает, что жизнь, сама жизнь, всегда интересна, увлекательна, и в самых трудных обстоятельствах проявляет замечательную бодрость духа. Вокруг нее собираются старые и новые друзья, которым она помогает, чем может.

Моя мать решила, что надо уезжать. Все говорят, что большевики — временное явление, но пока оно продолжается, нужно жить в «нормальных условиях», хочется дать детям «нормальное воспитание». Она стремится к мужу, в Варшаву, подала прошение о выдаче заграничного паспорта и ждет решения, продолжая хлопотать с удивительной настойчивостью.

Из лиц, перебивавших у нас в те дни, особенно запомнились мне две дамы: княгиня Васильчикова и миссис Арцимович.

Муж первой был министром царя. Это та самая Васильчикова, которая написала знаменитое письмо императрице. Я гляжу на нее, как на памятник прошлого. Она не очень умна, но мне нравится то, что она говорит. Нравится, что хочет смягчить значение своего поступка: всех заверяет теперь, что ничего не требовала, а лишь почтительно уговаривала, умоляла. Написала под свежим впечатлением каких-то разговоров о «темных силах», ни с кем не посоветовавшись, написала на листках блокнота, как бы излила свою душу, и, даже не перечитав, бросила в почтовый ящик. Несмотря на советы друзей, решительно отказывается упоминать о «крамольном письме» в своих хлопотах за арестованного мужа. И это меня особенно пленяет в ней.

Вторая — жена царского посланника, американка, четверть века уже числящаяся в русском подданстве, но ни слова, да, буквально ни единого слова, не говорящая по-русски. Видно, что была очень красива и сохранила навыки кокетства. Теперь кокетничает тем, что не желает уезжать за границу.

— Нет, нет, не уеду, — шебечет она. — Ведь мы свидетели небывалой сенсации! Хочу увидеть все до конца! Что бы ни случилось, буду присутствовать при падении большевиков!..

Крепилась до середины 1919 года, когда все же решила, что ждать приходится слишком долго. Достала крестьянскую одежду для себя и для мужа, некогда первого щеголя в министерстве иностранных дел, и перебралась с ним ночью через финскую границу, спрятав в мешке под картошкой свернутые старинные картины. Это и позволило обоим дожить безбедно свой век в эмиграции.

Что же думал я сам об отъезде? Был молод, но не хочу одной молодостью объяснять свои поступки. Думал, что ехать надо, потому что ехали старшие и потому что

считал естественным жить и впредь по законам старого мира. Как все, я видел в отъезде лишь кратковременный эпизод. Отказывался понимать, что советский строй установлен крепко, врос в историю. Но так как сила восставшего народа и его приверженность к новому строю казались мне доказанными, я верил, что этот строй изменится особым путем. Я зачитывался книгами о французской революции, и заманчивость исторических аналогий определяла в конечном счете мое юношеское мышление. Победившую революцию нельзя бить в лоб. «Нет, не русская Вандея восторжествует над революцией, а русский бонапартизм»,— думал я тогда. Человек, вышедший из революции и ее выражающий в глазах народа, восстановит «нормальный порядок». Такой человек будет нуждаться в нас, призовет нас, подобно тому, как наполеоновская империя призвала на службу старое дворянство. Традиция будет восстановлена. А так как главное для нас — уцелеть до этой поры, я соглашался со старшими, что надо уезжать.

Новый, 1919 год я встречал в очень своеобразной обстановке. Не помню уже почему, один наш добрый знакомый поселился в боковом помещении того самого юсуповского дворца, где некогда выпил свой последний стакан вина Григорий Распутин. У него в этот вечер собралась молодежь. Кто-то чудом раздобыл несколько бутылок шампанского. После двенадцати мы пришли в юсуповский бальный зал. Во дворце помещалась революционная организация немецких военнопленных. Только что закончился концерт, и весь зал был полон танцующих. Я узнал двух-трех девушек — работниц советских учреждений, куда я обращался по разным делам. Мы постояли несколько минут в углу под красным полотнищем с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и, почувствовав себя чужими, одинокими среди общего веселья, вновь прошли по тем же дворцовым лестницам и коридорам, чтобы закончить встречу Нового года в своей компании.

К этому же периоду относится мое последнее лицейское воспоминание. Из нашего курса в Петрограде оставалось в то время всего одиннадцать человек. Надев в последний раз форму (под штатское пальто), мы поехали сниматься группой. Кажется, на другой день я продал мундир.

В начале года уехала с сыном моя тетка Тимрот, купринская Анна Фриессе. Захватили с собой только драгоценности и никому не разрешили провожать на вокзал: все должно было выглядеть, как обыкновенная поездка за город. Где-то до Белоострова им надлежало сойти с поезда и ночью переправиться через границу с проводником, специалистом по таким делам.

Из близких лицейских товарищей, кажется, только один — Евгений Казакевич — категорически заявил, что никуда не уедет. Отец его, боевой генерал, принял решение не покидать отечества ни при каких обстоятельствах, и сын проникся тем же убеждением: надо быть до конца со своей страной. Мешковатый, как говорится увальень, этот серьезный, немного застенчивый юноша был моим большим приятелем, он не высказывал порицания отъезду других, никому не навязывал своих взглядов, но сам был в них, по-видимому, очень тверд.

Примерно такие же взгляды высказывал и другой мой приятель, правовед Николай Осипов, который был старше меня на несколько лет. Его отец служил вместе с моим в Государственной канцелярии, имел придворное звание. Но этот юноша с красивыми смелыми чертами лица, воспитывавшийся в тех же, что и я, условиях, уже на школьной скамье прославился как талантливейший балалаечник. Когда его спрашивали, собирается ли он бежать за границу, отвечал, что его призвание — искусство, а его искусство вышло из русского народного творчества, с которым он не хочет порывать живую связь. Он остался в голодном Петрограде. А ныне один из самых замечательных оркестров Советского Союза носит его имя¹.

Раз начав хлопоты о легальном выезде, моя мать решила добиться своего

Как-то, это было в середине марта, она с утра ушла из дому по делам о выезде и

¹ Ни того, ни другого мне не дано было увидеть вновь. Осипов скончался от тяжелой болезни в сороковых годах. Казакевич погиб в Ленинграде (где он работал бухгалтером) во время блокады.

три часа спустя вернулась с заграничным паспортом. Долго убеждала начальство и убедила...

Собрались сразу, чтобы выехать на другой же день.

Финляндский вокзал. На перроне миссис Арцимович все еще щебечет:

— Это непростительно, уезжать накануне финала! Не увидите самого интересного...

Два солдата с красной звездой на фуражках несут наш ручной багаж. Их командир помогает моей матери подняться в вагон. Это муж ее племянницы, бывший офицер, мобилизованный в Красную Армию, который теперь занимает какую-то должность по охране вокзала.

На перроне говорит моей матери по-французски:

— Вот видите, как все удачно, Людмила Ивановна! Уезжаете за границу, как в старые времена, со всеми почестями. Представители власти провожают вас.

Берет под козырек.

Поезд трогается под эти слова.

Белоостров. Долгий осмотр вещей. Долгий личный осмотр. Против шпионов приняты все меры предосторожности. Меня заставляют снять даже носки.

Мостик через речку. По ту сторону — Финляндия.

Идем: моя мать, я, младший брат, еще несколько человек, покидающих родину. Среди них — глубокий старик, давно вышедший в отставку генерал. Он очень взволнован, крупные слезы текут по его морщинам.

Останавливается на мостике и долго смотрит назад.

Я тоже останавливаюсь. Кругом равнина талого снега.

Что я испытываю? Да, я тоже взволнован. Закрывается страница, открывается новая, неведомая. Увижу ли тех, кого оставил в любимом городе? Но не понимаю, что несколько шагов, которые еще отделяют нас от другого берега, определяют всю мою жизнь на десятилетия. Нет чувства во мне, что я разлучаюсь со своей страной. Просто отправляюсь в заграничное путешествие. Чтобы вернуться после «финала»...

А пока что в мыслях у меня наш маршрут: Гельсингфорс — Стокгольм — Берлин — Варшава. Как интересно!

Часть вторая

Глава 1

Я — ДИПЛОМАТ

Новая, эмигрантская, пора жизни фактически началась для меня несколько позднее выезда за границу.

Используя старорежимные связи, родители пристроили меня в качестве атташе при учреждении, именовавшемся «Российской дипломатической миссией в Болгарии», где, по их планам, мне надлежало пройти дипломатическую школу перед возвращением на родину и поступлением в высшее учебное заведение.

Кого представляла эта миссия? Ответить не так просто, ибо сотрудники ее сами этого толком не знали. Подчинялась, как и все подобные «представительства», заседавшему в Париже «Совету послов»... назначенных до Октябрьской революции. А этот совет объявлял, что представляет за рубежом «законную российскую государственность», точнее, принцип такой государственности. Миссия обосновалась в Софии в дни полного разгрома Деникина. Формально она от Деникина не зависела. Врангель удержался в Крыму. Но посланник Пестряев доносил по начальству в Париж, а врангелевскую власть всего лишь «информировал». Был Колчак, был Деникин, Врангеля тоже может не стать: «Совет послов» остается сам по себе, охраняя вышеуказанный «принцип» до образования общероссийского «национального правительства». На базе очень внушительных русских государственных средств, имевшихся за границей, этим делом можно было заниматься бесперебойно. Так, Маклакову, послу Временного правительства во Франции, удалось усидеть в посольских апартаментах вплоть до установления дипломатических отношений между Францией и СССР, то есть до 1924 года! Но, хотя все эти «дипломатические представительства» — без стержня, без центра, суще-

ствовавшие сами по себе — и делали довольно упорно вид, будто относятся к белогвардейским правительствам свысока, их реальное политическое бытие всецело зависело от международного веса этих правительств. В 1920 году миссия в Софии не считала Врангеля своим начальством, но претендовать на какие-то дипломатические функции могла лишь потому, что империалисты Антанты поддерживали остатки белой армии в Крыму.

Исполнял я обязанности секретаря консульского отдела. Толпы беженцев прибыли в Болгарию. То были люди, докатившиеся до моря в потоке разбитых деникинских войск и, будучи отрезаны от Крыма, покинувшие родину из Одессы или из Новороссийска. Тут были старые генералы, ругавшие всю деникинских стратегов-высочков, чиновники всех рангов и ведомств, бежавшие в форменных фуражках и сюртуках, жены их, дети и нянюшки детей, купцы всех гильдий, офицеры, решившие, что довольно повоевали, нотариусы, адвокаты, биржевые маклеры, лавочники, светские дамы, певицы, сановники, жители Петрограда или Москвы, уже в России привыкшие к бегству из города в город, и южане, только что бросившие свои квартиры и тюфяки, представители классов, свергнутых революцией, и разный люд, от этих классов кормившийся. Все они были одинаково напуганы, сливались в единую серую обывательскую массу, исполненную тревоги за завтрашний день, сознания собственного ничтожества и готовности тотчас же распластаться перед властью имущими, то есть перед иностранцами.

Поразительно как это быстро произошло! То, что в Петрограде я наблюдал только в зачатке, давало здесь полный цвет.

Важный некогда генерал, сообразивший в черноморскую качку, что он отныне лишен всех своих атрибутов важности, прямо-таки рвался признать полновластным начальством любого офицера всесильной Антанты. Вырождение бывших правящих классов России, холопство, подхалимство, все корни распутищины бесстыдно оголялись в паническом бегстве из-под власти восставшего народа.

«Раз у меня нет денег и былого социального положения — я ничто». Столь полное признание своей несостоятельности лицами, носившими имена, вписанные в историю России, или совсем недавно распоряжавшимися судьбами многих тысяч своих сограждан, больно коробило меня. Дико было слушать бывшего сановника империи, выражающего ребяческую радость по поводу того, что какой-нибудь французский лейтенант из военной миссии не только принял его, но даже, «знаете ли, очень любезно, совсем этак запросто побеседовал». Ясно чувствовалось, что прислужничество стало для такого сановника второй натурой и что без этого дела он просто не знал бы, чем занять себя в жизни. Вместе с тем у некоторых людей из «нашего мира», особенно у молодых, сказывалось страстное желание преуспеть в новых условиях любым путем, восстановить сразу какой-нибудь хитренькой комбинацией утраченное привилегированное положение. Вот маленький пример.

Многие беженцы прибывали без паспорта, порой всего лишь с удостоверением на клочке бумаги, выданным каким-нибудь временным деникинским органом, некоторые совсем без документов. Миссия выдавала им паспорта, «настоящие русские паспорта» старого типа, очень внушительные на вид, которые за границей по-прежнему признавались законными. Этим делом ведал я. И вот ко мне в канцелярию как-то зашел только что прибывший в Болгарию офицер белой армии Зубов, мой старший товарищ по лицу. Глаза у него были блуждающие, речь нервная, обрывающаяся, на лице «печоринское разочарование» — все это я уже встречал у многих деникинских офицеров, пристрастившихся к кокаину. Сказал, что у него нет никакого документа, — такие случаи были нередки в спешных эвакуациях. Крепко помня лицейскую традицию взаимной поддержки, я ответил, что это в данном случае не имеет никакого значения; обычных поручительств не требуется: я доложу посланнику, что знаю просителя лично. Так и сделал и выдал ему паспорт на имя «графа Зубова», как было указано в опросном листе.

Я не обратил особого внимания на то, что, получая паспорт, мой товарищ уж очень восторженно меня благодарил. В русском дворянстве были графы Зубовы — потомки екатерининских фаворитов — и просто Зубовы. С этим Зубовым я мало общался в лицее и совсем не знал его семьи. Но мне не приходило в голову, что лиценст окажется са-

мозванцем. Графское достоинство он получил не от русских императоров, а от меня, выдавшего паспорт. Добавлю, что среди русских беженцев в Болгарии самозванство его выяснилось довольно скоро, и у меня произошло неприятное объяснение с посланником. Но было уже поздно, Зубов мог заявлять каждому, что он действительно граф, раз дипломатическое представительство «законной русской власти» признало его таковым.

Читатель, вероятно, в недоумении. Граф он или не граф, какое это имело значение в 1920 году? Представьте себе, что имело. После выговора от посланника я выразил Зубову свое негодование. Он пожал плечами и ответил с полной откровенностью:

— Будьте рады, что помогли товарищу. Я не желаю брэнчать на балалайке в эмигрантском ресторанчике или корпеть над бумагами в какой-нибудь дурацкой конторе. Собираюсь в Нью-Йорк. А как вы знаете, богатая американка «густо идет» на титулованных...

Но до Нью-Йорка Зубов так и не добрался: он давно уже болел туберкулезом, кокаин, от которого не мог отвыкнуть после безумных одесских ночей, окончательно сломил его здоровье и свел в могилу.

А вот другая фигура.

В канцелярию вваливается огромный, грузный человек в черкеске, с орлиным носом и бритой головой, по виду совсем репинский запорожец, но в офицерских погонах и с сигарой в зубах вместо чубука. Это граф Милорадович, потомок по боковой линии знаменитого генерала, а по матери чуть ли не самого Мазепы. Его многие знают в миссии. Он брeтер, игрок, крикун, даже драчун, но, впрочем, больше шумит, чем буйнит.

— В Данциг, еду в Данциг! — объявляет он после взаимных приветствий. — Вольный город! Там теперь рулетка! Все ценности реализовал в Константинополе. Набит деньгами. Но во всем себе отказываю. Еду в третьем классе, ем раз в день. Все для Данцига! Хочу сорвать банк. И снова буду богат. По-настоящему богат! Все равно ведь того, что на мне, хватило бы на три-четыре года, не больше. Значит, либо пан, либо пропал!

Узнал впоследствии, что данцигская его эпопея длилась ровно три дня: проигрался до нитки и горько запил с горя.

Со всеми этими лицами у нас было немало хлопот. Один рвался в Данциг, другой в Париж, третий в Соединенное Королевство сербов, хорватов и словенцев, как тогда называлась Югославия. Иностранцы консульства не выдавали виз без нашей рекомендации, причем подразумевалось, что на нее могут рассчитывать только лица «особо почтенные». А как быть с остальными? Визы выдавались в очень ограниченном числе, но отказать в рекомендации не было возможности — миссию бы разнесли. Пришлось прибегнуть к хитрости: когда в смысле почтенности лицо казалось сомнительным, точнее, когда нам самим оно никак не было рекомендовано из Крыма или Константинополя, мы писали просто, что «ходатайствуем о визе». А если действительно стремились помочь соотечественнику в его скитаниях, то добавляли еще одно слово: «настоятельно». Но и такой шифр не помог. Тайная мощь этого слова скоро была раскрыта... Пришлось вписывать его всем. А затем уточнять по телефону, в каких случаях мы не покривили душой...

Беженская масса, включая сановников и генералов, относилась к нам, сотрудникам дипломатической миссии, с болезненной завистью. Мы занимали великолепные помещения бывшей императорской миссии, хорошо одевались, общались, почти как равные, с дипломатическим корпусом, нас принимали в высшем болгарском обществе, некоторых из нас революция застала за границей, и мы считали себя не беженцами, а при-велегированными лицами, призванными вершить важные дипломатические дела.

Дипломаты считали себя особой кастой, подчиняющейся собственным законам. И в этом отношении француз, англичанин или русский были по существу одинаковыми. Тот же налет светского скептицизма, тот же закоренелый космополитизм, при котором все они были ближе друг к другу, чем к «рядовым» соотечественникам, те же шутки, что секретарь должен ухаживать за советницей, а у посла обязателен роман с консульской женой, то же увлечение внешней стороной службы, презрение, высокомерие

по отношению к «непосвященным», то есть людям, не понимающим прелести такой болтовни, где важнейшие вопросы мировой политики всегда дают повод для более или менее удачного «красного словца».

Мир этот во многом напоминал лицейский, служил ему как бы завершением. В нем царило крепкое убеждение, что этикет, церемониал необходимы, благотворны и сами по себе имеют огромное значение, причем «избранным» разрешаются всяческие забавы, но только без посторонних.

Служба в дипломатической миссии давала мне возможность наблюдать и за последними судорогами окопавшегося за границей дореволюционного государственного аппарата.

Посланник Петряев, в прошлом товарищ министра иностранных дел, стоял головой выше большинства своих сослуживцев. Это был не дипломат обычного светского типа, а техник-работяга, владевший шестнадцатью языками, известный специалист по восточным делам. Мне кажется, что он не верил в долговечность своей дипломатической деятельности, но обязанности свои выполнял с большой щепетильностью. По своим знаниям и деловитости он выделялся среди сотрудников миссии, а потому оба секретаря считали его недостаточно «утонченным» и писали в Париж, что он не умеет устраивать дипломатические приемы. Мне же лично особенно запомнился из его приемов тот, который он оказал П. Б. Струве, исполнявшему при Врангеле функции министра иностранных дел.

Для нас, то есть для «Российской дипломатической миссии в Болгарии», Струве был прежде всего врангелевский министр, следовательно, такое лицо, которому следует показать, что мы представляем нечто постоянное, незыблемое, а он всего лишь случайное белое правительство, которому мы никак не подчинены.

Петряев напустил на себя максимум важности. В разговоре со Струве держал себя точь-в-точь как старорежимный посланник, отстаивающий старорежимную великодержавность, очевидно, больше всего озабоченный тем, как бы не уронить своего достоинства. Струве отвечал ему тем же, но важность его была, так сказать, персональная: он, Струве, политический мыслитель и академик, для которого Врангель лишь временная точка опоры.

Струве был в Софии проездом. Он пожелал оставить визитные карточки у болгарских министров и глав иностранных дипломатических представительств. Петряев согласился его сопровождать.

— Вы понимаете, как это важно,— говорил мне секретарь миссии.— Ведь здесь, без посланника, Струве — никто.

Я видел, как они вместе садились в машину. В визитке и цилиндре толстый Петряев имел вид осанистый и напыщенный. Струве был в мягкой шляпе и допотопной, сильно вылинявшей крылатке. Согнутый, с длинной растрепанной бородой, он что-то говорил нахмуренному Петряеву своим глубоким, хрипящим голосом, медленно, с паузами, как бы стараясь внушить, что каждое слово его — чистое золото.

— О самомнении! — тихо сказал мне секретарь. — Я уверен, что и в уборной он думает про себя: «Эта уборная сейчас занята академиком!» Как бы не подрались наши два петуха!

Побывал у нас еще один важный посетитель, только что прибывший из Крыма, контр-адмирал Бубнов, близкий к Врангелю человек, пользовавшийся репутацией одаренного честолюбца. Ехал с каким-то важным поручением и давал понять, что он очень влиятельное лицо. Впрочем, охотно делился своими соображениями.

Ясно помню эту сцену. Маленького роста, Бубнов стоял, прислонившись к стене, покручивая усики, а мы, «дипломаты», приставали к нему с вопросами: «Как в Крыму? На что может рассчитывать Врангель?»

Бубнов отвечал кратко, безапелляционно:

— Перекопские укрепления неприступны. Армия — как гвардия в 1914 году.

Некоторое время спустя второй секретарь миссии, расшифровывая при мне очередную телеграмму из Крыма, громко ахнул; шея его побагровела, и он дико взглянул на меня.

— Что случилось? — воскликнул я.

— Все кончено. Врангель просит приготовиться к приему беженцев. Армия садится на суда.

В газетах ничего еще не сообщалось определенного. Посланник решил до поры до времени не оглашать полученного известия.

В этот вечер я обедал в ресторане за одним столом с двумя старичками, бывшими губернаторами, достаточно полинявшими за год жизни в изгнании, но по-прежнему очень самоуверенными и агрессивными. Я дал себе слово молчать.

Оба не любили Петряева, да и вообще нас, «дипломатов», главным образом потому, что мы жили лучше их, но так как не могли сказать это открыто, упрекали нас за «левый душок» на том основании, что миссия признавала последней законной властью Временное правительство.

— Так и скажите вашему Петряеву, — объявил один губернатор, — что в будущей России мы обойдемся без всякой Думы. Не надо нам этой говорилки.

— Ох, не надо! — подтвердил другой губернатор. — А вам, молодой человек, следовало бы больше прислушиваться к нашему мнению. Мы только из уважения к вашему батюшке выделяем вас в этой печальной компании.

Их тон меня так разозлил, что я неожиданно для самого себя выпалил:

— А вы знаете, что большевики прорвались в Крым? Армия Врангеля уже плывет в Константинополь.

Я сам был не рад тому, что сделал. Они сначала подумали, что я пошутил, но, когда я подробно рассказал о полученной телеграмме, лица их побледнели и что-то жалкое появилось в глазах. Один старичок даже заплакал. Все мы очень ясно поняли, что это конец, самый настоящий, решительный конец, разбивающий в прах все надежды на быстрое возвращение в Россию.

Вскоре после этого я выехал к родителям в Варшаву, а оттуда в Берлин, где поступил в университет.

С этой поры начинается по-настоящему мое эмигрантское существование.

В последующих главах я не буду излагать хронологически историю своей жизни. Дело не в моей личной судьбе. Но отмечу теперь же, что и в Берлине, где я учился на отделении истории искусств философского факультета, и затем в Париже, куда я перебрался в 1924 году, следуя общему течению эмигрантской волны, эта жизнь была в общем отлична от жизни большинства эмигрантов.

Вначале у родителей моих были некоторые средства, затем я сам стал достаточно зарабатывать. Богатства я не знал, но не знал и эмигрантской нужды.

Глава 2

В СВОЕМ СОКУ

Как же разместилась в Париже русская эмиграция? Не географически, а социально? В общем, по-разному: как у кого вышло. Но некую общую тенденцию можно все-таки усмотреть у людей из бывшей социальной верхушки: они в большинстве своем упорно старались «сохраниться» если не как класс, то как круг, в котором все знают друг друга, причем «весь Париж» притягивал их подобно вершине, чаще всего недосягаемой, но у подножия которой все же приятнее пристроиться, чем в мелкобуржуазной трясине.

Судьбы ста пятидесяти—двухсот тысяч русских людей, после революции обособившихся во Франции, крайне разнообразны, часто поучительны. Это калейдоскоп, где сменяются волнующие, необыденные картины, нелепости, курьезы, отдельные удачи, иногда упорная воля, сокрушающая все препятствия, иногда полнейшее моральное банкротство.

...По-разному сложилась судьба моих лицейских товарищей.

Тот, который в Петербурге таскал деньги у отца, в Париже не стал работать и быстро опустился на дно. Я потерял его из виду, но слышал, что он бродяжничал, ночевал под мостами и судился за воровство.

Николай Набоков. Внук министра Александра II, племянник кадетского лидера Владимира Набокова. В Берлине, а затем в Париже, где я одно время часто видел его, он занимался музыкой. Написал даже два-три балета, причем культивировал в себе декадентский уклон. Считал себя эстетом, только эстетом, для которого все, что не «чистое искусство», презренно и низко. Говорил, что поэтому ему не интересна никакая политика: он большевиков не ненавидит, так как выше подобных чувств,— большевики просто ему не интересны. Зато, как будто без прямой связи с эстетикой, его болезненно интересовал «весь Париж», в который ему страстно хотелось попасть. Но не попал. Музыка его не нравилась, и, несмотря на все потуги, он как композитор не получил во Франции известности. Переехал в Америку, но и там не выдвинулся на музыкальном поприще. И вот, уже вернувшись на Родину, я узнал, что Набоков стал одним из организаторов самого грубого рупора антисоветской клеветы — «Голоса Америки». Забыл, значит, «чистую» эстетику и «вдруг» возненавидел большевиков. Видно, не нашел другого способа попасть в «весь Нью-Йорк».

Князь Шаховской. Это добрый малый. Уже лет двадцать, как работает поваром в ресторанах. Но спросите его, кто он такой, и он ответит, не задумываясь: «Я конногвардеец». Это потому, что без году неделю служил в конной гвардии. Он не тщеславен, не ищет развлечений, не старается уйти от своей профессии — он повар хороший и любит свое дело, — не стремится в «весь Париж» (слишком высоко, да там и не знают о конной гвардии!), не говорит себе, что его профессия временная (ему не надо никаких утешений), но он готовился быть конногвардейцем, начал свою взрослую жизнь как конногвардеец — им и останется вовек! Кроме поварского дела, все его интересы вне современности. Политика его мало занимает, как и музыка и театр. Но он очень любит потолковать о том, что конную гвардию напрасно ставили несколько ниже кавалергардского полка. А так как на эту тему не разговоришься с французскими поварами, он после работы видится только с такими же, как он сам, то есть шоферами такси, конторскими служащими или приказчиками из русских эмигрантов, которые на вопрос, кто они, ответят: «я преображенец», «я конногренадер» и т. д.

На заре эмиграции в парижских «модных домах» работали манекеншами многие русские девушки с громкими, аристократическими именами. Они мало общались с товарками-француженками, считали свою профессию временной и не старались в ней преуспеть (впрочем, для манекенши в Париже преуспеть — значит, как правило, найти богатого покровителя). Такой взгляд предохранил их от многих соблазнов, но они не пожелали за это время научиться другому ремеслу, а когда прошла молодость, познали безвыходную нужду.

В этой главе я говорю лишь об эмигрантах из дворянской или служилой верхушки старой России либо моего поколения, либо еще старше. В подавляющем большинстве они не вошли в тот класс, который соответствовал бы их новому социальному положению. Ночной сторож — бывший прокурор, или уборщик, который в прошлом командовал дивизией, конечно, выше уровнем своих товарищей по новой профессии. Но беда в том, что все эти сторожа, уборщики, шоферы или конторские служащие не осознали себя трудящимися: попали в класс эксплуатируемых, но продолжали мыслить и чувствовать как эксплуататоры. Немногим эмигрантам удалось пробиться на верхи французского буржуазного общества. Прочие же остались на задворках этого общества, часто завидовали ему, но считали его своим новым естественным началом и полностью разделяли его взгляды на социальные вопросы. С французскими буржуа их роднило косное нежелание прислушаться к голосу народа, французского народа, среди которого жили; они ничего не захотели понять и в судьбах собственного народа. Были исключения, их я коснусь. Но в общем срослись с французским народом, прониклись интересами трудящихся, то есть подлинными своими интересами, лишь некоторые простые люди из так называемых (согласно русской парижской терминологии) «эмигрантских низов». Из эмигрантской же «верхушки» срослась и срастается со своим подлинным классом преимущественно молодежь, та, которая уже родилась во Франции. Но молодые, хоть и знают кое-как русский язык, говорят между собой по-французски. Они возвращены не Россией, Франция для них уже не чужбина.

• • • • •

Общаясь с французами на работе, нередко рожаясь с ними браками, эмиграция в общем жила обособленно, варилась в своем соку. И варится по сей день, поскольку не офранцузилась в младшем своем поколении.

И. А. Бунин прожил больше четверти века во Франции. Читатель, вероятно, заключит, что этот писатель с мировым именем, нобелевский лауреат, блистал «во всем Париже», окруженный завистливым почтением. Нет, не блистал, да и вряд ли кто из «всего Парижа» был с ним хорошо знаком. Прославился на месяц, когда получил Нобелевскую премию, но отточенной отделкой своего письма так и не заинтересовал парижских литературных снобов. А затем снова стал для тех французов, которым примелькались на улице или в кафе его характерная, очень прямая фигура, тонкое старческое лицо и холодный, высокомерный взгляд, всего-навсего «мсье Бунин», русским эмигрантом, который, кажется, что-то пишет на своем сладковозвучном, но, увы, на французский совершенно не похожем языке. И мало кто из его соседей, в Париже или на Ривьере, где он жил долгие годы, вступал с ним когда-нибудь в разговор. По очень простой причине: Бунин плохо говорил по-французски. Понимал все, читал в подлиннике своего любимого Мопассана, но и за три десятилетия свободно изъясняться сам не научился. Невероятно, но факт!

И не он один. Подавляющее большинство русских, приехавших уже в зрелом возрасте во Францию, не зная французского языка, под старость в лучшем случае кое-как говорило по-французски. Одно время чуть ли не четверть всех парижских шоферов такси состояла из русских. И вот, скажу без преувеличения, девять десятых из них сразу же выдавали свою национальность, как только раскрывали рот, чтобы спросить, куда ехать. Знали превосходно все парижские улицы и переулки, но и «бонжур» не научились произносить без русского акцента. А ведь в большинстве были люди по крайней мере со средним образованием: капитаны, полковники.

Не научился французскому языку и их бывший главнокомандующий — Деникин. Напыщенный, угрюмый, никогда не улыбающийся человек, писавший только об одном, говоривший только об одном и, по-видимому, думавший только об одном: об ошибочности всех взглядов, кроме его собственного, на борьбу с Советской властью.

Вспоминаю его на одном парижском процессе, где он выступал свидетелем. Мало того, что ни слова не мог сказать сам, ничего не понимал, когда к нему обращались. Обычно надутый от важности, со своей старорежимной генеральской бородкой, он в полной растерянности усталился теперь на переводчика-француза, как и все в зале, явно пораженного этой беспомощностью парижского старожилы.

Значит, хваленая наша способность к иностранным языкам всего лишь легенда, миф? О нет, совсем не значит. Как-то, в первое десятилетие эмиграции, я встретил во французской деревне простых казаков из бывлой Донской армии, разгромленной вместе с Деникиным. Они завели хозяйство, каждый день общались с французскими крестьянами и очень быстро научились бойко говорить по-французски. При этом вовсе не денационализировались: чувствовали себя русскими и тосковали по родине, наивно удивляясь нелепости своей судьбы.

Нет, тут дело в другом — в обособленности двух закрытых, по существу застывших, миров: французского буржуазного и русского эмигрантского, в его лоне пристроившегося, но так и не слившегося с ним.

Французский буржуа в душе очень удивлен, что в других странах живут по-иному. Как это, например, немцы могут предпочитать пиво вину?! Все, что непривычно, кажется ему диковинным: иностранец — для него загадка, при этом такая мудреная, что он и не старается ее разгадать. «Ах! Ах! Этот господин — персиянин. Вот необычайная редкость! Как можно быть персиянином!» В таких случаях нынешний французский буржуа рассуждает точь-в-точь как его предки в «Персидских письмах» Монтескье.

Один мой приятель, из русских, хорошо воспринявших остроту французского юмора, доказывал французу, что тот ничего не знает о России — ни нынешней, ни прошлой.

— Вы все мерите на свою мерку, — говорил он, — и другой для вас не существует. Так послушайте же чисто французский рассказ из «русской жизни»:

«Жило русское семейство: отец — Мужик, жена его — Баба и ребенок — Попов. Выходят они как-то на Невский и видят — царь проезжает в санях. Вдруг из-за угла стая волков: нагоняют сани, сейчас растерзают царя!

Ужасная минута...

Мужик не задумывается: хватает ребенка Попова и бросает его волкам.

Царь спасен. Он велит остановить сани, вытаскивает из заднего кармана четвертинку и подзывает Мужика:

— Жалую тебя водкой из собственного царского кармана. Пей и наслаждайся с женой твоей Бабой. Твой поступок прекрасен, твой поступок велик, твой поступок почти достоин француза».

Француз, слушавший эту занятую белиберду, пущенную кем-то из русских парижан, был буржуа, и даже очень солидный, но из тех отменно утонченных буржуаскептиков, которые знают многие свои недостатки и сами готовы посмеяться над ними (что, впрочем, их отнюдь не склоняет от этих недостатков избавиться). Он чистосердечно расхохотался:

— Почти достоин француза! Великолепно! Как раз в точку попали! Ну что после этого требовать от нас?

Нет, «ребенок Попов» не гипербола, и недаром шутили над каким-то французским «историком», который будто бы написал, что Ивана Грозного прозвали за его жестокость... Васильевичем.

Откроем «Новый маленький Ларусс» издания 1949 года. Это однотомный энциклопедический словарь, который имеется в каждом французском буржуазном семействе. Хвала его составителям, но хвала с оговорками. Это типичный продукт французского буржуазного мышления. В предисловии объявлено: «Читатель может быть уверен, что найдет о каждом событии, о каждом шедевре, о каждой стране и о каждом знаменитом человеке ясную и достаточную монографию». Так ли это?

Об Иване IV все правильно, зато о Борисе Годунове что ни слово, то сногсшибательная сенсация: «отравил царя Федора» (!), «покончил самоубийством» (!!!).

О Ломоносове: «Русский поэт и литератор». И все.

О Пушкине: «Лирический поэт». Да, лирический, и только.

А вот и букет.

О Мусоргском сказано, что его звали просто «Петровичем». «Мусоргский (Петрович) — русский композитор».

И ни слова о Некрасове, Герцене, Белинском. Ни слова о Павлове, Попове, Сеченове, Чебышеве, Мичурине, Тимирязеве.

Очевидно, как сказано в предисловии, и так уже все «ясно и достаточно».

Невежество плюс высокомерие. Уже без всякого отношения к России «Новый маленький Ларусс» полностью выдал свои симпатии, хотя бы в справке о Луи Блане, которого характеризовал как деятеля «взглядов передовых, но благородных». О, это бесподобное «но», в котором вытянулись во всю длину «мидасовские уши» интеллектуальных заправил наиболее консервативных французских буржуазных кругов!¹

¹ Мои настоящие записки были уже набраны, когда я получил из Парижа последнее, помеченное прошлым годом, издание «Нового маленького Ларусса». Увы, Борис Годунов продолжает фигурировать в нем как убийца царя Федора и самоубийца, и много еще встречается в этом энциклопедическом словаре неточностей и пропусков в том, что касается прошлого и настоящего нашей страны. Однако большинство замечаний, высказанных уже мной на страницах «Нового мира» в августе 1950 года, было учтено при составлении «Нового маленького Ларусса» 1956 года. Так, Павлову, Попову и Мичурину посвящены отдельные заметки, о Ломоносове сказано, что он ученый и писатель, «отец современной русской литературы», Мусоргский перестал быть просто «Петровичем».

В своей статье я указывал на нелепость объяснять разгром наполеоновской армии в 1812 году тем, мол, что «холод изгнал Наполеона из России»; ссылка на холод исчезла в новом издании словаря. Черчилль уже не «вдохновитель союзнического сопротивления во второй мировой войне» (это преувеличение было также отмечено мной в «Новом мире»), а всего лишь «один из организаторов победы союзников». Наконец, что особенно впечатлительно, так как речь идет уже о французской истории, исчезли и «мидасовские уши» составителей «Ларусса 1949 г.»: взгляды Луи Блана характеризуются не как «передовые, но благородные», а как «передовые и благородные», с чем спорить уже не приходится.

«Весь Париж» задает тон средней буржуазии, а через нее и мещанству. В довоенные годы национальная замкнутость и высокомерие ползли утешительным дурманом из его салонов, академий, литературных кружков. Когда случалось ему разговаривать с ипохондриком, средний буржуа только удивлялся: «Что за диковина? Изъясняются не как мы, живут не как мы. Странные люди! Неинтересно с ними!»

Но у русского эмигранта подобный буржуа, с которым неожиданно-негаданно ему приходилось жить рядом, вызывал не меньшее удивление.

Среднее парижское кафе...

Кафе в Париже на каждой улице — чуть ли не через каждые три-четыре дома. Там можно потолковать с приятелем, поиграть в карты, почитать газеты, написать письмо или просто просидеть полдня без всякого дела. Есть кафе огромные и роскошные (на Елисейских полях или около Оперы), куда ходят солидные буржуа и те женщины, которые ищут с ними знакомства. Есть кафе на Монпарнасе, где собираются художники и натурщицы, но еще больше буржуа, желающие поглядеть на богему. В третьих часах режутся в карты молодые, здоровенные парни апашского типа, с кепкой набекрень и сигаретой в углу рта; раза три в вечер к каждому заходит подруга, ярко нарумяненная, с жалким истасканным лицом: она достает деньги из чулка, он считает их, прячет в карман, а она возвращается на тротуар. Есть кафе совсем неказистые, так называемые «бистро», куда заходит рабочий люд погреться зимой, укрыться летом от зноя, — кафе, где Жюль знает, что встретит Пьера, и куда оба идут после работы или в дневной перерыв (клуба ведь нет на заводе) не для пьяного угара, а чтобы вернуть себе хорошее настроение после одного-двух стаканов дешевого виноградного вина. Есть, наконец, кафе средние, где сытые буржуа, не очень высокого пошиба, но именитые в своем квартале, собираются, чтобы потолковать о политике или о барышах.

Вот в такое кафе иногда заходил один русский эмигрант. История его примерно сводилась к следующему.

Сын среднего чиновника или армейского офицера. Едва окончив гимназию, пошел на войну и на фронте был произведен в офицеры. Затем... затем оказался в белой армии, потому что солдаты срывали с офицеров погоны, а люди, которым он верил, писали и говорили, что долг офицера — идти против большевиков. Ни в кубанских степях в восемнадцатом, ни в девятнадцатом — на подступах к Орлу, ни в двадцатом — на Перекопе, у последней грани, не усомнился, что выполняет долг перед родиной, которая олицетворялась в его сознании трехцветным флагом и тем укладом, в котором он вырос. А после Перекопа — лагерь в Галлиполи, где продолжалась военная жизнь со смотрами, строевой службой и даже расстрелами. После — Болгария, Югославия, где работал, прокладывая дороги в горах, но все еще со своей частью, так как и на чужбине белые генералы не упразднили своей военной организации.

Затем по контракту выехал во Францию. После первой мировой войны Франция очень нуждалась в рабочей силе и зазывала рабочих из всех стран. Работал на рудниках, уже без офицерских погон, работал с французскими шахтерами в самых тяжелых условиях. Но по-старому считал себя прежде всего русским офицером и входил в РОВС, то есть Русский общевоинский союз, который, по замыслу его руководства, должен был сохранить офицерские кадры для борьбы с Советской властью в «подходящий момент».

Несмотря на контракт, лишился работы в пору экономического кризиса и попал в новую армию — миллионную армию голодающих безработных. Несколько лет жил почти как нищий. Но, скитаясь в поисках работы, всегда являлся в местное отделение РОВСа и там под увятыми трехцветными лентами портретами Врангеля и Корнилова чувствовал себя снова в привычной среде. Перебрался в Париж, жил и там впроголодь, пока наконец не выпала ему удача: нашел кров и заработок. Кров был, правда, неважный — мансарда, зато заработок приличный. Он нанялся в гостиницу коридорным.

Таких заплеванных, хмурых гостиниц очень много в Париже. На некоторых улицах вывеска «отель» служит на каждом углу приманкой для парочек. Номера там сдаются не на сутки, а на часок-другой — и коридорный должен прибирать их как можно проворнее, чтобы парочки чередовались бесперебойно.

Работа была нетрудная, но, чтобы больше набрать чаевых, он иногда круглые сутки бегал по лестнице, из номера в номер. Поэтому все реже бывал на собраниях «галлиполиийцев», или «первопоходников». Когда же начинало мутить от обязательной близости к убогому, горестному разврату, отправлялся в кафе, где собирались степенного вида буржуа.

Ходил туда месяц-другой и наконец выкинул фортель.

Случай этот не анекдот: о нем писали в парижских русских газетах. Я же узнал подробности со слов главного действующего лица. Вот его рассказ:

«В этот день было у меня в кармане около тысячи франков; скопил за полгода на обновку. Выпил за стойкой не стаканчик коньяку, как обычно, а целых три. Глядел на публику и злился. Сколько раз слышал я здесь обрывки разговоров: тот покупает виллу, а этот нацелился на целый участок! И все высчитывают, как бы нажать еще! И еще вспомнил: коммунистов ругают, здорово их боятся. Как бы те не заставили повысить оклады! Вот я и думал: вы коммунистов ненавидите, а я против них сражался, за вас же, значит, боролся. А кто я в ваших глазах? Ничто! «Грязный иностранец», как вы выражаетесь. Моему хозяину прекрасно известно, что я бывший офицер, но для него я только уборщик, лакей. А сам он нигде не учился — даже историю Франции знает хуже меня! Думал я об этом, и накатила на меня мысль, дикая мысль! Всех их удивить, заставить все эти самодовольные рожи взглянуть на меня! Да еще с почтением! Начал было соображать: стоит ли? Но выпил еще стаканчик и — прыг, как в воду.

— Господа! — закричал я. — Сегодня для меня большой день — я выиграл в лотерею полмиллиона! А потому всех угощаю. Хозяин, выставляй шампанское!

Что только произошло! Повскакали с мест. Пошли со мной чокаться. И так вежливо! Руку жали. Давай лакать мое шампанское. Подумайте только — даром! Каждый предлагал совет, каждый просил зайти: все, мол, объяснят, как с такими капиталами обращаться. И при этом приговаривали: «Бояр рус, настоящий бояр рус». А я им в ответ:

— Правильно рассудили, не встретить вам больше такого русского боярина, как я!

Долго бы это еще продолжалось, но, вижу, вышли все мои деньги. И хоть бы кто из них в ответ меня угостил! Ударил я кулаком по стойке и закричал еще громче прежнего (совсем уже пьяный был):

— А теперь слушайте меня, сытые хари! Ничего я не выиграл, и за душой у меня — ни сантима. Все истратил на вас, но и налюбовался. Эх вы! Никогда не забуду ваши сладкие мины и комплименты. Что, поражены? Все равно не поймете! Знайте только одно: пропили вы мои брюки, зато доставили удовольствие на целый год!

Стою я этак, подбоченясь у стойки, а передо мной два десятка буржуа дружно выполняют немую сцену из «Ревизора».

Нагляделся я на них власть, хлопнул дверью, и с тех пор в это кафе — ни ногой».

С середины двадцатых годов Париж стал центром русской эмиграции. Туда принесла она некий сгусток дореволюционной России, который и сохранила в нетронутном виде — «рассудку вопреки, наперекор стихиям». Шли десятилетия, в историю каждой страны вписывались новые страницы, новые тревоги и надежды волновали человечество, а эмиграция продолжала жить интересами и понятиями несуществующей ценовой России.

«Наш мир», тот, в котором я вырос, упорно цеплялся за свой приоритет.

Члены четырех клубов, где в старой России собирались дворянская верхушка и высшая бюрократия, образовали в Париже общий «Соединенный клуб». В Петербурге или Москве у этих клубов были дворцовые помещения, их личный состав пополнялся из окружения самодержавной верховной власти. В Париже у «Соединенного клуба» не было никакого помещения, члены его собирались (вероятно, собираются и сейчас) в два месяца раз в отдельном кабинете какого-нибудь русского ресторана, от верховной власти остались лишь потускневшие фотографии, но... «боже! как играли страсти» каждый раз, когда кто-то баллотировался в их среду:

— Что вы! Его нельзя! Он еще в девятьсот тринадцатом метил в яхт-клуб... Раз не приняли тогда, и мы не должны принять.

Иля:

— Достойный человек, и убеждения подходящие. Но, помилуйте, он сын фабриканта, был сам в Москве директором частного банка. Это буржуазия, а не наша среда. Так и надо объявить ему: он поймет!

Голосовали записками, а не как прежде — шарами (на них уже не было денег). Но записки упорно называли шарами, причем один такой «черный» шар (отрицательный) равнялся четырем «белым» (положительным). Каюсь (я был тогда очень молод), что не на шутку волновался во время моей баллотировки, а затем долго выводывал у отца архисекретную информацию — сколько я получил «черных» (оказалось, целых четыре — при семи я уже не прошел бы).

Приняли меня одновременно со сверстником и тогдашним приятелем Столыпиным, ныне деятельным членом всяких антисоветских группировок, которому в память его отца (того самого!) клубные старички оказывали особое внимание. Это был долговязый развинченный молодой человек с тихим голосом и мутными блуждающими глазами, писавший дурные стихи и любивший выпить, но в общем казавшийся мне довольно симпатичным и безобидным. Вскоре он женился на дочери некогда весьма известного французского дипломата Луи, бывшего как раз при Столыпине послом в Петербурге, получил солидное приданое, стал появляться во «всем Париже» и одновременно попал в руки предпримчивых политических авантюристов из эмигрантских подонков, которые решили воспользоваться для антисоветской борьбы (и собственной выгоды) его связями и деньгами. Они-то и убедили его, что он «мудрый политический лидер» и «надежда грядущей России», обязанный отомстить революции за гибель отца.

...А вот невзрачный особнячок в Аньере. Сюда приезжают не только русские, но и многие французы, прослышавшие про эту диковину. И действительно, это диковина: богатейший русский военный музей, приютившийся в парижском пригороде. Музей лейб-гвардии казачьего полка, в начале революции переброшенный в Новочеркасск, а оттуда эвакуировавшийся за границу вместе с остатками белой армии. Батальные картины: Бородино, Лейпциг, Фер-Шампенуаз. Штандарты, трубы, увитые георгиевскими лентами. Редчайшие цветные гравюры: казаки на Елисейских полях в 1814 году. Серебряные ковши, старинный фарфор, табакерки с портретами наказных атаманов. Мундиры, папахи, чубуки. Несколько залов, множество витрин, воскрешающих боевые дела Всеволодского войска донского.

Здесь за хозяина — последний командир полка, глуховатый, но еще очень прямо держащийся генерал. Он умеет принимать гостей, дельно проводить экскурсии и вызывать у самого черствого буржуа секундное умиление, рассказывая, как последние лейб-казачьи офицеры зарабатывают тяжелым трудом на той самой французской земле, где их предки лихо врубались в каре наполеоновских гренадер. В голосе его и фигуре — бодрое спокойствие: он прискал для музея богатого покровителя...

Тридцатые годы. Важный гость покидает аньерский особняк. Это и есть богатый покровитель: длинный, худой, с тупым вытянутым лицом. Зовут его Вонсяцкий. Все знают, что он злобный маньяк и вдобавок низкопробный авантюрист, но очень богат. Бывший офицер, в начале эмиграции, кажется, был парижским шофером такси. Затем женился на дряхлой старухе американке. Когда приезжает в Париж, никому ее не показывает: очевидно, стыдно. Но на деньги ее издает в Америке русскую газету, исключительно посвященную восхвалению его личности: там его называют величайшим человеком XX столетия, гением, мудрецом. В сравнении с ним молодой Столыпин — просто букашка. Ведь он, Вонсяцкий, объявил себя главой русского фашизма! Однако казачьему генералу удалось убедить его, что этого мало, что он еще крепче утвердит свой авторитет, если пожертвует небольшой капитал на содержание музея, а в благодарность портрет его будет вывешен там рядом с портретами царей. И вот теперь генерал почтительно провожает богатого жертвователя до машины.

Но как изменилось вдруг лицо старика! Почему, забыв о самом Вонсяцком, засуетился он перед молодым человеком на шоферской куртке, что задремал у руля в ожидании хозяина?

Нет, это не наваждение: узнал князя Федора Александровича, племянника последнего царя!

— Ваше высочество! Почему не пожаловали в музей? Не оказали нам чести?

Удобно усаживаясь в глубине роскошной машины, Вонсяцкий бросает генералу:

— А вы разве не знали? Он мой шофер...

Стареют вместе со своим командиром и лейб-казацкие офицеры, живущие в аньерском музее. Спят среди боевых реликвий, спят в прошлом, крепко, надежно.

Еще особнячок. В самом Париже, совсем близко от Триумфальной арки. Внизу две небольшие комнаты со столиками, покрытыми скатертями: здесь обедают. Наверху тоже две комнаты со столами, крытыми зеленым сукном: тут играют в бридж. А на стенах Ушаков, Нахимов, Макаров, снимки «Варяга», андреевские флаги, репродукции картин: Чесма, Синоп, Наварин. Это не музей, здесь нет, как у казаков, ценных предметов, но все опять-таки уводит в прошлое, только в прошлое. Домик снят группой бывших офицеров царского флота (где кастовый принцип был, как известно, особенно крепко) под «Морское собрание». Существует оно и по сей день. Лозунг: да здравствует русский флот! Но спросите его хозяев о советском флоте, о славных делах советских моряков в годы Великой Отечественной войны, старички вздохнут, пожалуй, отзовутся о них с похвалой, даже с гордостью, но... неизбежно переведут разговор на какой-нибудь морской смотр в «высочайшем присутствии».

Голь на выдумки хитра. О настоящем не хочется думать, а жить надо. Не мытьем, так катаньем: многие русские эмигранты проявили в практическом плане большую изобретательность. Не сплеховали и старички моряки.

Среди русских в Париже, сносно устроившихся в лоне французского буржуазного общества, немало любителей бриджа (некоторые даже завоевали звание чемпиона в крупнейших турнирах). За отсутствием реальных общественных интересов эта сложнейшая карточная игра служит отдушиной для их интеллектуальных запросов. Все это крепко наматало себе на ус «морские волки». Зачем соотечественникам обогащать французские бриджевые клубы? Пусть собираются для любимого дела под андреевским флагом! Им же будет приятно перенестись в прошлое между двумя робберами. А заодно можно открыть для них и буфет...

Благодаря умелому сочетанию былых флотских традиций с постоянными барышами от водки и платы за игру в карты старички моряки сыты и духом и телом.

Клуб без помещения, музей-общедоступный, доходный особнячок... Но, быть может, это частные бытовые явления? Или штрихи, не дающие общей картины? Постараюсь полнее рассказать о русском Париже той поры, когда эмиграция была еще в цвету,— тогда станет ясно не только, почему Бунин плохо говорил по-французски, но и как на чужой земле мог сохраниться так долго осколок старорежимной России, раз и навсегда сброшенный с весов истории.

Глава 3

НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Нет, не только бытовые штрихи! Политика пронизывала эмигрантскую жизнь, определяла все ее содержание.

Русский довоенный Париж...

Десятки — да, десятки! — русских ресторанов, первосортных, средних и совсем дрянных, где грязь и чад. В большинстве они не только хуже французских соответствующей категории, но и дороже. Зато во всех плохая водка эмигрантского производства, а на стенах картинка с царь-колоколом и царь-пушкой. Сидит себе здесь эмигрант и размышляет: «Вот я ем борщ и люблюсь на Кремль. Назло большевикам!»

Десятка полтора русских церквей.

Есть собор, о котором я уже говорил. Там по воскресеньям всегда толпа, причем так уже заведось, что у правого клироса собирается эмигрантская «знать». А еще большая толпа в церковном дворе. Сюда приходят для сплетен, чтобы подзаныть денег, составить партию в бридж или сговориться, где провести вечер. Перед собором бойко работают два русских ресторана: там для «молящихся» всегда водка и горячие пирож-

ки. Кроме всего, храм на улице Дарю славится замечательным хором. В пасхальную ночь во всех соседних домах французы сотнями высовываются из окон, чтобы услышать торжественное пение да поглядеть на крестный ход и раззолоченное облачение митрополита.

Есть при богословском институте просторный храм, красиво расписанный в старинном новгородском стиле художником Стеллецким, одним из могикан «Мира искусств».

А остальные церкви по преимуществу домовые, многие ютятся в сараях или убогих каморках.

Значит, обилие верующих? Нет, опять-таки прежде всего политика. Что ни день, то молебен или панихида по заказу какого-нибудь объединения, входящего в РОВС, или другой антисоветской организации с поминанием «белых вождей» и молениями за «спасение России». И горе той группе верующих, которая пожелала охранить церковь от эмигрантской политики, горе священникам, которые канонически подчинились Московской Патриархии! Дикой ненавистью к ним пылают ханжи-черносотенцы.

Отрывок беседы, типичной для той поры, когда эмигрантская церковная распря достигала крайней степени накала:

— Вчера похоронили Анну Ивановну...

— Простите, не похоронили, а, как собаку, бросили в яму.

— Неужели отпел патриарший священник?

— Вот именно. Вы же понимаете, на нем нет благодати! Кого поженит — не женаты, а живут в блуде, ребеночка крестит, а тот все равно нехристь.

— Кошмар! Значит, и эту совратил перед смертью. Служитель сатаны! Чекист в рясе!

Собеседники — седовласые старцы, но глаза их налиты кровью...

Три русские ежедневные газеты выходили некогда в Париже: «Возрождение» — орган Струве и нефтяника Гукасова, сиречь эмигрантских консерваторов, «Последние новости» — Милюкова, то есть кадетов, притом «левых», и «Дни» — Керенского, то есть эсеров.

Все три с одинаковым рвением заполняли целую страницу выдержками из советской самокритики с целью доказать, что раз большевики сами так себя осуждают, дела их плохи и Советская власть должна рухнуть незамедлительно, чтобы уступить место (в зависимости от органа): 1) «подлинно национальному правительству», которое доверит Гукасову раздачу концессий на бакинскую нефть, 2) «либеральной интеллигенции», при которой Милюков вновь станет министром иностранных дел, 3) новому эсеровскому Учредительному собранию, которое попросит Керенского еще раз проявить свои государственные таланты.

Но на всех прочих страницах «Возрождение» объясняло из года в год, что в «большевистском кошмаре» повинны «либеральная интеллигенция» и керенщина, «Последние новости» — что причина всех бед в косности консерваторов и происках неудачников, вроде Керенского, ставивших палки в колеса мудрому Милюкову, а «Дни» — что за падение Временного правительства ответственны решительно все, кроме самого Керенского. Причем все три газеты ежедневно обливали друг друга ушатами помоев.

Тут, однако, надо сделать оговорку. «Последние новости» все же выделялись среди прочих органов эмигрантской печати. Сам Милюков не ругал огульно все советское, как «Возрождение», и не проявлял в своих суждениях о советской действительности эсеровской злобности. Он действовал тоньше, хитрее, с большим пониманием реального, признавал «кое-что» в достижениях новой власти, порой даже рисовался объективной осведомленностью, что придавало ему известный авторитет в международных капиталистических кругах.

Март 1929 года Милюков празднует свое семидесятилетие. По этому случаю в залах гостиницы «Лютеция» пышный банкет. Представлена вся русская парижская интеллигенция «либерального толка». По адресу Милюкова льются речи, одна другой краше: «Только вы, высокочтимый Павел Николаевич, поняли смысл русской истории...», «Вы, маститый Павел Николаевич, самая верная надежда в борьбе с большевизмом. Мы, интеллигенты, — солнышко России, а вы — наше солнышко!»

Сам Милоков сияет если и не как солнце, то, во всяком случае, как именинник. Румяный, гладкий, самодовольный. Вот он встает, и потекла новая речь всех длиннее и категоричнее. «Сегодня мы празднуем не мое семидесятилетие, а торжество либеральной интеллигенции», — вещает Милоков по-профессорски ровным, спокойным голосом.

Дальше... дальше цифры, выборки, размышления и вздохи, по мнению счастливого юбиляра неопровержимо доказывающие, что он и кадеты «спасли бы Россию», если бы царские бюрократы своевременно уступили им власть.

На этом банкете я присутствую в качестве корреспондента, представителя «Возрождения», куда привлек меня Струве как племянника своего друга Михаила Туган-Барановского. Я еще молод, мной владеет репортерский азарт, но, кроме того, во мне жива лицейская спесь, и хочется осмеять «слонтяев-интеллигентов»...

Представителям печати передала папку с приветствиями, полученными Милоковым. Очевидно, по недосмотру из нее не изъяли послание, крайне неприятное для юбиляра, — и оно-то как раз попадаете мне на глаза. Подпись: «В. Маклаков». Это посол Временного правительства в Париже, известнейший некогда думец, кадет, но в отличие от Милокова не «левый», а «правый». Маклаков пишет примерно так: если бы вы праздновали свое семидесятилетие в интимном кругу, я бы пришел вас поздравить. Но вы захотели превратить это торжество в праздник либеральной интеллигенции. А я считаю, что нам праздновать нечего. В успехе Октябрьской революции виновны не только старорежимные бюрократы, но и мы — интеллигенты. Признаюсь вам в этом конфиденциально: мы сплеховали, как и они.

Быстро списываю маклаковский текст. Когда подают шампанское, чувствую себя не хуже вкусно пообедавшего буржуа, который предвкушает игривые развлечения. В самом деле, ведь и Маклакову и Милокову будет одинаково неприятно читать «Возрождение».

Но вот другое торжество. В Париж из своей резиденции на берегу моря приехал Кирилл Владимирович, «император» по собственному решению, которого таковым не признает большинство монархистов.

Не банкет, а прием: как бы то ни было, опять сборище в одной из больших парижских гостиниц. Впрочем, сборище немногочисленное. Красивый Кирилл Владимирович мрачнее тучи, и мрачны лица его верноподданных. Нет никого из столпов правой эмиграции. Видно, с ними ничего не поделаешь: все они верны памяти самого маститого из Романовых, бывшего главковерха Николая Николаевича, который не пожелал договориться с Кириллом.

На этом приеме я присутствую опять как представитель печати. Умудряюсь в минутном разговоре с Кириллом Владимировичем проявить «дипломатическую ловкость». Не говорю ему ни «ваше величество» — он решил бы, что «Возрождение» признало его царем, — ни «ваше высочество», что прозвучало бы для него как личное оскорбление: «да» и «нет», и только. Сошло! А когда затем обедаю в «Соединенном клубе», слышу всеобщее осуждение Кирилла Владимировича. Никто ни за что, ни при каких обстоятельствах не хочет простить ему, что в февральские дни он, двоюродный брат царя, явился в Думу с красным бантом на адмиральском мундире!

— Нет, нет и нет, — твердят в один голос клубные старички из бывших сановников, — никогда мы не пустим такого на престол. Только мешает общему делу своими претензиями. Да, не зря про него сочинили еще в девятьсот четвертом:

Погиб «Петропавловск»,
Макаров не всплыл.
Но спасся зачем-то
Царевич Кирилл!

Впрочем, у Кирилла Владимировича была группа сторонников среди тогдашней эмигрантской молодежи. Уже на заре эмиграции у некоторых молодых из «нашего мира» возникло сомнение: можно ли огульно восставать против революции? Но так как в них еще жило убеждение, что они цвет русской нации, то они сами же поспешили ввести свои нагроения в чисто фашистское русло итальянского образца. Так родилось младоросское движение, вскоре нашедшее в Риме кое-каких покровителей.

Лозунг: царь и Советы! Действительно, оригинальнее не придумаешь. Но при царе «глава» — на манер римского «дуче». Таким «главой» был мой сверстник и давнишний знакомый Александр Казем-Бек, человек одаренный, умелый организатор, который в других условиях, вероятно, нашел бы более полезное применение своим способностям.

На младоросских собраниях его встречали почетным караулом. Когда он выступал, по обе стороны трибуны выстраивались юноши в синих рубашках. В своей газетке он объявлял, что младороссы сумеют «повернуть революцию на национальный путь».

В эмиграции А. Л. Казем-Бек был одно время видной фигурой.

Остановлюсь на некоторых моих взглядах той поры.

Советская действительность была для меня чуждой, далекой. Я по существу ничего не знал о ней и упорно считал, что Россия унижена революцией.

Я часто печатался во французских изданиях, но никогда не считал себя французским журналистом, а русским, пишущим по-французски. Защищал во французской печати русское историческое прошлое и полагал, что этим служу России.

Слышал, что иностранные разведки, особенно в сопредельных с СССР государствах, вербуют для шпионских и диверсионных дел безработных и обнищавших эмигрантов, воспитанных РОВСОм на слепой ненависти к Советской власти. Но такая «деятельность» прямо не соприкасалась с нашей — парижских эмигрантских литераторов и журналистов, — и потому я над ней особенно не задумывался.

Уважал традиции дореволюционной России, но не питал особых симпатий ни к традициям белого движения, ни к его участникам. Помню стращение, которое вызвал во мне один бывший белый офицер, когда я узнал, что он самолично застрелил несколько десятков пленных. Его товарищи говорили мне, что при виде обезоруженных пленных в нем пробуждались дикий садизм, разъяренное человеконенавистничество. Однако я не понимал, что именно такие чувства воспитывают в своих членах все белогвардейские союзы, что верность «воинским традициям», трехцветному флагу (в некоторых организациях полагалось целовать старый русский флаг, стоя перед ним на коленях) — все это культивируется для того, чтобы сохранить во что бы то ни стало кастовый дух дореволюционной России, что даже такие, казалось бы, безобидные учреждения, как казачий музей или «Морское собрание», поддерживают все тот же дух и что дух этот порождает самый мрачный, ядом пропитанный фанатизм по отношению к новой России.

Мне было смешно, что в Париже существуют русские полицейские курсы, где преподает какой-то бывший жандармский полковник. Подобное начинание казалось мне всего лишь чудачеством, а между тем легко себе представить, какая преподавалась полковником наука и как использовались затем иностранными разведками эмигранты, прошедшие жандармскую школу. Кроме того, в Париже имелись вечерние военные курсы, на которых бывших офицеров (рабочих или шоферов такси) бывшие генералы и полковники генерального штаба — в большинстве тоже шоферы или мелкие служащие — обучали военным наукам по полной программе бывшей царской военной академии. Года за два до Великой Отечественной войны главный редактор «Возрождения» Семенов всерьез мне объяснял, что на этих курсах приобретается куда больше подлинных знаний, чем в какой-нибудь советской военной академии, так как их руководитель, генерал Головин, коротко знаком с двумя-тремя французскими штабными полковниками и даже с одним генералом и что сотни-другой эмигрантов, окончивших эти курсы, будет вполне достаточно, чтобы преобразовать Красную Армию в белую, заменив всех старших командиров...

Я считал, что всевозможные русские школы — вечерние, четверговые (по четвергам нет занятий во французских школах), «Корпус-лицей имени императора Николая II» в Версале, русские коллежи, скаутские и другие подобные организации, часто содержащиеся на подачках таких «бескорыстных благотворителей», как католическая церковь или американский союз христианской молодежи, — выполняют глупое дело, обучая русских детей старой орфографии и заканчивая курс русской истории чувствительной главой о царствовании Николая II. Но не задумывался над тем, что не только нелепо,

но и преступно скрывать от детей то, что происходит в их стране, воспитывать их так, будто революции вообще не было и им предстоит служить царю-батюшке.

Все это я рассказываю не только для того, чтобы поведать читателю о своих былых взглядах, сомнениях, оговорках. Представьте себе эмигранта, в своих суждениях лишённого этих сомнений и оговорок, эмигранта, мыслящего в унисон с «Возрождением» или «Последними новостями». Он жил интересами прошлого, все равно монархического или буржуазно-кадетского. Наоткрывал непомерное множество церквей и ресторанов, зачитывался своими печатными органами (их было несколько сот в разных странах эмигрантского рассеяния — от солидных толстых журналов до бульварных изданий и жалких листков), ходил в свои объединения, воспитывал детей в своих школах, перенеся на чужбину интересы и противоречия той России, которой уже не было. Иначе говоря, он жил фикциями, и реальность мало затрагивала его сознание: ни реальность отечества — он от нее открещивался под пение церковного хора или отмахивался за рюмкой водки, ни реальность страны, где он жил, так как не мог ощутить ее, варясь в собственном соку.

Но и это не все.

Я знал, что в поисках материальной базы русские эмигрантские организации обращались к кому угодно: к «нефтяному королю» Детердингу, к проходимцам, вроде Вонсяцкого, к Муссолини и югославскому королю, в американские христианские организации, к французским правым социалистам, в Прагу — к Масарику, в Ватикан, ко всяким международным лигам или капиталистическим тузам, заинтересованным в создании послушных антикоммунистических очагов. Знал, но не называл вещи своими именами. Нелепо, но отнюдь не случайно разросшаяся сеть русских организаций (военных и политических объединений, церквей, газет, газеток, благотворительных комитетов, землячеств, школ, масонских лож да «молодежных» союзов) не только позволяла эмигрантам вариться в собственном соку, тешить мечты о прошлом и о «возрождении имперской великодержавности», но и ставила эмиграцию под контроль иностранных органов, пропагандистских или разведывательных, которые и направили эти мечты в русло чисто захватнической политики. До самой своей смерти сэр Генри Детердинг пытался организовать расчленение и разграбление России. Жена его Лидия, из русских эмигранток, содержала в Париже «национальную» русскую гимназию с соответствующей программой, а «царь Кирилл», которому тоже нужны были деньги, «всемилодивейше» переименовал эту Лидию в «княгиню Донскую». Благо еще, что у нее не оказалось сына Дмитрия!..

Но у эмигрантов была еще зацепка в плане более возвышенном.

Незадолго до войны французское радиовещание просило меня сделать сообщение о культурных достижениях русских во Франции, да и вообще за рубежом. Я охотно согласился.

Говорил я около часа. Мое сообщение прерывалось пластинками с пением Шаляпина, игрой и музыкой Рахманинова, музыкой Глазунова, Стравинского, Гречанинова да еще Черепнина, Метнера, Кедрова, Чеснокова.

Величайший в мире певец! Величайший пианист! Знаменитейшие композиторы! И все — русские эмигранты!..

А наряду с Шаляпиным и Рахманиновым я назвал еще Анну Павлову, умершую за рубежом в 1931 году в ореоле первой в мире танцовщицы.

Спектакли созданной в Париже Русской оперы, где шли «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Русалка», «Садко», «Сказка о царе Салтане» в декорациях Коровина, Билибина, были триумфом русского искусства.

В буре половецких плясок Борис Романов приводил французов в неописуемый восторг. А когда в «Князе Игоре» стареющий, но все еще безмерно великий Шаляпин исполнял в одном спектакле две партии — Галицкого и Кончака, — у многих русских в зале слезы стояли в глазах от патриотической гордости: «Вот что мы можем показать иностранцам, которые считают за милость, что приняли нас в своей стране!» Да, все это было прекрасно!

На сцене Театра Елисейских полей умирает Борис — Шаляпин, и я слышу, как известный французский критик говорит соседу с влажными от волнения глазами:

«Это действительно совершенство!» И еще был русский триумф, когда на этой же сцене умирал лебедь — Анна Павлова. Или когда на эстраде огромного концертного зала Плейель появлялся высокий худой человек, медленно, чуть ли не флегматично садился у рояля и в воцарившейся тишине, вдруг преобразившись лицом, со сдвинутыми бровями, опускал руки на клавиши. «Рахманинову ура!» — как-то закричал по-русски восторженный соотечественник, и французы в зале поддержали этот возглас.

Я сказал французским радиослушателям, что из балетных студий, основанных в Париже знаменитыми русскими балеринами Кшесинской, Преображенской, Егоровой, Трефиловой, вышли не только прославившиеся за рубежом русские танцовщицы Баронова, Туманова, Рябушинская и танцовщики Юскевич и Еглевский, но, в сущности, и весь современный французский балет, так что русская хореография сторицей отплатила сейчас за все то, чем некогда была обязана хореографии французской. Мало того, что во Франции был создан русский балет, выступавший затем в Англии и в Италии, в Америке и в Австралии, но и список танцоров и танцовщиц Парижской Большой оперы запестрел именами русских юношей и девушек. А балетмейстером оперы, первым ее танцовщиком и гордостью стал в те годы Сергей Лифарь, русский, дягилевский любимец (как и подвизающиеся сейчас в США Мясин и Баланчин), который танцевал в паре с Семеновой, когда она гастролеровала в Париже. Прыжок Лифаря знатоки сравнивали с «полетом» самого Нижинского, тоже оказавшегося на чужбине. И так утвердилось тогда сияние русской хореографии, что желающие скорее прославиться танцовщицы — французские, англичанки, американки, в подавляющем большинстве ученицы русских эмигрантских балетных школ, — часто выступали под русскими псевдонимами.

Напомнил я еще парижанам о спектаклях балиевской «Летучей мыши», перекочевавшей затем в Нью-Йорк. Ведь и Никита Балиев был одно время парижской знаменитостью. Ставил русские и французские стилизованные номера по точному образцу тех, что имели столь громкий успех в предреволюционной Москве. При этом по-прежнему выступал как конферансье. Говорил Балиев по-французски не очень грамотно и с сильным акцентом. Между тем французы очень нетерпимы к дурному французскому языку. Балиев вышел из положения весьма оригинально: иностранный акцент и лингвистические ошибки он еще усугубил, доведя свою французскую речь до чистейшего гротеска. Получился «новый жанр», на что «весь Париж» особенно падок. А когда извлек из своей выдумки максимум, переправился через океан и с не меньшим успехом потешал американцев столь же шутовской английской речью.

Я назвал еще очень многих русских музыкантов, артистов, художников, подвизавшихся в Париже.

Указал на роль во французском кино двадцатых годов Волкова, Протазанова, Можжухина, Наталии Лысенко, Туржанского и других кинорежиссеров и артистов.

Напомнил об огромном престиже и значении С. П. Дягилева, о блестящем вкладе Питоевых во французское театральное искусство.

Отметил, что чуть ли не все гримеры парижских театров — русские и что французы признают в этом деле абсолютное превосходство наших соотечественников.

Да и в других областях культуры мне было нетрудно украсить свое сообщение любопытными фактами, показательными примерами. Вот некоторые из них.

Автомобильная фирма Ситроена поручила иллюстрировать свою нашумевшую африканскую экспедицию русскому художнику Яковлеву. Острые яковлевские зарисовки черной Африки были событием в художественной жизни Франции.

Русские художники Сутин и Терешкович стали одними из самых выдающихся представителей парижской школы живописи.

Раскопки, произведенные на Ближнем Востоке русским археологом профессором М. И. Ростовцевым, дали огромный научный материал и принесли ему мировую известность.

Едва ли не первым во Франции знатоком искусства индо-китайского народа кхмеров, выдающимся исследователем памятников древней кхмерской архитектуры считался в тридцатых годах русский археолог В. В. Голубев.

При знаменитом Пастеровском институте работали в те же годы один из крупнейших в мире микробиологов почвы С. Н. Виноградский, ученик Мечникова профессор С. И. Метельников и еще несколько выдающихся русских ученых-эмигрантов.

Сын знаменитого живописца актер Г. В. Серов прославился во французском кино.

Гордость Франции, огромный пассажирский пароход «Нормандия», быстрее всех перерезавший океан и завоевавший премию «Голубого банта», возбуждал гордость и русских эмигрантов: профиль его был сконструирован русскими инженерами — парижанами Юркевичем и Петровым, дизеля строились по проекту профессора Аршаулова, а винты — по системе Хоркевича.

Тогдашний чемпион мира по шахматам был французским гражданином, но звали его Алехиным, а когда этому «французу» пришлось защищать свое звание против чемпиона Германии, им не понадобилось переводчика, так как «немца» звали Боголюбовым.

Наконец, я похвастался Нобелевской премией Бунина, первого русского писателя, получившего эту награду, и сообщил французам, что молодой французский писатель Ари Труайя, удостоившийся премии Гонкуров, — выходец из России, армянин-эмигрант, подлинная фамилия которого Тарасьян.

После моего сообщения по радио я получил много писем от эмигрантов с благодарностью за то, что я «поднял их дух», «утер нос французам», «разъяснил иностранцам, на что способны русские». Мне казалось, что я действительно послужил русскому делу. В плане эмигрантском это, возможно, было в какой-то степени верно. Но я не сознавал тогда, что всякий эмигрантский патриотизм — лишь кривое зеркало подлинной национальной гордости.

Эмигранты хвалились Шаляпиным и Рахманиновым, Алехиным и конструкторам «Нормандии». И это позволяло им еще больше уходить в прошлое, в пустые мечты, еще больше отдаляться от настоящей России.

Да, конечно, Россию покинули не только помещики и фабриканты, не только белые офицеры, воевавшие против Красной Армии. Многие покинули свою страну просто потому, что привыкли к определенному укладу, выросли в определенных понятиях. Среди таких были и выдающиеся люди. Они остались выдающимися и в эмиграции, но жизнь их чаще всего оказалась надломленной.

Недаром Бунин писал еще в двадцатых годах:

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

И вот, оказавшись на чужбине, этот большой русский писатель в творчестве своем все же обращался к родному дому, как к единственному подлинному источнику вдохновения, хоть и не желал принять его новое бытие.

С другой стороны, талантливость русской «натуры» пробивалась в эмигрантской «смене». Эта талантливость оставалась русской по своему размаху, по нутру, но, чтобы выйти на широкую дорогу, чтобы не скиснуть в собственном эмигрантском соку, одаренные личности все чаще приспособлялись к чуждой среде, творили на чужой лад. Я уже говорил, что эмигрантская молодежь осталась в душе русской наполовину, а то и денационализировалась совсем. Без родины не было ведь у нас, сотен тысяч русских людей, оторванных от своего корня, другой альтернативы, как жить прошлым или чужим.

Мне как-то довелось обедать у русского парижского адвоката, богатого дельца, находившегося в свойстве с Шаляпиным. Был сам Шаляпин, была М. Ф. Кшесинская с мужем Андреем Владимировичем, был Сергей Лифарь. Обед прошел оживленно благодаря Лифарю. Он говорил без умолку о своих планах, о том, как интересно обучать французских танцовщиц, возрождать во Франции искусство хореографии. Говорил как человек честолюбивый, упоенный своим успехом. Ему было тогда лет тридцать с небольшим, талант его созрел за границей, он брал от жизни то, что она давала ему сама, брал жадно и напористо. Шутил на тему, что приходится подлаживаться под вкусы публики, но видно было, что это не очень его огорчает. М. Ф. Кшесинская смотрела на Лифаря с материнским умилением: он олицетворял для нее преемственность русской хореографии, а быть может, и еще шире — преемственность русского дарования. Шаляпин молчал и, казалось, не слушал Лифаря.

Я знал, что Шаляпин живет в роскошной квартире, что он очень богат, но слышал, что ему хотелось бы стать еще богаче, что он вообще многим недоволен, а особенно тем, что стареет, слышал, что характер его становится все тяжелее. Он сидел напротив Андрея Владимировича и без всякой связи с общим разговором время от времени не то брюзгливо, не то ирриво ему подмигивал. Что общего было между ними? Разве то, что этот человек, вышедший из толщи народа, который создал на сцене, быть может, самый потрясающий образ царя, и другой, в жилах которого текла кровь многих царей, оба были в изгнании, оба доживали свой век совсем не так, как могли бы себе вообразить в былые годы. Путь Андрея Владимировича был закономерен. А шаляпинский путь?

«Неужели,— недоумевал я,— он так и не скажет ничего интересного? Неужели от этого обеда с Шаляпиным запомнятся только его все еще величавые черты да скупающий взгляд усталого титана?»

— Эх, Лифарь, Лифарь, — произнес вдруг Шаляпин, когда тот с особенным оживлением говорил о художественном чутье парижской театральной публики. — Не знаете вы, что такое настоящая публика. Не правда ли, он не знает, а?

Он щелкнул пальцами и подмигнул на этот раз не Андрею Владимировичу, а Кшесинской.

— Эх, эх, эх, — добавил еще Шаляпин и вдруг посмотрел на Лифаря холодно, с явным высокомерием.

Вот и все. Но мне показалось, что он на миг приоткрыл в этих словах свою душу, полную скорби о чем-то утраченном.

Шаляпин, Рахманинов... Оба покинули родину уже на пороге старости. Впитав национальные соки, их великое дарование жило за границей на накопленный в отчизне капитал.

«Шахматный король» — так звали А. А. Алехина за границей и так он сам себя называл—выехал из России еще молодым. Он воспитывался в училище правоведения, вырос в старорежимном кругу. Любил подчеркивать, что он хорошего дворянского рода, упорно настаивал, чтобы фамилию его произносили без точек над «е». Когда, например, кто-нибудь спрашивал по телефону, можно ли поговорить с А. А. Алехиным, он неизменно отвечал: «Нет такого, есть Алехин». По прибытии во Францию натурализовался, то есть стал французским гражданином. Многим русским это показалось обидным и непонятным. Зачем? Ведь и без французского паспорта «шахматному королю» можно было бы беспрепятственно разъезжать по всем странам.

С Алехиным я встречался довольно часто — мы были даже на ты; от него самого или от общих друзей я слышал многое, дающее ключ к пониманию его поступков.

Алехин считал себя не только первым в мире шахматистом, на что он имел все права, но и вообще человеком громадного, всеобъемлющего ума, которому, естественно, подобает возвышаться над прочими смертными. «Такой человек, как я», «при моих данных» и т. д. часто вырывалось у него. Достигнув всемирной шахматной славы еще юношей, Алехин уверовал в свою звезду. Революция разрушила тот мир, где он выдвинулся. Перебравшись во Францию, задумал сделать там государственную карьеру, стать каким-то дипломатическим «спецом», закулисно вершить международные дела. Это было достаточно наивно: для французов он оставался иностранцем, недавно принявшим французское гражданство, и редко кому из влиятельных лиц импонировал по той простой причине, что шахматами мало увлекаются во Франции. В таких условиях Алехин не находил отдушины своим «дерзаниям». В самой Франции «шахматный король» никакой особой славой не пользовался и проживал как рядовой обыватель, которому нет доступа в «весь Париж». Алехин томился, завидовал, вызывал у близких даже беспоххство частыми ссылками на... Наполеона, которому, мол, не в пример «некоторым», самые события подготовили путь к славе. Одно время подумывал перебраться в США. Затем что-то оборвалось в нем, и он стал запивать. В пьяном угаре проиграл «шахматную корону» Эйве, затем, взяв себя в руки, вновь отвоевал ее, но запис снова...

Коренастый, с короткой шеей, Алехин производил впечатление сильного, волевого человека. Он умел говорить умно, с весом, но в речи его всегда проскальзывало нервольное раздражение. Да, несомненно, что-то в его судьбе постоянно раздражало его.

Вдохновлялся по-настоящему, когда говорил о шахматах, причем, если собеседник был иностранец, всегда подчеркивал, что самая высокая шахматная культура в Советском Союзе. И опять раздражался. «Вот я с вами толкую о шахматах, а ведь вы в этом ни черта не смыслите», — ясно говорил его взгляд.

Алехин был, конечно, человеком больших страстей, но чужбина, сознание, что он не у себя, что только в том же «родном доме», о котором тосковал Бунин, его могли бы признать по-настоящему, и в то же время какое-то малодушие, мешавшее ему решительно признать ошибочность своей разлуки с родиной, — все это надломило его, лишило внутренней опоры.

Эмигрантский писатель В. Сирин, о котором еще речь впереди, описывает в романе «Защита Лужина» переживания человека, уходившего в шахматы от реальности, искавшего в них спасение от всего, что составляет обычную жизнь человека. Сирин пишет, что «шахматы были безжалостны, они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония, ибо что есть в мире, кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие... Стройна, отчетлива и богата приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь, и с гордостью Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам». Но особенно Лужин любил игру вслепую: «не нужно было иметь дело со зримыми, слышимыми, ощущаемыми фигурами, которые своей вычурной резьбой, деревянной своей вещественностью всегда мешали ему, всегда ему казались грубой, земной оболочкой прелестных незримых шахматных сил; играя вслепую, он ощущал эти разнообразные силы в первоначальной их чистоте, он не видел тогда ни крутой гривы коня, ни лоснящихся головок пешек, но отчетливо чувствовал, что тот или другой воображаемый квадрат занят определенной сосредоточенной силой, так что движение фигуры представлялось ему, как разряд, как удар, как молния, — и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу».

Лужин не знал другой жизни, кроме шахматной, Алехин же был богатой натурой — он хотел взять от жизни как можно больше. Но когда, уже на Родине, я перелистывал роман Сирина, мне показалось, что, быть может, Алехин тоже болезненно ощущал, как уже одни шахматы были способны дать ему на чужбине иллюзию действительно полнокровной жизни.

А. И. Куприн — милый, чуткий, такой человеческий — тоже искал утешения в вине. Этот замечательный писатель глубоко переживал какую-то тоску, которая грызла его. Я часто видел его и у родителей, с которыми его связывали давнишние отношения, о которых я уже подробно говорил, и в «Возрождении», где он постоянно сотрудничал. Он хорошо ко мне относился и не раз участливо давал ценнейшие литературные советы. Все в редакции встречали его с подчеркнутым почтением. Куприн мило разговаривал с каждым, но ни в какие политические дискуссии не вступал. Пил он с каждым годом все чаще. Вначале пьянел от двух-трех рюмок водки, а под конец от стакана совсем легкого виноградного вина, но пьянел как-то тихо, кротко, окончательно уходя в себя. Помню его на большом банкете, устроенном «Возрождением» по случаю сорокалетия его литературной деятельности. Гукасов и Семенов произносили речи, слава в Куприне знаменитого русского писателя, не пожелавшего сотрудничать с Советами. А Куприн сидел, согнутый, печальный, и ничего не отвечал.

Все поняли, какая тоска мучила его столько лет, когда под злобное шипение «столпов» эмиграции он наконец решил вернуться на Родину, без которой больше не мог жить.

Как и Куприн, Билибин не выдержал изгнания и, тоже вернувшись на Родину, поработал на славу советской культуры. Но Константин Коровин умер в Париже. Каждый раз, когда в Третьяковской галерее или в Русском музее я вижу на почетном месте картины Коровина, вспоминаю убогую, вечно неубранную парижскую его квартиру, где такие же вот коровинские картины стояли в углу, под густым слоем пыли, или казались на стене одинаково серыми от паутины. «Весь Париж» смутно помнил Коровина как декоратора времен дягилевских балетов. Но на парижской бирже картин торговцы-аферисты пренебрегали работами старого чужеземного мастера. Свой век Коровин доживал в постоянной нужде. Редко-редко какой-нибудь русский «меценат» выбрасывал

сотню-другую франков, то есть сущий грош, за его картину. Кормился (очень скудно) Коровин от того же «Возрождения». Там печатались его интереснейшие воспоминания. В них Коровин с восторгом уходил в прошлое, описывал своих знаменитых современников, русскую природу, себя самого с удочкой в руках на берегу полноводной русской реки. Писал увлекательно, ярко, но чисто «импрессионистски» — без знаков препинания, не считаясь с синтаксисом, так что долго-долго приходилось его править. Несмотря на напускное молодечество, старый, измученный жизнью, с всклокоченной седой бородой, в полинявшем пальто с нелепым в Париже меховым воротником, бедный Константин Алексеевич всем своим видом напоминал, что он уже только прошлое. Иногда засиживаясь в редакции, рассказывая как-то отрывочно, скороговоркой, точно толковал сам с собой, о самом разном: о встречах с Львом Толстым или, например, как купцы любили попить шампанское из... чайника. Называл Гукасова «красавцем», но тот не повышал ему построчного гонорара.

Бунин тоже одно время сотрудничал в «Возрождении», затем перешел в «Последние новости», к Милюкову, который ему чуть-чуть больше платил. Я мало виделся с ним, но мне кажется, что этим большим мастером владела гордыня, однако более ровного свойства, а следовательно, и более утешительная, чем алексинская. Поэтому он и был часто надменен по отношению к людям, даже к истории, раз история складывалась сложнее, чем ему хотелось.

Но в этом отношении еще характернее был Владислав Ходасевич. Этот поэт и исследователь Пушкина, работы которого хорошо известны пушкинистам, автор превосходной монографии о Державине, был уверен, при этом крепко, безапелляционно, что он последний представитель подлинно пушкинской поэтической традиции.

Ходасевич был литературным критиком «Возрождения». Он жаловал меня своим вниманием, и я любил беседовать с ним, так как ум и знания его были очень обширны. Но меня, как и всех его знавших, удивляли его желчная самоуверенность, болезненное преклонение перед собственным «я». Этот щуплый раздражительный человек с исхудалым желто-серым лицом жил горделивой мыслью, что он последний большой русский поэт. Вспоминал родоначальника русской поэзии Ломоносова в таких действительно прекрасных стихах:

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.
В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.
С тех пор, в разнообразьи строгом,
Как оный славный Водопад,
По четырем его порогам
Стихи российские кипят.

И вот Ходасевич считал, что без него русская поэзия умерла бы и всего этого не было бы...

Как-то он объяснял мне, кого мы должны считать самым выдающимся человеком: «Что выше всего? Поэзия. Какая самая замечательная поэзия наших времен? Русская. А кто сейчас самый большой русский поэт? Я. Вывод сделайте сами». Хотя он и говорил это с улыбкой, но не шутил.

Умер Ходасевич незадолго до войны. Он был типичным приверженцем «искусства для искусства». В отличие от Бунина и Куприна, от Шалапина и Алекина, он тоски не испытывал, так как жил фикциями, не сознавая, что индивидуализм, который он проповедовал, обедняет, сковывает его поэтические возможности. «В собственном соку» ему было хорошо, потому что он не знал подлинного простора.

Широкие круги эмиграции мало слышали о Владиславе Ходасевиче. Зато очень гордились Мережковским, потому что он проник к Муссолини и к югославскому королю Александру, писал о египетских фараонах объемистые книги, одобрявшиеся иностранной критикой, и бодро предвещал торжество «светлых сил» над антихристом, адом, сатаной.

Под «светлыми силами» Мережковский подразумевал любых интервентов, готовых вторгнуться на советскую территорию. Вместе со своей женой Зинаидой Гиппиус, некогда царившей в декадентских кружках Петербурга, он и проповедовал интервенцию на философско-эстетических вечерах «У зеленой лампы».

Помню одно его выступление перед самой войной.

— Как будет ужасно, — кричал он, потрясая своей выхоленной козлиной бородой, — если вновь, как в польскую войну 1920 года, кто-то в эмиграции проявит постыдную мягкотелость и не пойдет вместе с теми, которые всей своей силой нагрянут на Советскую власть! Мы должны помнить, кто наш враг! Надо пожертвовать временными интересами России. Мы победим, верьте, победим! Ибо небо на нашей стороне!

Расфранченный крохотный Мережковский бил себя в грудь, закатывал глаза и, хотя картавил чисто по-петербургски, видимо, старался походить на пифию в пророческом трансе.

Он тоже не знал тоски по отчизне. Он знал другое: ненависть к своему народу и старался разжечь ее в эмиграции.

Семьдесят книжек эмигрантского толстого журнала «Современные записки» составляют основное литературное наследие тех представителей русской культуры, которые после Октября покинули родину. В этих книжках немало выдающихся литературных произведений (ведь печатались в них Бунин, Куприн, Ходасевич). Эмигрантский читатель находил в них вместе с упорным непониманием новой России щемящую грусть о потерянном родном доме.

Годам разлуки с родным Петербургом, где, как все мы считали тогда, проблистал напоследок «серебряный век русской культуры», Георгий Адамович посвящал в этом журнале такие стихи:

Тысяча пройдет — не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое — просто города.

Бунин, Куприн сложились, созрели до революции. В своем творчестве за границей они черпали исключительно из опыта, накопленного на родине. И то же можно сказать о некоторых других эмигрантских писателях.

Ходасевич, как и соперник его, литературный критик «Последних новостей» Георгий Адамович, были поэтами и литературоведами еще в России. Творчество их — это эпигонство. Вокруг обоих группировалась эмигрантская поэтическая молодежь. Некоторые из эмигрантских поэтов (И. Голенищев-Кутузов, А. Ладинский, Ю. Софиев) вернулись теперь на Родину. Почти вся эмигрантская поэзия была окрашена тоской, сознанием безысходности, пессимизмом.

М. А. Алданов был литератором и до революции, но главное все же написано им в эмиграции. Этот одареннейший человек добился большой популярности своими романами на исторические темы, весьма увлекательными по форме, местами эффектными и приятными обывателю тем, что «великие мира сего» изображаются в них, так сказать, в нижнем белье, с самыми обыденными человеческими слабостями (Ходасевич называл этот жанр «чихающим»: все писательское умение Алданова, язвил он, имеет целью порадовать читателя тем, что цари и полководцы чихают, как простые смертные). Но для писаний Алданова характерно и другое — скептицизм и бесстрастность, окрашивающие мышление как автора, так и его героев. Рассказывая русскую историю двух последних столетий в форме философических романов-новелл, Алданов проводит, между прочим, такую мысль: крупнейшие государственные деятели старой России (Пален, Сперанский, Витте) смутно догадывались, что все, мол, так или иначе «идет к черту». Сознание обреченности — один из главных мотивов алдановского творчества.

Любопытным явлением был Сирий (Набоков — двоюродный брат уже упомянутого, сын кадетского лидера, в начале двадцатых годов по ошибке убитого в Берлине русским монархистом, который целился в Милюкова). Первое его значительное произведение («Защита Лужина») блеском формы, внутренней стройностью философско-психологической темы вызвало целый переполох в эмигрантских литературных кругах. Бунин

сказал о нем так: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня». Но не найдя в Сирии подлинного дыхания жизни, Куприн обмолвился по его адресу следующей лапидарной характеристикой: «Талантливый пустоплас». Да, Сирина не без основания упрекали в чисто формальных упражнениях, он упорно уходил от реальности, играл с призраками, искал упоение в абстракциях, создавал не людей, а марионеток, некий кукольный театр жутких механических страстей. Всего поучительнее дальнейшая судьба этого эмигрантского писателя. В поисках более обширной творческой базы он перебрался в США и там, уже во время войны, стал писать по-английски. Однако так и не завоевал у американцев настоящего признания. И вот получилось так, что этот мастер литературной формы материальным благополучием обязан сейчас главным образом своей подсобной специальности: он знаток бабочек, которым и посвящает весьма авторитетные исследования.

Более повезло уже упомянутому Анри Труаяя. Его французские книги о Пушкине, Лермонтове, Гоголе высоко оценены иностранной критикой.

Итак, эмигрантская литература либо переставала быть эмигрантской, либо уходила в любовании прошлым, в стилизацию или абстракции. В отрыве от родины могли удержаться (при этом не всегда) на уровне, достойном великой русской литературы, лишь писатели, выехавшие из России уже крупными мастерами.

Но не создав своей настоящей литературы, эмигрантщина породила целую армию графоманов. Был среди них один (забыл его фамилию), на трудовые гроши издавший, голодая и истощаясь, свои рифмованные произведения, которые из года в год посылал в редакции всех эмигрантских журналов и газет. Запомнились такие строки:

...Я писать стихи умею
И очень я уверен в том
Вскорах мой выйдет том.

И никто им не занялся, никто не образумил его, не уговорил бросить это дело, а Ходасевич, тот даже приходил в восторг: «Пусть пишет, так не придумаешь... Ведь это же своего рода совершенство! Почти как у капитана Лебядкина из «Бесов».

Но главный контингент графоманов составляли авторы всевозможных лубочных антисоветских произведений, которые своим учителем признавали бывшего донского атамана, пресловутого генерала Краснова.

До своего переезда в Берлин Краснов долго жил во Франции, под Парижем, в небольшом имении, им приобретенном. Денег у него было достаточно. Дело в том, что в эмиграции этот вояка стал писателем. Состряпал добрый десяток романов бульварно-антисоветского жанра, из которых самый известный «От двуглавого орла до красного знамени» был даже переведен на несколько иностранных языков. В литературном отношении эти романы были настолько низкокачественны, что даже в эмигрантских органах печати, близких по духу к Краснову, о них не помещалось рецензий: ругать не хотели, а хвалить прямо-таки не было возможности. Это приводило Краснова в бешенство, и он заявлял, что против него действует «жидо-масонский» заговор молчания. В Гитлере признал вождя, который избавит мир и его, Краснова, от большевиков и завладевших эмигрантскими изданиями «жидо-масонов».

Краснов был тем более озлоблен презрением эмигрантской критики, что романы его благодаря своей специфической бойкости действительно пользовались известным успехом у публики с дурным вкусом и старорежимными наклонностями. Так, по свидетельству русской эмигрантки, работавшей в одном из берлинских издательств, которое командировало ее к бывшему германскому императору, кажется для корректуры каких-то его воспоминаний, Вильгельм II каждый вечер громко читал жене и домочадцам главу-другую красновского романа...

Но тем временем в эмигрантских библиотеках зачитывались до дыр такие произведения, как «Тихий Дон», «Хождение по мукам» или еще «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».

Идущее с родины живое слово, на которое была неспособна эмигрантская литература, будоражило эмигрантскую трясину.

Глава 4

ГОРЕ И ТРАГИЧЕСКАЯ НЕЛЕПОСТЬ

Таковы были «верхи» эмиграции, такова была эмиграция, в которой я вращался много лет. Но ведь существовал и другой эмигрантский слой, который мы называли «низами», потому что в него входило много простых людей, разделяющих интересы французов — своих товарищей по труду и любящих свою родину не свысока, не с желанием переделать ее на свой лад, а как любят мать, с которой невыносима разлука. Среди этих людей еще задолго до войны созрели настроения, которые породили создание «Союза возвращения на родину», «Союза оборонцев» — то есть эмигрантов, готовых защищать СССР, — а то и заставляли рабочего или шофера такси, в прошлом белого офицера, ехать в Испанию, чтобы там сражаться на стороне республиканцев. Об этих людях речь впереди. Нет, я не мыслил тогда, что у меня с ними общая дорога!

Даже зрелые годы не изменили моего сознания. Я выехал из России, не зная своего народа, и потому родина ограничивалась для меня «нашим миром». Во Франции я долго не знал французского народа; сытый, довольный буржуа мне вовсе не нравился, порой даже раздражал своим безапелляционным бахвальством, но меня роднили с ним склонность к тому же жизненному укладу да, пожалуй, подсознательно, еще его и моя обособленность от народа. Я вращался среди французов, которые не замечали простых людей своей страны, и среди русских, которые считали себя неизмеримо выше простых людей в эмиграции. Но эмигрантское горе, горе самых обездоленных из нас, мне все же приходилось наблюдать.

В годы экономического кризиса многие тысячи русских оказались в Париже без работы. К делу помощи наиболее нуждающимся имела ближайшее отношение моя мать, организовавшая, кроме общежития для стариков, даровую столовую на несколько сот человек.

Среди эмигрантов-просителей была особая категория, действительно вступившая в какой-то круг Дантова ада, категория «отверженных», как их справедливо называли в ту пору.

Вот среди нищих людей, толпящихся в столовой, стоит такой «отверженный». Даже здесь он выделяется постоянной тревогой во взгляде. Положение его ужасающее и, главное, совершенно безнадежное. Позади уже несколько лет тюрьмы, впереди опять тюрьма: он сейчас живет нелегально, ночует где попало, чаще всего под мостом, и страшится каждого полицейского.

За что все это? Этот человек совершил самый незначительный проступок. Нашумел у стойки, выпив лишнего, побил посуду или же — такие случаи были особенно часты, — участвуя с товарищами по работе, французами, в какой-нибудь демонстрации против алчного хозяина, не сразу покорился схватившему его за шиворот полицейскому да от горечи обмолвился по его адресу крепким словом. Вот и все. За такие дела исправительный суд приговаривал «нарушителя» условно к недельной тюрьме. Казалось бы, пустяк. Но тут-то и начиналось самое страшное. Всякий иностранец, даже условно приговоренный судом, автоматически подлежит высылке в другую страну. Для бельгийца, для итальянца, работавшего во Франции, высылка была крупной неприятностью; для русского эмигранта — Дантовым адом. У русского эмигранта — особый паспорт; он не имеет подданства. С этим паспортом вообще не очень легко переехать из одной страны в другую. Высланный же не примет ни одна страна. Приказа о высылке он не выполнял, потому что не мог выполнить. Тогда двое жандармов отводили такого эмигранта к ближайшей границе — бельгийской, если он «провинился» в Париже, — и, взяв ружья на изготовку, приказывали ему: «Беги!» Тот бежал. Но через несколько минут его хватали бельгийские пограничники. В Бельгии его судили за незаконный переход границы. А затем двое бельгийских жандармов опять приводили его к ближайшей, французской границе, опять брали ружья на изготовку и опять приказывали ему: «Беги!» Во Франции судили его опять за незаконный переход границы. Приговаривали уже не условно, а по-настоящему к нескольким месяцам тюремного заключения. После тюрьмы — новый приказ о высылке. Зная, что его ожидает в Бельгии

(а то же самое ожидало его в любой другой стране), порвавший со своей родиной человек переходил на нелегальное положение. Обычно его скоро обнаруживали и опять судили за... неподчинение приказу о высылке! Судили раз, другой, третий, и каждый раз срок тюремного заключения в приговоре увеличивался.

Жандармы с винтовками, полицейские с дубинками, судьи в красных мантиях, величаво восседающие под Марианной-республикой в фригийском колпаке, отлично знали, что перед ними ни в чем не повинный человек. Но этот человек ниш и жалок. Ни один банк, ни одно акционерное общество не заинтересованы в его судьбе: как же такого человека не «подтолкнуть»?

Я помню, как один из этих людей, уже пожилой, плакал, как ребенок, беседуя с моей матерью. «Объясните же им,— говорил он,— что это бесчеловечно!..»

Приговоры французских судов приводили к страшным трагедиям — люди сходили с ума, кончали самоубийством, но они выносились из года в год...

Итак, к эмигрантским «низам» мы причисляли простых людей, всех тех в трудовой эмиграции, кто определял свое социальное положение не по признаку прошлого, а настоящего.

Деникинский поручик из какой-нибудь скромной полубуржуазной, полумещанской семьи, дравшийся за «белую идею», но воспитанный как разночинец, попав во Францию на завод, часто терял связь с эмигрантскими организациями, становился простым человеком, простым рабочим и постепенно привыкал к своему новому социальному положению. Случалось, он денационализировался, уходил во французскую среду, впрочем уходил лишь наполовину, и в конце концов становился и по языку и по навыкам полурусским, полуфранцузом. Но бывало и так, что он оставался вполне русским, гордился своей страной и, не понимая ее нового пути, все же мечтал о возвращении на родину, решительно не интересуясь спорами между «Возрождением» и «Последними новостями». Такой эмигрант посещал русские рабочие ресторанчики в русских кварталах-городках в Париже и под Парижем, искал дружбы с такими же, как он, простыми русскими тружениками, маялся, тосковал и считал свое пребывание на чужбине временным и нелепым. Мы причисляли его к «низам», потому что в эмиграции сохранились нетронутыми, до жути реальными при всей своей очевидной беспочвенности бывшие социальные перегородки, и такой эмигрант оказывался психологически чужд старому миру, как «имперскому», дворянско-бюрократическому, так и буржуазно-интеллигентскому.

Но едва ли не основную массу «низов» составляла другая категория эмигрантов, которую «верхи» знали совсем мало и с которой почти не общались.

Белогвардейский поручик, ставший на чужбине простым человеком, все же являлся политическим эмигрантом, покинувшим родину из-за нежелания признать Советскую власть. А то были люди, попавшие в эмиграцию полусознательно или даже вовсе не сознательно: казаки из белой Донской армии да врангелевские солдаты, сражавшиеся по мобилизации и эвакуировавшиеся из Крыма вместе со своими частями, наконец, застрявшие во Франции солдаты русского экспедиционного корпуса, действовавшего на Западном фронте в первую мировую войну.

Встретить их можно было во многих местах — на шахтах Лотарингии, на текстильных фабриках севера Франции, на фермах юга, на парижских заводах, в Бельфоре, Гренобле, Рубе, Крезе, Южине, Клермон-Ферране да в самых глухих французских деревнях. Люди из эмигрантской верхушки, возглавлявшие всевозможные центры, землячества, объединения, интересовались их судьбой не в большей степени, чем некогда в качестве помещиков, заводчиков и генералов они интересовались на родине судьбой рабочих и крестьян. Крупные эмигрантские благотворительные организации, орудовавшие в Белграде на заре эмиграции при поддержке друга и почитателя старой России короля Александра, открыто придерживались принципа оказания помощи в первую очередь и даже исключительно лицам, которых революция разорила или лишила прежнего общественного положения. А в Париже и в двадцатых, и в тридцатых, и в сороковых годах можно было сплошь и рядом услышать такие суждения: «N? Что о нем беспокоиться! Был в России батраком — батрачит и во

Франции. Он не деклассирован, как мы». Эмигрантские верхи ведь всегда любили смаковать «особенный», «ни с чем не сравнимый» характер своей судьбы.

Многие простые люди попали во Францию следующим образом.

В годы экономического подъема, когда Франция нуждалась в рабочей силе, кое-кто из руководителей казачьих организаций в Париже да из белых генералов на Балканах, где осела большая часть врангелевской армии, занялся вербовкой русских для французских шахт и рудников. Дело это рекламировалось широко. Генералы и казачьи вожаки наладили в балканских странах заключение контрактов с французскими предпринимателями. Так тысячи русских перебрались из болгарских и югославских рудников во французские рудники. Только приехав во Францию, они выяснили, что оплата для них установлена самая низкая. Работать пришлось в крайне тяжелых условиях, жить в дрянных бараках. На питание не хватало денег, зато... бойко работала лавка, где продукты отпущались в кредит. К концу контракта оказывалось, что задолженность рабочего превышает его заработок. Приходилось подписывать новый контракт... А затем разразился экономический кризис, началась безработица, и прежде всего оказались безработными русские эмигранты. Тут-то обрушилось на них горе — горе простого человека на чужбине, которому трудно даже выхлопотать себе пособие по безработице. А кругом люди, говорящие на чужом языке, не понимающие русского человека, его характера, привычек. Нет, на Балканах, где и язык ближе и народ тоже славянский, все же было лучше. «Отверженные» — вечные тюремные сидельцы — принадлежали в большинстве к этой категории эмигрантов. Многие из них проклинали белых генералов и казачьих вожаков, переправивших их во Францию, когда узнали доподлинно, что эти лица получали от французских предпринимателей по тысяче франков за душу, то есть за дешевого, выносливого рабочего, закабаленного при их посредничестве. Но вот что примечательно: простые русские люди проявили во Франции исключительную моральную устойчивость — процент преступности, точнее — судебных приговоров по уголовным делам (не считая приговоров за «невыполнение» приказа о высылке), падал на их долю самый ничтожный.

Под Монтаржи у казаков был свой хутор, и вели они там неплохое хозяйство. Но многие казаки батрачили в самых тяжелых условиях и там и в других местах. Один из них, еще молодой и красивый парень, как-то приехал в Париж, зашел в «Возрождение» и разговорился со мной. Оказалось, что он стал батраком после того, как потерял работу на заводе. Работа была нелегкая, оплата низкая, но местом своим он дорожил, так как ему приглянулась дочь хозяина. Смущаясь и запинаясь, он обратился ко мне с просьбой составить для него по-французски любовное письмо. «Не хорошо там жить, — говорил он мне. — Не то что девушки, коровы и те ни слова не понимают по-русски. Никак с ними не сладишь!» Письмо я написал, причем он настаивал, чтобы такие выражения, как «голуба», «мое золото», были переведены на французский дословно. Вышло, в общем, мало понятно, но достаточно пылко. Через несколько лет я снова встретил его. Он постарел, отяжелел. Однако выглядел еще молодцом, со своими лихо закрученными усами и французской кепкой, по-казацки заломленной набекрень. Сообщил, что женился на дочери фермера; тот вскоре умер, и теперь фермером стал он сам. Но жизнь по-прежнему не удовлетворяла его: не ладил с женой. «Эксплуататорша, — говорил он, — точь-в-точь как ее отец. И кого эксплуатирует? Таких же казаков, как я, которых я устроил на работу. Черства, скаредна, каждый сантиметр помнит и готова сантиметр вытянуть из самой кожи у рабочего человека. Ссоримся часто. Почему? Потому, что я со своими казаками держусь на равной ноге. «Ты ведь хозяин, — говорит, — а они батраки!» Скверная жизнь!»

Да, русские люди во Франции познали всю тяжесть эксплуатации, нравственно усугубленной еще тем, что работодатели относились к ним вдвойне свысока: как к рабочим и как к иностранцам из самой беззащитной категории бесподанных.

Разбросанные по французским заводам и деревням, эти люди тяготились своей судьбой, сознавая ее трагическую нелепость. Один из них простодушно писал в «Возрождение» о своей тоске. Я запомнил в его письме такие строки:

«Вы все толкуете о какой-то исторической миссии эмиграции. А я вот не понимаю, зачем мне надо маяться здесь. Кому это нужно?»

Такие настроения ярко проявились впоследствии, когда возможность возвращения на Родину стала для эмигрантов реальной.

Глава 5

ПО ВОЛЕ НЕФТЯНОГО МАГНАТА

В «Возрождении» работало немало способных литераторов, но в политической своей части «Возрождение» было скучной, бездарной газетой, так как дело, которому оно служило, было затхлым, давно обескровленным и проигранным. В результате, хоть большинство эмигрантов и стояло ближе к «Возрождению», у милюковских «Последних новостей», быть может даже более ядовито, но по форме более серьезно писавших о советской действительности и из коммерческих соображений отводивших полноту «занимательной» информации, читателей было значительно больше. «Возрождение» было делом убыточным, и так долго (пятнадцать лет) газета могла продержаться только благодаря одному человеку: Гукасову Абраму Осиповичу.

Этот человек относился ко мне с симпатией, давая мне возможность сохранять в «Возрождении» кажущуюся независимость, то есть не настаивать в каждом политическом очерке на неизбежности падения большевиков. Относился же он ко мне с симпатией потому, что считал меня журналистом «французской школы», значит, способным хоть немного развеять возрожденческую скуку, которую сам же он насаждал с кропотливой настойчивостью.

Гукасовская симпатия сыграла известную роль в моей жизни. В самой редакции она ставила меня в привилегированное положение по отношению к большинству других сотрудников. Я был на виду в газете, и это — вначале по молодости, а затем по привычке — доставляло мне удовольствие. Создавая иллюзию независимости, гукасовская симпатия прикрепляла меня к «Возрождению». Это было дурное ее следствие. Но, как увидит читатель, гукасовская же симпатия в конце концов помогла мне встать на правильный путь. Впрочем, это произошло уже, так сказать, от обратного.

Какой же человек этот Гукасов, и поныне здравствующий в Париже?

До революции три брата Гукасовы (так они называли себя, хотя их настоящая армянская фамилия — Гукасьян) занимали особо видное место среди магнатов бакинской нефти. Из трех Гукасовых Абрам считался наименее способным дельцом. Во всяком случае братья всячески вытесняли его с Кавказа, и получилось так, что, во время как у них главные владения и капиталы были в России, у Абрама, сравнительно менее богатого, плавали в далеких краях наливные суда, основной капитал находился в Англии, да еще были в Румынии нефтяные источники. После революции те двое оказались рядовыми эмигрантами, а Абрам по-прежнему богачом, да еще каким!

Резкими чертами лица, точеной бородкой и осанистой фигурой этот крепкий еще в те годы старик напоминал высеченного из камня ассирийского царя. Да и взгляд у него был какой-то каменный, неподвижный. Жил на авеню Фош, роскошнейшей из всех улиц Парижа, совершенно один, в пышно обставленной, огромной квартире, где почти никого не принимал и которой вообще мало пользовался, так как проводил все время в конторе или у дамы сердца. Никому решительно не помогал и был жестоко ненавидим всеми своими обедневшими родственниками. Едва ли не главным интересом этого нелюдимого, замкнутого человека была созданная им газета — он видел в ней трамплин для своего триумфального возвращения в Россию.

Печать была его слабостью. Все утро Гукасов читал газеты. Такое само по себе солидное времяпрепровождение, как известно, толкнуло гоголевского сумасшедшего на мысль, что он испанский король. Деньги у Гукасова были в Англии, и потому читал он исключительно английские газеты, при этом консервативные. Это ежедневное занятие убеждало его в том, что он непременно и, вероятно, довольно скоро водворится

на Кавказе в качестве нефтяного вице-короля, представляющего интересы какого-нибудь Детердинга.

Из своей конторы он поднимался в редакцию, находившуюся этажом выше, с целым ворохом вырезок (сам работал ножницами).

— Глядите,— заявлял он, дымя сигарой,— вот здесь прямо написано, что пятилетка провалилась вконец. А тут, что на Украине ожидается повальный голод. Это особенно хорошо! Отметьте же все это, господа, чтобы поняли наконец иностранцы, как мы правильно оцениваем обстановку в нашей стране.

Вывалив на редакторский стол свои вырезки, Гукасов обычно присовокуплял:

— А теперь, господа, примемся за Милюкова. Докажем иностранцам, что он просто дурак, который не понимает русской действительности и, значит, ничем пригодиться им не может. На эту тему мне нужны стишки, фельетон и солидная передовая.

Впрочем, должен сказать, что с Милюковым Гукасов боролся из рук вон плохо. Дело в том, что богатство он получил по наследству, сам же был дельцом мелко-травчатым, которым владела всего одна страсть: жадность. «Возрождение» приносило ему в день тысячу франков убытка — сумма в то время внушительная, хотя для него лично и не очень существенная. Этот убыток буквально бесил его. Но ему никогда не приходило в голову, что, пожертвовав на первых порах еще большей суммой, он мог бы переманить лучших милюковских сотрудников. Вместо этого он из года в год платил все меньше своим, так что многие из них (например Бунин, Тэффи) перешли к Милюкову. Следует, однако, отметить, что в своих разговорах с ними он проявлял своеобразную «заботливость».

Так, у полуслепого поэта Горянского, вечно голодного, вечно оборванного, он осведомлялся не раз:

— Видно, мало кушаете? Опять похудели, батенька.

— Да, мало, Абрам Осипович,— отвечал тот.— Разве на то, что у вас зарабатываете, можно накормить себя и детей?

— Мясо вряд ли каждый день потребляете?

— Где уж там, Абрам Осипович!

— Сочувствую вам, батенька, искренне сочувствую.

Ну совсем как гоголевский герой Иван Иванович Перерепенко в разговоре с миргородскими нищими...

Но Гукасов шел дальше, так как обычно заканчивал беседу нравоучением:

— Все мы должны нести жертвы. Посчитали, сколько я трачу во имя родины? Вот и вы старайтесь для родной нашей матери довольствоваться скудным своим заработком.

А иногда еще присовокуплял:

— Да у вас, батенька, и выхода нет другого. Вы уж так Милюкова в своих стихах изругали, что он все равно вас к себе в газету не возьмет.

Узнав как-то, что сотрудники «Возрождения» прозвали его «Сократом» (из-за очередного сокращения гонораров), он пришел в бурный гнев и, раскричавшись в беседе с насмерть перепуганным редактором Семеновым, наговорил немало лишнего.

— Да поймите же,— поведал он (чуть ли не с пеной у рта, как рассказывал потом Семенов),— что я каждый день трачу на вашу братию столько же, сколько на свою любовницу. Да, да, на свою любовницу! Шутка ли сказать! Кажется, имею право на уважение.

Особа, обходившаяся Гукасову в такую же сумму, как «трамплин для захвата власти в России», была полнотелой московской армянкой, которой посчастливилось выйти замуж за индийского магараджу. С магараджей она разошлась, но тот выплачивал ей солидное содержание, а поддержка Гукасова удваивала ее доходы. По словам гукасовских родственников, которые относились к ней сугубо отрицательно, так как сами ничего от него не получали, эта особа занимала постоянно несколько комнат в одной из самых дорогих парижских гостиниц и проводила все дни лежа: ела сладости и принимала по очереди массажиста, маникюршу, парикмахера, портниху,

шляпницу, корсетницу, китайского педикюрщика и, наконец, самого Гукасова, с которым, разукрасившись мехами и бриллиантами, «выезжала в свет», то есть в какой-нибудь ночной кабак.

Я работал в «Возрождении» с конца 1926 года, когда редактором был еще Струве. Редактор и издатель друг друга терпеть не могли, потому что каждый хотел распоряжаться в газете полновластно. Еще более сгорбленный, чем в те времена, когда я его видел в Софии, но такой же нарочито важный, к себе непомерно почтительный, Струве грузно усаживался за редакторский стол, неустойчивой своей бородой покрывая все, что лежало в непосредственной к нему близости, и принимался за передовую. «Опять поспорю с Лениным»,— говорил он, поблескивая глазами. Но его передовые были отменно длинны и, хотя авторитетны по тону, крайне бесцветны по содержанию. Никакого спора у Петра Бернгардовича Струве не получалось. Он славил консерватизм с важностью действительного тайного советника, укорял мимоходом Витте или Столыпина за какой-нибудь промах да бранил назидательно все того же Милюкова или Керенского. Во всей газете Струве интересовался только своей передовой. Гукасов же больше полагался на выдержки из английских газет. Память о прошлом убеждала бывшего редактора «Освобождения», что он и за редакторским столом «Возрождения» — очень внушительная фигура. Но, восстав против размера какой-то из передовых Струве, Гукасов потребовал сначала авторского сокращения, а затем и полного подчинения себе редактора на том основании, что у бывшего марксиста Струве в прошлом лишь «внушительные ошибки», а у него, Гукасова, в настоящем — внушительный капитал. Объявив Гукасова аферистом и торгашом, Струве вместе с группой своих почитателей и учеников распрощался с «Возрождением» навеки.

На место Струве Гукасов назначил редактором Семенова. Это был человек мелкий, малоодаренный, но не лишенный известной ловкости. Он ладил с Гукасовым, хоть и считал его вульгарным торгашом, но линию проводил собственную, в надежде выдвинуться на первый план. Как и Гукасов, Семенов метил высоко; только Гукасова прельщали деньги, а Семенова — министерский портфель. Вся деятельность Семенова в «Возрождении» и вокруг «Возрождения» была направлена к тому, чтобы «в момент падения большевиков» сыграть руководящую роль в формировании «все-русского правительства».

До революции Семенов был кадетом, учителем гимназии в Тифлисе, где и редактировал какую-то газету. Заметной роли он не играл, но считался специалистом по французским делам, так как прожил во Франции юношеские годы. Поэтому Врангель и послал его в Париж для каких-то оккультных переговоров с окружением премьер-министра Мильерана. Из этого ничего не вышло, так как дни белого Крыма были уже сочтены. Однако Семенову очень приглянулась по вкусу международная антисоветская возня. Он близко сошелся с антикоммунистической лигой Обера и с тех пор уже не переставал ратовать за поход против СССР. Не берусь судить, как случилось, что именно в его голове откристаллизовался и заострился самый сугубый, никаких компромиссов не допускающий антикоммунизм.

Рассуждал Семенов так:

— Представьте себе, что вы наскандалили в ресторане — с дракой, битьем посуды и прочими бесчинствами. Вам придется посидеть в участке, уплатить штраф, пенять только на самого себя. Так и Россия! И участок и штраф — все это ей полагается за революцию. Как трезвые политики, помиримся с этим в расчете на иностранную интервенцию.

Или:

— Поймите, освободить Россию может только война. Кто бы ни нанес удар — немцы, японцы или англо-французы, все равно. Но немцы, пожалуй, всего вернее... Поймите опять же: чтобы укрепить свою власть, Гитлеру надо повести немцев в легкий победоносный поход. Значит, свергнуть Советскую власть ему предназначено самой судьбой. Вот она — высшая слава без особенных жертв! Гитлер, как трезвый политик, конечно, не пожелает чрезмерного унижения России. Мало ли что он там написал в «Майн кампф»!..

Наслушавшись семеновских поучений, язвительный от природы Ходасевич как-то сказал, выходя из редакторского кабинета:

— Беда с этим человеком! Логика железная, а точка отправления дурацкая.

В эмиграции Семенов не пользовался особым авторитетом. Он мало кому импортировал, писал скучно, ораторским даром не обладал, больше мямлил и притом назойливо. Но ничто его не обескураживало. Деятельность его была очень широкой и, так сказать, эклектической — проследить ее интересно, ибо в ней, как в фокусе, нашел свое отражение боевой эмигрантский «активизм» предвоенной поры.

...Вот семеновский приятель Гегечкори, который был министром иностранных дел грузинского меньшевистского правительства и все не может утешиться, что больше не занимает этого поста. Внешностью Гегечкори вовсе не отвечает хотя бы буржуазному представлению о социалисте. Это типичный хлыщ, жуир, уже пожилой, но молодцеватый, которому благосклонно улыбаются на Елисейских полях «профессионалки любви» самого высокого полета. Семенов одобрительно говорит, что от социализма остались у него лишь солидные связи с окружением Леона Блюма. У Гегечкори не только богатый вид, он и в самом деле богат, но об источнике своих доходов умалчивает. Надменен, честолюбив и решителен: ждет не дожидается, когда снова пробьет его час. Семенов считает его очень интересным и крайне полезным для «общего дела» человеком. Гегечкори весь в антисоветских хлопотах. Едет в Лондон, а оттуда в Берлин, и всюду у него конспиративные совещания, «полезнейшие разговоры». Возвращаясь от него, Семенов сообщает под секретом, что Гегечкори только что съездил в Варшаву. Но особенно восхищает Семенова, что из Польши Гегечкори удалось связаться с... Анкарой через тех же пидсудчиков, которые устанавливают теснейшие отношения с турецкой разведкой. «Да, ценнейшая личность,— говорит Семенов,— он как-то связан со всеми разведками, но, впрочем, ни с одной из них окончательно,— а это ведь тоже мастерство!»

...С благословения Гукасова Семенов готовит статью против Деникина — вежливую, но в меру своих полемических дарований иронически-назидательную. В очередном своем публичном докладе о международных делах Деникин обрушился на тех, кто (как Семенов) проповедует, что стоит только гитлеровским дивизиям хлынуть через советскую границу, как Красная Армия обязательно побежит. «А может, не побежит!» — патетически выкрикнул вдруг Деникин, срывая дружные аплодисменты значительной части аудитории, в которой эти слова пробуждали национальную гордость, столь упорно ущемлявшуюся семеновыми. «Нет, не побежит,— продолжал Деникин.— Храбро отстоит русскую землю, а затем повернет штыки против большевиков!»

Семенова тревожат больше всего аплодисменты, наградившие Деникина: «Мутит только, с толку сбивает молодежь. Во-первых, совершенно нереальная концепция, а во-вторых,— тут Семенов проявляет известную проницательность,— Деникин попросту льет воду на мельницу своих покровителей. Как и в 1919 году, ждет спасения от бывших союзников. Выражаясь советской терминологией, делает ставку на другой империализм! Но Англия да Америка далеко... Когда еще соберутся! А немцы рядом, хоть сейчас готовы в бой. В этом все дело!»

...Семенов — реставратор в полном смысле этого слова. Революция для него лишняя страница русской истории, которую можно вырвать без остатка. «Столкновение двух миров неизбежно,— говорит он,— и нам, эмигрантам, суждено сыграть первейшую роль. Пусть все будет иначе, чем при большевиках,— вот лозунг завтрашнего дня! Знаете, что ожидает Россию после войны? Разгул капитализма, Полный, безудержный разгул!»

Семенов очень любит так называемых «нацмальчиков». Это небольшая, но крайне активная организация, именуемая «Национально-трудовым союзом нового поколения». В сущности, мальчиков там нет: образовали ее вполне зрелые мужи, расставшие со своей молодостью уже в эмиграции. Это смена, но смена стареющая, за которой ничто не следует: настоящей эмигрантской молодежи ближе интересы их французских сверстников.

Предвоенные годы. «Нацмальчики» собираются на квартире уже упоминавшегося мной Столыпина, который живет комфортабельно на средства богатой жены-францу-

женки и связан с архибуржуазными французскими кругами. Этот союз есть попытка продлить на одно поколение те вежделения и дух, с которыми в годы гражданской войны шли юнкера под знамена Деникина и Колчака. Некогда, на заре эмиграции, столыпинские единомышленники стреляли в полпредов. Теперь, накануне второй мировой войны, «нацмальчики» уже не прибегают к индивидуальному террору, они готовятся к «решающим массовым выступлениям». Октябрьская революция представляется им порождением каких-то коварных сил, абсолютно чуждых традициям российских кадетских корпусов и офицерских собраний, где подвизались герои купринского «Поединка». «Нацмальчики» никогда не заглядывают в книги советских писателей, а которых многие эмигранты мучительно ищут ответа на неразрешимые в изгнании вопросы. Что происходит «там»? Как живут, о чем мечтают, к чему стремятся русские люди по ту сторону рокового рубежа? Подобных вопросов не существует для «нацмальчиков», все для них ясно и просто: «там» — «советчина».

Семенову любо с ними. Это его подлинные ученики, о которых он говорит с умлением: «Вот представители национальной России».

Я знал большинство их лидеров, хоть и не коротко. Серость их мышления полностью отражалась в их писаниях и речах. Ни малейшего проблеска живой мысли, одна лишь вконец разжеванная и давно выплюнутая историей белогвардейская жвачка! Встречи с такими людьми уже тогда рождали во мне убеждение, что ценность всей эмигрантской акции равна в историческом плане нулю. Но только грозные события последующих лет поставили передо мной во всей ясности уже неотвратимый вопрос: а если так, то где же правильный путь?

...Семенов в особенно хорошем настроении. Через возрожденческого репортера Алексева, который тесно связан с мелкими осведомителями французской полиции, он узнал, будто один из милюковских журналистов где-то когда-то разговаривал с сотрудником Советского торгпредства. Надо поручить тому же Алексеву (он пишет немного лучше старорежимного дворника, но в редакции никто, кроме него, не берется за эти дела) лишний раз «намекнуть» в газете, что Милюков окружен платными агентами большевиков.

Семенов вообще любит доносы, «разоблачения» и особенно конспирацию. Совершает поездки в Рим, где встречается с какими-то фашистскими руководителями второго или третьего ранга, и, вернувшись, взволнованно сообщает, что мудрый дуче, гениальнейший Муссолини «с полным пониманием» отнесся к эмигрантским планам «возрождения национальной России». Но при этом Семенов подчеркивает, что все это тайна, которую он откроет только в нужный момент...

Сам по себе Семенов был далеко не самой приметной личностью в «Возрождении». Некоторые гукасовские сотрудники отличались достаточной оригинальностью. О них следует рассказать.

Вот, например, Ольденбург. Это сын известного ученого, министра Временного правительства, который, приняв новый строй, остался в России, где и продолжал до смерти свою научную деятельность.

Его сын нового строя не принял. Ольденбург-младший был внешне весьма неяршим человеком, многим он казался несколько придурковатым. Посмеивались над его рассеянностью, над тем, что он никогда не причесывался, не следил за ногтями, стригся раз в полгода, часами пощипывал бороду и по поводу каждого политического события громко спрашивал, ни к кому определенно не обращаясь: «Интересно бы знать, как отнесутся к этому большевики?» В нем было немало ребяческого, и он мог долго смеяться над каким-нибудь юмористическим рисунком в детском журнале. Одна шаловливая машинистка незаметно прикалывала сзади к его пиджаку разноцветные ленточки, и он так и ходил по редакции, обдумывая очередную статью. Никогда не сердился, а лишь как-то беспомощно улыбался, когда явно шутили над ним. А между тем это был человек интересный, даже одаренный, хоть и однобокий. Спросите его, например, какое правительство было в таком-то году в Аргентине или же как Бисмарк отзывался в интимном кругу о Горчакове. Он тотчас ответит ясно, обстоятельно и еще добавит какие-нибудь характерные подробности. В области международных отношений он был настоящей живой энциклопедией. В час-другой мог написать передовую по любому внешнеполитическому вопросу, всегда начиненную истори-

ческими справками, живую, часто даже увлекательную по форме, но неизменно оканчивающуюся примерно так: «А это и на руку большевикам» или напротив: «Большевикам это не придется по вкусу».

Такими писаниями и ограничивалась его политическая деятельность.

Не приняв нового строя, Ольденбург-младший оказался за границей, где жизнь его сложилась невесело: обремененный большой семьей, он зарабатывал у Лукасова сущие гроши. Умер Ольденбург в самом начале войны. В последние годы жизни он был занят «капитальным исследованием», заказанным ему «Союзом ревнителей памяти императора Николая II», сиюсь «раз и навсегда доказать», что Николай II был пронцательным и искусным правителем, что Распутин никакой роли не играл, что не было вообще никаких «темных сил» и что Россия при Николае II твердо вступила на путь благоденствия, да помешали разные смутьяны, проложившие дорогу революции.

Дочь его Зоя родилась за границей, выросла во Франции и стала французенкой не только по паспорту, но и по культуре, тем самым избавившись от густой паутины отцовского влияния. Это не просто рядовая французенка русского происхождения, а известная французская писательница, удостоившаяся за свои романы, в которых она воспевала Францию средних веков, одной из крупнейших французских литературных премий.

Кстати, и Семенов оставил после себя не одних «нацмальчиков». Вырастил он и собственного юнца, но в постоянных хлопотах о «возрождении России» так и не удосужился научить его русскому языку — и тот тоже стал французом. Однако сын Семенова сделал совсем иную карьеру: поступил в политическую полицию, дослужился до комиссара, а после освобождения Франции попал на каторгу как сообщник оккупантов, расправлявшийся в вишистских застенках с французскими патриотами.

Очень характерной фигурой был П. Муратов. Недавно в московском букинистическом магазине я перелистывал его книгу «Образы Италии», о которой так много людей дореволюционного поколения сохранило пленительное воспоминание: как плавно, умно и изящно писал этот человек о красотах Фьезоле или Перуджи!.. Он был знатоком искусств, древнерусского, в частности, и византийского, и верил в какой-то идеал эстетской «утонченной цивилизации», к которому — он искренне этим гордился — может приобщиться и Россия, раз музыкальность и геометричность рублевского письма вошли в историю европейской культуры, как последний живой отзвук великой эллинской живописи. Ему удобно жилось и удобно мыслилось до революции: рано достигнутое признание, выставки, галереи, по которым он проходил, раскланиваясь, как равный, со знаменитостями, статьи для толстых журналов, укрепившаяся уверенность, что и он вносит вклад в дело «окончательной европеизации» культурной верхушки русского общества... Когда же рухнуло старое здание, ветхости которого он упорно не замечал, что-то затуманилось в уме этого человека, он оказался неспособным по-новому переосмыслить смысл происходящего, а потому возненавидел революцию мстительно и безапелляционно. Увлечение искусством постепенно отошло у него на второй план, и новым этапом его деятельности явились писания политические, в которых он разбирал и экономику и стратегию, поясняя в частных беседах, что полководческое искусство и умение управлять людьми — такие же проявления космического божественного духа, как живопись или зодчество.

Я знал его пятидесятилетним, напыщенным и очень самоуверенным человеком (постоянно поднимавшим голову, чтобы скрыть низенький рост). Мысли свои он высказывал с охотой и исчерпывающей полнотой. После сложных и длительных рассуждений он приходил обычно к одному выводу: сейчас единственное спасение России в Гитлере.

В общем он говорил то же, что и Семенов, но с большим весом, и писал на эти темы так же плавно и изящно, как некогда о Венерах Боттичелли или Джорджоне.

Муратов писал в «Возрождении» каждый день. Статьи его так и были озаглавлены: «Каждый день». Отключался на все события с точки зрения «спасения европейской цивилизации» и недурно у Лукасова зарабатывал. Но не скрывал, что работа эта не удовлетворяет его, что стремится он к более «конкретной» деятельности. Стал реже приходить в редакцию и вскоре, никому не сообщив, уехал в Японию, тогда

воевавшую с Китаем. На Японию эмигрантские активисты возлагали не меньшие упования, чем на гитлеровскую Германию. Вернулся оттуда очень довольный, внешне оперившийся, а затем, бросив совсем журналистику, перебрался в Лондон, опять-таки никому не сказав, ни с какой целью, ни на какие деньги он там собирался жить. Надвигалась вторая мировая война; легко было заключить, что каким-то иностранным кругам понадобились конфиденциальные рефераты этого «эксперта по советским делам», умевшего красиво, выпукло, а главное, внушительно излагать даже те проблемы, о которых имел самое поверхностное представление. Во всяком случае Гукасов и Семенов стали о нем говорить с особым почтением, как о человеке, заручившемся покровителями для выполнения «очень нужного дела».

Кроме здесь упомянутых, я общался в «Возрождении» еще со многими лицами, прежде известными в России. Писали в газете Иван Шмелев, автор замечательной повести «Человек из ресторана», Илья Сургучев, автор «Осенних скрипок», пьесы, которая некогда шла чуть ли не во всех российских театрах, Борис Зайцев, всегда остроумная Тэффи, фельетонисты Александр Яблоновский, Амфитеатров, бывший редактор «Аполлона» Константин Маковский, балетоман Плещеев и другие, немало написавшие и хорошего и дурного на своем веку. Но в этой главе я выбираю лишь наиболее характерных, таких, которые с особой полнотой отражали идеологию гукасовского печатного органа.

Рожденная эмигрантским бытием, идеология эта сочетала официально проповедуемый лозунг «Во имя России!» да порой еще самый кичливый шовинизм («Все равно, рано или поздно, всех шапками закидаем!») с неверием в Россию, с неверием в русский народ, с признанием за ним какого-то «греха», который он должен искупить, чтобы обрести равноправие с другими народами.

Один из идеологов «Возрождения», граф Александр Салтыков, глухой старик с умом отточенным и циничным, прямо заявлял (в частных беседах еще откровеннее, чем в писаниях), что только чужеземная прививка способна двинуть вперед Россию, что империя была создана выходцами из других стран, преимущественно из Германии, что Брюсы, Минихи, Остерманы были лучшими проводниками российской великодержавности, что сам Иван Грозный, подвыпивши, кичился не чисто русским происхождением.

Эта идеология рождала у некоторых пессимизм. Так, одно время сотрудничавший в «Возрождении» публицист Вейдле, изучивший истоки чуть ли не всех культур и тоже возводивший в культ понятие «европейской христианской цивилизации», приходил к выводу, что настала эра некоей третьей России, в корне отличной от первой, то есть допетровской Руси, и от второй, начинающейся с Петра, — России дворянской культуры. Третья Россия, говорил он, обрела, быть может, новую силу, но в плане культуры эта третья Россия — шаг назад, и с этим, увы, ничего не поделаешь.

Были в «Возрождении» и исключения. Рошин, например, который еще до меня вернулся на Родину и недавно скончался в Москве. Был Иван Лукаш, умерший до 22 июня 1941 года.

Лукаш родился в Петербурге и был сыном швейцара Академии художеств. Близость к памятникам культуры, к хранилищу классического искусства с детства наложила на него свою печать. Величие имперской столицы озарило его, и ему захотелось, чтобы вся Российская держава была столь же гармоничной и ясной, как фасады петербургских дворцов. Он сотворил себе идеал просвещенной и великой империи, объединяющей под знаменем Державина и Пушкина, Петра и Екатерины многие культуры и народы. В русском XVIII веке видел он зачатки этого «светлого царства». Монархия Александра III и Николая II, псевдонародничество и непримиримое православию представлялись ему попранием лучших имперских традиций. Поэтому молодым вольноопределяющимся Преображенского полка он радостно приветствовал Февральскую революцию. Но Октябрь показался ему хаосом, ниспровергающим в бездну все, что он лелеял и что вдохновляло его.

Писать он начал совсем молодым, еще в России, и многие предсказывали ему тогда большую будущность. Но в эмиграции его дарование уже не могло найти живительной почвы. Коренастый и круглолицый, чисто русской внешности человек, Иван Лукаш тоже уходил от действительности, от современной России, в мир призраков,

но искренне, любовно тосковал по родине и, чтобы тоску эту заглушить, погружался в поэтизацию прошлого. Он не принял революции, но муратовской ненависти к революции в нем не было. Он любил писать о веселой царице Елизавете, о суворовских гренадерах, о баталиях и пирах той поры, когда прорубившая в Европу окно молодая Россия впервые изумила и испугала высокомерный западный мир. Писания его были стилизацией, но не жеманно-утонченной, как у художников «Мира искусств», а крепкой, даже нарочито грубоватой по тону, стремившейся передать героизм русского крепостного мужика в пудре и треуголке, переходившего Чертов мост или штурмовавшего Измаил, и все же это было только стилизацией; чего-то непосредственного, действительно заветного не хватало в творчестве Лукаша. Он сам это чувствовал, и думается, что такое сознание разбудило бы его русское сердце в те грозные годы войны, когда только ослепшим и оглохшим вконец не открылось величие обновленной отчины.

Глава 6

ВЫСТРЕЛ ГОРГУЛОВА

Шестого мая 1932 года французский журналист, репортер «Возрождения» при парижской префектуре полиции, сообщил по телефону, что президент республики убит. Это произошло на торжественном открытии книжной выставки. Стрелял «какой-то иностранец»; он арестован, и личность его сейчас устанавливается в ближайшем полицейском комиссариате.

Я был тогда парламентским корреспондентом газеты и ведал вопросами, связанными с французской политикой. Через десять минут после этого звонка я уже подъезжал к комиссариату.

У входа встретил знакомого редактора большой французской газеты.

— Вот как! — сказал он, здороваясь со мной. — наших президентов решили убивать!..

Я взглянул на него в недоумении, но он ничего не добавил и поспешил к своей машине.

«Куп-филь» — специальный журналистский пропуск — открывает в Париже двери чуть ли не всех официальных учреждений. Я пошел вслед за другими журналистами и оказался в битком набитой комнате. Протиснулся и прямо перед собой увидел лицо, которое в то же мгновение врезалось мне в память на всю жизнь. Круглое, ноздреватое, в крови и в подтеках.

Что-то в этом лице мне показалось знакомым, странно привычным. Я никогда прежде не видел его, но я знал такие лица. В первую секунду я ощутил это еще смутно, но в следующую уже услышал голос человека с этим лицом. Он выговаривал французские слова с трудом. Однако я понял его сразу, и меня ужаснула мысль, что, вероятно, я один могу здесь так легко его понять. Да, в этой толпе французских журналистов и полицейских он был единственным моим соотечественником, таким же русским эмигрантом, как я!

Изуродованное русское лицо, русский выговор... А в глазах, едва видных из-под отеков, — мелькающая быстрыми вспышками глупая, безумная, жуткая гордость.

Крепко избитый при аресте, еще в угаре только что совершенного им злодеяния, Павел Горгулов высказывал свое политическое кредо, найдя наконец аудиторию, жадно ловящую каждое его слово.

Он стрелял в президента Поля Думера не из личной вражды. Своим поступком хотел разбудить совесть мира, стрелял, чтобы протестовать против сношений Франции с Советами. Стрелял из ненависти к большевикам, во имя России.

Все это он то выкрикивал, то бормотал, обводя нас мутным взглядом. Выше ростом державших его полицейских, он стоял передо мной, словно какое-то чудовище, грозно и неутомимо наседающее на всех нас, слушающих его в оцепенении.

— Это ужасно! Ужасно! — говорил я, спускаясь по лестнице, приятелю — французскому журналисту.

И тот сразу понял, что именно ужасало меня больше всего.

В этот майский вечер в русском Париже царило смятение. Ожидали самого худшего: разгрома русских магазинов и ресторанов, избития русских эмигрантов на заводах, взрыва негодования против всех нас.

Ничего этого не произошло. Кровавое горгуловское вмешательство во французские внутренние дела возмущало и самых убежденных противников малопопулярного президента. Однако французский рабочий понимал, что Иван Петров или Петр Иванов, с которыми он каждый день встречается у станка, неповинны в убийстве Думера.

Но моральная ответственность верхов эмиграции за выстрел Горгулова была несомненной. Этот выстрел лишь доводил до абсурда, до сумасбродства совершенно определенную политическую идеологию: «Большевизм — величайшее зло, и всякий, кто поддерживает сношения с большевиками, — их сообщник». Не только «Возрождение», но и Керенский за десять дней до этого славили Штерна, стрелявшего в Москве в германского дипломата фон Твардовского, и объявляли его поступок пламенным протестом во имя России.

Когда я вернулся в «Возрождение», там уже знали, что в президента стрелял русский эмигрант. Телефонистка плакала, машинистки дрожали от страха. Я быстро пошел в редакторский кабинет, где вокруг Гукасова и Семенова собрались главные сотрудники. Меня ждали с нетерпением.

— Ну что? Как? Что он говорит? — слышалось со всех сторон.

Мой рассказ произвел потрясающее впечатление. Все долго молчали в полной растерянности. Гукасов побледнел, Семенов раскрыл рот и так и не нашелся, что сказать. Лишь Ольденбург остался невозмутим. Тербя бородку, он первый заговорил своим тоненьким голосом:

— Интересно бы знать, как к этому отнесутся большевики.

— Что значит «как отнесутся»? Да это они все устроили! Чтобы посеять смуту и спровоцировать французов против нас! Горгулов — большевистский агент!

Это произнес звучным басом, апоплексически покраснев, видный возрожденческий журналист, которого я еще не упоминал, Н. Чебышев, бывший прокурор Московской судебной палаты и бывший ближайший сотрудник Врангеля.

Из всех возрожденцев этот грузный, осанистый человек был, пожалуй, самым пылким приверженцем «белой идеи», то есть тех настроений, которые двинули в бой первые корниловские полки. Гукасов и Семенов любили толковать о «конъюнктуре». Чебышев же был цельной натурой и потому откровенно гордился тем, что рассуждает, как юнкер в 1918 году.

Способный, даже талантливый (в особенности как оратор), но непримиримый ко всему, что шло вразрез с его умонастроением, он считался самодуром, при этом самого бурного темперамента. Рассказывали, что он в бытность московским прокурором, поспорив у себя на званом обеде с неким деятелем юстиции, запустил в него жареной индейкой.

Я стал возражать Чебышеву. Сказал, что после того, как я видел и слышал Горгулова, у меня не могло быть сомнений в его искренности.

Чебышев покраснел еще больше, скомкал газету, швырнул ее на пол и, повысив голос, прочел мне нравоучение, обвиняя меня в недопустимой наивности, извиняемой только тем, что я не успел ознакомиться со всеми «чекистскими вывертами».

Заключение вынес Гукасов, все еще бледный от пережитого волнения, но которого слова Чебышева несколько ободрили:

— Да, будет очень эффектно, если нам удастся доказать, что он действительно большевик!

Во всех странах мира верхи эмиграции — от монархистов до эсеров — провозгласили Штерна героем и с тем же единодушием отреклись от Горгулова.

Мысль Чебышева, вероятно, покажется читателю бредом маниака. Убийца вопит о своей ненависти к новому строю в России, этой ненавистью пытается оправдать совершенное им преступление, а Чебышев на это с хитрой улыбкой: «Враки! Перед вами самый настоящий большевик».

Чебышеву страшно узнать себя в Горгулове. А потому на его бред он отвечает тоже бредом. Но ни тому, ни другому не выйти из порочного круга. Бред у них одинаковый: эмигрантский, порожденный ненавистью и собственным унижением.

Все так! Однако в этот же день та же мысль, что и Чебышеву, Гукасову и Семёнову, пришла еще нескольким лицам, которые высказали ее на весь мир.

То не были эмигранты, потерявшие родину. Унижения они не познали. Память о корниловской «белой идее» и Добровольческой армии никак не волновала их, а к последним представителям этой армии они относились с высокомерием, как к побежденным. Они не бедствовали, как Чебышев, на гукасовских хлебах, а кормились от воротил, для которых сам Гукасов был мелкой сошкой, давно занимали высокие посты и пользовались репутацией очень способных, ловких и цепких политических дельцов.

Примерно в то же время, что и в «Возрождении», состоялось еще одно совещание, посвященное Горгулову. В нем участвовали премьер-министр Франции Андрэ Тардьё, министр юстиции Поль Рейно, префект полиции Кьяп и еще некоторые сановники буржуазной республики. Министра труда Пьера Лавалья не было среди них, но с ним, конечно, советовались, так как он в те годы чередовался на посту премьера со своим единомышленником Тардьё и был вторым лицом в его кабинете. Согласно сообщению министерства внутренних дел, это совещание установило, что Горгулов не состоял в связи с русскими эмигрантскими кругами и являлся... агентом Коминтерна.

Чебышев ликовал, хвалясь своей проницательностью. Гукасов потирал руки от удовольствия. «Возрождение» могло обвинять в совершенном злодеянии большевиков, ссылаясь на официальный французский источник.

Чем же объясняется такое правительственное сообщение, которое, как стало известно в кулуарах парламента, было составлено самим премьер-министром, пояснившим при этом своим коллегам по кабинету, что сведения о принадлежности Горгулова к «агентуре Коминтерна» получены им от префекта полиции?

Андрэ Тардьё был любопытной, в известном смысле даже эффектной фигурой. Такие крупные деятели, как Клемансо, Пуанкаре, Бриан, считали его своим самым одаренным сотрудником, восходящей звездой первой величины. Помню его выступление в сенате в качестве министра земледелия. Тардьё только что был назначен на этот пост и никогда до того (так часто бывает во Франции) не имел прямого касательства к сельскому хозяйству. Говорил он чуть ли не два часа о зерне, о картофеле, и, хотя доклад его был сугубо техническим, сенаторы, публика, журналисты (я в том числе) прямо заслушались. Любой вопрос он умел излагать с блеском, как бы жонглируя своим мастерством. Но, кроме «блеска и многогранности», деятельность Тардьё была отмечена темными биржевыми махинациями. А в общем, этот политик с очень длинными зубами (в буквальном смысле и в переносном — поэтому карикатуристы часто его изображали акулой), последовательный и закоренелый реакционер, желавший разрыва с Советским правительством, был прежде всего именно жонглером, своего рода политическим фокусником, не останавливающимся ни перед какими «подтасовками». Он, например (я не раз слышал это в кулуарах палаты), не гнушался платными услугами мускулистых парней крайне мрачного вида, обязанность которых состояла в том, чтобы подходить к нему во время предвыборных собраний и со зловещими угрозами и самыми страшными ругательствами подставлять кулак к его лицу: выборщики могли при этом любоваться олимпийским спокойствием, которое сохранял Тардьё в «минуту опасности».

В период, о котором идет речь, положение Тардьё сильно поколебалось. Своими диктаторскими замашками, покрикиванием с трибуны на депутатов он вызвал недовольство даже единомышленников; французские буржуазные парламентарии очень не любят, чтобы с ними публично обращались, как с мальчишками. Но главное — страна левела. В мае 1932 года происходили выборы новой палаты. Первый тур принес несомненный успех «левому картелю». В окончательном исходе выборов как будто не приходилось сомневаться. Но за два дня до второго тура прогремели выстрелы Горгулова — как нельзя более кстати для Тардьё и для главного его помощника по борьбе с коммунизмом, пронрыливого и на все готового Кьяпа. Настолько кстати, что уже тогда ставился вопрос, не было ли горгуловское преступление организовано французской тайной полицией. Горгулов стрелял «во имя России», но услугу он оказывал француз-

ской и международной реакции, точно так же, как по мере своих сил старались помочь ей эмигрантские активисты вроде Чебышева и за ним стоявшего Гукасова. Но план Тардые и Кьяпа не удался: страна не поверила сообщению министерства внутренних дел. Второй тур голосования подтвердил результаты первого. Выстрелы Горгулова не помогли Тардые ни удержаться у власти, ни вызвать разрыв франко-советских отношений.

Тут, однако, произошел небольшой и довольно комический эпизод, о котором я расскажу по личным воспоминаниям.

Покидая Елисейский дворец (резиденцию французских президентов), куда он приходил поклониться праху Поля Думера, бывший президент республики Мильеран сделал журналистам заявление, которое было передано так, будто он доподлинно знает, что Горгулов — агент Коминтерна.

Новое ликование Чебышева, в котором всюду разыгрался его прокурорский задор. Гукасов высказывает надежду, что «после этого» газета уже не будет приносить убытков. Но что в точности знает Мильеран? Еду к бывшему президенту.

Некогда прогремевший на весь мир социалистический лидер, затем первый социалист, вошедший в буржуазный кабинет, где его коллегой оказался палач коммунаров генерал Галифе, адвокат с миллионными гонорарами, после первой мировой войны премьер-министр, признавший власть Врангеля, наконец, президент, ярый враг коммунизма, Мильеран отошел после своей вынужденной отставки в 1924 году на второй план. Он был сенатором, но политической роли не играл, лишь изредка выступая публично, преимущественно с антисоветскими заявлениями.

Я не знал его лично, но не сомневался, что он примет представителя «Возрождения».

Доступ к бывшему главе государства не был обставлен никаким этикетом. Этот богатейший человек снимал буржуазную квартиру средней руки (он был, по-видимому, скуповат). Лакей во фраке провел меня в гостиную, куда менее пышную, чем у других знаменитых адвокатов. Не прошло и минуты, как ко мне вышел сам хозяин.

Согнутый, уже очень старый, но крепкий, коренастый, с живым взглядом из-под густых нависших бровей и с щетинистыми белыми волосами, зачесанными под гребенку. В общем, тот самый Мильеран, облик которого тогда еще был известен чуть ли не каждому жителю Франции.

Я был уже достаточно поражен той рекордной поспешностью, с какой он меня принял. Но удивление мое возросло, когда я с ясностью прочел на его лице самое непосредственное, прямо-таки жадное любопытство.

— Ах, как я рад вашему посещению! — были первые его слова. — Скажите же мне скорей, кто такой этот Горгулов?

— Я как раз к вам пришел, господин президент, чтобы узнать об этом, — отвечал я. — Судя по вашему заявлению, вам известно, что Горгулов — агент Коминтерна. Нам очень хотелось бы услышать от вас об этом подробнее.

Мильеран развел руками.

— Я никогда не делал таких заявлений, — пояснил он, сильно разочарованный. — Опять газеты все перепутали! Я просто повторил сообщение министерства внутренних дел...

Затем он усадил меня рядом с собой на диван и стал долго расспрашивать об убийце своего преемника. Разочарование его росло по мере того, как я говорил ему, что мы никакими сведениями о принадлежности Горгулова к Коминтерну не располагаем.

Итак, надежда на Мильерана не оправдалась. Вскоре пришло к власти правительство Эррио. Продиктованное Тардые сообщение было признано следственными органами абсолютно голословным и вошло в историю этих лет как чисто пропагандистский предвыборный маневр. Даже правая французская печать не настаивала, что Горгулов — «агент Коминтерна». Молчало на эту тему и «Возрождение». Но Чебышев, поддерживаемый Гукасовым и Семеновым, продолжал упорствовать: «Я докажу это, умру, но докажу».

Горгулова судили три дня. Я сохранил об этом процессе тягостное воспоминание. В торжественной обстановке, перед судьями в красных мантиях, обращаясь к присяжным, которые глядели на него с выпученными от изумления глазами, Горгулов выкрикивал все тот же бред. Размахивая руками, бия себя в грудь, заявлял, что своим выстрелом хотел спасти Россию и Европу от большевиков.

Но ужаснее всего было сознание, что жизненный путь этого человека типичен для многих эмигрантов. Илья Эренбург в свое время хорошо подметил эту особенность его показаний.

...Казак из Лабинской, сын кулака, врангелевец. В Праге окончил медицинский факультет, но как иностранец не получил разрешения на практику. Перебрался во Францию. В парижском пригороде тайно лечил русских от венерических болезней. Обуреваемый тщеславием, окунулся в эмигрантскую политику. Сначала объявлял себя социалистом, затем фашистом особой масти: «зеленым». Образовал из нескольких человек «национальную крестьянскую партию» с такой эмблемой: сосна, две косы и череп. Сотрудничал в очередном эмигрантском листке под названием «Набат». Но вождем его не признали, и выступления его встречались насмешками. Вообразил себя поэтом, однако и стихи его не имели успеха. Стал впадать в ипохондрию и в письме к Куприну объявлял себя всего-навсего «одиноким одичавшим скифом». Из Франции его в конце концов выслали за нелегальную медицинскую практику. Это его возмутило. На суде при обсуждении вопроса о его вменяемости было указано, что он болен сифилисом. В ответ Горгулов закричал: «Я не только сифилитик, но и хороший специалист по сифилису». Из Парижа перебрался в Монако и там сразу же проиграл в рулетку все привезенные деньги. Писал одному из своих друзей, что в нем осталось только одно чувство — жажда мести. Жажда мести большевикам, из-за которых он вынужден влачить жалкое существование на чужбине, жажда мести всему заграничному миру, где ему нет хода. Жажда мести и мания величия от сознания собственного унижения. Желание прославиться любой ценой, «всех наказать». Помышляет убить полпреда Довгалецкого, затем намечает жертвой английского короля, наконец, оставившись на Думере. С этой целью нелегально возвращается в Париж. Беспрепятственно (каким образом, это так и осталось невыясненным) проникает на выставку, куда должен прибыть президент. Стреляет несколько раз в упор. А затем сцена в комиссарияте: «Я это сделал во имя России».

После свершившегося у него нашли тетрадь с такой надписью: «Доктор Павел Горгулов, глава русских фашистов, убивший президента Французской республики».

Горгулова защищал знаменитый адвокат Жеро. Он доказывал, что убийца невменяем. Вызванные им три профессора-психиатра, три светила науки, подтвердили невменяемость в один голос. Но три других профессора, тоже светила науки, вызванные прокурором, заявили так же категорически, что Горгулов вполне вменяем.

Что было делать присяжным?

Прокурор привел такой довод: он, представитель обвинения, «защитник интересов общества», назначил экспертов без предвзятой мысли — если бы они признали Горгулова сумасшедшим, он прекратил бы дело. Обществу незачем карать умалишенного, а сумасшествие было бы для всех самым простым объяснением этого преступления. Другое дело защитник: он мог (да это и был его долг) вызвать в суд лишь тех экспертов, которые подтверждали версию невменяемости.

Суд вынес смертный приговор.

Слушая адвоката Жеро, я вспоминал другого его подзащитного, тоже маньяка, которого французская реакция использовала некогда для страшного злодеяния.

В начале двадцатых годов я познакомился в Данциге, у рулеточного стола, с французом. Это был человек молодой, довольно приятной, хоть и маловыразительной наружности, который производил какое-то странное впечатление. Просиживал очень долго в казино, играл по маленькой, крайне расчетливо, был мало общителен и угрюм. Среди немецкой толпы он, видимо, обрадовался мне, как человеку, с которым можно объясняться на родном языке. Впрочем, был скуп на слова, крутил усики и преимущественно высказывал соображения весьма банального свойства — о том, например, как мало шансов, чтобы шарик остановился несколько раз подряд на том же номере.

Я собирался переехать в Париж и расспрашивал его о Франции. Он отвечал неохотно и неопределенно. А когда я заговорил о минувшей войне, он снова пустился в рассуждения о теории вероятности в применении к рулетке.

Как-то, после недельного знакомства, за рюмкой коньяку, он стал рассказывать о себе, рассказывать вяло, скучающим тоном, очевидно решив, что мне, как «жертве социалистической революции», это рассказывать безопасно.

Сказал, что он Виллен — убийца Жореса. Всю войну просидел в тюрьме, так как его решили судить, когда «утихнут страсти». Суд признал его не вполне вменяемым и выпустил из тюрьмы. Вот он и поехал за границу проветриться...

Я несколько раз встречал его впоследствии в Париже. Он занимался какими-то мелкими делами, был, кажется, страховым агентом, а может быть, торговым представителем. Помогали ему родственники, но главным образом монархическая организация «Аксион Франсэз». Говорил, что хочет жениться, но никак не может подыскать невесту с приличным приданым — именно с приличным, не больше: о крупном ему нечего и мечтать. В общем, это был типичный средний буржуа.

Как-то он мне сказал:

— Не люблю парижских пригородов. Всюду — проспект или улица Жореса!..

Горгулову отрубили голову. Я не был на казни. Смотреть на это страшное зрелище пошел Чебышев. Он все еще рассчитывал, что Горгулов объявит себя в последнюю минуту большевиком. После казни явился в редакцию совершенно потрясенный.

— Это кошмар! — говорил он. — Под ножом гильотины Горгулов кричал, что убил во имя России, из ненависти к большевикам.

Что-то надорвалось в Чебышеве. Несколько дней он ходил сам не свой. Затем успокоился и придумал новый вариант: Горгулов, мол, был бессознательным агентом большевиков.

Глава 7

В ЕДИНОМ ЛАГЕРЕ

Нудная и беспощадная эмигрантская грызня... Порождением этой грызни да страшной безысходности на чужбине был и казацкий сын Павел Горгулов и светлейший князь Михаил Горчаков, внук канцлера, вероятно и ныне мечтающий обуздать всех инакомыслящих в эмиграции. Я знал его хорошо, бывал в его доме, и мы полусерьезно, полусерьезно ругали друг друга не раз. Этот Горчаков, мужчина истерически-бурного темперамента, хронически пребывал в состоянии нервной экзальтации. Он не читал ни одной советской газеты, ни одной книги, изданной в СССР, крепко уверив себя в том, что русский народ жаждет возвращения Романовых. Главными врагами Горчаков считал «жидо-масонов»: они организовали революции — Февральскую и Октябрьскую, они заставили иностранные правительства признать СССР, они руководят в эмиграции всеми группами, органами печати, объединениями, которые стоят за «проклятую демократию», то есть за Милюкова, Керенского, против монархистов. К «жидо-масонам» он причислял и архиереев, не отрекшихся публично от Московской Патриархии, и бывшего царского премьера графа Коковцова просто потому, что тот был не склонен упрощать все политические вопросы до его, горчаковского, уровня, и «младороссов», потому что они читали советские газеты, и самого «царя Кирилла», который соглашался править вместе с какими-то «совдепами», и «Возрождение», в котором, кстати, было действительно много масонов.

Я предвижу, что советский читатель будет несколько удивлен моими упоминаниями о масонстве. Но дело в том, что орден «вольных каменщиков» (я состоял в нем несколько лет) действительно получил в эмиграции широкое распространение. Тут сыграли роль и культ старины — торжественный церемониал давал иллюзию, позволяющую забыть хоть на миг убожество всего эмигрантского существования, — и возможность вообразить во время масонских радений, что ты на равной ноге с хозяевами: французскими парламентариями, журналистами, чиновниками.

В контакте с антисемитскими иностранными организациями под высшим руководством пресловутого Маркова-второго, старого думского хулигана, недурно устроившегося в Берлине при каком-то отделе антисоветской пропаганды, Горчаков издавал в Париже монархический журнальчик «Двуглавый орел», где отводил целые страницы печатанию списков русских масонов, в которых видел изменников и предателей. Он ничем не гнушался для пополнения своей информации: подкупал прислугу лиц, подозреваемых им в масонстве, с тем чтобы получить какой-нибудь выкраденный документ, а когда узнавал об очередном масонском собрании, сам отправлялся туда и часами, даже в проливной дождь, выстаивал перед входом с записной книжкой в руке. Раз при этом произошёл такой обмен репликами. Увидя выходящего из масонского помещения князя Вяземского, Горчаков крикнул ему:

— Позор! Рюриковичи — масоны!

На что Вяземский ответил:

— Нет, позор, что рюриковичи — шпионы!

Горчаков всюду шумел, скандалил, стыдил инакомыслящих. Его ругали, гнали, кто-то вызвал светлейшего князя на дуэль, кто-то попросту надавал ему пинков. В общем, мало кто к нему относился серьезно. Однако это не вывело Горчакова из себя, он был маньяком, но маньяком комическим, а не трагическим, как Горгулов.

На другом полюсе парижской эмиграции стоял в ту пору тоже маньяк: желтый, длиннолицый, с отвислым носом и короткими, прямо стоящими волосами. Появлялся раз в месяц на публичных собраниях, которые он устраивал, чтобы доставить себе удовольствие поговорить (с выкриками, обильной жестикуляцией, ерошением волос) перед какой бы то ни было аудиторией. То был Керенский. Он вопил, что в Советском Союзе голод, что народ, великий русский народ, жаждет избавления от большевиков, жаждет возвращения «февральских свобод». Топал ногами, проклинал Советскую власть и столь же яростно тех монархистов, корниловцев, которые в свое время мешали ему «довести благополучно страну до Учредительного собрания». После него слово брали два главных его сторонника, эсеровские начетчики Самсон Соловейчик и Марк Вишняк, которые говорили то же, что их шеф, но в тоне более «деловом», ссылаясь преимущественно на самокритику в советской печати да на какую-то информацию, полученную «негласным путем».

Горчаков и Керенский на фоне горгуловской тени!.. Эти два человека публично обливали друг друга помоями. Но вот как-то одно из своих выступлений Керенский посвятил историческому экскурсу: почему ему, Керенскому, не удалось спасти, то есть переправить вовремя за границу, отрекшегося царя. Керенский винил Ллойд-Джорджа, сначала пригласившего Николая II в Англию, а затем под влиянием общественного мнения переставшего «настаивать» на этом приглашении. О самом же Николае II (кстати, тоже похвалившем Керенского в своем дневнике) Керенский отозвался уважительно.

Выступление бывшего «премьера на час» умилило Горчакова. Писатель Алданов решил этим воспользоваться. Этот весьма обходительный в личных сношениях человек кокетничал тем, что умеет относиться ко всем взглядам терпимо и смаковать людей и события, как гурман, любящий особо пряные, пикантные кушанья.

И вот Алданов (по происхождению — еврей, его настоящая фамилия Ландау) позвал к себе на обед яркого погромщика Горчакова, Керенского, еще какого-то эсера и гитлеровского поклонника Муратова из «Возрождения». Вторая мировая война была уже не за горами. Горчаков и Муратов уповали на эсэсовцев и самураев, Керенский же и его эсеры — на «западные демократии». Но на этом обеде они пришли к одному знаменателю, обьявив, что спор между старым миром и коммунизмом будет решаться железом и кровью и, как бы ни развивалась будущая война, в результате ее советский строй рухнет непременно. Выпили за скорейшее исполнение столь радужного прогноза, а затем долго перешучивались на тему о том, как приятно, вдоволь поругавшись публично, найти за вкусным обедом общий язык.

Масонство не играет руководящей политической роли ни во Франции, ни в других капиталистических странах. Но его стройная замкнутая организация часто используется теми или иными буржуазными кругами и партиями. Русское же масонство

в Париже являлось в тридцатых годах как бы синтезом различных эмигрантских течений, попыткой объединить эмиграцию.

Русские масоны обосновались в небольшом особняке с садиком в тихом архибуржуазном квартале Отей. В этом особнячке «братья» находили клубный уют: большую библиотеку, столы для бриджа в комнатах, украшенных старинными русскими масонскими реликвиями, оживленные товарищеские обеды, возможность устраивать разные дела путем знакомства с нужными лицами.

Царил в этом особняке руководитель русского масонства, полновластно распоряжавшийся с высоты председательского кресла в собрании русских «верховных князей королевской тайны» (так именуются масоны 32-го градуса), старорежимный вице-консул в Париже Кандауров Леонтий Дмитриевич.

Кандауров умер в середине тридцатых годов. В антибольшевистской акции он играл немалую роль. Несомненно, что он был одарен изворотливым, острым и достаточно циничным умом. Как-то в своем кабинете, увешанном масонскими лентами всех градусов, он поведал мне кое-что о своих взглядах.

— Понимаете ли вы, — спросил он меня, — такую истину: если бы в каждом уездном городе старой России работала масонская ложа, то и революция не произошла бы? — Почему вы думаете?

— А потому, — отвечал Кандауров, — что во всякой уездной ложе помещики, офицеры, купцы, земские врачи, учителя, то есть дворяне, капиталисты и интеллигенты, одним словом, правые и левые в тогдашнем толковании, относились бы друг к другу терпимо, находили бы общий язык, а значиг, могли бы образовать общий сплоченный фронт. Против кого? «Против народа!» — скажут большевики. — Кандауров хлопнул себя ладонью по тучному колену и захохотал. — Ну и пусть они говорят, а мы скажем: против революции, то есть против бунтарства, против пугачевщины, против всего, что обрушилось на нас. Вот здесь, в наших ложах, я насаждаю это самое единство, общий язык, — в этом наша сила. С большевизмом надо бороться не криком, не огульной критикой, а сплоченностью, сознанием общности интересов. Надо уметь быть гибким. Я пускаю в ложах такую мысль: некоторые социальные завоевания революции можно и признать — это не страшно, но надо при этом сохранить лазейку, при которой мы оставались бы всегда тем, что мы есть. Ну, скажем, примат духовного начала. Борьба с материализмом — это ведь очень широкое понятие, которое можно применять по самым различным поводам. А пока что объединимся. Для этого хороши и храм Соломонов, и стальной свод, и ленты с черепами на изнанке, и наши агапы. Вы видели, как добросовестно какой-нибудь бородатый дядя, адвокат, а то и профессор стучит в ложе бутафорским молотком? В людях ведь много ребячества... А наши достижения уже сейчас немалы. Масонство стало цементом, связывающим воедино эмигрантские силы. А кроме того, русских высокоградусных масонов знают где следует — там, где творится мировая политика. Это может очень пригодиться, так как рано или поздно судьбы человечества будут вновь решаться в громе орудий.

Но он обманывался, как обманывались иллюзиями и другие политики от масонства. «Цемент» оказывался некрепким. Масонские иллюзии чахли за стеною «храма». Реальная жизнь с ее противоречиями разбивала кандауровскую концепцию...

Глава 8

ПЕРЕД РОКОВЫМ ЧАСОМ

Эмиграция ведь потому и была эмиграцией, что не приняла революции.

И вот в Испании вспыхивает длительная война. Эта война воспринимается всюду как событие мирового значения, как борьба двух начал, как схватка между старым миром и новым. Гитлер и Муссолини открыто поддерживают Франко. Германские и итальянские фашистские части отправляются в Испанию, одновременно из самых различных стран туда же едут добровольцы, чтобы поступить в интернациональные бригады, которые вместе с испанскими демократами борются против фашизма. На страницах печати, на всевозможных собраниях вожаки эмиграции кадят Франко, заявляют,

что он продолжает дело Корнилова и Врангеля, что вся русская эмиграция желает ему успеха и готова ему помочь.

Логика на их стороне. Логика, но не факты. Да, русская эмиграция почти целиком детище белых армий. Да, испанские генералы совершают у себя то же дело, которое не удалось русским белым генералам. Но вот русские эмигранты, поклонники Франко, от слов перешедшие к делу, исчисляются единицами. Поехали к Франко казачий генерал Калинин, которому надоело работать в Париже у станка, еще несколько человек, и все! А число русских эмигрантов, поступивших в интернациональные бригады и в их рядах проливавших свою кровь за демократию, против фашизма, против Франко, продолжающего дело Корнилова и Врангеля, против Гитлера и Муссолини, — число таких эмигрантов, некогда покинувших родину как раз потому, что они отказывались тогда принять демократию и социализм, достигает нескольких сотен.

— Черт знает что! — изумлялся Гукасов. — Думаю, думаю и никак не пойму, как это могло случиться. Русские эмигранты, а сражаются за революцию.

Да, сражались за это дело и умирали за него.

Подвиг их ожидает еще своего историографа. Некоторые из этих людей сейчас в Советском Союзе: Н. Н. Роллер, который работает в Москве (гардемарин старого флота, получивший в интернациональных бригадах звание лейтенанта испанской республиканской армии), товарищи его Д. Г. Смирягин и Г. В. Шибанов (тоже бывшие гардемарины), П. П. Пелехин, А. В. Эйсер, К. В. Хенкин, сражавшийся против Франко в партизанских отрядах, и другие.

Пал в Испании за демократию бывший царский артиллерийский офицер Глинаевский. Пал геройской смертью русский эмигрант Лидле, работавший в Париже шофером такси и потом занимавший в интернациональной бригаде должность комиссара. Республиканская Испания почтила его память, выбив золотую медаль и послав ее затем в Париж для передачи через Всеобщую конфедерацию труда его дочери. Вместе с этими людьми пали многие другие, которых я не знал, подвиг которых мне тогда не был понятен и перед чьей памятью я преклоняюсь теперь.

В «Общевоинском союзе» старые генералы буквально рвали на себе волосы.

— Какой стыд! А мы-то столько лет уверяли наших иностранных единомышленников, что можем в любой момент выставить целую армию кадровых офицеров!..

Отметим знаменательное явление: уже давно в эмигрантских «низах», то есть среди трудовой эмиграции, начали проявляться настроения, совсем не соответствующие идеологии белых генералов и «Возрождения». Пока эмигрант ощущал себя прежде всего представителем того класса, к которому он принадлежал в России, лишь «временно», в силу обстоятельств, начавшим во Франции трудовую жизнь, — он мыслил не как член своего трудового коллектива, а как бывший участник белого движения и в соответствии с этим ревностно посещал «Союз галлиполийцев» или «Объединение первоходников». Но вот в 1936 году торжество Народного фронта на выборах всколыхнуло всю Францию. Трудящиеся добились некоторого улучшения своей участи. Русские рабочие во Франции тоже выиграли от этого, но в массе своей все еще оставались в стороне от движения, охватившего их французских товарищей. Работая у станка, бывший корниловский офицер мыслил примерно так: «Очень хорошо, отныне я буду пользоваться оплачиваемым отпуском, социальным страхованием. И очень хорошо, что все это произошло без моего участия в стачках и демонстрациях. Не действовать же мне заодно с пролетариями!» Но он мог так рассуждать лишь потому, что за его кровные интересы боролись другие.

А вот как он поступил, когда жизнь заставила его выбрать между коренной своей идеологией белогвардейца и своими же насущными потребностями трудящегося.

Коллектив наборщиков и типографских рабочих «Возрождения» состоял в большинстве своем из бывших белых офицеров, среди которых были и самые махровые зубры. Рожденное Народным фронтом новое законодательство предоставляло им более высокую зарплату и обязывало работодателя заключать с ними коллективный договор.

Ознакомившись с текстом нового закона, Гукасов заявил категорически:

— Я своей пишушей братии плачу по самому низкому тарифу, и она покоряется. Ясное дело: я терплю убытки во имя России, пусть терпят и господа журналисты! Ведь

они считают себя не меньшими патриотами, чем я!.. Все это относится и к наборщикам.

Как того и желал Гукасов, слова эти немедленно дошли до наборщиков. Однако ожидаемого действия не возымели. Весь персонал типографии, обслуживавшей «Возрождение», потребовал от Гукасова коллективного договора по новым ставкам.

Ошеломленный Гукасов велел вызвать к себе для переговоров «самого благонадежного» из наборщиков. Таковым почитался туповатый и угрюмый человек, ярый белогвардеец, единомышленник Горчакова.

На зов Гукасова этот наборщик, однако, не явился, а посланцу заявил:

— Не понимаю, при чем тут всякие идеи... Закон есть закон. Пусть платит больше, и все! А коли нет, ну его к лешему!

Гукасов в ответ холодно объявил:

— Ах, так! Ни одного сантима больше я тратить не стану. И без того уже понес достаточно жертв для возрождения России. Подчиняюсь закону, но газета из ежедневной станет еженедельной.

Гукасовское решение привело в ужас Семенова.

— Не все еще потеряно,— сказал он Гукасову.— Я переговорю с Рождественским — его «мальчики» все устроят.

Рождественский был тогда одним из вожakov уже упомянутого мной «Национально-трудового союза нового поколения». Собрав членов редакции, Семенов объявил им, что «нацмальчики» по его просьбе и «во имя общего дела», конечно, выделят из своей среды трех-четыре человека, которые, как ему, Семенову, известно, или уже работают где-то наборщиками, или обучаются этому ремеслу и, значит, могут как-то заменить «предателей» из типографии.

Среди сорокалетних «мальчиков» своего союза Рождественский пользовался в мое время репутацией расторопного организатора, крепко державшего в руках эту «молодую эмигрантскую смену». Рождественский мечтал: малейший удар извне — советский строй рассыплется, как карточный домик, и к власти придут те эмигранты, которые, как он, Рождественский, остались до конца верными «белой идее». С Семеновым они в политическом плане сжились, так сказать, душа в душу.

Но и вмешательство Рождественского не помогло. На другой день он явился к Семенову и деловито принялся ему объяснять, что члены организации живут на заработок, которым не могут рисковать, и что, следовательно, жертву надлежит принести Гукасову. Но Гукасов на жертву не пошел: «Возрождение» стало выходить раз в неделю. Так в результате победы Народного фронта на выборах во французский парламент руками самих же белых эмигрантов был нанесен серьезный удар «белой идее» в лице самого крупного ее печатного органа.

Как видно, даже эмигрантские активисты очень дорожили «чечевичной похлебкой».

Однако с первых же лет эмиграции в ее среде появились люди, которые сумели порвать с прошлым, слиться со своим новым классом и жить мечтой о возвращении домой, о родине, не мифической, старого образца, а о реальной родине сегодняшнего дня, которую они старались понять, чтобы послужить ей. Люди эти хлопотали о советском паспорте, образовали «Союз возвращения на родину» и ждали часа, когда их упования сбудутся. Вначале их было мало, но в конце тридцатых годов в одном Париже уже объединилось до четырехсот «возвращенцев», а во всей Франции — более тысячи, причем в их число входило много некогда мобилизованных в белую армию простых русских людей. Из среды «возвращенцев» и вышло подавляющее число русских эмигрантов — бойцов интернациональных бригад. Поехали в Испанию, чтобы сражаться против международного фашизма, который угрожал их родине. То были самые решительные, самые смелые и раньше всех прозревшие сыны России, волей судьбы оказавшиеся в изгнании. Именно волей судьбы, так как, кроме насильно мобилизованных и эвакуированных, очень многие из них либо выехали детьми за границу вместе с родителями, либо, участвуя некогда в «белом движении», были тогда в политическом отношении совершенными детьми (юнкера, гардемарины).

В своей решимости они были одиночками в эмигрантской массе. Но многие тревожные для эмигрантских «верхов» настроения распространялись и в широких кругах эмиграции.

— ...Весь день ходил по советскому павильону. Вы ведь знаете, я непримирим к большевикам, но, право, это едва ли не самый интересный павильон. И как все эффектно, нарядно! Скажу вам откровенно, мне было приятно, что французы валом валят туда. И долго так все рассматривают, похваливая. Право, очень уж глупо пишет «Возрождение», что все там показанное — блеф. А скульптурная группа над зданием! Юноша и девушка в таком стремительном, победном порыве! Поразительно! Кажется, автор — женщина, Мухина, что ли?

— ...Нет, лучше этого быть ничего не может! Я говорю о Красноармейском ансамбле песни и пляски Александра. Самое замечательное из всех артистических выступлений по случаю Международной выставки! Весь зал всколыхнуло. А мы, русские, так прямо плакали. Почти что навзрыд! И теперь, как соберемся вместе, напеваем «Полюшко». Ведь вся Россия в этой песне — и старая и новая! Вся русская слава! Знакомые французы нам говорили в антракте: «Мы понимаем ваши чувства, мы бы на вашем месте тоже гордились».

— ...Нет, нет, самый лучший фильм за всю эту четверть века — «Броненосец «Потемкин». Конечно! А самый лучший роман — «Тихий Дон».

Это — тоска по Родине.

А вот отъезд Куприна, Билибина, да и еще десятков других эмигрантов, менее известных, это уже — тяга на Родину.

— ...Идут впереди меня по бульвару двое русских. Слышу, один говорит другому: «А я послезавтра обратно в Москву!» Значит, советские... Вы знаете, мне вдруг так завидно стало, ну прямо до отчаяния, до боли!

Но тяга на Родину не могла развиваться потому, что густая сеть эмигрантских организаций, все равно «правых» или «левых», всасывала в свою орбиту рядового эмигранта. Этот рядовой эмигрант верил далеко не всему, что писали «Возрождение» и «Последние новости», но кое-чему все же верил и потому не смел порвать с эмигрантскими «авторитетами», а когда порывал, то чаще всего уходил лишь в обывательщину. Однако и у него бывали проблески смутного патриотического сознания.

— ...А здорово наши выпали японцам у Хасана! Слава богу, отомстили за Мукден!

— ...Эх, ничего мы не знаем, что творится на родине. А там, может, великая сила народилась.

В общем, два течения ясно обозначились в эмиграции накануне второй мировой войны. Первое находило, пожалуй, наиболее точное выражение в словах уже упомянутого мной профессора генерала Головина, человека способного, написавшего неплохие книги о старой русской армии, но не в меру самоуверенного и без особых оснований почитавшего себя искуснейшим политиком.

Публично и в частных беседах Головин говорил так:

«Советская Россия слаба — это аксиома. А другая аксиома: гитлеровская Германия — могучая, несокрушимая сила. Трезвый политик должен сделать соответствующий вывод из этих аксиом».

Вот с грохотом падает водопад. Челн дикаря, возмечтавшего побороть стихию, низвергается с потоком и разбивается в щепки о скалы. А другой дикарь, оставшийся на берегу, в ужасе припадает к земле и поклоняется водопаду, как божеству. Но цивилизованный человек поступает иначе. Он знает, что противиться стихии не в его силах. И он присматривается к ней, расценивает все ее возможности и в конце концов извлекает из нее для своей пользы электрическую энергию.

Не будем же подобны дикарям, когда Гитлер пойдет на Советскую Россию. Постараемся обратить в конце концов на пользу России его неизбежную победу».

Другое течение получило конкретную форму еще в 1935 году. Возникший осенью этого года «Союз оборонцев» был ответом наиболее сознательной части эмиграции на агрессивные замыслы японского милитаризма и гитлеровского фашизма. «Надо быть с Россией. Надо познать родину, изучать советскую жизнь. Надо верить в новую Россию» — таковы были лозунги «оборонцев», вначале собиравшихся по несколько человек друг у друга, в том числе и у А. Н. Михеева, специалиста парфюмерной промышленности. Тогда он входил в техническое руководство знаменитой фирмы Коти, а теперь работает в Киеве.

В «Союз оборонцев» вступили главным образом люди из трудовой эмиграции

или люди, сложными путями пришедшие к оборончеству, в том числе фигуры, примечательные по своему прошлому, по происхождению, например А. А. Колчак, племянник адмирала, генерал Махров, бывший одно время начальником штаба Врангеля в Крыму. Постепенно организация расширялась. Ее ежемесячный орган «Голос Отечества» рассылался по 1200 адресам. Открытые собрания «оборонцев» в том самом большом зале «Лас Каз», где обычно выступал Керенский, становились все многочисленнее — там разгорались жаркие прения с инакомыслящими, а в своем помещении — «Доме оборонца» — члены организации собирались для докладов о пятилетке, о советском строительстве. Как за «Союзом возвращения на родину», так и за «Союзом оборонцев» зорко следила (гласно и негласно) французская политическая полиция, и списки тех, по кому намечался удар, были, очевидно, уже давно готовы.

По существу оборонческую позицию занимали накануне войны многие лица, в союз не входившие, даже из тех, что принадлежали к эмигрантским «верхам». Так, разойдясь в этом отношении с убийцей Распутина, Юсуповым, его главный сообщник, внук Александра II, великий князь Дмитрий Павлович, всюду заявлял (даже в иностранной печати), что в случае войны русская эмиграция должна быть на стороне родины. «Уж мы-то, Романовы, достаточно пострадали от революции, — добавлял он, — так что меня никак нельзя заподозрить в предвзятой симпатии к большевикам...»

По инициативе «главы» младороссов А. Л. Казем-Бека, все более отходившего к тому времени от монархических позиций (впоследствии он окончательно порвал с эмиграцией и недавно вернулся на Родину), устраивались периодические обеды, получившие название «обедов параллельных столов», так как участники их собирались в отдельном зале какого-нибудь ресторана за параллельно расставленными столами, что символизировало параллелизм подлинно патриотических настроений в остальном очень различных эмигрантских деятелей и групп. Обеды эти имели ярко оборонческий характер и проходили под лозунгом «Советская власть защищает исторические интересы России. Все за родину, каких бы взглядов мы ни придерживались!» Среди участников были, например, адмирал Вердеревский, бывший морской министр Временного правительства, умерший в Париже после войны советским гражданином; профессор Д. М. Одинец, историк, преподававший в Парижском русском народном университете и умерший несколько лет тому назад в Казани, где тоже преподавал в университете; И. А. Кривошеин, сын упомянутого мной царского министра, видный французский инженер-электрик, ныне работающий в Москве; бывший эсер Бунаков-Фундаминский, погибший несколько лет спустя в гитлеровском лагере смерти.

После мюнхенского антисоветского сговора на квартире у того же Бунакова-Фундаминского стал собираться «литературный кружок», имевший на самом деле определенно русский, антифашистский, патриотический характер. В нем, между прочим, принимали участие некоторые лица, которым впоследствии было суждено сыграть крупную роль в борьбе против фашистских оккупантов.

Глава 9

КАЛЕЙДОСКОП

Сдвиги, происходившие в тридцатых годах в эмиграции, были прямым отражением общей международной обстановки.

Надвигалась вторая мировая война. На Советский Союз со всех сторон нацеливались захватчики. Это рождало во многих рядовых эмигрантах тревогу за Родину.

С другой стороны, вздорность всех утверждений вожаков эмиграции о «провале пятилеток», о слабости новой России становилась все очевиднее. Экономические успехи Советского Союза были несомненны. Роль его возрастала на международной арене.

Наконец, сам буржуазный мир, в котором мы жили, все более обнаруживал свои внутренние язвы.

Патриотические настроения среди эмиграции, общавшейся с этим миром, зрели от злобности, которую он проявлял к новой России, от его необоснованного высокомерия и в то же время от сознания, что в борьбе с готовящейся гитлеровской агрессией новой России придется рассчитывать только на свои силы.

В 1930 году со мной вступили в переговоры довольно влиятельные представители польских правящих кругов. Сущность переговоров сводилась к следующему.

«Польская общественность» приветствовала бы появление в русской эмигрантской печати и во французской, за подписью русского (это особенно подчеркивалось), «объективных правдивых очерков» о современной Польше. С этим делом обращаются именно ко мне, потому что знают меня как публициста «широких взглядов», к тому же жившего в Польше, где его родители «занимали видное положение и пользовались всеобщим уважением».

Ссылка на родителей была не лишена пикантности. Обосновавшись в 1919 году в Варшаве, моя мать развила кипучую деятельность по оказанию помощи русским в Польше. Созданная ею русская организация Красного Креста вскоре покрыла своей сетью чуть не всю страну. Моя мать умудрилась достать через различные американские благотворительные организации значительные суммы, на которые открыла даровые столовые, всевозможные мастерские, медицинские пункты, школы для русских эмигрантов. Как и следовало ожидать, некоторые эмигранты воспользовались созданной организацией для антисоветских собраний и выступлений. С другой стороны, американская миссия в Варшаве, вероятно, в каких-то особых видах всячески поддерживала деятельность моей матери, причем посланник США Гибсон подчеркнуто обращался к ней чуть ли не как главе русских в стране.

Рижский мирный договор положил всему этому конец. Моя мать, мой отец и все главные сотрудники русского эмигрантского Красного Креста были высланы из Польши. Моей матери было поставлено в вину, что она допустила превращение своей благотворительной организации в политическую.

Польское правительство приняло такое решение и по своим особым соображениям: польские правящие круги очень опасались в то время, как бы русским белым группировкам не была отведена в антисоветской акции роль более значительная, чем им самим, в результате чего белогвардейский лозунг «единой и неделимой России» мог бы оказаться более внушительным, чем хваленый польский — «от моря до моря». Как известно, панская Польша с самого начала положила в основу своей политики ущемление национальных интересов белорусского и украинского населения восточных воеводств, сочетая свою антисоветскую политику с самым оголтелым урашовинизмом.

Польским министром иностранных дел был тогда Скирмунт, старый знакомый моих родителей, некогда заседавший в Государственном Совете Российской империи. Он извинялся перед ними, но говорил, что польское правительство было лишено возможности поступить иначе. Впоследствии, уже во Франции, Скирмунт специально заезжал к моей матери, чтобы еще раз высказать ей свое сожаление. Тем не менее моя мать и мой отец были очень этой мерой обижены и считали ее не соответствующей тем изъявлениям симпатии, которые они неоднократно слышали от представителей польских «верхов» до и после революции.

И вот ныне представители этих самых «верхов» обращались ко мне с просьбой рассказать в печати о том, что творится в их стране, обещая самый гостеприимный прием.

Мне до сих пор не ясно, по каким причинам органы диктатуры Пилсудского сочли в ту пору полезным пойти при моем посредничестве на какое-то сближение с русской эмиграцией. Надо думать, что ими руководили соображения «хитрые», извилистые. Как бы то ни было, такая поездка меня интересовала, и я на нее тем охотнее согласился, что ведь от меня ожидали всего лишь... «правдивости и объективности».

Поездка получилась в самом деле интересная. В Варшаве директор канцелярии премьер-министра водил меня по привилегированному салу резиденции своего начальника, которая некогда была резиденцией моего отца, пересыпая свои политические рассуждения такими «блестками»: «Вы, вероятно, играли на этой лужайке?» или «Вот видите, вы при всех обстоятельствах пребываете в Польше на совершенно особом положении...» Виленский воевода Рачкевич, в прошлом министр внутренних дел, а впоследствии эмигрантский «президент» в Лондоне, игриво объявлял, знакомя меня со своими сотрудниками: «Господа, это сын одного из моих предшественников...» Все, кто знал русский язык, предупредительно говорили со мной по-русски, а когда я сам заговаривал по-

польски, официальные лица восхищались моей «способностью к языкам», хотя я и владею польским весьма посредственно. Угощали меня старкой, старинными медами, бархатно-розовым раковым супом, едва вылипившимися цыплятами в тесте и прочими польскими деликатесами. Возили, куда хочу, и решительно ни в чем меня не стесняли.

Вернувшись, я написал серию очерков, которые вышли затем отдельным изданием. Писания мои очень не понравились министрам, воеводам и епископам, принимавшим меня в Польше, и, как мне стало известно, лицам, устроившим мою поездку, очень попало за «явно неудачное мероприятие».

Дело в том, что я недостаточно почтительно и слишком откровенно описал механизм польской фашистской диктатуры. Диктатура эта была действительно своеобразна. Вы, например, изъявляли желание повидать директора такого-то департамента. Осведомленные лица тотчас же предупреждали, что вам гораздо интереснее поговорить не с самим директором, а с таким-то начальником отделения: директор — фигура чисто декоративная, а начальник отделения видится регулярно с таким-то полковником, который в свою очередь видится регулярно с маршалом, то есть с Пилсудским. Так как большинство лиц, входящих к самому Пилсудскому, состояло из полковников, некогда служивших в его легионах, то и тогдашняя польская правительственная система получила название «правления полковников». Полковники были разных рангов, в зависимости не от занимаемой должности, а от своей близости к Пилсудскому, который формально тоже не был первым лицом в государстве, не президентом и даже не всегда премьером, а чаще всего лишь военным министром. Особенностью всей этой системы были ее неоформленность и оккультный характер. По-видимому, у «полковников» не хватало пороку на утверждение официальной фашистской власти. Формально существовали и оппозиция и свобода печати. Лидеры этой оппозиции, представители разных буржуазных партий, с которыми «полковники» не пожелали делить выгоды власти, в беседах со мной, не стесняясь, ругали самого Пилсудского и его сотрудников дурными словами. Но всей Варшаве были известны пресловутые «маршальские слова» (так обозначались ругательства, к которым любил прибегать польский диктатор): «Я скорее могу заставить себя питаться навозом, чем сотрудничать с партиями, правившими Польшей до меня». Когда в оппозиционных газетах правящую группу слишком резко критиковали, журналисты-оппозиционеры либо совсем исчезали, либо увозились какими-то лицами за город и там избивались ими до полусмерти. В общем, Польшей правил тогда какой-то орден, вроде масонского, со своей строгой иерархией и тайными собраниями. Вся программа этого ордена выражалась одним словом — «санация», то есть оздоровление, что в действительности означало самый жестокий произвол во внутренней политике, нещадное преследование демократических элементов, угнетение национальных меньшинств, а во внешней — бахвальство («Побьем всех — и немцев и большевиков!»), блеф, беспечность, самодовольство, которые и привели к тому, что в 1939 году Польша могла противопоставить гитлеровским полчищам армию без танков, без авиации, без намека на современную технику, но зато с лихими кавалеристами, такими же усачами, как Пилсудский!

Что же касается до отношения этой правящей клики к Советскому Союзу, то ее представители в один голос заявляли мне:

— Мы лучше всех в Европе знаем СССР. Советская Армия никуда не годится. Мы можем разгромить ее в любой момент. Вы, русские эмигранты, должны быть вместе с нами, так как мы — самая реальная сила, противостоящая коммунизму.

Так, в частности, говорил мне полковник Коц, один из самых высокоразрядных полковников, после крушения Польши Пилсудского занявший руководящий пост в лондонском «польском правительстве».

Так вот тот факт, что я обрисовал характер польской правительственной системы, был признан лицами, меня приглашавшими, очень неуместным поступком. Напускная великодержавность «полковничьей» Польши таила в себе сугубый провинциализм с заискивающей оглядкой на Вашингтон, Лондон и Париж: «Как бы там нас не осудили и не сделали нам выговора!» Вероятно, по этой же причине я навлек на себя крайнее неудовольствие «полковников» разных степеней тем, что рассказал об ужасающем угнетении белорусского и украинского населения в их государстве, представлявшем собой новую тюрьму народов. А особенно негодовал на меня некогда хорошо известный

среди петербургских декадентов мистик и «либерал» Д. Философов, друг Мережковского и Зинаиды Гиппиус, поступивший к «полковникам» на службу в качестве главного редактора варшавской газеты на русском языке, полностью субсидируемой правительством Пилсудского, в которой с лакейской угодливостью восхвалял ясновельможное польское начальство. Кстати отмечу, что сами поляки относились к Философову с нескрываемым презрением, а некоторые из тех, которые снабжали его казенными деньгами, даже не подавали ему руки.

Поездка в польские восточные воеводства навсегда останется у меня в памяти. Рано утром поезд остановился на станции, откуда я решил проехать по волынским местечкам. В мыслях у меня еще были «полковники», их кичливые заявления да пышные варшавские министерства, где подобострастно повторялись очередные «маршальские слова». И вдруг, выйдя из вагона, я увидел море ржи и нищих босых мужиков на перроне, жадно ищущих глазами, кому бы понести чемодан. Со щемящей остротой я в тот же миг ощутил себя на своей земле, среди своего народа, такого же забитого, обездоленного, каким я знал его некогда в Курской губернии. И сознание того, что эти родные мне по крови хилые бородатые мужики, очевидно, принимали меня за поляка, то есть за начальство, за пана, который может накричать на них, а то и прибить безнаказанно, вдруг взорвало и оскорбило меня. Я обратился к ним по-русски, спрашивая, где найти подводу, и на лицах их прочел радость, недоумение и инстинктивный испуг. А затем через убогие деревни, от ухаба к ухабу, я долго ехал по равнине, где со всех сторон поле сходилась с голубым небом. И, глядя на эту русскую ширь, я слушал возницу, который доверчиво говорил на полурусском, полуукраинском языке о горестях своего народа, томящегося под панской пятой. Каждый раз, как мы проезжали мимо хорошего жилища, он кнутом показывал на него, добавляя со вздохом: «Это осадника дом. Здесь живет проклятый! Хуже, чем с собакой, обращается с русским человеком». «Осадниками» называли польских колонистов-кулаков, наделенных «полковниками» землей за счет волынских крестьян.

Вот о нуждах этих крестьян, по-прежнему неграмотных, батрачащих за гроши, которых хотели ополячить теми же жестокими и бездарными методами, которыми царское правительство некогда тщило русифицировать польское население, я и рассказал в своих очерках.

А для меня лично самым волнующим воспоминанием осталось следующее.

Я стою с польским офицером у колючей проволоки. Впереди — полотно железной дороги, арка с пятиконечной звездой, за аркой строение и люди в военной форме у крыльца. Минуя проволоку, мы делаем несколько шагов по полотну, и я жадно глядяваюсь в их лица.

Польский офицер говорит мне с улыбкой:

— Дальше идти рискованно. Это советская территория.

Я все смотрю на эту арку, на этих людей. Ветер от туда доносит звуки гармошки. И я думаю о том, что телеграфные столбы, исчезающие там, где-то за лесом, так же тянутся дальше на сотни, тысячи километров среди русских лесов и полей. Мне хочется стоять здесь и стоять, глядеть вперед да слушать эту дальнюю музыку. Так проходит минута, две, и вдруг у меня захватывает дыхание, и я ясно ощущаю на миг всю безысходность, всю трагическую фальшь моего положения. И так это невыносимо, что, скрывая волнение, я быстро говорю офицеру с белым одноглавым орлом на конфедератке:

— Пора возвращаться! Спасибо за вашу любезность, капитан.

В том же 1930 году одна французская газета послала меня в Берлин корреспондентом на выборы в рейхстаг. То были пресловутые выборы, на которых национал-социалисты собрали 6,4 миллиона голосов, что впервые дало им в рейхстаге внушительное представительство. Во всех странах мира этот неожиданный по своим размерам успех был воспринят как мрачное предзнаменование. Именно вслед за этими выборами угроза новой войны явственно нависла над Европой.

После уютного, самодовольного, беспечного, живущего только настоящей минутой буржуазного Парижа Берлин произвел на меня впечатление бурлящего котла. Я помнил Берлин моих студенческих годов, только что оправившийся от испытаний войны, стремившийся подражать Парижу в удовольствиях, но и в этом какой-то болез-

ненный, отмеченный «комплексом приниженности». В то время немецкий бюргер почитал начальством каждого офицера Антанты, победившей его страну и еще оккупировавшей часть ее территории. Теперь этот Берлин распирало от жажды реванша и власти. В новом обличье национал-социализма германский милитаризм сулил этому бюргеру мировую гегемонию и благоденствие за счет других народов.

Я был в памятный вечер выборов в огромном зале, который заняли национал-социалисты, чтобы за кружкой пива отпраздновать ожидавшуюся победу.

Из лиц, сидевших в президиуме, я запомнил Геббельса, возглавлявшего берлинскую организацию нацистов и бывшего здесь главной фигурой, да еще одного — долгового, остроносого, с явно дегенеративным лицом, в коричневой рубаше со свастикой на рукаве, которого крохотный Геббельс, поднявшись на цыпочки, покровительственно похлопывал по плечу. Это был «августейший» нацист, принц Август-Вильгельм, сын Вильгельма II.

За маленькими столиками тысячи мужчин и женщин пили пиво и поедали груды сосисок. По виду, да и в самом деле, очень многие из них были мелкими бюргерами, лавочниками. В то время одним из демагогических лозунгов Гитлера была борьба с универмагами, разорявшими мелкие торговые предприятия. Лавочники увидели в Гитлере своего спасителя, не подозревая, что огромные суммы, которые он тратил на пропаганду, шли от крупнейших капиталистов...

И вот вся эта публика пришла сюда с полной уверенностью в победе. Но размеры этой победы были ей еще не известны. По мере поступления данные о голосовании вывешивались на стене, над столом президиума. Несколько часов подряд дано было мне здесь наблюдать нарастание сумрачных и беспощадных страстей.

Вместе с Геббельсом, с дегенеративным принцем и их приспешниками вскипал весь огромный зал. Лавочники сжимали скулы, залпом осушали огромные кружки пива и, подняв руку, шумно поздравляли друг друга, по-военному щелкая каблукками.

Недалеко от меня сидели люди в коричневых рубашках, несколько иного типа — нацисты-интеллигенты, поджарые, с острыми чертами лица и холодными глазами, из тех, очевидно, которые проповедовали расизм как новую религию германского владычества. Помню, один из них произнес стих из «Фауста», однако без оттенка иронии, вложенного в него Гёте, а надменно, торжественно: «Немец не терпит французов, но их вина пьет с удовольствием».

Он сказал это после того, как новая многозначная цифра над столом президиума окончательно подтвердила размах гитлеровского торжества, а затем добавил:

— Ведь это целая политическая программа! А теперь у нас имеется для нее и реальная база...

Бюргеры в зале воодушевлялись, по-видимому, теми же чувствами. То и дело слышалось: «К черту Версальский договор!» Гремел старый гимн прусского милитаризма: «Германия превыше всего!» Борьба с универмагами явно отходила на второй план.

На эстраде Геббельс сидел теперь в каком-то оцепенении. Лицо его было бледно, глаза неподвижны. Рядом с ним сын последнего императора ерошил жидкие волосы, судорожно вскидывая голову в сторону огромного красного полотнища, на котором в белом кругу, словно паук, распласталась черная свастика.

На другой день я беседовал с одним из лидеров германской социал-демократии, главным редактором газеты «Форвертс». Сама редакция с бесчисленными кабинетами и совершенно невероятным множеством сотрудников, по виду напоминавших чиновников, общим стилем своим, атмосферой скорее всего походила на какой-то очень важный департамент. Главный редактор уделил мне полчаса своего времени. Это был крайне приятный в обращении, очевидно очень образованный человек. Но попытка его объяснить мне создавшееся положение явно не удалась, в чем он и сам признался:

— Надо еще многое передумать, взвесить все имеющиеся данные, собрать новые, сопоставить их со старыми, снова взвесить, и тогда уже что-нибудь, быть может, и станет понятно. А сейчас никакой, решительно никакой ясности еще нет.

Именно с этого разговора во мне зародилось убеждение, что людям со свастикой на рукаве не так трудно будет расправиться с персоналом и руководством подобного рода партийных организаций — департаментов.

Париж, 1934 год. Чудный летний вечер. На ипподроме Лоншан еще невиданный, грандиозный «праздник элегантности» — главнейшее событие всего сезона. Ночные скачки при электрическом свете, переливающимся серебром по зеленому лугу.

Небо в звездах, «весь Париж» в самых дорогих своих нарядах.

Море света, трепещущее среди окружающей темноты холодным, фосфорным блеском, море цветов, море цилиндров и фраков, море вечерних туалетов, белоснежных, золотистых, муаровых, море женских головок в сверкающих диадемах, море бриллиантов, рубинов и изумрудов на обнаженных плечах банкирских жен и маркиз.

Да, конечно, нигде в Европе, а подавно в Америке, не увидеть такого сочетания баснословной роскоши с изяществом, самым подлинным, которое создается для услаждения денежной знати многовековой парижской кузницей мод.

Не только скачки, но и пиршество: под навесом столы в цветах и блеск хрусталя — обед для самых избранных. Не только пиршество, но и бал: кружатся пары у подножия трибун, оглядываясь то на ложи, где президент республики, послы, министры, американские миллиардеры, английские лорды, индийские магараджи, то на далеко уходящих по кругу, бешено мчащихся лошадей, на которых поставлены миллионы.

И говор именно бальный: легкий, беспечный, не без злословия и с очередными сенсациями.

«Ах, какое восхитительное платье!» — «А вы слышали, у Зизи новый роман!» — «Не верю, мне Андрэ говорил, что такая женщина не может нравиться мужчинам!» — «Вы про Андрэ? Правда, что он нажил целое состояние на последнем крахе?» — «Не он, а брат его, Поль, чья жена в лучших отношениях с министром и который сам проводит все вечера у Мари-Клод». — «Кстати, о Мари-Клод... Она недавно ездила в Берлин и познакомилась с Герингом, который преподнес ей колоссальный букет с запиской: «От первого летчика Третьего рейха первой красавице Франции». — «Вздор, вздор, вздор! Я никогда не любила вашу Мари-Клод. Ведь такой человек, как Геринг, мог бы найти француженку и поумней и поинтересней!» — «Геринг? А вы слышали, будто что-то произошло сегодня в Германии? Мне знакомый дипломат только что говорил. Гитлер и Геринг раскрыли какой-то заговор. Масса убитых. И среди них генерал фон Шлейхер, с которым так дружил наш милый Франсуа-Понсе. Но это ловкий человек, он с самим Гитлером душа в душу и, я уверена, удержится в Берлине послом, кого бы там ни убивали!» — «Это главное... Но Гитлер! Вот бы нам такого правителя! Гений! Бедная Франция с ее бесцветными Лебренами да Думергами...» — «Позвольте, дорогая, а Петэн...»

То был последний июньский вечер, вечер страшного дня, когда по ту сторону Рейна, в «стране Нибелунгов», произошли кровавые, еще невиданные события. В этот день Гитлер, объявив себя высшим источником правосудия, лично руководил расправой, то есть расстрелом на месте — в кроватях, за утренним завтраком или среди сна, в министерских кабинетах и клубных гостиных — всех, в том числе и самых близких ему персон, которых он заподозрил в недостаточной готовности к полному повиновению.

С этого дня власть Гитлера стала самодержавной, а сам он самодержцем, даже не божьей милостью, как бывшие монархи, а собственной, гитлеровской, — божьей милости равной.

Угроза войны придвинулась еще ближе.

«Да, Петэн... Я ставлю на Петэна! Он и полковник де ла Рок... Ха-ха-ха, ведь политика — это те же скачки. Но обязательно с препятствиями!» — «Вот Гитлер и перескочил через все! Только бы нам не ссориться с этим человеком. Как ловко ликвидировал коммунизм! Но что поделаешь, когда у нас всем распоряжаются евреи да масоны...» — «А вот и мой муж, он тоже что-то слышал про Гитлера, но сейчас он очень зол, крепко проиграл, поставил на лошадь нашего дорогого барона». — «И вовсе нет! Ведь я сразу поставил на трех... Так-то надо и в политике... А каков Гитлер!

Страшные дела, однако всех сокрушил! А в нашем министерстве иностранных дел, конечно, ничего не предвидели. Но в какое интересное время мы живем!.. Прямо замечательно!»

Женева, 1935 год. Первый акт фашистской агрессии совершен. Лига Наций обсуждает жалобу на Италию, вторгшуюся в Эфиопию.

Некогда в Лиге Наций царил Аристид Бриан, царил в том смысле, что все восхищались его красноречием. Так же царил там Поль-Бонкур. Много лет подряд французские делегаты произносили в Женеве эффектные речи, награждаемые шумными аплодисментами делегатов других держав. Впрочем, этим дело часто и ограничивалось: англичане не устаивались подобных оваций, зато слово их сплошь и рядом определяло исход голосования.

Ныне Францию представляет в Женеве делегат особого типа. Речи его не потрясают сердца, ораторский стиль достаточно бесцветен, вульгарен; от Бриана, к которому некогда был близок, он унаследовал главным образом дар закулисной интриги, но присовокупил к этому и кое-что свое: недоговоренность, двусмысленность, поиски темных путей. И в этом его сила: во французском парламенте и в Лиге Наций опасаются этого политического деятеля, так как не знают, что кроется за его внешней сговорчивостью, отсутствием резкости, извилистой предприимчивостью,— это Пьер Лаваль.

Во всем облике этого человека есть что-то ординарное, как буржуа полагает, «простонародное», но простым человеком его никак назвать нельзя — это по виду скорее внезапно разбогатевший конский барышник, любящий шегольнуть эксцентричностью, нелепым белым галстуком, например, над которым потешаются и в театриках Монмартра и на международных ассамблеях, или фамильярными заявлениями какому-нибудь чопорному иностранному дипломату: «Послушайте, старина, ведь мы с вами всего лишь маклеры!..»

Прямая его противоположность — английский министр Антони Иден.

Я наблюдаю, как у двери в зал заседаний каждый из них предлагает другому пройти первым: Лаваль, явно порываясь, но все же не решаясь хлопнуть Идена по плечу, Иден легким поворотом головы, с чуть заметной улыбкой показывая на дверь. Так стоят они друг против друга, а между тем, слегка вразвалку семенит к двери Литвинов: кивок Идену, кивок Лавалю — и, не задерживаясь между ними, первым входит в зал.

Советская делегация приковывает все мое внимание. Испытываю минутами то же чувство, как на польско-советской границе, когда не мог оторваться от арки с пятиконечной звездой и столбов, уходящих в родную даль. Так хотелось бы поговорить с этими людьми, ну хотя бы с А. М. Коллонтай. Но между нами черта.

Советская делегация привлекает не только мое, но и всеобщее внимание. И сознание этого мне приятно. Эфиопов жалеет здесь большинство, но жалеет как обреченных. Против Италии будут приняты санкции, но в их эффективность мало кто верит. Темный клубок интриг, где сразу не разберешь, кто за кого, чьи и какие затронуты интересы. Ну, например, польский министр иностранных дел, сухой и длинный, как жердь, полковник Бек... В какой-то комиссии обсуждаются данцигские дела. Слушая Бека, можно подумать, что он нанят в качестве адвоката данцигскими нацистами, то есть злейшими врагами Польши. Лаваль говорит в кулуарах: «Если мы озлобим Италию, она бросится в объятия Германии!», но сам он, как и Бек, действует только с оглядкой на Берлин.

Правый французский журналист, поклонник фашистских авантюр, сообщает мне откровенно:

— Беда! Советская делегация занимает сейчас самую ясную и последовательную позицию. Она заявляет, что Советы против агрессии, и все знают, что это действительно так. Писать об этом, конечно, нельзя, но признать приходится. Позиция советской делегации очень сильна. Моральный вес ее все растет. И это чрезвычайно неприятный симптом.

Итак, агрессия была развязана.

Съездив по этому случаю в Рим, редактор «Возрождения» Семенов привез оттуда открытки, которыми одарил всех сотрудников газеты. Они изображали высокого курчавого мальчугана в черной фашистской рубашке, удовлетворяющего естественную потребность на разложенное у его ног торжественное постановление Лиги Наций о санкциях против Италии.

Около десяти лет я был парламентским корреспондентом и несколько сот раз побывал в Бурбонском дворце, где заседает французская нижняя палата, из палаты депутатов переименованная после войны в национальное собрание.

Из всех моих парламентских воспоминаний вот, пожалуй, самое яркое, оставшееся на всю жизнь.

Я стою около небольшого окошка, над лестницей перед дверью в буфет журналистов. Это окошко, скорее люк, выходит на мост через Сену и на площадь Согласия. Нас много тут журналистов и депутатов, то и дело прибегающих на минутку из зала заседаний. И каждый из нас протискивается поближе, поднимается на цыпочки, жадно вглядываясь в вечернюю темноту и жадно прислушиваясь. Из этого окошка лучше всего видна площадь. Она вся полна народу, который стеной надвигается на мост, уже вступает на него с гулом и ревом. Вдали — языки пламени. Это горит подожженный дворец морского министерства. Людская стена все ближе, рев все громче. Около меня толстый депутат-радикал апоплексически краснеет и хватается за голову. Ряды подвижной гвардии шаг за шагом пятятся на мосту. Люди оборачиваются, видимо, ожидая подмоги. В свете фонарей мелькают их сумрачные лица, каски, карабины, ремни.

Я выхожу во двор без пальто, не чувствуя холода от нервного возбуждения. У главного входа, как раз против моста, молоденькие солдаты выстраиваются с ружьями на изготовку. Слышу, как один говорит: «Сейчас прорвутся, тогда все пропало!» На самом мосту какой-то водоворот: бегают офицеры, отдавая приказания, рев толпы то чуть удаляется, то снова прокатывается все ближе, и тогда слышится явственно: «Долой мошенников! Долой воров!» Взад и вперед, засунув руки в карманы, шагает перед палатой префект полиции Бонфуа-Сибур: скулы его судорожно подергиваются, глаза прищурены, шея втянута в плечи.

Это 6 февраля 1934 года. Фашистские лиги штурмуют Бурбонский дворец.

Возвращаюсь в палату. Из зала Потерянных шагов устремляются к выходу, тоже, очевидно, чтобы взглянуть на мост, какие-то депутаты с растерянными лицами.

В зале заседаний такой же гул и рев, как на мосту. Председатель социалист Бюиссон без устали потрясает звонком, лицо его багрово и выражает крайнее напряжение. На правительственной скамье различаю широкий затылок Даладьё: премьер-министр сидит, опершись на локти и низко опустив голову. Сосед-журналист сообщает мне, что министра внутренних дел Фро только что вызвали из зала: он выбежал, возбужденно размахивая руками. На трибунах для публики разгоряченные лица дам и господ из «всего Парижа». Вижу, как кто-то из них показывает плакат с огромной надписью: «Я не депутат». «Когда ворвется толпа, всюду замелькают такие надписи! — говорит мне тот же сосед-журналист, сотрудничающий в правых газетах и вполне сочувствующий такому обороту событий. — Вы заметили, как перепуганы на левых скамьях? Сегодня французскому парламенту конец!»

Но вот в зал вбегают несколько депутатов: одни устремляются к Даладьё и что-то говорят ему наперебой, другие спешат на правый сектор, и вокруг них тотчас образуются возбужденные группы.

Затем правые депутаты Скапини, Анрио, Валла — все будущие вишисты, колаборационисты — подступают к Даладьё, а за ними еще другие из тех же правых фракций, из тех же лиг, которые хотели свергнуть в этот день парламентский строй.

Под непрекращающийся звон председателя они кричат, обращаясь к главе правительства:

- Вы дали приказ стрелять?
- Как вы смели?!
- Убирайтесь вон!

— Страна изрыгает вас!

Даладые молчит, все так же опустив голову.

Еще несколько минут перед тем охваченные смятением, радикалы и социалисты устраивают бурную овацию премьеру. На лицах их ясно читаешь: «Ура! Мы спасены!»

Открыв буквально в последнюю секунду огонь на мосту, подвижная гвардия остановила толпу, уже почти прорвавшуюся к главному входу. Фашисты бежали. Но вслед за ними ретировался и радикал Даладые. Только могучая контрдемонстрация трудящихся и всеобщая забастовка, охватившая более четырех с половиной миллионов рабочих, предотвратили в последующие дни установление авторитарного режима.

Но то, что не удалось во Франции в 1934 году, удалось в Испании два года спустя.

Событиям 6 февраля предшествовало раскрытие грандиозного мошенничества, «героем» которого был некий выходец из России Стависский. Действуя через подставных лиц, Стависский разместил акции Байонского муниципального ломбарда на колоссальную сумму, никак не соответствовавшую реальному значению этого довольно скромного предприятия. При аресте Стависский погиб. «Покончил самоубийством» — гласило официальное сообщение; «Убит тайной полицией по приказу премьер-министра Шотана, боявшегося разоблачений», — писали правые газеты.

Дело это было замечательно тем, что оно раскрывало пружины коррупции при парламентском строе, всю ее, так сказать, технологию.

Почему, например, такая-то газета, пытавшаяся кое-что сообщить об аферах Стависского, вдруг прикусила язык? А потому, что предприятие, которое контролировал Стависский, начало помещать объявления в газете за плату, вскоре составившую основной доход этого органа «свободной демократической мысли».

Почему ряд сотрудников Стависского был в свое время привлечен к уголовной ответственности, но дела их в суде постоянно откладывались слушанием, так что все они могли продолжать свою деятельность? А потому, что защитником их выступал сенатор-радикал Рене Рену, неоднократно занимавший пост министра юстиции. Рене Рену судили затем за сообщничество, но суд его оправдал. В самом деле, формально состава преступления не было в его поступках. В адвокатской мантии, значит в качестве адвоката, он являлся к судье и просил его по таким-то и таким-то причинам отложить слушанием дело своего клиента. Никакого давления он при этом не оказывал, ничего не говорил, что выходило бы из рамок его профессиональных адвокатских обязанностей. Но мог ли судья устоять перед человеком, который, когда был министром юстиции, назначил его на этот пост и от которого, когда он снова станет министром, опять будет зависеть его карьера?

Почему липовые акции Байонского ломбарда приобретались рядом предприятий, близко связанных с государственной машиной? А потому, что соответствующие ведомства рекомендовали их приобретение. Почему рекомендовали? А потому, что во главе этих ведомств стояли лица, занимавшие в предприятиях самого Стависского различные фиктивные должности (например, юрисконсульта), за что и получали огромные оклады, причем обязанности их сводились только к такого рода рекомендациям.

Характерным во всех этих подробностях было именно отсутствие формального состава преступления. Получалось так, что самая власть, ее методы и организация таили в себе состав преступления. Благодаря делу Стависского это вдруг стало ясно всем. Да, всем!

В этом отношении дело Стависского ярко напомнило мне распутищину. Точно так же, как иные сановники империи, не стеснясь, бранили тогда царя и царицу за потворство «темным силам» и объявляли, что самодержавие сгнило, ныне сановники Третьей республики открыто говорили, что парламентский строй превратился в помойную яму. При этом, подыскивая прецедент в отечественной истории, они ссылались на знаменитое дело «ожерелья королевы», непосредственно предшествовавшее революции

1789 года, дело, в результате которого оказались забрызганными грязью и королевский скипетр и архиепископский посох.

На выборах 1936 года победил Народный фронт, в котором самой динамической силой были коммунисты. Таков был непосредственный ответ французского народа на коррупцию буржуазного строя, на события 6 февраля.

Но и Народному фронту не суждено было обновить Францию. Французские правящие круги ясно поняли опасность, все свои силы и волю направили на борьбу с ней и в год-другой рассеяли на какое-то время нависшую угрозу.

Март 1939 года. Я говорю знакомому французу из буржуазии:

— Ведь это очень серьезно! Захватив Чехословакию, Гитлер заручился огромным козырем. На чехов как на бойцов во имя Германии ему, конечно, рассчитывать не приходится, но он использует их как рабочую силу, которая позволит отправить на фронт возможно большее число немцев.

— Ничего! — отвечает мой собеседник. — Важно только продержаться нужное время. А затем к нам на помощь подоспеет Англия со своими огромными ресурсами. А Америка? Ведь она не даст нас раздавить?

Этот француз, подполковник запаса, доктор юридических наук — директор крупного предприятия. Но мне кажется, что он рассуждает, как ребенок, который боится, что у него отнимут любимую игрушку. Я возражаю:

— Но как вы продержитесь? Ведь Польша, на которую вы рассчитываете, это не Россия. Немцам не придется отправлять на Восток половину своих сил, как австро-германской коалиции в 1914 году.

— Ничего! Польша продержится. Послушайте, мой дорогой, я к вам лично питаю большую симпатию, да и вообще очень ценю русских... Среди них ведь имеются замечательные артисты! Вот видите этот раскрашенный абажур? Это — творчество вашего соотечественника, несомненно весьма одаренного человека. Но разве вы вояки? Что сделала Россия в 1914 году? Только ввела нас в заблуждение. Право, нам теперь легче будет и проще, так как мы вступаем в войну, не надеясь на ее помощь. А наши солдаты покажут себя снова, как под Верденом! Это вам не русские мужички! Ха-ха-ха! Вы читали, как генерал Вейган — а ведь это наш самый умный военачальник — объявил, что французская армия и по духу, и по технике, и по уровню командного состава находится на совершенно беспрецедентной высоте? Что вы на это скажете?

Все забыл! Ничего не знает! Ни того, как Франция молила Россию о помощи в критические дни перед Марной, ни того, как Россия, обливаясь кровью, ей помогла, ни того, как французские военачальники благодарили Россию и тогда и в последующие годы войны. Ничего не хочет знать! Потому что ему дорога игрушка: он думает, как сберечь свое добро, а не о том, как подготовиться к войне. А посему лучше всего забавляться игрушкой, то есть отвечать на всякое предупреждение самым простым образом: «Ничего!»

«Ах, эти русские с их вечным «ничего!» — так французы издавна шутили над нами, находя в этом термине особенно характерное выражение нашей, мол, исконной «беспечности», нашего «фатализма». Теперь хоть не этим русским словом, а своими французскими, но такого же смысла, они тешат себя в спасительном самоублажении. А оно действительно благотворно для послеобеденного приятного пищеварения.

Но за свой кошель они держатся крепко.

— И, наконец, что несет теперь ваша Россия? — продолжает подполковник запаса, доктор юридических наук. — Большевизм! Красная Армия для боя с немцами не годится — значит нечего и домогаться ее помощи. Нет, нет и нет, никакого соглашения с большевиками!

Ах, как были утешительны разговоры в парижских гостиных предвоенных месяцев!

— ...Коррупция, темные силы, разложение парламентаризма — все это верно. Но ничего! Этим недугом Франция страдает уже столетия. Панамский скандал не уступал ведь делу Стависского. И что же? Все-таки выиграли войну. Нашелся Клемансо! У нас всегда в нужную минуту находится крупный человек!

— ...Я только что из министерства иностранных дел. Наш берлинский поверенный в делах де Сент-Ардуен доносит, что Гитлер напуган мощью французской авиации. Это очень симптоматично!

— ...А вы слышали, полковник Бек заверил нашего посла в Варшаве, что Польша не отступит ни на шаг перед немцами. Польская армия — это крупнейшая сила!

В этот предвоенный период я встретился на одном завтраке с тогдашним морским министром Кампенки. Я его немного знал. В качестве адвоката Кампенки выступал в ряде антисоветских процессов. Это был очень известный и ловкий адвокат, славившийся своим красноречием. Несколько шокировало меня в нем следующее. На большом процессе, полемизируя со своим оппонентом, адвокатом-парламентарием, Кампенки с неподдельным пафосом объявил (я сам это слышал): «Вы не только адвокат, но и политик! А меня интересует одно правосудие! Я политикой никогда не занимался и заниматься не буду. Потому что политика мне претит органически». И вот, несмотря на это громогласное и категорическое заявление, Кампенки погрузился затем в самую гущу политики, стал депутатом, виднейшим членом партии радикалов, попал, наконец, в министры.

Вспомнив наши предыдущие встречи, Кампенки сказал мне конфиденциально:

— Если грянет война, русской эмиграции суждено будет сыграть в ней свою роль. Мы смотрим далеко вперед. По Советскому государству будет нанесен удар... Так или иначе!..

Кстати, этот завтрак давался Гукасовым. Среди приглашенных был и великий князь Андрей Владимирович. Кого посадить на главное место? Русского великого князя? Но ведь он неофициальное лицо. А Кампенки — министр страны, оказавшей нам приют. Как же поступить, не обидев ни того, ни другого?

Долго ломали мы с Гукасовым голову над разрешением этой проблемы. И в конце концов нашли выход. Сам хозяин, то есть Гукасов, сел где-то сбоку длинного стола, а Кампенки и Андрей Владимирович — друг против друга, каждый как бы во главе этого стола. Начиная с них, два лакея одновременно подавали им блюда.

После завтрака, однако, вышла заминка. Кому выйти первому из столовой? С чисто французской учтивостью Кампенки буквально заставил Андрея Владимировича пройти перед собой, сказав, что «его ноги отказались бы повиноваться», если бы он, Кампенки, не уступил дорогу.

Все, таким образом, получилось, что называется, чудесно!

Перед самой войной приезжал в Париж мой приятель с детских лет Борис Пименов. Это был виленский богач и депутат польского сейма. Сын «старообрядческого короля» (так называли его отца в Вильне, где было много старообрядцев, некогда переселившихся туда из России), он владел крупнейшими доходными домами, многими предприятиями и угодьями. В польский сейм Борис Пименов прошел по правительственному списку пилсудчиков, но за отсутствием там других русских фактически представлял в польском парламенте русское меньшинство. Он был близко связан с польскими правящими кругами, которые очень считались с ним как с крупнейшим капиталистом виленского воеводства.

Мы провели вместе вечер в ресторане. Пользуясь давнишней дружбой, я подробно расспрашивал обо всем. Борис Пименов высказал такие соображения:

— Польша, конечно, никогда не согласится на помощь Красной Армии. Я беседовал на эту тему не только с министрами, но и с виднейшими представителями польского генерального штаба. Польская армия исключительно сильна. Гораздо сильнее, чем думают в Германии. Я не могу говорить об этом подробнее, так как это военная тайна... Но факт есть факт: в военном отношении Польша во многом уже опередила Германию. И потому, хоть польская армия численно и уступает германской, Польша может продержаться против немцев одна, по крайней мере, полгода. Да, полгода! Таково глубокое убеждение польского командования. А через полгода Франция и Англия так насядут на немцев, что им будет капут!

Часть третья

Глава 1

СТРАННАЯ ВОЙНА

Повторим уже сказанное: после выстрела Горгулова русские во Франции оказались в неоплатном долгу у французского народа. Но получилось так, что этот долг был русской эмиграцией оплачен, и даже сторицей: об этом позаботился не французский народ, а правящий класс Франции.

Во вторую мировую войну русские эмигранты, бесподанные, были мобилизованы во французскую армию.

Эта мера, кажется, не имеет прецедентов.

От русских эмигрантов, не участвующих во французской политической жизни, не имеющих права голоса и, значит, никак не могущих считать себя частью какого-то французского единого целого, связывающего их общностью интересов, потребовали самой большой жертвы, на которую государство может рассчитывать со стороны своих полных граждан: жертвы кровью. При этом, обещая мобилизованным русским всякие льготы и уравнивание в правах на труд, французские власти отказывались распространять эти льготы на членов их семей.

После соответствующего решения правительства (это было, если не ошибаюсь, примерно за полтора года до войны) русские эмигранты вызывались в полицейские комиссариаты, где с каждого бралась подписка, что в случае мобилизации он не возражает против призыва под французские знамена. О, подписка эта была объявлена вполне добровольной! Хотите, подписывайтесь, хотите, нет! Но неофициально разъяснялось, что не давшие подписки не только будут лишены права на труд, но и высланы из Франции. А так как высланному из Франции «апатриду» некуда было ехать, ибо ни одна страна не впустила бы его на свою территорию — не «подчиняющийся» же приказу о высылке карался тюрьмой, — то и получалось, что отказ от такой «добровольной подписки» означал для эмигранта трагедию, и потому фактически дали свою подпись все...

Вышло так, что русские были мобилизованы для участия в войне против фашистской Германии, впоследствии напавшей на Советский Союз. Но им пришлось бы драться и против своей Родины, если бы планы, вынашивавшиеся в некоторых французских правящих кругах, успели осуществиться.

Немало русских попало таким образом во французскую армию, и попало бы еще больше, старших возрастов (как, например, пишущий эти строки), если бы дольше длилась война. Многие среди них отличились, заслужили французские боевые ордена, многие обогрели своей кровью французскую землю, многие, разделив участь чуть ли не всей французской армии, томилась затем годами в германских лагерях для военнопленных.

После освобождения Франции нашлась сердобольная русская женщина, которая посвятила себя розыску останков русских, погибших под французскими знаменами, чтобы свезти их на большое русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем, возле дома-убежища для престарелых русских эмигрантов.

Русским воинам, павшим в рядах французской армии, воздвигнут здесь прекрасный памятник.

• • • • •

Однако призывом под знамена не ограничились в эти дни мероприятия французских властей по отношению к русским эмигрантам.

В ночь на 2 сентября 1939 года одновременно со всеобщей мобилизацией были произведены массовые аресты так называемых «нежелательных иностранцев». Из русских в эту категорию попали некоторые лица, скомпрометировавшие себя как гитлеровские агенты. Но главный удар был нанесен не по ним. В Париже, Лилле, Гренобле — по всей Франции были арестованы чуть ли не поголовно члены бывшего «Союза возвращения на родину», переименованного к тому времени в «Союз друзей советской Родины», члены «Союза оборонцев», то есть русские, открыто занимавшие патриотиче-

скую позицию. Обе организации были разгромлены, все их имущество и архивы конфискованы. По подозрению в «большевизанстве» были арестованы многие русские, не входившие ни в какие организации, но восставшие против себя полицейские власти своими «подозрительными», то есть патриотическими высказываниями.

Да, в тот момент, когда Франция вступала в схватку с гитлеровской Германией, русские патриоты объявлялись «социально вредным элементом», от которого надлежит избавиться «во имя национальной обороны и общественной безопасности»...

В эту ночь в парижской префектуре полиции творилось нечто неопишное. Туда свозились со всех концов города задержанные. В огромном зале префектуры стояла непроходимая толпа. В ней вместе с русскими эмигрантами находились коммунисты испанские, польские, итальянские, немецкие, все вообще иностранцы, в которых власти видели потенциальных противников антинародного политического курса.

Из префектуры задержанных развели по тюрьмам. «Особенно опасные» попали в одиночное заключение. Французская полиция пыталась сфабриковать грандиозное дело о шпионаже, в каком-то преступлении были, в частности, обвинены члены «Союза друзей советской Родины» и «оборонцы». Однако за полным отсутствием улик военно-полевой суд, разбиравший «дело» заочно, был вынужден прекратить следствие. Заключенных вывели из камер, собрали во дворе и там сообщили им, что они больше не находятся под следствием. Но вслед за тем им объявили «дополнительно», что все они высылаются в административном порядке как «нежелательные иностранцы». Мужчин отправили в лагерь Верне, около Тулузы, женщин — в лагерь Рюнокрос, в центре страны.

В лагерях томились уже тысячи испанских республиканцев. Многим русским суждено было разделить их участь. Кормили их впроголодь, в лагерях свирепствовали эпидемии, детская смертность (туда отправлялись и беременные женщины) была особенно велика.

«Мы победим, потому что мы сильнее», — такая надпись красовалась на расклеенной по городу карте обоих полушарий, где одним цветом были выкрашены Англия с ее владениями, Франция с ее владениями и Польша, а другим — Германия. «Линия Мажино неприступна!» Это твердили в один голос радио и печать, генералы в обращениях к войскам и генеральши за чашкой чая, министры и актрисы, «консьержки» (то есть дворничихи) и маклеры, масоны и епископы, финансисты и штабные писаря и сами мобилизованные, которые, отправляясь на фронт, всячески убеждали себя, что им предстоит какие-то особые, государством оплаченные каникулы в благодатной тени железобетонной твердыни. Впрочем, винить их не следует: в том же крепко убедили себя их командиры, кадровые офицеры.

Вспоминаю один обед.

Хозяйка была русская, вышедшая замуж за француза, богатого рантье, интересующегося только своей коллекцией марок, который участия в беседе не принимал. Говорил же — при этом без умолку — единственный, кроме меня, гость, по фамилии Лагард. Этот г. Лагард имел ранг посланника и был тогда директором одного из департаментов Кэ д'Орсей (так, по названию набережной, где оно помещается, французы называют свое министерство иностранных дел). По виду он казался очень воспитанным человеком, да таким, очевидно, и был в обычное время: типичный, несколько «перекрахмаленный» дипломат. Однако в этот период истории Франции стихийная болтовня охватила даже чиновников самого осторожного в своих высказываниях ведомства. В устах Лагарда болтовня приобретала особый, довольно курьезный характер. Он как бы размышлял вслух, философствуя на историко-политические темы тоном искушенного в таких делах наблюдателя.

— Мы переживаем очень примечательное время, — объявил он, задумчиво улыбувшись. — Это закат! И все кругом нас озарено печальной красотой заката. Я порой сравниваю нас с последними римлянами. Да, как история повторяется! Народы, у которых самая благородная кровь, спускаются на арену, чтобы вступить в братоубийственный бой: французы, немцы, англичане. А вокруг варвары смотрят на них и ликуют.

— Кто же эти варвары? — спросила хозяйка.

— Как кто? Американцы и русские. Это новые варвары, которые всем хотят завладеть и все растоптать. Первые — при помощи долларов, вторые — революционной доктрины.

Я было подумал: вероятно, Лагард считает нас до такой степени парижанами, что находит возможным, не стесняясь, называть при нас русских варварами. Однако он продолжал:

— Американцев еще можно кое-как перевоспитать: ведь они с нами одинакового корня. Но вы, русские, другое... Пора, пора покончить с влиянием России на европейские дела, пора раз и навсегда загнать ее обратно в Азию и урезать как можно больше.

Я чувствовал, что вот-вот выйду из себя, а потому старался говорить как можно суше, официальнее:

— Господин посланник, слушая вас, можно подумать, что Франция в войне не с Германией, а с Россией...

— Ах, вы про эту войну! Слава богу, что это только «странная» война. Слава богу, что кровь еще не обагрила арену. Вот бы русские тогда радовались!

...Французы — самый учтивый народ, но в эти месяцы французские буржуа многому разучились: все средства хороши, когда ни за что не хочешь взглянуть действительности в глаза.

А действительность жестоко обманывала буржуа.

За несколько лет до войны известный историк Пьер Гаксот, недавно попавший в «бессмертные» (так называют членов Французской академии), говорил мне с подчеркнутым глубокомыслием:

— Цель Гитлера — Восток. Вся французская политика должна быть направлена на то, чтобы не мешать ее осуществлению. В походе Гитлера на Москву — единственное спасение для Франции.

При этом Гаксот добавил:

— Такой поход может быть двояко спасителем: он избавит Европу от большевизма и истощит германскую мощь. С большевиками немцы, вероятно, справятся, но это будет не так легко, как у нас полагают некоторые легкомысленные политики и генералы. Советский Союз — крепкий орешек. Пусть немцы ломают о него зубы: нам это выгодно! А там будет видно...

Ныне «бессмертный» Гаксот, как видно, всегда был человеком серьезным, не любившим решать с кондачка мировые проблемы. Но хоть и более извилистыми путями, он тоже в своих рассуждениях искал всего-навсего самоублажения.

Война началась, а дальше Польши Гитлер все еще не шел на Востоке, между тем как французам пришлось мобилизоваться.

...Как-то вечером я столкнулся на затемненном бульваре с Муратовым. Мы зашли в кафе, и он прочел мне свою очередную политическую лекцию, предварительно сообщив, что всего на несколько дней приехал из Лондона, где «твердо обосновался в ожидании новой международной акции против коммунизма».

— Это — чистейшее безобразие! — сказал мне Муратов. — Гитлеровское нападение на Польшу было настоящим разбоем.

— Павел Павлович, вы же некогда говорили, что в Гитлере — единственное спасение Европы...

— Да, говорил, и так могло получиться в самом деле. Но Гитлер сглупил. Пусть он и гений, а все же дурак! Если бы после Польши он пошел на Москву, Англия бы благословила его. А так выходит черт знает что! Да, просто разбой!

А в Париже самоуслаждались...

Мне случилось быть в Люксембургском дворце, где заседает сенат, когда пришло известие о гитлеровском нападении на Норвегию. Радоваться было нечему, а для тревоги основания все увеличивались.

Помпезность и гармонические пропорции этого дворца всегда приводили меня в особое настроение: все дышало в нем величием французской истории, блеском фран-

цузского искусства. И оттого сами сенаторы, восседающие в крытых красным бархатом мягких креслах, казались тоже величественными и мудрыми.

В кулуарах мне повстречался правый сенатор Готро. Связанный с антисоветскими организациями во всех странах, давнишний покровитель эмигрантских активистов, он упорно, последовательно работал на войну против СССР. Это был человек очень заурядных способностей, но кому-то, очевидно, полезный на мелких ролях из-за своей упрямой ненависти ко всему прогрессивному.

События развивались совсем не так, как предполагал Готро. Как же он на них реагировал?

— Ну что же, все очень хорошо! — поведал он мне. — Волк вылез из своего логовища. Это как раз нам и на руку. Да, да! А ведь это могло бы и не случиться... Конечно! Однако кто бы мог подумать?! Значит, обезумел — раз вылез наружу. А мы только этого и ждали! Хорошо, когда все ясно. Ясность — лучшее свойство французского ума. Да, да! Не сдобровать волку! О, нет! Я мог бы по этому поводу многое сказать. Но нельзя. Военная тайна! Да, да! Вот видите, как... Вам все понятно, надеюсь?.. В интересное время живем... Итак, волк отважился. Это очень существенно!

И так далее и так далее.

Я его недослушал, поняв, что он может так говорить час, два, круглые сутки.

А на другой день вся французская печать (за закрытием коммунистической выходила только буржуазная) разразилась статьями, под любой из которых с удовольствием подписался бы сенатор Готро: все о волке, который вышел из своего логовища, и о том, как это хорошо.

На своем веку я много написал такого, о чем жалею теперь. Тоже и в эти месяцы и последующие. Однако кое о чем я все же могу вспомнить с удовлетворением.

Я завел в «Возрождении» особую рубрику, которой была отведена значительная часть первой страницы. Эта рубрика состояла из цитат на французском языке. Я цитировал известнейших французских историков, заявлявших, что только великодушию России Франция была обязана сохранением своего ранга великой державы в 1814 и 1815 годах, приводил заявления знаменитейших маршалов Наполеона о доблести русских войск, опять цитировал французских историков, указывавших, что после франко-прусской войны Россия дважды спасла Францию от нового немецкого нашествия, и, наконец, свидетельства французских военачальников первой мировой войны о том, что наше самоотверженное наступление в Восточной Пруссии позволило Франции отстоять Париж.

Эти цитаты помогали в спорах с поносившими Россию французами. По моему указанию вырезки из газеты с французским текстом рассылались французским официальным лицам (вроде Лагарда), в редакции французских газет, во французские официальные учреждения.

Несмотря на ошибочность многих моих установок и неверность выводов в отношении новой России, дело это в основном было полезным.

К этому времени относится моя полемика с Шарлем Моррасом, вызвавшая довольно значительный отклик.

Этот идеолог французского монархизма, имевший большое влияние на некоторую часть молодежи, лидер монархического объединения «Аксон Франсез», очень известный писатель, член Французской академии, разразился бранной статьей по адресу России, считая ее лишь «географическим понятием».

Я отвечал ему в «Возрождении» по-французски. Взял в основу грубые, но вполне подходящие для данного случая слова Дюма-сына. Автор «Дамы с камелиями» примерно так отвечал хулителям своего знаменитого отца, автора «Трех мушкетеров»: «Мой отец — океан, вам не загрязнить его вашими нечистотами!» В подчеркнуто вежливой, но не менее категорической форме я обращал эти слова к Моррасу, сравнивая с океаном Россию. Затем опять цитировал свидетельства французских историков, государственных деятелей и военачальников касательно того, чем Франция обязана России. И, наконец, приглашал «бессмертного» совершить со мной небольшой истори-

ческий экскурс. Я напомнил Моррасу, что, когда мелкие германские княжества изнемогали в междоусобной борьбе, когда Берлин был всего лишь столицей Пруссии, а Рим — папских владений, Россия уже давно утвердила свое единство. Лучшие армии мира — Карла XII и Наполеона — разбились насмерть о ее твердыню. В Париже, Берлине и Милане развевались победоносные русские знамена. Оттоманская империя и Австро-Венгрия, основывавшие свое могущество на угнетении, сошли с исторической сцены под ударами русской армии. Я напомнил также Моррасу, что если Франция — наследница Рима, то Россия — наследница Византии, а ведь крестоносцев, то есть западных феодалов, в Царьграде встречали как варваров. Без России, писал я в заключение, Европы быть не может.

Моррас отвечал мне, стараясь смягчить резкость высказанных им суждений. Хотя я и отмежевывался в этой своей статье от новой, революционной России, ее, к немалому смущению «Возрождения», все-таки перепечатала «Эпока», в то время едва ли не единственная парижская газета, робко, но все же явственно высказывавшаяся за сближение Франции с СССР.

Уже до войны в спорах с иностранцами о России я огорчался полной для меня невозможностью найти с ними общий язык.

Вот, например, иностранец — все равно, француз, немец или американец, — отрицающий прогрессивное значение Октябрьской революции, считающий, что Россия пострадала от революции и что коммунизм — угроза для мировой цивилизации. Казалось бы, у него должна быть общая платформа с «Возрождением», где я сотрудничаю. Однако хулу на революцию такой иностранец обязательно распространяет на всю русскую историю. Он не признает ни роли России в общеевропейском развитии, ни значения русской культуры. Он отрицает Ленина и плохо знает Толстого. Не признает советского строительства и не чувствует красоты Петербурга. Не верит в мощь Красной Армии и утверждает, что только холод изгнал Наполеона из России. Считает, что место России — за Уралом, и даже когда он этого прямо не говорит, мне ясно, что, по его мнению, Россию следовало бы расчленить. Мы с ним чужие, каждое его суждение корбит меня, отталкивает от него.

А вот другой иностранец — опять все равно какой национальности. Он не коммунист, но считает, что Октябрьская революция знаменует собой решающий поворот в мировой истории. Он с интересом и сочувствием относится к созданию в СССР нового, социалистического общества. Он враг фашизма и видит в СССР оплот в борьбе против мировой реакции. Такой иностранец знает, что Лев Толстой — самый большой писатель XIX века. Он интересуется историей России, ценит русскую культуру. Я чувствую в нем друга. Но как быть? Ведь я считаю, что революция столкнула Россию с ее исторического пути!

Спорить с тем и другим мне было тем труднее, что они рассуждали последовательно, а я нет.

Подлинных друзей России во Франции было всегда много (помню, как один старый французский парламентарий говорил мне: «Франко-русский союз проник в самую кровь людей моего поколения»). И, быть может, ни в одной другой стране новая, революционная Россия не нашла столько горячих, самоотверженных почитателей, при этом не только в рабочей среде, но и в интеллигенции, на самых верхах культуры. Уже при зарождении нового, советского общества Анатолий Франс и Анри Барбюс призывали французов: «Спасайте человеческую истину, защищая правду русскую. Будьте уверены, что грядущие поколения будут судить честных людей нашего поколения в зависимости от того, на чью сторону они станут в настоящий момент».

Но ко времени войны и в первый ее период решительно взяла верх наиболее консервативная, наиболее косная и самодовольная часть французской буржуазии. Разложение все углублялось, выдвигая тех людей и те группы, которые вернее всего могли довести этот процесс до самых крайних пределов. Весь этот период запечатлелся в моей памяти как полное владычество, разгул наиболее прогнившей, окончательно обанкротившейся части буржуазии. Она-то и задавала тон в эти месяцы.

После расправы с компартией трудящиеся оказались как бы обезглавленными.

Оглушенный раздающейся сверху болтовней, народ Франции, казалось, пребывал в оцепенении. Лучшие умы страны умолкли, не в силах бороться со стихией пустословия. Некоторых охватил пессимизм. Не раз под шум болтовни приходилось мне слышать от умных, очевидно совершенно обескураженных французов:

— Ах, как все это несерьезно! Неужели мы так измельчали?!

А русская эмигрантская масса ждала, тоже оглушенная этой болтовней. Вожаки эмиграции молчали или печатали заявления, которые могли быть пропущены военной цензурой, значит вполне соответствовали общему тону французских правящих кругов. Гукасов и Семенов возлагали надежду на генерала Вейгана и на поход на Баку: война, по их мнению, должна была так или иначе привести к падению большевиков. Лучшая часть эмиграции томилась за колючей проволокой. Прочие эмигранты были сбиты с толку событиями, не понимали, чего следует желать и как отразятся эти события на судьбах их родины.

Наступил май. Только вечернее затемнение да большое количество военных придавали французской столице несколько необычный вид. Вернулись почти все уехавшие в первые дни войны из-за боязни воздушных тревог. Ведь за этими тревогами не следовало ни бомбардировки, ни даже пальбы. Когда высоко в небе мелькали серебром вражеские самолеты, парижане смотрели на них без малейшего беспокойства. Выданные населению противогазы, почти всегда негодные, давно валялись в чуланах, как несущий хлам.

Знаменитый Морис Шевалье исполнял бравурную песенку о старом служаке полковнике — клерикале и реакционере, о социалисте-новобранце, о работодателе и рабочем, о крестьянине и коммерсанте, которые, забыв все прежние распри, как и в 1914 году, слились в единое целое, сплошь состоящее из образцовых французов...

Первая мировая война застала меня с родителями во Франции. Двенадцатилетним мальчиком я проводил целые дни на парижских улицах, охваченный общей лихорадкой. Словно буря — патриотизма, тревоги, священной решимости — пронеслась тогда по Парижу. Вся Франция в ее порыве была подобна знаменитой «Марсельезе» Рюда на Триумфальной арке Этуаль. Но теперь этот барельеф не выражал ничего реального, сегодняшнего. Тогда общественное мнение требовало от каждого выполнения долга перед отчизной; теперь Жюль или Поль говорил совершенно открыто: «У меня «рука», устроился при интендантстве в Париже», — и решительно никому не приходило в голову его осуждать.

Итак, май наступил — и воцарилась чудесная, радостная, вся в ярких красках парижская весна. Все чего-то ждали, все что-то предчувствовали...

(Окончание следует)



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ПО СЛЕДАМ ПОЛЕМИКИ

ГДР

С конца прошлого года на страницах «Зоннтаг» идут горячие споры о насущных задачах современной литературы. Обмен мнениями по вопросам, занимающим широкие круги немецкой интеллигенции, — явление не только не случайное для этого еженедельника, а скорее даже обычное. Он весьма разнообразен по содержанию, освещает самые различные стороны общественной и культурной жизни Германии наших дней, в нем участвует много видных немецких писателей, ученых, деятелей искусства.

«Зоннтаг» («Воскресник»), еженедельник по вопросам культуры. №№ 49, 51 за 1956 и №№ 2, 4 и 6 за 1957 гг. Год издания 12-й. Берлин. Издатель «Культурбунд». Главный редактор Гейнц Цегер.

★

Нынешний спор о литературе особенно привлекает наше внимание хотя бы потому, что он во многом перекликается с теми дискуссиями, которые развернулись за последний год в других странах демократического лагеря.

Инициатор спора — известный литературовед, профессор Ганс Майер, автор интересной монографии о Томасе Манне и других весьма ценных историко-литературных трудов. В декабре в «Зоннтаг» появилась статья проф. Г. Майера (вернее, текст речи, подготовленной им для радио) «К современному положению нашей литературы». Выступление это сразу же заинтересовало читателей остротой поставленной проблемы. Проф. Майер выражает тревогу в первую очередь по поводу состояния литературы Германской Демократической Республики. За последние годы выходит мало хороших книг, говорит он, литература явно отстает от запросов, которые предъявляет к ней читатель. Как быть? Как добиться новых успехов в работе немецких писателей?

Такая постановка вопроса сама по себе вполне законна. Она продиктована искренней заботой критика о своей отечественной литературе, ее успехах, ее дальнейшем росте. Беда, однако, в том, что ответы, которые дает проф. Майер, отнюдь не вносят ясности.

Проф. Г. Майер отмечает, что современная литература бедна не только в ГДР, но и в Западной Германии, не только в Германии, но и в Англии и Франции, не только на Западе, но и в Советском Союзе и в европейских странах народной демократии... Совершив на протяжении одной газетной полосы пробег по литературам всего земного шара, проф. Майер всюду находит одну и ту же удручающую картину оскудения и без колебаний ставит в один ряд литературы народов и стран, принадлежащих к противоположным общественно-политическим системам, находящихся в различных общественно-политических условиях... Он вовсе игнорирует при этом и те идеи, которыми одушевлены писатели разных стран, и ту позицию, которую они занимают в социальных конфликтах нашего времени. Можно ли таким путем разобраться по-настоящему в состоянии литературы и ее задачах?

Проф. Майер справедливо осуждает тех критиков-упрощенцев, которые легкомысленно и без знания дела высказываются о художниках Запада, объявляя каждого писателя некоммуниста «болотным растением, погрязшим в тине умирающей буржуазии». Подобные вульгаризаторские тенденции, которые проявлялись до недавнего времени — в частности и в советской критике, — конечно, заслуживают порицания. Но ведь и о советской литературе не подобает высказываться легкомысленно и без знания дела! И нас не может не огорчать то, что такой видный и серьезный немецкий литературовед, располагая весьма скудными сведениями, столь категорично, хотя и бездоказательно, говорит о «явлениях литературного упадка» в СССР.

Проф. Майер недавно побывал в СССР. Но о художественной жизни нашей страны он судит понаслышке. Он ссылается не на прочитанные им книги, не на увиденные им пьесы, а на разговоры с москвичами, с которыми ему довелось встречаться. Говоря, например, о том, что в московских театрах идут главным образом пьесы классиков, он попутно называет Назыма Хикмета и Гладкова (не путает ли он драматурга Александра Гладкова с Федором Гладковым?). Если круг имен, которыми оперирует проф. Майер в области новейшей советской поэзии и прозы, столь же ограничен, сколь и в области драматургии, если в поле его зрения нет ни «Русского леса» Л. Леонова, ни «Искателей» Д. Гранина, ни новых вещей В. Овечкина, В. Тендрякова, П. Ниллина, ни поэмы А. Твардовского «За далью — даль», ни стихов Я. Смелякова, Л. Мартынова, Б. Слуцкого и многих других, то ему, конечно, трудно судить о сегодняшнем состоянии нашей литературы.

Основная часть статьи проф. Майера озаглавлена «Проблематика мировой литературы». Тут речь идет о причинах отставания литературы и путях преодоления этого отставания (причем опять-таки писатели всего мира берутся за одну скобку). По мысли автора, который, впрочем, ссылается здесь на материалы лондонской сессии пен-клубов, главная проблема, вставшая ныне перед людьми писательского труда, такова: в жизни человечества все большее место стали занимать кино, радио, телевидение; в искусстве возникают новые формы, новые жанры, и нужно, чтобы и литература искала новые формы. «Большинство наших романистов, впрочем, также и большая часть прозаиков молодого советского поколения или Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии, упрямо держались за форму романа Бальзака или Толстого. Когда читаешь их книги, то создается впечатление, что они высокомерно пренебрегали всеми теми проблемами формы романа, которыми занимались на протяжении десятилетий Томас или Генрих Манн, Константин Федин или Арагон и Сартр, Музиль или Хемингуэй, или Дёблин». Несколько дальше проф. Майер спрашивает: «Неужели до сих пор хотят делать вид, будто Франц Кафка никогда не существовал, будто «Улисс» Джойса не был написан, будто так называемый «эпический театр» представляет собой всего лишь причуду, весьма, впрочем, уважаемого Бертольта Брехта? Необходима оговорка: речь идет не о том, будто я требую от нашей литературы возрождения Кафки или, тем более, подражания Джойсу. Но современная литература невозможна без знания современной литературы».

К этим суждениям проф. Майера мы еще вернемся. Пока что хочется заметить лишь одно. В последнее время и у нас и за рубежом много раз справедливо подвергался порицанию узко «тематический» подход к литературе — такой подход, при котором разные произведения, безотносительно к их художественному достоинству, объединялись в одну общую рубрику на основе их идеи или темы. Но разве не менее порочен такой метод анализа, при котором объединяются по общему формально-техническому признаку произведения различной идейной направленности? Ганс Майер поставил рядом как новаторы формы Джойса, Кафку — и Бертольта Брехта. Нам представляется совершенно неправильным приравнять большого художника-борца Брехта к мэтрам буржуазного модернизма.

Искания Брехта в области «эпического театра» дали яркие и смелые творческие результаты именно потому, что они были вдохновлены передовыми идеями нашего времени. Брехт стремился найти и находил такие формы сценического искусства, которые помогали ему донести до зрителя идеи ненависти к угнетению и к военной агрессии, идеи уважения к труdiaщемуся человеку и веры в его силы. Можно ли такого художника называть в одном ряду с писателями совершенно иных взглядов? И можно ли всю проблематику современной прогрессивной литературы сводить главным образом к тому, что ей не хватает формальной изощренности?

В заключение проф. Майер бегло и мимоходом затрагивает весьма сложный и важный вопрос: необходимо, говорит он, выяснить, в чем заключается вред, нанесенный литературе «так называемым культом личности». И он призывает к откровенному, содержательному обмену мнениями.

На этот призыв откликнулись Альфред Курелла, Альфред Антковиак, Вольфганг Йохо. Альфред Курелла — видный писатель и общественный деятель, чье имя хорошо известно у нас, — очень основательно проанализировал те причины, которые на протяже-

нии ряда лет порождали трудности в развитии советской литературы. Он показал, как культ личности Сталина приводил к тенденциям схематизма и лакировки, к отрыву отдельных писателей от народа. В статье А. Куреллы сказано немало суровых слов относительно того, какой ущерб принесли советской литературе тенденции поверхностной иллюстративности, приукрашенное, облегченное изображение действительности. Вместе с тем критик ясно дает понять, что причины такого рода явлений принадлежат прошлому, относятся ко вчерашнему, а не к сегодняшнему дню нашей страны. Статья Альфреда Куреллы отнюдь не исчерпывает острых вопросов современной советской литературы; можно, пожалуй, посоветовать на то, что в статье этой говорится почти исключительно об имевших место ошибках и трудностях, а не о том, как они теперь преодолеваются. Но во всяком случае перед нами здесь серьезное выступление взыскательного, вдумчивого критика, который хорошо знает советскую литературу, по-настоящему любит ее и верит в ее будущее.

В своих суждениях о современной литературе проф. Майер совершенно обошел проблемы художественного метода. Этот пробел восполнили его оппоненты. «Речь идет о реализме» — так озаглавил свою статью критик Альфред Антковиак. Он убедительно говорит о том, что недопустимо рассматривать «современную литературу» как единое целое. Главный критерий при оценке творчества писателя — реалистично ли оно, правдиво ли изображена им действительность. «Реализм — вот метод и климат современной литературы, от Шолохова до Моравиа, от Лакнесса до Кастро, от Хемингуэя до Робера Мерля». Вместе с тем, напоминает Антковиак, есть в современной литературе и такие явления, которые ничего общего с реализмом не имеют, — ведь нельзя же считать реалистом такого, например, писателя, как Оруэлл! Но именно с реализмом связано то ценное, что есть в литературе сегодня.

Антковиак опровергает пессимистические заключения проф. Майера о нынешнем состоянии литературы: ведь не каждый год, говорит он, рождаются шедевры, ведь достаточно вспомнить о новых главах «Поднятой целины», об «Атомной станции» Лакнесса или о «Коммунистах» Арагона, чтобы убедиться, что и в самое недавнее время появились значительные произведения. Реалистические тенденции в современной литературе не убывают, утверждает А. Антковиак, а растут и крепнут; метод социалистического реализма имеет за собой большое будущее потому, что он «соответствует законам художественного развития, проявляющимся повсюду, и соответствует исторически-социальной закономерности, согласно которой наша эпоха различными национальными путями устремляется к социализму...» Все лучшее, что есть в современном искусстве, естественно, в силу внутренних потребностей художественного творчества, движется в сторону социалистического реализма, то есть реализма, одушевленного «социалистически-партийным видением мира».

Эту мысль Антковиак подтверждает на примере творчества современных итальянских «неореалистов». Правдивое изображение народа в искусстве — самое значительное художественное завоевание современности, органически тяготеющее к социалистическому реализму...

Все это интересно и верно. Но хочется поспорить с А. Антковиаком там, где он говорит о современной литературе СССР и демократических стран. По его мысли, те недостатки этих литератур, которые связаны с культом личности, по своей эстетической природе коренятся в романтике. «Многие советские писатели, — говорит А. Антковиак, — в этом убедились (например, Николай Погодин, Некрасов, Эренбург) и теперь стараются (по моему мнению, с чрезмерной заостренностью) выдвинуть на первый план трезвую документацию, восстановить в правах изображение жизненных противоречий и начисто распрощаться с романтикой».

Думается, что Антковиак смешивает совершенно разные вещи. Есть романтика ложная, выражающаяся в лакировке, сглаживании реальных конфликтов, фальшивой монументальности, парадности и т. д. Подобными недостатками действительно грешили иные произведения нашего искусства — от фильма «Клятва» до тех колхозных романов, в которых жизнь советской деревни рисовалась этойкой безоблачной идиллией. Но есть и романтика подлинная — когда художник обращается к высоким чувствам, цельным характерам, большим благородным делам. Такая романтика, проявляющаяся и в выборе сюжетов и героев, подчас и в самой манере, стиле художественного вопло-

нения образов, не противоречит жизненной правде нашего искусства: она заложена, на мой взгляд, в самой природе социалистического реализма, она в высокой степени свойственна многим лучшим произведениям советского искусства, будь то «Как закалялась сталь», «Оптимистическая трагедия» или «Педагогическая поэма». Эта подлинная романтика ярче всего проявляется именно в тех книгах или фильмах, где полным голосом сказано о трудностях реальной жизни, подчас и о трагедийной стороне ее: ведь героический характер лучше всего раскрывается именно в борьбе, в преодолении препятствий.

А. Антковиак очень справедливо говорит о том, что задачей искусства социалистического реализма на современном его этапе является как можно более широкое, многостороннее, последовательно правдивое отображение простого трудящегося человека в его повседневных заботах и делах. Но разве в повседневной жизни рядовых тружеников нет романтики и героики? Вспомним финал замечательного фильма «Два гроша надежды», где пафос самых светлых и возвышенных чувств очень естественно вырастает из сурового и трезвого воспроизведения будней.

Вопрос о романтическом начале в искусстве социалистического реализма, конечно, не столь уж простой вопрос. Он вызывал у нас немало споров еще несколько лет назад и продолжает их вызывать сейчас. Не очень ясно и по сей день, где граница между теми революционно-романтическими элементами, которые присущи социалистическому реализму как художественному методу, и романтикой как составной частью стиля отдельных художников, которые в силу своих индивидуальных свойств тяготеют к большим страстям и ярким характерам. Все это требует теоретического осмысления. Но, во всяком случае, не следует представлять путь дальнейшего развития социалистического искусства, как путь «прощания с романтикой». С этим, наверное, не согласились бы многие талантливые советские художники.

Каковы пути роста, нового подъема современной литературы? Этой теме посвящена статья романиста и критика Вольфганга Йохо. Проблема, стоящая перед нашей литературой, утверждает он,— это в первую очередь проблема не формы, а содержания. Именно те произведения, которые основаны на большой гуманистической идее, привлекают читателя, приносят пользу человечеству, выдерживают испытание временем. В. Йохо вспоминает годы господства гитлеризма в Германии. В этот период и многим писателям и многим читателям очень нужны были книги-друзья, книги-советчики, которые помогли бы пережить тяжелое время и найти свой путь в жизни. И тут, говорит Йохо, происходил «любопытный процесс переоценки ценностей». Многие произведения, которые в Веймарской республике пользовались сенсационной славой благодаря своим необычным формальным качествам, быстро утратили свой интерес для читателя, потому что не могли оказать ему настоящей моральной поддержки в трудных условиях, а лишь «заводили его в тупик или оставляли в состоянии растерянности». И читатель более охотно обращался к книгам писателей-антифашистов, к тем книгам, где имелась «ясная гуманистическая перспектива».

Вольфганг Йохо решительно не согласен с утверждениями, будто современная литература ГДР может лучше всего преодолеть отставание, если приобщится к достижениям западных модернистов. «Я считаю, что для наших писателей будет полезно, для нашей новой литературы будет плодотворно интенсивно изучать А. Цвейга, Л. Франка, А. Зегерс и — если говорить о литературе международной — вновь и вновь изучать Горького, а также Шолохова. И я, далее, считаю, что для современного писателя во сто раз полезнее усердно изучать «Войну и мир» или «Человеческую комедию», нежели штудировать Джойса или Кафку».

К этому хочется еще многое добавить.

Имена Джойса, «открытого» и поднятого на щит через много лет после его смерти, Франца Кафки, а также Пруста, Дос Пассоса и других корифеев новейшего буржуазного искусства упоминались много раз в ходе литературных дискуссий истекшего литературного года. Не только проф. Майер, но и некоторые другие писатели и критики — например польский литературовед Ян Котт — пытались усмотреть главный грех искусства социалистического реализма в чрезмерной его приверженности к традициям классиков и невниманию к творчеству «новаторов» XX века.

С другой стороны, некоторые критики полагают, что модернистское искусство можно просто игнорировать. К такой точке зрения близок А. Курелла, который во второй своей полемической статье (специально посвященной критике декадентских течений в поэзии) утверждает: «Современная социалистическая литература вполне может обойтись без знания «современной» буржуазной литературы...»

Так ли это? Ведь среди ныне здравствующих буржуазных литераторов модернистских направлений есть и одаренные, субъективно честные люди, от которых не следует сектантски отмахиваться, ибо их можно и должно завоевать на сторону прогрессивного дела. Вместе с тем нельзя действительно бороться с литературой буржуазного декаданса, если мы не будем знать противника. Пожалуй, можно согласиться с Г. Майером в том, что и для литературоведов и для писателей весьма бесполезно знакомство с Джойсом и Кафкой. При этом важно видеть в них не столько образец художественного новаторства, сколько характерное порождение буржуазной культуры на стадии ее упадка, характерный пример того, как даже крупный талант получает нездоровое развитие, заходит в тупик, когда художник находится в плену ущербного, ложного мировоззрения.

Не будем упрощать. Ни Джойс, ни Кафка не были апологетами капитализма. Им было присуще вполне искреннее отвращение к буржуазной косности, пошлости. Но их протест против тупой обывательщины слишком часто оборачивался неверием в человека, отвращением к самому роду человеческому. И это уродовало, в сильной мере обесценивало их несомненно значительные дарования. Неужели следует видеть откровение нового искусства в созданном Кафкой устрашающем символе человека-насекомого или в знаменитом многогранном «потоке сознания» пошлой мещанки Марион, завершающем роман «Улисс»?

Надо сказать, что в западном литературоведении иногда сильно переоценивается новаторство писателей-модернистов. Им порой приписывается и то действительно ценное, что принадлежит вовсе не им, что было дано уже большими мастерами реалистического романа в предшествующем столетии.

Кафка по-своему сильно передавал психологию угнетенной, ущемленной личности. В этом смысле он использовал те художественные открытия, которые были сделаны Достоевским. Но он одновременно и извращал Достоевского, продолжал на свой лад именно худшие его стороны, возводя всеобщую разобщенность и вражду людей в непреложный закон человеческого существования и превращая картину человеческого бытия в безотраднo мрачную фантазмагорию.

Джойс не раз объявляли изобретателем внутреннего монолога. Неверно! Передача психического процесса в его повседневной жизненной непосредственности, воспроизведение неслышной, подчас смутной и неформальной внутренней речи человека в различные моменты его жизни, — все это было внесено в литературу еще Львом Толстым, тем самым Толстым, которого иные эстеты объявляют устаревшим. Но у Толстого внутренний мир разнообразных персонажей воспроизводится в его действительной всесторонности и полноте, в толстовскую картину человеческой психики входит и высокое и низкое, и осознанное и полусознанное, и устойчивое и изменчивое. Толстой проникает в глубь человеческой души и тогда, когда мысли героя вполне логичны и ясны, и тогда, когда мысли эти рвутся и путаются. В XX веке многие писатели-реалисты — будь то Голсуорси, Роллан или Фадеев — воспользовались психологическими открытиями Толстого, постарались развить их на свой лад в целях наиболее совершенного и углубленного познания человека в искусстве. С другой стороны, школа «потока сознания» тоже на свой лад воспользовалась психологическими достижениями Толстого и в то же время извратила их, попыталась свести образ человека в искусстве к стенографической фиксации всяческой душевной мути и путаницы, направляя свое внимание главным образом на самые низменные стороны человеческой психики.

Вряд ли стоит современным писателям ориентироваться на Джойса и Кафку — ведь это неизбежно скажется не только на формальных приемах, но и на духе их творчества. Неужели есть необходимость в том, чтобы привлекать внимание современных писателей к самым отталкивающим проявлениям человеческой природы, к гиперболизации всяческих пороков и душевных неурядиц, представлять их как нечто вечное и неизбежное? Такой взгляд на жизнь способен воспитать читателя не в духе

активного сопротивления социальному злу, не в духе борьбы за лучшее будущее человечества, а в духе капитуляции перед силами, враждебными человеку.

Мы вовсе не имеем в виду, что литература социалистического реализма обязана повторять классические образцы. Она не повторяет их уже потому, что она одушевлена новой идейной перспективой, такой идейной перспективой, какая не могла быть доступна классикам XX века. Эта литература дает новый угол зрения на человека, по-новому раскрывает его возможности. Она по-новому осознает силу простых людей и их великую роль в больших социальных столкновениях сегодняшнего и завтрашнего дня.

Новаторство искусства социалистического реализма, конечно, не только в мировоззрении. Но основой художественного новаторства, присущего этому методу, является именно мировоззрение. Новые идеи влекут за собой необходимость в новых художественных приемах, которые, конечно, не рождаются сами собой, а требуют напряженных поисков. Писатели социалистического реализма видят и показывают в действии передового человека современности — отсюда вытекает, что они ищут новых способов проникновения в мир дум и чувств этого человека. Писатели социалистического реализма хотят глубже и шире, чем вся предшествующая литература, показать трудовой народ в действии — отсюда вытекают очень сложные задачи в области композиции романа, попытки наметить новые формы большого эпического повествования. Все эти задачи по-разному решаются разными писателями. Ведь каждый из них, даже при единстве их социальных, политических взглядов, по-своему видит человека, по-своему воспринимает окружающий мир. Роже Вайян создает образы французских коммунистов иными средствами, нежели Арагон. Иоганнес Бехер раскрывает богатый духовный мир своего лирического героя иными приемами, чем это делает Назым Хикмет. У Анны Зегерс, Марии Пуймановой, Казимежа Брандыса мы находим и очень тонкие, совершенные способы передачи психологии героев и очень смелые попытки обновить сюжетные и композиционные приемы романа. Понятно, что литература социалистического реализма развивается не в безвоздушном пространстве: ее вовсе не следует представлять себе как нечто искусственно изолированное от всей остальной литературы мира. Современные передовые писатели Запада нередко используют на свой лад не только опыт классиков, но и творческие достижения своих современников, придерживаясь иного, чем они, мировоззрения. Для художественного развития Фаста или Мальца немалое значение имеет опыт не только Драйзера или Твена, но и Синклера Льюиса, Хемингуэя, Колдуэлла. Современные итальянские писатели, связанные с рабочим классом (например, Васко Пратолини), наверно, чему-то учатся у тех писателей «неореалистов», которые не стоят на революционных позициях... Международная литература социалистического реализма крайне многообразна по своим формам, она питается разными соками, она растет в напряженных, сложных исканиях. Но искания в области формы для передовых писателей не самоцель, а средство к тому, чтобы глубже познать жизнь и активнее воздействовать на нее.

Современная передовая литература — и это не может быть иначе — во многом существенно отличается от реализма XIX века. Но можем мы сказать, что ей уже нечему научиться от классиков? Проф. Майер считает ошибкой молодых писателей демократического лагеря, что они упрямо держатся за форму романа Бальзака и Толстого. Не будем придираться к тому, что проф. Майер не вполне законно объединил два великих, но очень различных имени: повествовательное искусство Толстого обозначило новую ступень реализма по сравнению с искусством Бальзака! Но нас больше интересует здесь другое. Неужели Бальзак, с его остро драматическим строением сюжета, с его бесстрашием в раскрытии социальных конфликтов, виновен в том, что иные молодые прозаики наших дней поддались соблазнам бесконфликтности? Неужели Толстой, гениальный психолог, виновен в том, что иные авторы «производственных» романов стали пренебрегать душевной жизнью своих героев? Думается, что серьезное изучение творчества Бальзака, как и серьезное изучение творчества Толстого, может очень существенно помочь тем литераторам, которым пока еще не удалось вылечиться от догматизма, схематизма, пристрастия к лакировке и прочих «детских болезнях», затрудняющих их творческий рост. Бальзак и Толстой были глубоко современны, каждый по-своему, для своей эпохи, — и они учат писателей наших дней быть современными для нашей

эпохи. А Кафка или Джойс, напротив, учат писателей жить и творить в не живых связях с обществом и народом, то есть вне времени, вне современности.

Очень верно и умно говорила Анна Зегерс в докладе на съезде немецких писателей в январе 1956 года: «Там, где наше искусство отстает, становится узким, схематичным и бесцветным, в этом повинен не метод, который, напротив, требует от художника изображения жизни во всем ее многообразии и глубине. Его никто не ограничивает, напротив, ему дан новый, могучий стимул — показать путь в будущее. Там, где действительность становится богаче, многограннее и счастливее по мере своего развития, там и искусство, правдиво отражающее действительность, должно становиться богаче и шире. Оно не только не должно отставать от своего времени, в нем должно найти свое завершение все то ценное, что утвердили в нашем сознании художники прошлых времен».

Дискуссия в «Зоннтаг», как и другие литературные дискуссии в демократических странах, продолжается. Пути развития литературы социалистического реализма вызывают и вызовут еще немало споров. Многие конкретные творческие вопросы решаются и будут решаться творческой практикой художников, взаимообогащением и осмыслением опыта передовых литератур разных стран. Но уже теперь ясно, что перспектива дальнейшего роста социалистической литературы не в самодовлеющей формальной утонченности, не в разработке мнимосовременных (а на самом деле уже очень отживших!) модернистских приемов, а в глубоком, честном, смелом отображении жизни народов, их борьбы за лучшее будущее. Там, где есть богатство идей, глубина жизненного содержания, — там, пусть в итоге нелегких поисков, возникает и богатство художественных средств.

Т. МОТЫЛЕВА.

ТРЕВОГИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Англия

В январском номере «Лондон мэгэзин» опубликовано письмо одного из читателей журнала — Джереми Кингстона — о состоянии драматургии и театра в Англии. «Большинство пьес, которые я смотрел, — пишет он, — кажутся мне, откровенно говоря, никому не нужными... Вероятнее всего, они могли бы быть написаны и, пожалуй, скоро будут писаться машиной: «Труппа типа «А», ситуация № 3, диалог неизменный... После двух с половиной часов представления единственное, что остается, — это обсуждать игру, больше говорить не о чем. Ведь рассуждать о переживаниях действующих лиц, как о чем-то действительно интересующем нас, было бы попросту абсурдным».

«Лондон мэгэзин» («Лондонский журнал»), еженедельный литературный журнал. Январь. 1957. Год издания 4-й. Лондон. Редактор Джон Леман.

★

Свои горькие суждения на состояние английского театра автор письма заключает жалобой на то, что текст, сущность пьесы остаются в загоне и что критику интересует лишь игра артистов.

Проникнутое горечью письмо молодого драматурга, заявляющего о своей решимости, несмотря ни на что, «продолжать писать пьесы, пока последний театр не превратится в кинозал, используемый для телевидения», явилось откликом на напечатанную в декабрьском номере журнала статью драматурга Джона Уитинга, написанную также в мрачных тонах. Уитинг отмечает печальное расхождение между драматургом и его интерпретаторами. «Для многих актеров и режиссеров, — пишет он, — театр стал вещью в себе». Касаясь попутно положения театра в США, он пишет: «В Нью-Йорке на каждую пьесу, написанную для театра, приходится полдюжины сфабрикованных пьес, которые представляют собой сценическую переделку романов, мемуаров, даже кинофильмов... и являются лишь материалом для актера».

Статья Уитинга напечатана в новом разделе журнала, посвященном писательским размышлениям о настоящем и будущем литературы. Название этого отдела «Writers perspective» можно было бы условно перевести так: «Виды литературы на будущее» или «Перспективы писателя».

Этот новый раздел журнал ввел лишь в прошлом году. Для «Лондон мэгэзин» это — нововведение не только в буквальном, но и в переносном смысле. Другие постоянные разделы журнала, как, например, «Приезд в Лондон» и «Мертвые живут»,

посвящены прошлому. В одном из них английские литераторы описывают свой первый приезд в Лондон, обращаясь, таким образом, к делам давно минувших дней. В другом печатаются статьи об умерших писателях, по мнению журнала, сохраняющих свое значение и поныне. Новая же рубрика, как показывает само ее название, обращена не столько в прошлое, сколько в будущее. Это тем более примечательно, что, как мы уже имели случай отметить (см. «Новый мир» № 4 за 1955 год), характерной чертой «Лондон мэгэзин» чуть ли не со дня его основания было повышенное внимание к материалам, далеким от событий наших дней, с помощью которых журнал нередко довольно успешно отгораживался от современности. И то, что теперь редакция решила предоставить слово писателям, встревоженным судьбами английской литературы, размышляющим о ее будущем, — факт знаменательный.

В новом разделе журнала, кроме упоминавшегося Уитинга, в 1956 году приняли участие два молодых писателя — Джон Уэйн и Колин Уилсон и два представителя старшего поколения — романист Ф. Тойнби и гораздо более известный читателям Олдос Хаксли.

Их статьи представляют несомненный интерес как своеобразное «свидетельство о бедности», как сигнал о тех трудностях, которые испытывают в наши дни английские писатели. Это тревожные голоса. При всем внешнем несходстве стиля, эмоциональной окраски и прочего, у этих статей есть одно общее свойство: они все говорят о неблагополучии в делах литературных... Каждый из авторов приводит свои диагнозы, рекомендует свои рецепты. И хотя диагнозы и рецепты разные, все они констатируют болезнь, расходясь лишь в оценке серьезности положения; впрочем, и эти расхождения не столь уж значительны.

Нельзя сказать, чтобы у авторов «Лондон мэгэзин» не было основания для беспокойства. Не случайно за последние годы в английских литературных изданиях все чаще раздавались сетования на кризис романа, рассказа, поэзии. Не раз звучали жалобы на то, что в современной английской литературе сейчас не найти таких деятелей, которых можно было бы поставить рядом с мощными фигурами Шоу, Уэллса, Голсуорси и других писателей, обогащавших ее на протяжении многих десятилетий. Не было, правда, недостатка и в опровержениях, в рассуждениях о том, что никогда современники не бывают довольны книгами своей эпохи, которые в полной мере удаются оценить лишь много времени спустя. В числе причин, объясняющих тяжелое положение литературы в наши дни, фигурирует ссылка на необычайное распространение того явления, которое Пристли окрестил «ад масс», имея в виду так называемую «массовую культуру» — телевидение, радио, кино, якобы отвлекающие от чтения книг. Джон Уэйн находит, например, эту аргументацию неубедительной. Все эти явления, угрожающие литературе, пишет он, существуют уже весьма долгое время. Телевидение — это «пугало, от которого у нас должны пробегать мурашки по коже», — по мнению Уэйна, «не вносит ничего нового, поскольку еще тридцать лет назад кинематограф лишил романиста монополии на развлечение публики». «И разве сейчас, — восклицает Уэйн, — труднее написать хороший роман, чем в 1920 году?»

Говоря о неудовлетворительном состоянии литературы, Уэйн призывает не искать извиняющих предлогов. Вопреки этому призыву он, однако, сам не удерживается от соблазна и, являясь, как известно, романистом, возлагает вину на... критиков и поэтов. Первых он считает подлинно наказанием господним. Заявив без обиняков, что «многие из тех, кто... формирует общественное мнение о литературе, откровенно говоря, не обладают даже самыми ординарными познаниями», Уэйн обвиняет критиков в том, что, не желая даже читать в книгу, они предпочитают ходить по модным вечеринкам и ловить там острое словцо, которое можно было бы вставить в очередную рецензию. Что же касается поэтов, то многие из них в прошлые годы, по словам Уэйна, обнаружив, что «современная поэзия не требует ни рифмы, ни размеров... отказались от всяких попыток чем-то отграничить свои стихи от прозы».

Если Уэйн озабочен будущим английской литературы, то его коллега Колин Уилсон встревожен перспективами «европейского мира» вообще. «Вопрос о будущем западноевропейской литературы, — пишет он, — связан с тем, что всей западноевропейской культуре в целом грозит очутиться без будущего... Все это может оказаться столь катастрофическим, что от наших достижений не останется и следа... Вот по-

чему, — заключает Уилсон, — мне кажется, что писать о «будущем романа» или «будущей поэзии» бессмысленно и бесполезно, пока мы не осознаем того факта, что у нас вообще может не оказаться будущего. Глупо заниматься полировкой ногтей в то время, когда ваш дом охвачен пожаром».

Романист Ф. Тойнби считает нужным указать на «продолжающуюся изолированность писателя» и отмечает чувство растерянности писателя перед лицом мировых событий. Олдос Хаксли в отличие от своих коллег, пространно рассуждающих о «моральных факторах», сосредоточил свое внимание на проблемах экономического положения писателя. В частности, его статья посвящена «экономической цензуре», которая, по определению Хаксли, заключается в том, что ни одна книга, не сулящая издателю прибыли, фактически не может выйти в свет. Оставив Хаксли в приятном заблуждении, будто на Западе нет «цензуры политической», проследуем за ним по лабиринтам «цензуры экономической».

Хаксли вводит в обиход новый термин «уорст-селлер», то есть наименее ходкие книги (по аналогии с «бест-селлером» — сверхходкой книгой). Таким «уорст-селлером» может оказаться любое произведение литературы, издание которого не обещает окупиться. По подсчетам Хаксли, ввиду возросших почти втрое в послевоенный период производственных расходов издание любой книги, которая не может разойтись тиражом в семь тысяч экземпляров (по американским стандартам, в Западной Европе эта цифра несколько ниже), становится явно невыгодным для издателей, и они спешат от таких книг отмахнуться, каковы бы ни были их художественные достоинства. «Новая экономическая цензура», пишет Хаксли, направлена против любой книги, которая не вызывает уверенности, что она разойдется.

Хаксли бьет тревогу. Он утверждает, что в нынешних условиях создалась опасность для всякого художественного эксперимента, для произведений, не укладывающихся в рамки «популярного», «коммерчески выгодного» чтения.

Единственное средство противодействия экономической цензуре, по словам Хаксли, заключается в том, чтобы обеспечить «невыгодную» книгу «субсидией» за счет автора (если он достаточно богат), издательства, какого-нибудь фонда или коммерческого «спонсора» (покровителя), если он согласится, чтобы его реклама сопутствовала «уорст-селлеру», что случается крайне редко.

Не лучше обстоят дела ежемесячных и ежеквартальных изданий, которые совсем захирели бы, если бы не «ангельское» заступничество «богатых частных лиц» или «фондов». А такие «ангелы» не столь уж бескорыстны: контролируя программу этих изданий и навязывая свои «советы», они действуют по поговорке: «Чье кушаю, того и слушаю».

Хаксли признает, что все эти «полумеры» недостаточны.

Что же он предлагает? В поисках панацеи его взор обращается в прошлое, в глубь столетий. «Если издатели не могут более позволить себе издание и распространение «уорст-селлеров», то почему бы не взять это на себя самим авторам. В средние века у писателя не было выбора: он должен был сам выполнять роль издателя своих собственных книг. Петрарка и Боккаччо, например, изготовляли рукописные копии своих сочинений...» А сейчас авторам, несомненно, легче, чем Петрарке, — ведь к их услугам пишущая машинка.

Хаксли идет дальше. Почему бы, спрашивает он, не возродить традиции бардов гомеровских времен, бродячих менестрелей средневековья и монастырей, где читались вслух жития святых? Пусть авторы сами читают вслух свои произведения. А чтобы не отстать от века, можно использовать для этого пластинки с звукозаписью, что якобы обойдется дешевле печатания. Хаксли рекомендует «современной хозяйке салона» украсить обед проигрыванием соответствующей пластинки с литературной записью.

Возрождение «устной литературы» Хаксли считает тем более важным, что сейчас огромное число людей «никогда не читает или же читает самые примитивные виды псевдолитературы и неандертальской журналистики». К тому же многих «радио и телевидение отучило читать», но можно попытаться заставить их слушать, как читают другие... Статья Хаксли едва ли нуждается в комментариях.

Говоря о новом разделе журнала, хочется отметить появление в нем новых мо-

тивов, свидетельствующих о том, что ныне даже самым рьяным сторонникам теории «отвлеченного искусства», «чистого искусства», «искусства ради искусства» трудно защищать свои принципы с открытым забралом. Характерно, что, например, Тойнби ныне вынужден признать, что писатель должен быть «заинтересован» своим временем. что он не может жить и творить в башне из слоновой кости. Тойнби констатирует, что писатели в наши дни уже не могут оставаться «нетронутыми вирусом общества». Но главную роль — по Тойнби — играют не какие-либо положительные ценности, а чисто негативные факторы. «Водородная бомба, — пишет он, — вот, попросту говоря, самый могучий и тревожный символ новой (вынужденной, как подчеркивает Тойнби) ассоциации» (личности и общества). Надо добавить, что Тойнби, признавая функцией писателя отражение своей эпохи, тем не менее грозно предупреждает: «Если писатель будет стремиться к тому, чтобы, прочтя его книги, читатели изменили свое общественное поведение», то он — о, ужас! — превратится в писателя «завербованного», то есть приверженного коммунистическим доктринам со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И все же при всех этих оговорках стоит отметить заявление Тойнби о том, что в современных условиях «вневременный роман» невозможен.

Симптоматично, что и Уилсон считает нужным писать о «чувстве реальности» как о величайшем даре, который писатель может дать своей эпохе. Но в чем он видит проявление этого дара? По мнению Уилсона, это чувство реальности заключает в себе всего лишь способность упорядочивать факты. Уилсон строго предупреждает: самое главное для художника — овладеть материалом, эмоции не должны играть при этом никакой роли. Противопоставляя факт идее, Уилсон называет своими наставниками Джойса и Шпенглера.

Читателю, пожалуй, нетрудно будет обнаружить наиболее слабые и уязвимые пункты в аргументации Уилсона. В самом деле, разве не ограничивает он роль писателя, обрекая его на функции каталогизатора фактов, эдакого дотошного архивариуса, регистрирующего один факт за другим, равнодушно внимая добру и злу. По существу он отрицает за писателем право не только выражать идеи, но и проявлять человеческие чувства. Ведь, по его мнению, эмоции не должны «иметь места». Можно ли представить себе хоть одно великое творение литературы, лишенное глубоких идей и горячих чувств? Наконец, разве тот же Джойс при всей своей талантливости и колоссальной работоспособности сумел натуралистическим нагромождением фактов в «Улиссе» обогатить подлинно реалистическое искусство, проявить то «чувство реальности», которое сам Уилсон считает столь важным для писателей?

На страницах нового раздела «Лондон мэгэзин» ряд английских литераторов, из которых одни лишь начинают, а другие едва ли не завершают свою литературную деятельность, пытаются соединенными усилиями создать своеобразную панораму «идейных» и «организационных» трудностей литературы. При всей парадоксальности и полемической заостренности отдельных положений эта панорама дает известное представление о реальном положении, хотя в корень вещей ни один из авторов заглянуть не решился или не сумел.

Можно представить себе, что иной из тех «критиков» — остроловов и зубоскалов, о которых пишет Уэйн, — свой обзор упомянутых выше статей озаглавил бы «Пятеро авторов в поисках будущего», или «Пятеро в одной тонущей лодке», или еще как-нибудь пошмнее. Но все это, пожалуй, не так уж смешно. «Перспективы» английского писателя, как их рисует «Лондон мэгэзин», не очень радужны — в его статьях фиксируются некоторые кризисные явления буржуазной культуры. Тем менее, казалось бы, оснований у почтенных авторов валить с больной головы на здоровую. И все же кое-кто из них не удержался от соблазна даже в статьях, посвященных как будто бы целиком английской литературе, выступить с разного рода домыслами о... литературе советской.

Так, Хаксли не прочь порассуждать о «железном занавесе», о «политической цензуре» и «пропаганде» в «тоталитарных странах» Тойнби же берет на себя миссию «объяснить», какие требования предъявляют к писателю доктрины «коммунистической культуры». В роли истолкователя марксистской теории искусства он выступает, мягко говоря, не совсем удачно. В изложении Тойнби эти «доктрины» сводятся к тому, что

«романист должен быть левым, предпочтительно коммунистом», что он «должен излагать эти взгляды в своих романах», что он «должен писать свои романы в духе ненависти к тем, кто придерживается иной политики, и в духе восхищения трудящимися классами» и, наконец, «он должен писать так, чтобы его книги были понятны тем, кто абсолютно несведущ в истории и развитии романа». «Традиция английской поэзии — быть оригинальной», — заметил где-то в своей статье Уэйн. Если принять на веру это утверждение, то нельзя не признать, что некоторые авторы «Лондон мэгэзин» сделали все возможное, чтобы доказать, что к критике это определение не относится. Какая уж тут оригинальность, если они — в который раз — повторяют старые-престарые, затасканные рассуждения о «коммунистическом искусстве». Мнимые противники «клише» и «стереотипных фраз» вновь и вновь заводят старую пластинку о «духе ненависти» и о «несведущих массах» и т. д. Декларируя свою нелюбовь к упрощению, они сами предельно упрощают «доктрины», приписываемые «коммунистической культуре».

Что касается самого Уилсона, то его статья послужила поводом к дискуссии, в ходе которой этот молодой писатель выступил в облике раздраженного, брюзжащего старика, явного ретрограда, тяготеющего ко всему старому и отжившему. Дело в том, что в своей статье понятие «Европы» и «европейской культуры» Уилсон ограничил географическими рамками «Запада» Это обстоятельство побудило одного из читателей журнала, Эдвина Моргана из Глазго, прислать в журнал протестующее письмо. Морган, в частности, писал: «Огорчительно видеть в мистере Уилсоне еще одного западноевропейского провинциала, нарядившегося в новый костюм, но упорно придерживающегося старых, обветшалых, как лохмотья, традиций... Западноевропейская литература обрекает себя на голодную смерть тем, что боится выйти за свои границы в поисках пищи. Боязнь политических ярлыков вынуждает нас игнорировать или невежественно презирать литературные ценности, создаваемые в рамках других культур, противоположных нашей... Там (то есть на востоке Европы) мы знаем множество писателей, в том числе больших и человечных писателей, активно связанных с судьбами своего времени и у которых многому могли бы поучиться романисты и поэты: назову лишь Горького, Маяковского, Шолохова. Неужели м-р Уилсон полагает, что они принадлежат к отличной от нас или к непримиримо противоположной культуре?»

Далее Морган указывает, что чувство реальности и утверждающие мотивы «может увидеть (разумеется, при наличии естественных недостатков) в настоящее время я каждый, кто возьмет на себя труд познакомиться с переводами послевоенных русских книг». Упрекая Уилсона за игнорирование советской литературы, Морган в заключение писал: «Мне кажется, что Уилсон несколько напоминает человека, прикрывающего рукой один глаз и жалующегося затем на искажение перспективы».

Письмо Моргана привело Уилсона в крайнее раздражение. В своем ответе, написанном в декабре 1956 года, в разгар антисоветской клеветнической кампании, связанной в связи с венгерскими событиями, Уилсон переходит к прямым нападкам на советскую литературу. Откровенно признав, что он прочитал «не более полудесятка книг советских писателей», Уилсон с места в карьер заявляет, что он «предубежден» против «школы советского реализма», ибо он «не любит писателей, считающих себя связанными с государством». Правда, Уилсон готов сменить гнев на милость и пересмотреть свои суждения, но при одном условии, а именно, что «современная Россия выдвинет нового Розанова, Мережковского, Шестова или Бердяева». Уже по одному этому списку «эталон» можно себе представить, какой хотел бы видеть мистер Уилсон советскую литературу.

Заметим кстати, что в январском номере журнала редактор «Лондон мэгэзин» Джон Леман прибегает к той же ссылке на связь советского искусства с государством, чтобы оправдать разрыв культурных связей и, в частности, отмену выезда лондонского балета в Москву.

По-видимому, кое-кто из литераторов, выступающих в «Лондон мэгэзин», склонен полагать, что прекращение культурного общения с другими странами и возрождение «холодной войны» могут улучшить перспективы английской литературы. Глубокое и печальное заблуждение!

Вл. РУБИН.

„ОБЕТ“ МОЛЧАНИЯ

США

Как сообщает рецензент журнала «Сатердей ревью», в книжке директора филладельфийского планетария «Спутник межпланетного путешественника на Марс» говорится в числе прочего и о том, будто наблюдатели часто по-разному толкуют то, что они видят на Марсе. Но подобное явление распространено на нашей планете не только среди астрономов. Существует немало людей, которые смотрят на вещи, не пользуясь телескопами или микроскопами, и видят не то, что есть, а то, что они хотят увидеть. Это явление можно наблюдать на страницах самого «Сатердей ревью». В том же номере журнала помещены три статьи, посвященные итогам литературного 1956 года,— большой общий обзор Раймонда Уолтерса, где говорится и о литературе США и об иностранных изданиях минувшего года, и два, так сказать, содоклада: о криминальной литературе и о поэзии.

В статье Уолтерса представлена широкая картина литературной жизни. Как и в любом годовом обзоре, приведено много случайного, незначительного, но упоминаются и явления подлинного искусства — такие, как, например, посмертная публикация драмы О'Нила «Долгое путешествие в ночь» или издание писем талантливого американского писателя Томаса Вульфа.

Перечисляя много книг о бизнесе и бизнесменах, Уолтерс заявляет: «В течение нескольких лет издатели «Тайм» и многие журналы бизнеса бранили писателей за то, что в их книгах с недостаточной симпатией изображается бизнес и деловая жизнь. Еще ни разу писатели не отвечали на этот призыв так слабо, как в 1956 году».

Здесь речь идет об одной из очень актуальных идеологических проблем в США. «Тайм» уже давно и весьма ревностно, но не очень успешно добивается от американских писателей создания положительного героя — бизнесмена. Пресса «большого бизнеса» требует, чтобы художественная литература равнялась на нее, прославляя блага американского капитализма. Но, к прискорбию обозревателя, литература, стараяющаяся выполнить эти требования, оказывается... уже не художественной.

Между строк можно прочесть ценные признания в том, что нет настоящего романа, настоящей поэзии, отражающих современную действительность. Этот факт отмечается почти без комментариев. Так, в обзоре поэзии прямо сказано: «В основном 1956 год подтвердил общую тенденцию молодых поэтов работать во все более строгих формах и стремиться свести к минимуму содержание своего творчества. Подобная же тенденция была проявлена в этом году и со стороны старшего поколения поэтов».

То же происходит и в области романа. Находятся критики, утверждающие, что хорошие романы в Америке не появляются потому, что люди... слишком спокойно живут.

Разумеется, возможны и «законные» самые различные точки зрения на события литературной жизни. Мы стоим за самые разнообразные формы выражения литературно-критической мысли. Однако то, что Раймонд Уолтерс начинает подводить итоги литературного года с описания приезда в США молодой французской писательницы Франсуазы Саган, считая этот факт крупнейшим литературным событием в жизни страны, свидетельствует не столько о своеобразии критической точки зрения, сколько о смешении понятий литературной и «светской» хроники, литературного события и газетной сенсации. (Кстати, по поводу самого факта следует заметить, что та типично американская шумиха, которой был окружен приезд Франсуазы Саган,— неистовство всяческих теле-фотокино-радиорепортеров — резко и безвкусно диссонирует с камерным, приглушенным, мягко нюансированным звучанием ее творчества...) Франсуаза Саган — автор двух лирических повестей: «Здравствуй, грусть» и «Неопределенная улыбка». В них проявилось, несомненно, весьма своеобразное литературное дарование, тонкое мастерство стиля, галант наблюдательной рассказчицы. К сожалению, все эти достоинства не искупают чрезвычайной скудости мысли, зияющей пустоты душевного мира и болезненной изломанности этих книг, в которых почти все поглощается мучительно назойливой эротичностью. В первой повести Саган рассказала о том, как восемнадцатилетняя девушка с немалым умением разрушила первое настоящее чувство своего пресмыщенного,

«Сатердей ревью» («Субботнее обозрение»), еженедельник по вопросам литературы. 22 декабря. 1956. № 51. Нью-Йорк. Главный редактор Гаррисон Смит.

★

развратного отца. Писательница показала большое скопление зла в маленькой душе своей героини. Во второй книге повествование ведется снова от имени молодой девушки-студентки и сводится к очень тщательным натуралистическим описаниям различных перипетий ее любовных пождений; нет, пожалуй, нельзя назвать ее похождения любовными. Когда-то для их обозначения существовало приличное слово «альковные»...

Уолтерс по этому поводу очень кстати приводит шутку своего собрата из «Нью-Йорк таймс», что, дескать, теперь молодые девушки пишут такие романы, которые их мамашам не разрешалось бы читать. Вряд ли это происходит в целях излечения обывателей от ханжества...

Начиная рассматривать уже собственно литературные события — издания новых книг, обозреватель «Сатердей ревью» применяет в своей классификации довольно забавный критерий. Он разделяет «книги самых молодых авторов» (и при этом выясняется, что Саган уже не самая молодая, ее «обскакала» четырнадцатилетняя Энн Бодарт, также француженка) и «книги самых старых авторов». В числе последних называются как самые яркие (сенсационные?) примеры новые издания произведений весьма плодовитого Уинстона Черчилля — в прошлом году был переиздан его первый роман «Саврола» и продолжали выходить новые тома «Истории народов, говорящих на английском языке». К нему «подверстаны» на основе все той же единственной общей черты (достижения авторами 80-летия или приближения к этому почтенному возрасту) сборник статей Бертрانا Рассела и избранные сочинения покойного философа Джорджа Сантаяны.

Впрочем, разумется, ни отступления ради сенсационного репортажа, ни такие оригинальные критерии классификации обзореваемой литературы сами по себе не могут вызывать особых возражений. Ведь суть обзора в конечном счете не в этом.

Видно, что Уолтерс в таких своеобразных и в известной мере присущих традициям американской публицистики формах стремился к тому, чтобы все же как-то охватить главные явления, и не только американской литературы. Он довольно подробно говорит об американских изданиях, английских, французских книгах, упоминает о книгах Индии и Японии, Испании и Греции, Южной Африки. Здесь явная претензия представить мировое литературное развитие минувшего года (конечно, только на основе книг, изданных в США). Уже в заключение Уолтерс сетует: всегда в конце обзора обозреватель с грустью убеждается в том, что какие-то значительные книги он опустил. Ну что же, нечаянные упущения не такой уж грех! Все равно ведь обо всем не скажешь в ограниченных пределах статьи еженедельника. Однако в данном обзоре упущены отнюдь не только отдельные явления, упущены целые разделы, огромные разделы литературной жизни современного мира.

Любой непредубежденный читатель может спросить: а где же литература одной трети земного шара? Неужто в СССР и Китае, в Польше и Чехословакии, в Югославии и Вьетнаме, в ГДР и Корее книг не пишут? Не издают? Не переводят? Не читают? По американской печати, получается именно так. Американские книгоиздатели не хотят знать о книгах, выходящих в этих странах, не хотят переиздавать эти книги в США. Как известно, пятнадцать лет США не признавали СССР; вот уже восьмой год не признают народный Китай. Делалось это, очевидно, для того, чтобы нанести вред тогда Советскому Союзу, а теперь Китаю. Но Советский Союз существовал и даже строил социализм. Китай существует и строит социализм. Вред это принесло только американскому народу. И та культурная изоляция, то «непризнание» в области культуры, которое продолжают поддерживать некоторые представители официальных политических и литературных кругов США, приносит вред прежде всего американскому читателю.

Мы не отвечаем и не будем отвечать в этом деле тем же. Искренне стремясь положить конец «холодной войне», мы издавали, издаем и будем издавать лучшие произведения американских писателей. Вот факты последнего времени. Один из редакторов «Сатердей ревью» Джон Стейнбек, как известно, не принадлежит к числу наших друзей, однако его повесть «Жемчужина», опубликованная в № 12 журнала «Иностранная литература» за 1956 год, с интересом читается в СССР. Вышло еще одно русское и одно украинское издание повести Хемингуэя «Старик и море». Отдельной книгой

вышли романы Митчела Уилсона «Брат мой, враг мой» и Роберта Сильвестра «Вторая древнейшая профессия», опубликованы циклы стихов Сандберга, Хьюза. В советских журналах печатают произведения таких далеких от нас по своему мировоззрению зарубежных авторов, как Фолкнер и Мориак, Грин и Белль, Сароян и Моравиа.

И тем не менее мы все еще постоянно не удовлетворены состоянием нашего книжного рынка. Наши читатели в массе хорошо знакомы, например, с американской классикой. У нас издавались и переиздаются в хороших переводах отдельные произведения, избранные сочинения Купера, По, Лонгфелло, Ирвинга, Уитмена, Генри, Твена, Драйзера, Синклера Льюиса. Но вот так получилось, что до сих пор не переведен «Моби Дик» Мелвила, а из современников мало известен Фолкнер (гораздо меньше, чем очень популярные Хемингуэй и Стейнбек). Так ведь мы же об этом говорим, спорим, критикуем друг друга на совещаниях и в статьях. И, конечно, эти пробелы будут восполнены.

Нельзя сказать, что во Франции или в Англии так уж любят и всегда объективно освещают советскую литературу. Но все же там не замалчивают попросту факта ее существования. В 1956 году в Англии изданы «Петр I» Алексея Толстого, «Открытая книга» В. Каверина, «Дни нашей жизни» В. Кетлинской, «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского. Во Франции издан большой сборник советских рассказов, очередные тома собрания сочинений М. Горького, «Домбровский» Д. Гранина, «Клоп» В. Маяковского, «Гости в Стукачах» В. Овечкина, «Сережа» В. Пановой и многие другие произведения.

Видимо, французам и англичанам не слишком мешает «железный занавес», через который никак не могут проникнуть заокеанские издатели и литературные обозреватели. Не потому ли это, что пресловутый занавес повис вовсе не над Эльбой, как померещилось однажды некоему очень старому лорду, а на несколько тысяч километров западнее, где-то там, возле старой статуи Свободы?!

Американские издатели книг и журналов, так же как американские литературные критики и рецензенты, с поразительным единодушием стараются скрывать от американского народа духовные и эстетические ценности, создаваемые в социалистическом лагере.

Почему же это происходит?

Некоторые суеверные люди боятся поминать черта, чтобы он, чего доброго, и впрямь не появился перед ними.

Неужели же так боятся советских и китайских, польских и чешских, югославских и румынских писателей? Неужели и вправду считают их такими страшными «красными дьяволами», что даже не решаются поминать?

Может быть, напротив, издатели, редакторы и критики в США полагают, что их молчание так выразительно, так грозно, что если не сокрушит, то по крайней мере устроит нечестивых литераторов, не признающих благодатного величия и святости бизнеса и частного предпринимательства?

Но, право же, Федин и Го Мо-жо, Назым Хикмет и Твардовский, Пуйманова и Домбровская, Мартынов и Некрасов, Панова и Бехер, Зегерс и Незвал отлично существуют и творят без американских изданий и не испугаются зловещего молчания американских критиков. Зато американские читатели вправе считать себя обделенными и обманутыми, потому что с ними коллеги г-на Уолтерса пытаются поступать примерно так же, как некий учитель географии поступил с тем школьником, которого описал Жюль Верн в «Десях капитана Гранта». Этого паренька убедили в том, что весь мир принадлежит Великобритании.

Юный папуас искренне поверил в эти географические измышления духовного предка некоторых сегодняшних американских литературных обозревателей.

Но ведь «Сатердей ревью» читают и взрослые люди!

Можно было бы предположить, что обозреватель «Сатердей ревью» повинуется такому рискованному для своей репутации и для репутации своего журнала «обету» критического умолчания для того, чтобы продемонстрировать свое, так сказать, эстетическое неприятие литературной продукции неупоминаемых стран, что он считает все книги, издаваемые там, незначительными, художественно неполноценными, вовсе не заслуживающими внимания.

Нет, даже судя только по этому обзору, г-на Уолтерса нельзя заподозрить в таком чудовищном субъективизме. Да и по сути он сам менее всего повинен в этом. Ведь он обзорекает продукцию американских издательств. А они в истекшем году, как и в прошлые годы, не издавали книг писателей социалистических стран.

Может быть, они заботятся о вкусах своих читателей? Может быть, они всерьез полагают, что литературных гурманов, избалованных изысканными яствами, которые готовят Микки Спиллейн, Агата Кристи и т. п., можно только шокировать такой незамысловатой духовной пищей, как романы и стихи, повести и драмы, в которых главное место занимают большие, человеческие, социальные и нравственные проблемы, а не загадки уголовного сыска или тайны половых извращений?

Мы слишком уважаем американского читателя, чтобы допустить возможность таких расчетов.

Нет, причины диковинной литературной географии г-на Уолтерса совсем иного порядка: они не связаны ни с какими особенностями вкусов и эрудиции обозревателей и издателей. Они становятся очевидными каждому, кто потрудится просто прочесть весь номер того самого журнала, в котором помещен рецензируемый обзор.

Передовая статья, посвященная венгерским событиям, начинается весьма выразительным и недвусмысленным абзацем: «10 дней в октябре 1917 года потрясли мир. 30 дней, которые начались 23 октября в Будапеште, еще могут способствовать тому, чтобы восстановить прежнее положение». Вот она, почти афористически выраженная подлинная идеологическая цель — вернуть мир к состоянию, скажем, на сентябрь 1917 года!

Статья о Венгрии — классический образец журнальной клеветы. Но среди рассуждений автора встречаются и некоторые любопытные факты, небезынтересные для нашего читателя. В статье рассказывается о бурной реакции деятелей Уолл-стрита на венгерские события, их личное и денежное участие в «Комитете помощи». И все это делалось под лозунгом «Наша революция...».

За прошедшие сорок лет после того, как под влиянием Великого Октября изменился климат мира, много было революционных движений. Бавария и та же Венгрия, Китай и Турция, гражданская война в Испании, национально-освободительное движение в Индии, в Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке. Насколько помнится, ни «Дженерал электрик», ни Панамериканская компания, ни другие бизнесмены — «обогаатели» революции не стремились тогда помогать революции. Эти компании и другие, им подобные, известны народам мира как душители, а не как помощники революций.

В той же статье встречаются выпады по адресу американского правительства: воинственный журналист распекает президента за недостаточно «твердую политику». Есть прямые призывы к войне и не только в этой статье.

И если в литературных обзорах не удастся найти ни одного упоминания об СССР и социалистических странах, то зато им уделяется чрезвычайно большое внимание в других разделах журнала. И характер этого внимания лучше всего объясняет причины молчания.

Вот, например, рецензии на сборник статей под названием «Красная Армения». Редактор сборника небезызвестный капитан Лиддел Харт. Авторский состав весьма любопытен: английские, американские, немецкие, русские (белоэмигранты) военные специалисты. Мелькают давно знакомые нам имена: Дитмар, Гудериан. Трудно судить о книге по рецензии. Но любопытно, что именно привлекает рецензента. Оказывается, главное в портрете Красной Армии — это «деревенская» душа (она же бывшая «таинственная» славянская), ссылками на которую так много и так безуспешно некоторые западные деятели объясняли «чудеса» под Москвой, Сталинградом, Курском, Берлином. Очень старая песня о выносливости и долготерпении русского солдата. «Привыкший к существованию в страшнейшей бедности, русский крестьянин живет слишком близко к смерти, чтобы бояться ее, и слишком поглощен удовлетворением животных потребностей, чтобы ценить себя как личность...» — нагло и развязно вешает рецензент.

В борьбе с таким предполагаемым противником нетрудно строить победоносные расчеты. Впрочем, видимо, и в самой книге есть иные голоса. Английский физик Эшби, который пишет о достижениях советской науки, всячески предупреждает против преуменьшения сил Советского Союза.

Наряду со всеми этими красноречивыми разглагольствованиями выразительное молчание литературных обзоров становится понятным и недвусмысленным. Его определяют не особенности эстетических вкусов и не соображения, основанные на здравом смысле, а действительное состояние американского книжного рынка, в свою очередь определяемое в основном внелитературными факторами. Скрывать от американского народа правду о социалистических странах, скрывать от него литературу, которая силой художественной убедительности может раскрыть запретную правду,— этого требует от американской печати, от американской критики яростная злоба проигравшихся «помощников Венгрии», требует классовая ненависть воротил «большого бизнеса». В этом молчании проявляется и радость тех, кто не хочет клеветать грубо, «в лоб», и расчетливость хитроумных стратегов, надеющихся еще разжечь ненависть и недоверие между народами.

Тщетные надежды! В этом убеждены не только мы, но, вероятно, и все честные люди Америки.

В рецензии на книжку о межпланетных путешествиях, с которой мы начали разговор, есть любопытные предсказания: в 1968 году на Луну полетят ракеты с людьми, в 1978—1980 годах начнет действовать межпланетная станция, с 2000 года начнутся регулярные экспедиции. В научной и технической подготовке предстоящего освоения межпланетных просторов активно участвуют и американские и советские ученые; они находят общий язык и, несомненно, найдут эффективные формы сотрудничества. Хорошо бы, чтобы американские журналисты хоть в какой-то степени восприняли опыт своих соотечественников и постарались добросовестнее освещать и политические и литературные дела на нашей земле. По поводу «прикладной» астрономии, которой они придерживаются до сих пор, у китайцев есть древняя пословица: «Глупец полагает, что ладонью можно закрыть солнце».

Не только ладонью, но и годовым тиражом «Сатердей ревью» не закрыть ни солнца, ни правды о мире социализма.

Р. ОРЛОВА.



Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

★

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ

По вопросу о социалистическом реализме написаны тысячи статей и сотни книг. Начиная с Первого съезда писателей и кончая нашими днями, не было ни одного крупного обсуждения проблем советской литературы, ни одного крупного выступления мастеров этой литературы, где бы в той или иной мере, в той или иной форме не затрагивались проблемы социалистического реализма. Само это понятие родилось и продолжает формироваться в живом процессе развития советской литературы. Сколько бы ни было споров вокруг более широкого или более узкого, догматического или творческого понимания этого термина, существо дела совершенно ясно — большая и серьезная литература устами многих своих крупнейших представителей в течение двух с лишним десятилетий говорит и спорит о том, что накоплено, что реально существует; в этих спорах она ищет наиболее точных и плодотворных формулировок того нового, что внесла и вносит она сама — эта литература социалистического общества — в старое понимание реализма, которое сложилось в XIX веке, когда великие реалисты от Бальзака до Толстого подвергали уничтожающей критике эксплуататорский, беспощадный к человеку буржуазный строй, в недрах которого сами они существовали. Было только естественным и исторически закономерным, что именно из этого литературного течения, устремленного против несправедливого устройства жизни, выросла, а затем и развилась новая литература, видящая своей целью активное участие в создании нового, социалистического общества, заботящегося о счастье для каждого человека. Столь же естественным и закономерным явилось то, что эта новая литература, сохраняя преемственность и опираясь на исторический опыт, подняла знамя социалистического реализма, создавая свою новую теорию по мере накопления своего нового художественного опыта.

О социалистическом реализме за эти годы у нас было сказано и написано много верного и хорошего, а то, что литература и литературная критика многократно за свою историю возвращались и возвращаются к этому вопросу, означает только одно — это вопрос жизненный для нашей литературы, социалистический реализм не догма, а живое, развивающееся литературное дело, которое, как и всякое живое явление, следует — исходя из его развития — и заново рассматривать и заново переосмысливать, улавливая и анализируя новые, рождающиеся в нем черты и грани.

Не претендуя на всеобъемлющее рассмотрение всего понятия «социалистический реализм», мне хотелось бы сейчас рассмотреть некоторые проблемы нашей литературной теории в свете нынешней международной литературно-политической обстановки.

Нам не только нет смысла закрывать глаза на то, что попытки ниспровержения социалистического реализма, как правило, носят сейчас политический характер, нам, напротив, следует именно сейчас в первую очередь обратить внимание как раз на эту политическую сторону дела.

Первый вопрос, требующий рассмотрения и связанный с проблемами социалистического реализма, — это вопрос о зарождении метода социалистического реализма в связи со всей историей советской литературы.

История нашей литературы до недавнего времени по целому ряду причин страдала неполнотой. Во многих исторических исследованиях искусственно суживалась база того живого литературного процесса, в ходе которого рождался социалистический реализм. А раз так, то это в свою очередь суживало и теоретические выводы, делавшиеся на суженной базе.

Оставался за бортом исследований или рассматривался внеисторически целый ряд литературных явлений, составлявших существенную часть творчества ряда крупных ныне живущих и работающих писателей. Об этих явлениях говорилось вне учета того времени, когда были созданы те или иные произведения, того места, которое они занимали в данной конкретной обстановке, вне учета конкретных историко-литературных позиций, которые занимали тогда, в тот период, авторы этих произведений. К этому следует добавить, что вследствие трагических ошибок прошлого ряд заметных в истории литературы фигур вообще не упоминался в ней.

Наконец, в литературной науке допускались порой явно неверные оценки идейно-художественной ценности целого ряда произведений советской литературы, причем в этих оценках сыграло свою роль влияние культа личности. И дело тут не только в том, что в школьные хрестоматии включалось, к примеру, одно из самых слабых произведений Алексея Толстого — «Хлеб», а дело в том, что, когда в плане разработки проблем социалистического реализма «Хлеб» трактовался как шаг вперед для художника по пути социалистического реализма по сравнению, скажем, с первыми двумя частями трилогии «Хождение по мукам», то это отражалось и на самой трактовке понятия социалистического реализма. Вопрос не только в том, чтобы расставить все по своим местам в творчестве Алексея Толстого, — это уже давно сделал сам читатель, — вопрос в том, чтобы поставить точки над «и», разбирая, является ли «Хлеб» шагом вперед по пути социалистического реализма или шагом в сторону от социалистического реализма. Этот вопрос куда шире оценки тех или иных произведений в масштабах творчества даже такого крупнейшего художника, как Алексей Толстой.

Понимание роли народа как творца истории является одной из существеннейших примет художника социалистического реализма, а с этим-то пониманием культ личности и вступил в непреодолимое противоречие. Читая «Хлеб», мы можем увидеть это со всей очевидностью.

Но это лишь одна из иллюстраций, подтверждающих, что и ошибки и умолчания в истории нашей литературы непосредственно влияли на выработку того круга понятий, которые в своей сумме составляют общее понятие социалистического реализма. Необходимо подумать над тем, какие коррективы нам нужно внести в это понятие, исходя из коррективов, вносимых нами в историю нашей литературы. Это логично, ибо утверждение метода социалистического реализма пришло в ходе развития нашей литературы, а история советской литературы видится нам сейчас шире, богаче и разностороннее, чем она выглядела в значительном большинстве исследований, посвященных ей до недавнего времени. Отсюда с неизбежностью следует, что и само понятие социалистического реализма, родившегося на базе истории нашей литературы, мы имеем теперь возможность трактовать богаче, шире и разностороннее, отбрасывая в сторону догматизм и системы незаконномерных отторжений и усекновений, с одной стороны, и преувеличений и восхвалений — с другой.

Почва, на которой выросло понятие социалистического реализма, куда щедрее и плодороднее, чем она представлялась до сих пор в истории нашей литературы, а отсюда богаче и само понятие социалистического реализма, выросшего на этой почве. Тут следует, однако, отметить, что у некоторых литературоведов проявляются нынче тенденции рассматривать всю историю русской литературы советского периода (а также и истории некоторых национальных литератур) как единый поток, где акмеисты, например, мирно соседствуют с Маяковским, где к руслу социалистического реализма несут свои воды едва ли не все ручьи, существовавшие в литературе двадцатых годов и порой журчавшие такие песни, которые ничего общего не имели не только с социалистическим реализмом в литературе, но и вообще не отличались сочувствием делу строительства социализма. Такая расширительная, всепрощающая тенденция столь же антиисторична и вредна, сколь и тенденция ограничительная, суживающая, искусственно вырывающая отдельные звенья из общей цепи литературного процесса.

Второй важнейший вопрос, которого необходимо коснуться в числе проблем социалистического реализма, — это вопрос об утверждающем и критическом началах в нашей литературе. Сюда внесено немало путаницы. Если мы в последние годы справедливо начинаем трактовать лакировочные произведения не просто как произведения слабые и неудачные, полностью или частично, а как произведения, свидетельствующие об отклонении от метода социалистического реализма, то у нас есть все основания рассматривать и произведения, содержащие одностороннюю критику действительности, — произведения, в которых с недостаточной страстностью и художническим тщанием показаны силы, движущие наше общество вперед, — тоже не просто как произведения неудачные или мало удачные, а как произведения, авторы которых в той или иной мере отклоняются от принципов социалистического реализма.

Появление ряда таких произведений можно объяснить как известную реакцию на имевшее место в прошлом замалчивание в литературе теневых сторон нашей жизни, как стремление заняться той критикой наших отрицательных общественных явлений, какой в недавнем прошлом слишком многие литераторы занимались робко и недостаточно. Однако объяснить возможность появления таких произведений — это одно, а декларировать не только закономерность их существования, но даже и закономерность их преобладания в литературе — совсем другое. Отклонение от метода социалистического реализма в ту или иную сторону не есть повод для избиения авторов этих произведений или для заявлений о том, что такие авторы не являются советскими художниками. Но когда мы говорим об основных принципах литературы социалистического реализма, то как один из главных мы неизменно отстаиваем нерасторжимое диалектическое единство пафоса утверждения с остротой критики. При этом мы всегда помним, что активное, передовое начало преобладает в нашем обществе, обеспечивает его движение вперед в острейшей борьбе со всем мешающим этому, и, следовательно, это начало не может не преобладать и во всей нашей литературе, взятой в целом, коль скоро она хочет правдиво изображать жизнь нашего общества.

Этот важнейший принцип следует выдвигать не только в общей форме, но и отстаивать его, подходя к конкретным явлениям литературы, при этом, разумеется, имея в виду и общую картину литературы, общие тенденции ее развития и не прибегая к методу аптекарского взвешивания в каждом отдельном случае, без учета всего процесса развития литературы.

В последнее время можно порой услышать о том, будто бы в литературе существуют две тенденции: одна, которая несет в себе только положительное, утверждающее начало (ее-то и следует, мол, поддерживать и развивать), и вторая, несущая одно лишь критикующее, отрицающее начало (и об этой второй тенденции справедливо говорится как о тенденции, противоречащей принципам социалистического реализма). Такое противопоставление двух тенденций неверно, ибо социалистическому реализму противоречила бы также и первая тенденция, противоречила бы, если бы она вообще могла существовать в литературе.

Об этом приходится говорить в такой предположительной форме, ибо трудно себе представить выведенную в подлинно художественном произведении сколько-нибудь правдивую и действительно положительную фигуру героя, нарисованную вне реальной борьбы, изолированную от реальных противоречий действительности, лишенную подвига в стремлении уничтожить препятствия и помехи на своем пути вперед.

Это было бы возвращением к бесконфликтности, к застывшим, условным схемам. Положительные качества героя — там, где он выводится автором на сцену, — и уж при всех случаях, во всех жанрах литературы ясность положительной программы самого автора проявляются именно в активной борьбе за новое, в столкновении с тем, что этому новому враждебно. И потому мы и говорим, что нерасторжимое единство пафоса утверждения с остротой критики — при ясном понимании победоносного исхода борьбы за торжество коммунизма — является одной из главных черт социалистического реализма.

Именно в этой черте в полную меру сил проявляется позиция художника — его партийность.

Таковы два вопроса, которых нам особенно важно коснуться именно теперь, когда

социалистический реализм подвергается ожесточенным нападкам как со стороны ряда печатных органов буржуазных стран, так и со стороны некоторых литераторов в странах народно-демократического лагеря. В последнем случае такие нападки несут в себе особую опасность, ибо наряду с честными заблуждениями и необдуманной запальчивостью одних статей нетрудно заметить весьма обдуманную маскировку, применяемую в других статьях. Именно об этих последних и пойдет дальше речь. Авторы этих по существу своему вполне злопыхательских статей о социалистическом реализме и советской литературе, как правило, рядятся в тогу людей, стоящих на позициях социализма, и делают вид, что они защищают подлинно социалистическую культуру и литературу от того наносного, будто бы искусственно созданного и связанного с культом личности явления, за какое они пытаются выдать социалистический реализм.

Выступления такого типа получили в 1956 году особенно заметное распространение на страницах польской литературной печати и в свою очередь быстро стали знаменем и оружием для выступлений печати откровенно буржуазной. Давно известно, что все отдающее духом ренегатства с особой охотой и тщанием используют наши прямые противники. Так происходит и в данном случае, и это, конечно, не случайно.

Для выступлений, атакующих социалистический реализм, характерно прежде всего упорное желание во что бы то ни стало датировать появление нового метода, привязать его к определенному году и числу, а говоря конкретно, объявить, будто бы социалистический реализм появился на божий свет лишь в тот день, когда на Первом съезде писателей, в августе 1934 года, выступил с речью А. А. Жданов. Это стремление к датированию не просто результат наивного схематизма. Социалистический реализм здесь датирован для того, чтобы сказать, что он декретирован, и притом декретирован сверху; к тому же декретирован устами Жданова, секретаря ЦК, приветствовавшего съезд от имени Центрального Комитета партии. Для чего понадобилась такая постановка вопроса? Для того, чтобы представить дело так, будто социалистический реализм как метод навязан советской литературе насильственно, извне.

Откуда же такое упорное стремление поставить вопрос с ног на голову?

Достаточно в самых общих чертах познакомиться с историей этого вопроса, чтобы убедиться в том, что социалистический реализм стал зарождаться как новое явление в искусстве в дореволюционных произведениях Горького, что после победы социалистической революции в России он стал выкристаллизовываться в произведениях многих советских писателей, включая в свою орбиту литераторов различных направлений, не нивелируя их творчества и проявляя вместе с тем постепенно некоторые общие принципы и черты. Новый метод выкристаллизовывался в нашей литературе вместе с рождением новых условий для творчества, обращенного к народу, вместе с рождением новых, революционных тем, с рождением новых форм раскрытия этих тем. При элементарном, непредубежденном рассмотрении истории советской литературы эти нарастающие признаки нового литературного метода вполне ощутимы и наглядны. Между тем в некоторых выступлениях польских литераторов процесс этот изображается совершенно на выворот. Из таких выступлений следует, что до 1934 года в Советском Союзе была хорошая, свободно и плодотворно развивавшаяся литература, но затем, в 1934 году, партия навязала ей метод социалистического реализма, и эта литература — под гнетом искусственно навязанного метода — стала делаться все хуже и хуже, пока не пришла к краху. Рубежом между этим райским благополучием и бездной последующего падения явился Первый съезд советских писателей.

Об этом съезде с особенной злобой и пространностью говорится в крикливой по тону и малограмотной по содержанию статье критика Теплица, мимо которой можно было бы пройти, если бы не те ослиные уши, которые из этой статьи высовываются наружу целиком, в то время как в некоторых других статьях их существование не столь очевидно.

Почему Теплицу стал так поперек горла Первый съезд советских писателей? Если исходить из объективных фактов, характеризующих развитие советской литературы, это трудно понять, ибо трудно при сохранении сколько-нибудь элементарной логики, скажем, первые тома «Тихого Дона», вышедшие до съезда, относить к эпохе прогресса литературы, а последний том, вышедший после съезда, — к эпохе ее упадка. Трудно сделать подобную операцию соответственно с различными томами «Хождения по

мукам» или «Петра Первого» или с творчеством таких писателей, как Федин, Леонов, Павлинко, Горбатов, Твардовский, Бажан, Паустовский, — нет нужды удлиннять этот список имен.

Да и не в списке дело, ибо Теплиц вовсе не намеревался исходить из объективных фактов развития советской литературы. И его утверждение, что якобы до Первого съезда советские писатели писали лучше, а после него стали писать хуже, — просто вздорно и недоказуемо. Да и вообще, думается, Теплица не посещала забота об анализе художественных достоинств и недостатков советской литературы, это его мало интересовало. Корни руководивших им соображений следует искать в литературно-политической борьбе, которая происходила в Польше к моменту появления статьи Теплица и ряда других статей, в той или иной мере схожих с нею.

Да, действительно, Первый съезд писателей был рубежом в развитии советской литературы. Но, разумеется, рубежом вовсе не в той трактовке, какую пытался дать Теплиц, не рубежом между прогрессом и регрессом, ибо именно годы, последовавшие за съездом, явились годами бурного расцвета советской литературы. Первый съезд советских писателей стал рубежом в смысле вполне очевидного объединения, консолидации лучших сил советской литературы. Эта консолидация произошла не в один день и не в один год; она была подготовлена длительной работой многих советских писателей, она была поддержана и направлена партией, которая в 1932 году, разрубив горный узел изжившего себя РАППа, помогла активному и бурному объединению всего лучшего в нашей литературе на поддержанной подавляющим большинством советских писателей единой платформе строительства социализма.

С трибуны съезда выступали писатели, разными путями и с разных исходных точек пришедшие к единодушному стремлению поддержать своим творчеством созидательные усилия народа в первой стране социализма. Именно такое единение очень многообразных сил литературы — притом литературы, впервые заявившей себя как литература равноправно-многонациональная, — было наиболее характерно для Первого съезда советских писателей.

Для того чтобы показать всю очевидность и силу этого единения, достаточно взять для примера в самых кратких цитатах высказывания десяти крупных и разных художников, выступавших на съезде, причем вместо этих десяти высказываний можно было бы взять с равным успехом и другие десять. Вот они, эти высказывания.

Федор Гладков: «Социалистический реализм по существу своему есть образное познание революционного развития нашей действительности, т. е. действительности в ее напряженной борьбе, в создании новых социалистических ценностей, в познании человека наших дней как творца, как строителя, как героя».

Леонид Леонов: «...ни в одну эпоху литератор не испытывал такой почетной и высокой ответственности, как сейчас. Это наше основное дело — показать в образах, глубоких и запоминающихся, великое столкновение идей, разработать хотя бы вчерне принципы новой морали и запечатлеть рождение еще неслышанного мира».

Илья Эренбург: «На нашу долю выпала редкая задача показать людей, которые еще никогда не были показаны. Этого ждут от нас миллионы строителей нашей страны. Этого ждут от нас и другие миллионы — по ту сторону рубежа».

Юрий Олеша: «Я считаю, что историческая задача для писателя — создать книги, которые вызвали бы в нашей молодежи чувство подражания, чувство необходимости быть лучше. Нужно избрать все лучшее в себе, чтобы создать комплекс человека, который был бы образцом. Писатель должен быть воспитателем и учителем».

Всеволод Иванов: «Я утверждаю, что все без исключения подписавшие и сочувствовавшие декларации «Серapiroновых братьев» — против тенденциозности — прошли за истекшие 12 лет такой путь роста сознания, что не найдется больше ни одного, кто со всею искренностью не принял бы произнесенной т. Ждановым формулировки, что мы — за большевистскую тенденциозность в литературе».

Борис Лаврентьев: «Многие из нас пришли сюда еще партизанами-одиночками, сохранившими некоторые дурные партизанские привычки, из коих первая — это безответственность. Но уйти отсюда мы можем только организованными и дисциплинированными бойцами того боевого коллектива, который называется армией социалистического пера».

Александр Серафимович: «Откуда же такая громадная сила в нашей художественной советской литературе? Только от одного — от того страшного напряжения, направленности к одной цели, от того громадного внутреннего единства художественного творчества которое несет в себе советская литература».

Константин Федин: «Писатели Советского Союза заявили с этой трибуны о своем единстве. Это единство в области литературы выразилось в идейной общности содержания искусства. Найдена широкая тема, общая для всех социалистических литератур: тема современности, тема нашей действительности».

Александр Фадеев: «...социалистический реализм, утверждая новую, социалистическую действительность, новых героев, в то же время является наиболее критическим из всех реализмов. Он более критичен, чем старый реализм, но соединяет эту черту критики с утверждением новой, социалистической действительности, новой личности и новых отношений».

Всеволод Вишневский: «...съезд нац показывает, что указанное и завещанное Лениным сделано, а именно — литература наша в подавляющем большинстве своем стала частью общепролетарского дела».

Итак, это был съезд единения советской литературы. Съезд, на котором самые разные писатели засвидетельствовали свою общую волю к активной поддержке усилий партии и народа в деле строительства социализма и приветствовали объединяющий их в осуществлении этой активной поддержки метод литературы социалистического реализма. Этот термин закономерно сформулировал то новое, что уже появилось в литературе, указывая вместе с тем перспективу и направление ее общего развития.

Итак, этот съезд единения сил советской литературы, поставленных на службу социализму обдуманно, сознательно и свободно самими писателями, прошел под лозунгом дальнейшего развития социалистического реализма. Достаточно с полной ясностью напомнить об этом, чтобы понять, почему Теплиц с такой злобой обрушился на этот съезд

1934 год был годом единения советской литературы под лозунгом социалистического реализма.

1956 год люди, подобные Теплицу, попытались и в известной мере, как это ни печально, сумели сделать годом разъединения сил литературы социалистической Польши, проводившимся под лозунгом «Долой социалистический реализм!»

Нас трудно обмануть крокодиловыми слезами, проливаемыми по поводу «бедной советской литературы», начавшей якобы вянуть сразу же после Первого съезда писателей под влиянием «губительных лозунгов социалистического реализма».

У нас нет никаких сомнений, что те десять высказываний крупных советских писателей, которые здесь приведены, так же как десятки других высказываний, сделанных двадцать два года тому назад на объединительном съезде советской литературы, люди, подобные Теплицу, попытались бы освидетельствовать, если бы они прозвучали не в 1934, а в 1956 году с трибуны съезда польских писателей. Ибо эти высказывания идут вразрез с намерениями Теплица и иже с ним. Ибо эти высказывания зовут писателей к единению во имя интересов социализма, а высказывания Теплица и иже с ним зовут к разъединению писателей во имя интересов, чуждых социализму.

За последнее время в зарубежной печати появилось множество охотников защищать нас от самих себя; разъяснять нам, как мы, сами того не заметив, начиная с конца двадцатых годов, стали своими руками портить свою литературу. А за сим следует иногда предполагаемый, а иногда так прямо и произносимый лозунг «Назад, в двадцатые годы!»

Читая все это, мы проявляем непонятную застенчивость в спорах. Очевидно, это односторонний пережиток того периода в наших отношениях с писателями народно-демократических стран, когда в этих отношениях преобладала парадность и когда традиция взаимных литературных оценок начиналась с «хорошо» и шла затем по нарастающей линии. А о том, что было плохо, или о том, с чем мы были взаимно несогласны, как правило, умалчивалось.

Парадность — дело малопочтенное. От нее много личных удовольствий и мало общественной пользы. И хорошо, что ее эра заканчивается, но пока она заканчивается несколько односторонне. Нас поносят в самой грубой форме не только за действительные,

но и за мнимые слабости нашей литературы; наши польские друзья предоставляют в своих писательских органах трибуну и для тех людей, которых можно назвать «друзьями советской литературы» только в кавычках, а мы отмалчиваемся с таким видом, словно нас это не касается, и людей, которые позволяют себе зачеркивать целое двадцатилетие советской литературы, робко упрекаем в том, что они делают это недостаточно воспитанно или не в том тоне. Как будто дело в их тоне и в их воспитанности, а не в существе дела — не в попытках отрицания двадцати лет истории нашей социалистической литературы во имя того, чтобы этим шагом облегчить себе зачеркивание последних десяти лет в развитии собственной литературы, плодотворно искавшей и находившей свои пути включения в дело строительства социализма.

Нет, спор идет не о тоне и не о воспитанности. Когда в резком тоне ведется верная и преследующая позитивные цели критика, с резкостями можно и примириться. Но вот с лозунгом «Назад, в двадцатые годы!» примириться нельзя. С лозунгом, призывающим предать забвению великую реалистическую литературу девятнадцатого века и пойти на выучку к западному модернизму двадцатого века, тоже примириться нельзя, даже если бы эти лозунги были обложены мягчайшей, уважительнейшей ватой всяких общих и любезных слов.

Преувеличение успехов советской литературы в двадцатые годы за счет преуменьшения ее позднейших достижений, помогающее обосновать лозунг «Назад, в двадцатые годы!», требует разоблачения мотивов, по которым выдвигается такой лозунг.

Эти критики ратуют за «двадцатые годы» как за символ широты и разносторонности литературы, однако сами они трактуют эту разносторонность односторонне. Если просмотреть статью за статьей, какие произведения двадцатых годов в них упоминаются в первую очередь, о чем говорится и о чем умалчивается и что в первую очередь вытаскивается из-под спуда, переводится и перепечатывается, то мы, во-первых, обнаружим особенное внимание именно к тем произведениям двадцатых годов, которые дальше отстоят от понимания задач социалистического строительства. Многие из этих произведений талантливы; некоторые из них не заслуживают столь глухого забвения, какому они были преданы, а другие преданы забвению закономерно, не блещут талантом и, очевидно, привлекают внимание этих критиков не глубиной содержания, а глубиной несогласия с тем путем, который избрала для себя страна Советов. Именно по этому принципу вытаскиваются из архивной пыли, например, некоторые произведения Пильняка, вплоть до его «Красного дерева».

Если судить по некоторым из таких высказываний, то может показаться, что в двадцатые и в начале тридцатых годов — словом, в «досъездовское время» — в советской литературе не было ни «Железного потока», ни «Чапаева», ни «Разгрома», можно подумать, что у Катаева были «Растратчики», но не появилось «Время, вперед!», у Леонова был «Вор», но не было «Соти»; можно подумать, что Багрицкий не писал «Смерти пионерки» и «ТБЦ»; можно подумать, наконец, что у Маяковского были только «Баня», и «Клоп», бичующие советских бюрократов, но не было поэм «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин», славящих Советскую власть.

За таким отбором нетрудно обнаружить тенденцию, при которой знаменем двадцатых годов делается Пильняк, а не Фадеев, при которой, если рассмотреть это на примере уже не разных, а одного, и притом великого, художника, отставляется его право написать «Баню» и «Клоп», но передается забвению то, что написать «Хорошо!» было его величайшей внутренней потребностью.

Между тем, если отвести в сторону домыслы догматиков о необходимости соблюдения всех пропорций теней и света в каждом произведении, кому не ясно, что Маяковский и в «Клопе» и в «Бане» именно потому с такой силой и гневом и так в точку бил по бюрократизму и обывательщине, что он умел и в своих стихах, и здесь же, в этих же своих сатирических комедиях, говорить во весь голос о Советской власти, о Советской стране и о ее месте под солнцем. Он хотел и умел писать так, что в случае реставрации капитализма в России врагам пришлось бы уничтожить его произведения «за полную для белых вредность». В этом и выражала себя та—еще не названная в то время, но уже со всей четкостью обозначившаяся—платформа социалистического реализма: нерасторжимое единство пафоса утверждения с остротой критики, партийный,

хозяйский подход к жизни человека, строящего на своей земле социализм, верящего в возможность его построения и во имя этого беспощадно бьющего по всему, что мешает, вредит, путается под ногами.

Если перейти к периоду истории советской литературы, наступившему после Первого съезда писателей, то не случайно, конечно, что при нападках на нашу литературу и на социалистический реализм как ее злой рок, довольно старательно, как правило, обходится период Великой Отечественной войны и посвященные ему литературные произведения — и созданные непосредственно в военные годы, и написанные позже.

Этот вопрос теоретики, пытающиеся вычертить историю советской литературы, как «затухающую кривую», стремятся обойти любыми окольными путями. Книги советских писателей, посвященные Великой Отечественной войне, не устраивают их, ибо всякая попытка прямого и честного анализа этих книг неизбежно свела бы на нет все их хитроумные построения о «гибельном воздействии» теории социалистического реализма на советскую литературу начиная с 1934 года и по наши дни.

В самом деле, война началась через семь лет после того, как на Первом съезде были провозглашены принципы социалистического реализма, якобы загубившие советскую литературу. И, однако, во время этой войны были созданы (и сколько!) произведения, которые уж больно затруднительно поставить под сомнение, ибо они изданы на всех языках мира и представляют собой одни из самых блестящих страниц советской литературы. К тому же эти произведения были созданы не только в дни войны; героическому подвигу народа было посвящено немало крупных произведений и после войны, и через пять, и через семь лет после нее — именно в годы, которые хулители советской литературы безоговорочно называют годами деградации.

Это обстоятельство не укладывается в их схему, ибо трудно, взяв любую литературу мира, противопоставить по масштабу, значимости и, добавим, всемирному резонансу то, что в ней было создано о войне с фашизмом, тому, что было создано на эту тему в советской литературе, в ее поэзии, прозе, публицистике.

В самом деле, блестящая военная публицистика многих советских писателей, военная проза, романы и повести Фадеева, Некрасова, Эренбурга, Овечкина, Горбатова, Гроссмана, Пановой, Казакевича, Гончара, главы военного романа Шолохова, «Василий Теркин» и «Дом у дороги» Твардовского, поэмы Алигер и Антокольского, лирика военных лет Берггольц и Суркова, военные песни Исаковского — все это, вместе взятое и обошедшее в переводах весь мир, слишком трудно зачеркнуть или представить как очередной этап «деградации советской литературы, загубленной социалистическим реализмом».

Именно в этот период и именно при разработке этой темы всенародного героизма советская литература с особенной ясностью продемонстрировала всю силу и все преимущества метода социалистического реализма, метода, при котором жизнь изображается в ее революционном развитии, с позиции больших, непреходящих интересов народа, строящего социализм и отстаивающего свои социалистические завоевания.

Эта литература, чуждая унынию и разочарованию в самые трагические дни, чуждая узколобому шовинизму и национализму в дни побед, — литература интернационалистическая, глубоко демократическая, антифашистская по своему духу, — именно по этим причинам далеко перешагнула национальные границы и по сей день остается в мировом масштабе наиболее популярной художественной летописью отгремевшей войны с фашизмом.

Литература о войне, родившись в годы войны, как я уже сказал, продолжала и потом обогащаться все новыми книгами и составила значительную часть того лучшего, что было сделано в советской литературе уже в послевоенные годы.

Но, критикуя слабости нашей литературы в эти послевоенные годы, недоброжелатели социалистического реализма и здесь стараются, елико возможно, обойти эту сторону деятельности нашей литературы, подобно тому, как они стараются выключить из своего поля зрения и занявшие заметное место в нашей послевоенной литературе книги на исторические и историко-революционные темы, среди которых был целый ряд во многих отношениях замечательных произведений, не имевших ничего общего с теми отдавшими дань культу личности скороспелыми поделками на исторические темы, которые нет нужды защищать, но и нет нужды только о них и твердить.

Для удобства пользования своей наспех сметанной концепцией некоторые наиболее озлобленные критики нашей послевоенной литературы чаще всего предпочитают ограничивать свое поле зрения только десятком, а то и меньшим числом книг, посвященных послевоенным годам, — книг, среди которых действительно есть ряд неудач, есть и полуудачи, причем и одни и другие обусловлены таким действительно тяжелым для литературы последствием культа личности, как тенденция к лакировке, приукрашиванию жизни, к обходу острых углов ее, к выдаванию желаемого за действительное.

Добавим к этому, что неудачных и слабых книг в послевоенные годы у нас на самом деле появилось куда больше, чем та дюжина, а то и всего полдюжины названий, которыми из статьи в статью оперируют недоброжелатели социалистического реализма. Мы не боимся это признать, для нас это не новость — эти книги резко критиковались у нас еще несколько лет назад, в предсъездовской дискуссии, с трибуны писательского съезда и после него, в десятках статей литературной печати. Эти книги давно уже поставлены у нас литературной общественностью на свое место, а некоторые, пожалуй, даже и чересчур переруганы.

Во многих статьях, во многих писательских выступлениях проанализированы причины появления неудачных книг, написанных с позиций, далеких от социалистического реализма, и причины появления слабых сторон в ряде других книг, которые назвать неудачными в целом было бы несправедливо. Эта работа продолжается у нас и сейчас, ибо, не прибегая к научной периодизации, можно и следует говорить все же об определенном этапе развития советской литературы между сорок пятым и пятьдесят третьим годом, этапе, на котором (прежде всего в разработке современных тем) в литературе проявились серьезные и имевшие свои причины ошибки, слабости, порожденные последствиями культа личности.

Однако наши оппоненты в своем стремлении ниспровергнуть социалистический реализм делают вид, будто они на каждом шагу совершают открытия, будто они первыми заговорили о недостатках в советской литературе в послевоенный период, хотя на самом деле, если отбросить прямую ругань одних и легкомысленные полемические излишества других, а взять ту реальную критику реальных недостатков нашей послевоенной литературы, в которой наряду с излишествами существуют и истины, то нетрудно обнаружить, что все эти истины были уже неоднократно высказаны в порядке самокритики в нашей литературе, в нашей собственной печати и в наших выступлениях уже к началу 1956 года. Они были высказаны задолго до того времени, когда некоторые польские литераторы, сделав вид, что они ничего об этом не слышали, ничего этого не знают, начали кампанию за ниспровержение с пьедестала социалистического реализма, а вместе с ним и советской литературы вообще, — кампанию, начатую памятным рефератом Яна Котта «Мифология и правда», прочитанным на прошлогодней сессии польского совета культуры и искусства.

Эту кампанию характеризовало и продолжает характеризовать стремление к сенсациям, к мнимому открытию давно открытых истин, к игнорированию или попутному, мимоходному упоминанию всего положительного опыта советской литературы и сопутствующему этому выпячиванию всех ее ошибок и слабостей. Все это сочетается с настойчивым желанием выстроить все эти ошибки и слабости по железному ранжиру неизбежности — сначала сконструировать из них систему, а потом уже в виде готового трафарета наложить эту систему на всю советскую литературу начиная с 1934 года.

Думается, не будет ошибкой или преувеличением сказать, что такой метод критики имеет нечто родственное с тем враждебным марксизму подходом к истории советского общества, при котором (как это особенно тщатся доказать некоторые югославские политические деятели) все ошибки, связанные с культом личности, заверстываются в одну систему, а затем эта система объявляется чуть ли не органической для советского общества.

Масштабы применения разные, но методы конструирования схожие.

В одном случае не находится места для того, чтобы объяснить, как же в годы пятилеток, связанные в сознании народа с именем и деятельностью Сталина, отсталая аграрная страна превратилась в великую индустриальную державу и как она после этого выиграла войну у завоевавшего всю Европу германского фашизма, а после войны в

краткий срок восстановила все разрушения, которых в ней было в несколько раз больше, чем во всех остальных странах Европы, вместе взятых.

В другом, частном, применяемом уже лишь к литературе случае наши оппоненты не находят места, чтобы объяснить, как же все-таки эта пошедшая по якобы неверному пути социалистического реализма и «деградировавшая» с 1934 года литература именно за эти годы, в которые она, по их утверждению, должна была деградировать, вышла на международную арену с такой силой и в таких масштабах, которые могли только сниться ей в годы, предшествовавшие Первому съезду писателей.

Нет, что-то не сходятся концы с концами у этих противников социалистического реализма, у этих притворных плакальчиков над мнимым трупом советской литературы. И если уж брать их собственную терминологию, то в их оценке действительного положения вещей и действительного соотношения сил в мировой литературе больше мифологии, чем правды.

Когда Дьердь Лукач в своем интервью в «Иродалми уйшаг», трактуя лозунг партийности, заявлял, будто бы статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», прикрепленная к определенному дореволюционному периоду, касается обязанностей публицистов, работавших в тот период в партийной печати, а поэтому якобы неправильно расширительно применять указания Ленина к литературе эпохи диктатуры пролетариата, то мы отвечаем на это, что именно в широком историческом смысле (хотя появление статьи Ленина, как мы прекрасно знаем, и прикреплено к определенному историческому времени) — именно в широком историческом смысле лозунг «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков!» сейчас, как никогда, звучит в полную силу и жизненно важен для развития всей социалистической литературы.

О непреходящей жизненной важности этого лозунга невольно лишний раз задумываешься после знакомства со статьей югославского критика Иосипа Видмара, напечатанной в журнале «Дело», в которой он, анализируя высказывания Ленина о Л. Н. Толстом, решает утверждать со ссылкой на эти высказывания, что «идейная направленность» не имеет значения для творчества литератора. Эта уникальная в своем роде статья заслуживает особого разбора. Здесь я хотел бы только отметить, что Видмар, жонглируя высказываниями В. И. Ленина о Толстом, осторожно обходит стороной статью «Партийная организация и партийная литература», видимо не придумав, как в этом случае вывернуть назнанку ясную ленинскую мысль об огромной оплодотворяющей роли «идейной направленности» писателя в литературном творчестве.

О разных сторонах социалистического реализма, его широте и многообразии, о сочетании в нем реализма и революционной романтики исписаны тысячи страниц, и на эти темы будут еще много спорить — как всегда много спорят обо всяком живом, развивающемся деле, — но одно, и самое главное, для нас бесспорно: партийность художника, его страстная приверженность к идеям, воодушевляющим строителей социализма и коммунизма, — это душа нашего искусства. Ясность позиции: по какую ты сторону баррикады — по ту или по эту, какой из двух сосуществующих в мире систем ты сторонник и защитник, — это краеугольный камень того здания, которое называется советской литературой. И этот дух советской литературы, дух, материализованный во всех ее лучших произведениях и на основе опыта создания этих произведений сформулированный словами «социалистический реализм», есть нечто такое, отказаться или хоть в какой-то мере отступить от чего — значит для нас отказаться, отступить от самих себя. А мы этого не собирались и не собираемся делать.

И когда югославский литератор Т. Младенович в журнале «Международная политика» позволяет себе писать о социалистическом реализме, что «эта теория не для подлинных деятелей искусства, а для евнухов», мы, советские писатели, спокойно отвечаем ему и ему подобным: плодотворяющая сила литературы социалистического реализма выражена в сотнях ее книг, уже сегодня находящихся на вооружении передовой части человечества. Это такая сила, сознавая которую можно спокойно проходить мимо дешевых острот людей, отказывающихся от права идти в литературе новыми путями. Следует только сказать, что идеологи буржуазного мира будут благодарны Младеновичу, называющему себя марксистом, за его откровенную ненависть к социалистическому реализму.

Если говорить о социалистическом реализме языком поэзии, то сейчас, в годы ожесточенных нападков наших литературно-политических противников, в годы заблуждений и шатаний многих наших зарубежных литературных друзей, наша литература устами всех писателей — и коммунистов и беспартийных — вправе сказать о себе словами Маяковского: «я подыму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек!»

Партийных книжек! — в этом-то и соль вопроса, в этом-то и причина всего яростного наступления на социалистический реализм, которое в целях заблаговременного оправдания перемены собственных позиций предпринимали и продолжают предпринимать люди, которые под предлогом критики действительных и мнимых ошибок прошлого шаг за шагом пятятся назад, в засасывающее мелкобуржуазное болото — исконное и традиционное прибежище «литераторов-сверхчеловеков».

В ходе развития нашей литературы и литературной теории и в практику социалистического реализма и в его теоретическое осмысление вносится и будет вноситься много нового. Иначе и не может быть в развивающейся, а не стоящей на месте литературе и литературной теории.

Мы даем и будем давать отпор тем догматикам, которые, в сущности, полагают, что о социалистическом реализме уже все сказано, полагают, что все его положения раз навсегда сформулированы и, стало быть, заниматься спорами и дискуссиями вокруг него — это от лукавого.

В литературе, а вместе с ней и в литературной теории как в одном из проявлений жизни одно непременно будет отмирать, другое нарождаться, будет происходить и переосмысление понятий и переоценка ценностей — словом, будет происходить все то, что происходит в нормальном, здоровом, развивающемся организме общества.

Партия на XX съезде подчеркнула разницу между марксизмом догматическим и марксизмом творческим и, выдвинув ряд новых в марксистской науке положений, показала всем нам пример творческого развития марксизма.

В нашей опирающейся на марксизм теории литературы тоже не должно быть места догматизму. Нам не нужен социалистический реализм догматический; нам нужен социалистический реализм творческий, развивающийся, обогащающийся новым содержанием и новыми раскрывающимися это содержание понятиями.

Мы не позволим догматикам от литературы сделать социалистический реализм омертвелым, сдерживающим развитие самой литературы понятием и будем критиковать их неправильные попытки рассматривать чуть ли не как подрыв социалистического реализма те здоровые дискуссии и споры вокруг того нового, что рождается в нашей литературной практике и теории.

Нам следует упомянуть об этом с той же твердостью, с какой надо сказать, что действительная опасность ревизионизма существует, что она проявляется последнее время с достаточной ясностью и что никакой ревизии исторически сложившихся основ социалистического реализма — основ нашей советской литературы — мы не намерены допустить ни под какими предлогами и в случае таких попыток намерены называть все вещи своими именами.

Смешно было бы отрицать такую очевидность, как существование буржуазной литературы, смешно было бы не понимать, что художники, стоящие на позициях буржуазной идеологии, оспаривали и будут оспаривать и ценность теории социалистического реализма и ценность практических художественных достижений советской литературы.

Мы вели и будем вести по этим вопросам споры с буржуазными писателями и с буржуазной литературной наукой. Это в порядке вещей, это само собой разумеется.

Но и троянских коней в свой лагерь мы также пускать не намерены. Напротив, мы намерены последовательно критиковать позиции людей, объявляющих себя сторонниками построения социализма и коммунизма, пользующихся в литературных спорах социалистической фразеологией, но при всем этом стремящихся поставить под сомнение основы социалистического реализма.

И тут для того, чтобы недвусмысленно провести водораздел между собой и этими людьми, для того, чтобы сделать очевидными их подлинные позиции, нам следует еще

раз сказать о своих собственных позициях художников социалистического реализма, напомнить о них с полной твердостью.

Это тем более необходимо, что социалистический реализм давно уже явление, далеко выходящее из рамок одной советской литературы.

Не одна советская, а ряд литератур, в том числе и литератур буржуазных стран, числят в своих рядах выдающихся художников социалистического реализма.

Именно поэтому так ожесточенно наносятся удары по советской литературе, вступившей первой на этот путь. Ударяя по ней, противники социалистического реализма в той или иной стране хотят вышибить почву из-под ног и у своих соотечественников, ставших на путь служения социализму, и у художников других стран, вступивших или вступающих на этот путь.

Удары по нашей литературе иногда даже так и замышляются — не столько как удары по нам, как удары по ним.

В этих условиях нельзя не подчеркнуть международное значение стоящей перед нами задачи — помогая всем нашим друзьям и в свою очередь опираясь на их помощь, дать твердый отпор всем предпринимающимся в международном масштабе попыткам ревизии и изничтожения социалистического реализма.

Верю ли я в способность человека, строящего социализм, опрокинуть и старое в мире и старое в себе, — это коренной вопрос для художника социалистического реализма. Те, кто не сходится в ответах на этот вопрос, те расходятся по разные стороны водораздела. Ибо неверие в способность человека перестроить мир и себя несовместимо с убеждениями писателя, стоящего на позициях социалистического реализма.

При этом, если говорить не просто о взглядах, а о претворении этих взглядов в художественном творчестве, надо добавить: для художника социалистического реализма мало декларировать в общих словах, что он верит в победу социалистического строя, социалистических идей. Он должен видеть в живых, конкретных людях, как и почему побеждают этот строй, эти идеи. И это его видение должно быть осуществлено в его книгах, потому что без такого видения жизни, без такой конкретной веры в живых, творящих социализм людей слова о том, что ты, художник, стоишь на позициях социалистического реализма, превращаются в простое сотрясение воздуха.

Когда критикуют социалистический реализм, то при этом чаще всего как бы хотят вернуть его к рамкам старого критического реализма и, в сущности, призывают нас в этих старых рамках рассматривать новую, социалистическую действительность. Но новое в жизни требует и нового подхода к себе в литературе. Новое общество конкретно. Новые люди тоже конкретны. Сказать о них правду невозможно, не сказав о том новом, что появилось в обществе и людях. А эта правда, выраженная средствами художественной литературы, и есть самое сердце социалистического реализма.

Художник социалистического реализма не вправе смягчать картины жизни ни там, где они суровы, ни даже там, где они беспощадны. Но при этом он за подвигом видит цель, за жертвой — то, во имя чего она принесена, за поражением — перспективу победы. Художник социалистического реализма при любых обстоятельствах не только в своих политических взглядах, но и во всем своем творчестве чужд позиции нейтралитета. Пренебрегая любыми обвинениями в узости взгляда, он считает, что на свете есть одна правда, что это правда народа, борющегося за социализм, и с высоты ее все иные частные правды, вступающие в противоречие с ней, могут быть объектом изображения, но не могут являться предметом утверждения.

Художник социалистического реализма стоит на позициях, предполагающих неразрывность его судьбы как художника с судьбой народного дела. Он понимает свободу творчества как свободу служения народным интересам, и он борется за эту свободу служения народным интересам, борется за литературу, свободную от эгоизма, эгоцентризма, от кастовой узости и эстетизма, от буржуазной традиции служения верхним десяти тысячам. Короче говоря, он хорошо отличает свободу служения народу от прокламируемой в буржуазном искусстве свободы творчества как свободы от служения народу.

Наконец, мы, художники социалистического реализма, — мы ведь не шутки шутим, когда говорим, что в нашей стране сороковой год существует народная власть. И поскольку в устах наших противников и оппонентов в последнее время все чаще звучат попытки противопоставить одно другому — власть и народ, — противопоставить служение власти и служение народу, то нам стоит еще раз недвусмысленно сказать обо всей лживости этого противопоставления. Мы, художники социалистического реализма, исходя из всего опыта развития Советского государства, имеем все основания сказать, что служение народу есть для нас служение народной власти и служение народной власти есть для нас служение народу!

Таковы наши основные и непреклонные позиции в вопросах социалистического реализма, в определении творческого кредо художника социалистического реализма. С ними могут соглашаться или не соглашаться те или иные из наших литературных оппонентов, но им придется считаться с существованием этих наших позиций при выборе того рода отношений, в которых они собираются с нами впредь состоять.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Т. Трифонова. Точная позиция, точное мастерство.— **Г. Ленобль.** Жанр — роман-памфлет.— **Ю. Суровцев.** Идущие быстринной и их недруги.— **Сергей Нарозчатов.** Стихи Арона Вергелиса.— **Сергей Львов.** Книга критика.— **Л. Копелев.** Мысль и сердце ученого.— **А. Липелис.** Пристрастие к общим местам.— **А. Лебедев.** Рыбы глаза.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Василевский. Самолет с атомным двигателем.— **А. Таланов.** Советские писатели о Чехословакии.— **И. Зорина.** Американская «демократия» маневрирует.— **Е. Немировский.** Пять миллиардов книг.— **Н. Болотников.** Труд великого норвежца.

Литература и искусство

Точная позиция, точное мастерство

Когда мы говорим о многообразии стилей советской литературы, мы обращаемся за примерами чаще всего к произведениям так называемых «ведущих жанров», главным образом к романам. Об очерке речь заходит обычно лишь тогда, когда надо продемонстрировать живые связи литературы с жизнью, показать, как оперативно откликаются писатели на жгучие вопросы сегодняшнего дня. И не только о стилистическом многообразии наших очерков, но и вообще о художественном мастерстве наших очеркистов слишком редко заходит у нас речь — словно очерк и впрямь какой-то третьестепенный жанр, лишь по снисходительности романистов и критиков допущенный в художественную литературу.

А между тем на всех этапах развития нашей литературы очерк был не только разведчиком, прокладывающим пути к новому, еще не освоенному литературой материалу, но всегда являлся жанром, открывающим разные способы художественного воплощения зорко подмеченных явлений, острых общественных проблем, мгновенно схваченных черт характера. Литературное новаторство, умение выделить типическое

в самой жизни, способность видеть за правдой единичного факта правду больших социальных явлений — это те черты, без которых нет и не может быть по-настоящему действенного и подлинно художественного очерка, поднимающегося над газетным репортажем и по праву входящего в большое искусство.

Все это предмет большого разговора, который не вмещается в рамки рецензии на книгу. Но все это надо иметь в виду, когда идет речь о работе каждого очеркиста.

Книга И. Горелика, в которой собраны известные по журнальным публикациям четыре больших очерка, — это серьезная работа вдумчивого писателя, умеющего не только увидеть, но и показать, не только подметить, но и изобразить.

Заглавие сборника как нельзя более точно определяет важнейшую черту всей работы Горелика: писатель всегда занимает очень определенную и ясную позицию по отношению к тем фактам и тем людям, о которых он пишет. Давний его интерес к проблемам промышленности, к жизни наших заводов, к работе наших рабочих и инженеров отнюдь не продиктован стремлением зафиксировать приметные события, зарисовать оригинальные портреты. Его интерес гораздо более глубокий — это,

И. Горелик. Точная позиция. Редактор Г. Айдинов. 248 стр. «Молодая гвардия». М. 1956.

я бы сказала, хозяйская заинтересованность в том, чтобы люди жили и работали лучше, чтобы новая техника одерживала победы, чтобы советская индустрия развивалась и крепла. Этим определяется, с одной стороны, постоянное внимание писателя к образам передовых людей — к рабочему-скоростнику, к инженеру, смело ломающему привычную систему проектирования, к директору, рискнувшему в ущерб собственному спокойствию и славе взять новый, очень сложный заказ, к технологю, постепенно подчиняющему своим настойчивым и обоснованным требованиям всю организацию производства. С другой стороны, именно этим хозяйским, подлинно партийным отношением к вещам определяется и то суровое внимание, с которым писатель подмечает и неполадки в организации производства, и изъяны в руководстве, и мешающие общему делу человеческие недостатки — такие, как самомнение и самоуспокоенность, чванство и кичливость, тщеславие и эгонизм, леность мысли и обывательское равнодушие...

Отсюда, из этих двух «точек приложения» писательского внимания, естественно, возникает конфликт, не только стражающий реальные жизненные противоречия и столкновения, но и служащий внутренней пружины, которая придает каждому очерку динамичность и сюжетную напряженность.

Фактическая, познавательная роль очерков И. Горелика не вызывает сомнений. Но познание технической стороны производства или констатация тех или иных поступков — это лишь часть дела, и притом не самая главная. Главное же в этих очерках (как и в каждом подлинном произведении литературы) — это человековедение, познание человека с его делами, мыслями и чувствами. Но именно в конфликте, в столкновении ярче всего выявляется характер, раскрывается человеческая личность: так очерки о внедрении новой технологии, о скоростном резании, о перспективном проектировании, о создании новой машины становятся очерками психологическими.

Это мастерство сюжетного, проблемного и психологического очерка появилось у автора не сразу: эволюция этого мастерства можно проследить, сравнивая написанный в 1949 году очерк «Творчество» с остальными очерками, появившимися в течение последних двух лет. Несмотря на значительность темы — история новаторских рекор-

дов ленинградского скоростника Генриха Борткевича, — именно этот очерк оказывается наиболее слабым. Здесь писатель подчиняется фактам, следует за ними от рассказа о юности своего героя до краткого сообщения о дальнейшей его судьбе. Писатель словно прикован к реальной последовательности событий, словно боится пропустить какую-нибудь подробность.

Это не значит, конечно, что очерк вовсе неудачен. Нет, он читается с интересом, и жизнь Борткевича, и его работа, и трудности, которые ему пришлось преодолеть, — все это описано обстоятельно. Но именно описано, а не показано в живом развитии характера. А коль скоро появилась описательность, так уж длиннот не миновать: и действительно, хотя очерк сокращен по сравнению с журнальным текстом, в нем легко заметить множество ненужных подробностей, растянутых описаний и разговоров...

Иное дело очерки последних лет. Здесь автор все подчиняет той проблеме, которая его волнует. Поэтому и детали здесь только те, которые нужны для понимания характеров, и последовательность изложения более свободная, и нет ощущения той «заданности», которая не покидает читателя очерка о Борткевиче.

В основе очерков «Размолвка», «Точная позиция» и «Перспектива» — не рассказ о событиях, а рассказ о развитии человеческих взаимоотношений и отношений к событиям.

Два давних друга, директора соседних, соревнующихся между собой заводов, Лагутин и Корзунов... Предложение принять новый заказ, который потребует огромной затраты энергии, мысли, труда и поставит под угрозу выполнение плана, а с ним и переходящее Красное знамя, и премии, и многие другие преимущества для всего заводского коллектива («Размолвка»).

Директор завода, не удовлетворенный инертностью главного технолога, выдвигает его «на повышение» на другой завод, а на его место назначает деловитого, но тихого и скромного технолога Малинина, который на проверку оказывается еще более «неудобным» работником: он требует строгого соблюдения технологии, он настаивает на новшествах, он оказывается удивительно строптивым и настойчивым («Точная позиция»).

Главный инженер, оказавшийся на время отпуска директора руководителем за-

вода, на свой страх и риск принимает решения, которые нарушают привычный порядок, издавна воцарившийся на предприятии, вызывая недовольство и завкома и инженеров. Наконец он создает группу перспективного проектирования, забирая для этой цели трех лучших конструкторов, доселе занимавшихся повседневной текущей работой («Перспектива»).

На этом, пожалуй лучшим, очерке стоит остановиться подробнее. В нем особенно отчетливо сказывается и острая проблемность, и психологическая тонкость писателя, и его умение через производственные вопросы показать людей.

Вот главный инженер Булашевич, человек, обладающий великим чувством ответственности. «Станки, которые выпускает завод, хороши, все ими довольны, — говорит он. — Но ведь это сегодня. А завтра может оказаться, что они устарели, морально отжили...» По его замыслу, группа перспективного проектирования должна: «Только думать! Только готовить проекты модернизации наших сегодняшних машин, идеи новых станков...»

А вот директор Сараев, давно решивший, что надо со всеми ладить и не нарываться на неприятности, узнав, что новая группа внесла предложение о существенной переделке станка, который уже готов и который надо сдать заказчику в срок, — Сараев думает: «Если бы не конец полугодия, если б не испытания уже смонтированного станка, если б не план, с какой охотой он присоединился бы к этой замечательной идее!»

«— Не скрою: сейчас соглашусь и на второе место. Я не жадный», — говорит Сараев.

«— Не существует в технике вторых, третьих, четвертых мест... Если техники не сделали сегодня всего, что они могут, завтра их обгонят техники другой страны... Чему ты учишь людей? Привычке довольствоваться малым?» — возражает Булашевич.

В этом конфликте заключена главная идея всех очерков И. Горелика: бороться за самое передовое, за самое совершенное, не довольствоваться малым, хотя бы оно и

отвечало сегодняшним планам и срокам. И не довольствоваться малым в человеке, в его отношении к своему делу, к коллективу, к своей ответственности перед государством, перед народом, даже шире — перед большими перспективами человечества.

В очерке «Перспектива» нет благополучного конца: напротив, представителю заказчика, довольному тем, что станок смонтирован в срок, даже не говорят о существующем новом проекте, который позволил бы втрое увеличить производительность станка, но потребовал бы задержки на месяц-полтора. Все молчат, никто не решается сказать, что станок уже устарел. Сараев может быть доволен: план выполнен в срок. Но... «как ни всматривался Сараев в их лица, он не мог прочесть ничего радующего. В кабинете царил удивительная, неловкая, вороватая тишина. Как будто своим молчанием они помогли обмануть хорошего, доверчивого человека, и теперь всем им было стыдно».

Этот финал, в котором «добро» в лице Булашевича не одержало практической победы, а «зло» в лице Сараева не наказано, отнюдь не говорит о победе зла над добром. Напротив: моральный вывод здесь вполне ясен: да, стыдно молчать, стыдно останавливаться на полдороге, стыдно рабствовать в полсилы!

Такая внешняя незавершенность, свойственная и другим очеркам Горелика, усиливает их психологическую глубину, оставляя место для серьезных раздумий читателя. Но не надо думать, что автор уклоняется от оценки изображаемого: он прямо и открыто становится на сторону передовых людей, на сторону смелости и принципиальности, и в его очерках присутствует страстная публицистичность, когда он размышляет о важнейших вопросах руководства промышленностью, планирования и организации производства, кооперирования предприятий, повышения прав директоров... У писателя есть по всем этим вопросам своя продуманная и выношенная точка зрения, своя точная позиция, которую он отстаивает всей силой мысли и всей системой образов.

Т. ТРИФОНОВА.

Жанр — роман-памфлет

В течение ряда лет Л. Лагин работает в своеобразном жанре, который до сих пор в нашей литературе представлен чрезвычайно скупо. Вкратце его можно охарактеризовать как роман-памфлет. Недавно в свет вышли две книги Л. Лагина, в которых собрано почти все, что он в этом жанре написал. В объемистый том, выпущенный издательством «Советский писатель», вошли известные уже читателям романы «Патент АВ» и «Остров Разочарования» и прелестная повесть «Старик Хоттабыч», предназначенная для детей, но, безусловно, интересная также и для взрослых. «Молодая гвардия» опубликовала новый роман Лагина «Атавия Проксима», свидетельствующий о верности писателя своим творческим установкам.

У литературы памфлета с ее беспощадной издевкой над всем пошлым и подлым, тупым и корыстным, над всем, что недостойно человека, — богатые и плодотворные традиции. Вспомним такие имена, как Свифт и Вольтер на Западе, Салтыков-Щедрин, Горький и Маяковский у нас. Тем печальнее, что жанр романа-памфлета в последние годы у нас, в сущности, не культивировался. Отсюда законный интерес к почину Л. Лагина, к творческому опыту, который им накоплен.

Обратимся к одному из наиболее удачных романов писателя — «Острову Разочарования». Завязку его можно передать в нескольких словах.

В июне 1944 года, в те самые дни, когда после многочисленных проволок был открыт наконец долгожданный «второй фронт», где-то в Атлантическом океане с торпедированного немцами корабля чудом спасаются пять пассажиров. Их выбрасывает на некий таинственный остров, не значащийся ни на одной карте мира. Среди спасшихся двое американцев — владелец крупного банкирского дома Фламмери и мелкий журналист Мообс; двое англичан — «старый социалист», майор королевских войск Цератод и кочегар Смит, что касается пятого, то он русский: — военный моряк капитан-лейтенант Егорычев, которому, к

крайней его досаде и огорчению, пришлось отправиться в заграничную командировку как раз тогда, когда на фронтах Великой Отечественной войны развернулись грандиозные наступательные бои против гитлеровцев. Необыкновенные приключения этих пяти столь не похожих друг на друга персонажей на острове Разочарования и составляют фабульную основу книги.

Конечно, «ход», примененный в этой книге автором, отнюдь не нов. Немало литературных героев высаживалось уже на таинственные острова, попадало в неведомые страны, где оказывалось в обстановке поистине фантастической. И то, что у Л. Лагина дело происходит таким же образом, разумеется, вовсе не является случайностью. Однако спешим оговориться: обстоятельство это несколько не нарушает оригинальности и самостоятельности «Острова Разочарования», так же как и других романов Лагина, сходных с ним по своему сюжетному строению. Но оно помогает уяснить истоки творческой манеры писателя, разобраться в особенностях того вида литературы, которому он посвящает свои творческие усилия.

Памфлет редко обходится без фантастики, занимающей большое место и в других литературных жанрах. В памфлетном произведении, однако, роль у нее совершенно особая, специфическая, и заключается она не столько в предвидении будущего, сколько в раскрытии и разоблачении настоящего.

На наш взгляд, то, что делает фантаст-памфлетист, в известной мере напоминает работу ученого-экспериментатора. Физик или биолог нередко создает искусственную среду для того, чтобы, поместив в ней исследуемый объект, опытным путем выявить определенные его свойства, представить их себе в чистом виде. В результате ученый приходит к важным наблюдениям и выводам, к которым другим способом он прийти бы не мог. Но то же самое примерно делает и фантаст-памфлетист. Он также создает искусственную среду, в которую вводит реально существующих, реалистически обрисованных героев, — и это позволяет ему ярче, четче, острее увидеть настоящую, подлинную их сущность, не замаскированную привычной дымкой обыденных бытовых отношений. Писатель как бы испытывает своих героев, производит над ними своего рода эксперимент, когда при помощи

Л. Лагин. Старик Хоттабыч. Повесть. Патент АВ Роман. Остров Разочарования. Роман. Редактор Б. Соловьев. 816 стр. «Советский писатель». М. 1956.

Л. Лагин. Атавия Проксима. Фантастический роман. Редактор М. Шкерин. 477 стр. «Молодая гвардия». М. 1956.

изошреннейшей выдумки ставит их в самые невероятные условия. Но это вовсе не отход от правды жизни, а особый подход к ней, приближение к правде жизни, а не отдаление от нее. Это, если можно так выразиться, «экспериментальный» реализм, являющийся при всей своей внешней замысловатости одним из многих видов реалистического (в широком смысле этого слова) художественного исследования действительности.

«А как тут быть с чувством художественной достоверности, без которого немислимо истинное искусство?» — возможно, спросит иной читатель. Ответ на этот вопрос дан самой литературной практикой: так как у настоящего художника в искусственно созданной им среде герои ведут себя, как живые люди, в соответствии со своей социальной и национальной природой, в соответствии со всем своим психологическим и идеологическим обликом, то наряду с ощущением нарочитости, вымышленности у читателя неожиданно появляется и ощущение доверия к образам книги, ощущение убедительности и оправданности всего происходящего в ней. Вот такое доверие рождает и произведения Л. Лагина, хотя мы, бесспорно, отлично понимаем, что изображается в них «то, чего нет на свете». Ведь описывается в его романах, попросту говоря, бог знает что, ситуации возникают такие, что в действительности они ни в коем случае не могут быть осуществлены, но при всем том американский миллионер Фламери, правый лейборист Цератод, продажный писака Мообс из «Острова Разочарования», или «деловой человек» Примо Падреле из «Патента АВ», или фашистский диктатор Ликуркус Паарх из «Атавии Проксимы» предстают перед нами не условными схемами, не бесплотными, лишенными индивидуальности тенями, а полнокровными, типическими представителями крупных партий, классов и государств. И именно благодаря необычной обстановке, в которой эти лица выступают, их помыслы и побуждения становятся для нас до конца ясными.

Есть здесь одна тонкость, о которой следует сказать отдельно. Попадая в «экспериментальную», фантастически необычайную среду, созданную воображением писателя-памфлетиста, персонажи его (мы имеем сейчас в виду прежде всего отрицательные персонажи) сперва кажутся читателю полемически преувеличенными, карикатур-

ными. Слишком уж эти фигуры врагов — для нормального человеческого восприятия — беспримесно подлы, слишком уж оголенно циничны, и невольно представляется сперва, что подобные субъекты возможны лишь в раскаленной сарказмами атмосфере памфлета. Читатель так и думает про себя на первых порах: «Это же сатира, гротеск». И так оно, собственно, и есть. Но потом он вдруг спохватывается и припоминает: точно такие же формулировки, изумляющие своей гротесковой неправдоподобностью, произносились на самом деле видными деятелями капиталистических стран, воспроизводились на страницах газет. Персонажи памфлетных произведений в самых резких своих гротесковых проявлениях имеют вполне реальных двойников.

Таким образом, фантастика под пером писателя-памфлетиста выступает как изобразительное средство, расшифровывающее чудовищное, фантастическое извращение всего человеческого в собственническом, капиталистическом обществе. Конечно, прием этот открыт не Л. Лагиным, он давно известен в памфлетной литературе. Сошлемся хотя бы на знаменитое «интервью» Горького с одним из «королей» республики, состоявшееся полвека тому назад.

Как читатель, должно быть, заметил, говоря о вещах Лагина, мы тщательно избегаем пересказа их содержания, обходимся лишь немногими намеками. Объясняется это тем, что роман-памфлет у Л. Лагина построен одновременно как роман приключений. И, когда пишешь об этих произведениях, не хочется мешать читателю, еще не знакомому с книгой, предупреждая его о том, с чем ему предстоит встретиться.

Отметим, кстати, что по отношению к приключенческому сюжету существует известное предубеждение — не в широких читательских массах, разумеется, а в кое-каких литературных и, в частности, критических кругах.

Что и говорить, во многих наших приключенческих романах сюжет частенько оторван от реальной действительности и строится по старым канонам, заимствованным из западных образцов, вдобавок далеко не лучшего качества. Но зачем оглядываться на изделия ремесленников? Роман В. Каверина «Два капитана» и некоторые другие произведения показывают, как при-

ключенческий сюжет может органично вырасти из живой жизни.

К органичности сюжетного развития, предопределяемой реалистической подосновой изображаемых характеров и событий, стремится — и по большей части успешно — в своих книгах и Л. Лагин. Это, между прочим, и позволяет писателю-памфлетисту добиваться художественно убедительного слияния в одном произведении сатиры, фантастики и романа приключений.

Необходимо отметить еще одну особенность творчества Л. Лагина и связанную с ней художественную задачу, которую писатель перед собой ставит.

В памфлетной литературе сплошь и рядом красочно выписаны отрицательные персонажи, но образ положительного героя по существу отсутствует. И понятно, в чем тут дело. Трудно художнику поставить рядом и заставить взаимодействовать карикатурных уродов и настоящих людей, с большой человеческой душой, для изображения которых требуются совсем иные краски. В действительности, однако, такое взаимодействие происходит все время, и стоит ли писателю-памфлетисту отказываться от него, ссылаясь на «законы жанра»?

У Л. Лагина выступают и отрицательные и положительные герои. Не все они, на наш взгляд, в равной мере удались ему: коммунист Анейро в «Патенте АВ» и другой коммунист, Карпенгер в «Атавии Проксиме», бледноваты, маловыразительны. Гораздо более удачны советские школьники Волька Костыльков и Женя Богорад в повести «Старик Хоттабыч», которым пришлось вдруг столкнуться с могучим джином из старинной волшебной сказки, и уже упоминавшийся выше капитан-лейтенант Константин Егорычев.

Чем примечателен этот образ в романе такого типа, как роман Лагина? Константин Егорычев — не просто положительный герой, один из многих, участвующих в книге, он центральный, ведущий герой произведения. Именно его действия определяют основной ход сюжета, именно вокруг него завязывается основная борьба интересов и устремлений в романе, именно в отношениях к нему особенно четко выявляется доподлинная суть остальных персонажей, выведенных писателем.

Оценивая положительно работу Л. Лагина в жанре романа-памфлета, отмечая ее талантливость и актуальность, следует, однако, всерьез задуматься над тем, все ли

свои творческие возможности использовал автор? Нам кажется, далеко не все.

К какой бы области жизни ни обратился писатель и в каком бы жанре он ни выступал, сила художественной выразительности, значительность произведения всегда будут, бесспорно, тем выше, чем больше нового, не известного ранее в нем будет увидено и образно воспроизведено. Попробуем применить этот критерий к отрицательным персонажам Л. Лагина, к образам врагов мира и демократии, ради разоблачения которых его романы в первую очередь и написаны. Что нового мы о них узнаем?

Безусловно, новым является поворот, в котором они даны, неожидан ракурс, в котором они нам представлены. Благодаря этому мы можем заново, свежо и непосредственно почувствовать, насколько гнусны, омерзительны, а главное, опасны для всего человечества эти хищники. Совершенно очевидно, что в таком показе врага заключается большая и неоспоримая заслуга писателя. Но если мы не ограничимся нашим первым ощущением, если мы спросим себя, много ли нового по существу мы узнали, скажем, о Фламмери или же о Паархе, ответ будет скорее всего отрицательный. Наше знание существенных свойств хозяев современного западного мира (которое не следует смешивать с эмоциональным восприятием образа в книге) остается примерно таким же, каким оно было до того, и это, понятно, недостаток работы Лагина. Сказать об этом нужно без обиняков, со всей определенностью, потому прежде всего, что зачеркнуть указанный минус вполне в силах писателя, о чем свидетельствуют, в частности, многие черточки интересного и тонко разработанного образа представителя американской желтой прессы Мообса.

Литература наша во всех ее видах, во всех ее жанрах призвана так или иначе, прямо или косвенно, бороться за мир, против поджигателей войны. Это одна из важнейших ее задач. Сатирический роман, роман-памфлет, принадлежит к тем литературным жанрам, которые благородную эту задачу могут разрешать «в упор», с большой остротой, с большой эффективностью. Следует поэтому пожелать, чтобы наши писатели в дальнейшем выступали в таком боевом жанре гораздо активнее, чем они делали это до сих пор.

Г. ЛЕНОБЛЬ.

Идущие быстринной и их недруги

По устремленности творчества молодой прозаик Георгий Радов примыкает к тому направлению современной литературы, которое возникло года три-четыре назад, на большом повороте общественной жизни, а сейчас, продолжая вызывать острые споры, растет и расширяется, пополняясь вслед за В. Овечкиным, В. Тендряковым, Д. Граниным, А. Калинин, Г. Троепольским все новыми именами — и не только по России, но и в других литературах нашей страны. Для писателей — приверженцев этого направления характерно то, что все они понимают сложность жизни и берутся за вопросы, более других приближенные к нуждам и заботам миллионов людей и менее других решенные и ясные; писатели идут по следам жизни, не откладывая, не пережидая, не ссылаясь на пресловутую «дистанцию во времени»; они хотят разобраться в жизненном материале сами, стремясь по мере сил своих способствовать выработке общей правильной точки зрения. Глубоко симптоматично, что рассказы и очерки В. Овечкина, В. Тендрякова, А. Калинина, Е. Дороша, В. Лукашевича, И. Антонова, М. Жестева и других так естественно «оказались» в русле решений партии по вопросам сельского хозяйства.

Насыщенность художественных произведений конкретными политическими, общественными проблемами и конфликтами текущей жизни — вот наиболее существенная особенность этого направления, особенность, резко противопоставляющая его как нежизненной риторике «лакировщиков», так и пессимистической фиксации всяких отрицательных мелочей жизни.

Г. Радов — сознательный сторонник этого направления. Художественная проблематика его рассказов и очерков, его герои, действующие в таких вещах, как «На улице Казачьей», «Злодей-трава», «Кузьма-укрепитель», «На быстрине и бережком», перекликаются с «Районными буднями» В. Овечкина, «Под лежач камень» В. Тендрякова, «Соседями» и «Митричем» Г. Троепольского. Это вовсе не означает, что Г. Радов «подражает», идет по уже разведанной дороге. Он вместе с другими решает новые — для литературы — вопросы жизни, и пафос у этих писа-

телей един: прославление людей дела, трезвый — не слепо-розовый и не принижено-мрачный — реалистический взгляд на действительность.

Г. Радова интересует столкновение двух типов сегодняшних руководителей: один — душевный, открытый, внимательный к людям, «воробаевец», если искать связи этого типа с предыдущими художественными достижениями нашей литературы (таков секретарь райкома Столяров в большом очерке «На улице Казачьей»), другой — «корытовец», человек с замкнутой душой, сухой, вернее — засушивший себя, ни о чем не думающий, кроме бумаг (это Слепченко, о нем комбайнеры говорят: «На людей смотрит, как, скажите, они ему все по тыще рублей должны... План, план, план... Другого и слова нет... Ему что Игнат, что Кондрат — нет разницы...»)

У Г. Радова страстная неприязнь ко всякого рода вольтышкам, лоботрясам, болтунам, иждивенцам. Одного такого иждивенца, в чьем характере своеобразно, юмористически преломилось движение за механизацию, писатель вывел в том же очерке «На улице Казачьей». Это «кум Евсей». Его очень удачно пародирует другой герой очерка: «Мэтэс, мэтэс! — подражая куму, испуганно кричал Максим Ильич. — У меня конюшню снегом закидало. Пришлите бульдозер! Какой объем работы? Та який же тут объем? Три сугроба... Ка-ак? Лопатами? Та яки ж у нас лопаты? У нас же механизация...»

Еще рельефнее, сатирически злее и смешнее подан этот тип лентяя-демагога, болтуна в превосходном очерке «На быстрине и бережком». Действуют там Дудкин-отец и Дудкин-сын. Жизненная траектория обоих — от быстрины подале, а к случайной славе поближе. Был Дудкин-отец до укрупнения председателем колхоза в Терновке. Работать, растить урожай не любил — хлопотное дело, «зато новостями район удивлял. То чеснок разведет, то хмель, то цесарок на распад пустит, то маковую плантацию откроет. И ловилась же слава на это баловство! Кричат по району: «Дудка разностороннее хозяйство ведет! Сельдерей сеет!»

Сын тоже не хуже отца чудачил. Он тоже все «бережком», от главного, трудного подале: то на сахарном заводе консультантом («Колхозники ее, эту свеклу, сеют, эм-

Георгий Радов. Четыре строчки. Рассказы и очерки. Редактор В. Д. Раковский. 200 стр. «Советский писатель». М. 1956.

теэсовские агрономы насчет нее хлопочут, а Дудкин-сын (прямо нарицательно-ругательски произнести эту фамилию хочется. — Ю. С.) наблюдение ведет. Вырастет свекла — он акт составит, что выросла. Пропадет — он акт составит, что пропала... То контору найдет, что только еще открыли, а дела пока не спрашивают... То... на мелиорацию, если вся эта мелiorация пока в бумагах помещается...» — этакий порхающий по тылам любитель «беспронгршных должностей!»)

Насколько Г. Радов, как и другие близкие ему по духу писатели, не любит чинуш и болтунов, настолько же уважает и прославляет человека настоящего дела, человека «быстрины». Механизаторы, тридцатитысячники — председатели колхозов, рабочие и бригадиры, секретари райкомов партии — люди «градобойных» должностей, таких, что в центре всеобщих интересов; на таких должностях и выговор схватить недолго, но и благодарность заслужить — почет великий. Агроном и председатель колхоза — сын и отец Кондаковы, Лидия Тамаровская, комбайнер Черноштан, дерзкая Марфа и множество других образов вылеплены Г. Радовым тщательно, с любовью, с пониманием того, что эти вот простые советские люди и есть главная сила народа, и главный итог славной нашей истории, и главная опора Коммунистической партии.

Самый содержательный, на мой взгляд, рассказ в сборнике Г. Радова — «Шеф». Главный его герой, Сериков Никанор Иванович, — человек строптивого характера, слесарь — золотые руки, но, как считали многие на заводе, придиричивый не в меру — и к конструкторам, и к изделиям собственных рук, и вообще к положению на заводе.

Сериков — из тех людей, что не могут идти не по быстрине, не могут работать и жить, вкладывая в дело только какую-то часть души, а не всего себя, не все свое сердце и умение.

Начальство завода послало («сплывило!») придиричивого слесаря ставить подшефным колхозам двигатели. Но «неприятности» не кончились! Сюжетное движение рассказа как бы опрокинуто назад — на завод пришла жалоба от бывшего председателя одного из колхозов, где поработал Сериков, и по этому красноречивому документу читатель отчетливо представляет себе, как вернулся критический талант Серикова на

новой «службе». «Пострадавший» бывший председатель колхоза жалуется директору завода-шефа: Сериков-де авторитет его подорвал, колхозников против него восстановил, развел агитацию, что, мол, у них в колхозе плохо, а в других — хорошо. Да как же плохо? — удивляется бывший председатель. «Разве это плохо, когда люди получили на трудодень по 1870 гр. зерновых культур и 2320 гр. картофеля и 86 коп. деньгами (Ах, какая пунктуальность и какая привычка к сводкам и отчетам в этих «гр.», «коп.» и «зерновых культурах»: Г. Радов умеет иронизировать! — Ю. С.). Это — достижение по сравнению с минувшими годами. И зачем расстраивать людей? Я, как руководитель, обязан объяснить людям, что мы живем сходственно, то есть обеспечены продуктами питания. Но гр. Сериков протестует и говорит: «Ты оппортунист и утешитель. Надо злить людей и дразнить их хорошей жизнью. Но разве это политические слова: «злить» и «дразнить»? Я против этого. Я двенадцать лет на руководящей работе и все время держу людей в хорошем настроении, то есть в спокойствии...»

Не так-то он прост, этот бывший председатель, как это может показаться по малограмотному письму. «Я... держу людей в хорошем настроении, то есть в спокойствии!» — экий умелец произносить «политические слова». Такие «утешители» в наши дни братаются с дармоедами дудкинской породы. И потому Сериков — враг этому бывшему председателю. «С такими, — говорит он очень точно, — еще в обороне жить можно, а для наступления не годятся».

К глубокой, может быть, самой глубокой сегодня жизненной проблеме подходит здесь Г. Радов — к проблеме личной ответственности каждого советского человека за все хорошее и плохое, что есть на нашей земле, к проблеме личной заинтересованности каждого в том, чтобы своими руками укреплять хорошее и изничтожать плохое.

Каким должен быть человек, как прожить жизнь? — вот та человеческая проблема, которая раскрывается у Г. Радова за конкретно-хозяйственными вопросами его очерков и рассказов...

Сборник «Четыре строчки» говорит о том, что как писатель Г. Радов еще ищет себя, свой стиль. Сборник стилистически удивительно разномастный: здесь и слащаво стилизованный, с претензией на психологизм

рассказ «Прасковья Лихачева», совсем неудачный, на наш взгляд; и содержательные, «газетного» типа очерки «Запев» и «Наследница»; и, наконец, «На быстрине и бережком», «Злодей-трава», «Кузьма-укрепитель» — интересные, насыщенные юмором и иронией рассказы-очерки: они написаны стилистически целостно, от лица рассказчика, в ключе его характера. Рассказчик этот — человек добрый, работать любит, живо переживает излагаемые им истории, ценит меткое и крепкое слово — словом, он сам похож на Серикова, Кондакова и других любимых Г. Радовым героев. Такая форма ведения рассказа наиболее удается Г. Радову (что отделяет его — если говорить об отличиях — от такого писателя «его» направления, как, скажем, В. Тендряков, который явно стремится исключить «я» из своего повествования, дать героям возможность драматически самопроявиться).

Есть у Г. Радова неудачи и в излюбленной им области рассказа-очерка. Например, «Звезды».

Перед нами знакомые отрицательные типы — гонящийся за славой и рекордами комбайнер Игнат Бондарь и любитель бумага Слепченко. Председатель райисполкома Слепченко строит на единичных работах Игната «политику» района. А народ относится к Игнату критически. Игнату противопоставлен старый комбайнер Трофимыч, который за славой не гоняется, а уже много лет честно работает на одном комбайне, многих обучил мастерству, в том числе и Бондаря. Об этом говорят комбайнеры, их разговор случайно услышал новый секретарь райкома Столяров, и ему становится ясно, кто настоящая, а кто не настоящая звезда.

Наивность композиционного построения рассказа с приемом подслушивания, как способа определения истины, показывает, что Г. Радов в данном случае не справился с художественным решением своего замысла. Мысль о том, что честная слава лучше нечестной, раздутой искусственно, до очевидности верна, спорить об этом трудно «Спор» должен был идти вокруг двух различных характеров, требовался не разговор, а прямое столкновение самоуверенного сла-

волюбца Игната и скромного, честного Трофимыча. Вот между ними мог быть спор, и не только словесный, но и в деле, в сюжете. В замысле рассказа потенциально как бы скрывался драматический сюжет. Но как раз в сюжете противоположные персонажи появляются только на минуту, друг с другом они не встречаются — показали себя читателю и исчезли. Лишенный возможности сюжетно выразить себя, замысел повис в воздухе, и автору осталось прибегнуть только к резонерскому решению, что и было сделано Г. Радовым, когда он ввел фигуру Галабурды, наивно разъяснившего председателю райисполкома Слепченко (и фамилия у него какая-то нарочитая, классицистическая), что такое хорошо и что такое плохо.

Г. Радов умеет интересно описывать людей, хорошо выделяя типические и характерные их особенности. Но все-таки герои у него гораздо больше объекты описания, чем субъекты действия, в это лишает рассказы Г. Радова динамичности, напряжения, а в известной мере и остроты.

Больше сюжетности, больше драматизации! Посмотрите, как выиграл очерк «На быстрине и бережком» от того, что там вместе с описанием, красочной характеристикой Дудкина-отца и Дудкина-сына «извне» дана сцена прямого столкновения сего последнего с Кондаковым. Как «заиграл» рассказ «Шеф» из-за того, что в него композиционно удачно включено цитированное выше письмо бывшего председателя, из чтения которого мы как бы увидели настойчивую борьбу Серикова с этим «утешителем»...

Г. Радов — один из тех литераторов, чье вдохновение разгорается от соприкосновения с конкретными проблемами «низовой», исполненной нелегкого труда жизни. Писатель ищет себя. Он научился точному и характеристичному описанию людей; он умеет и высмеять и поиронизировать; он уже дал несомненно интересные и содержательные произведения. Надо думать, что он определит в дальнейшем и свой литературный стиль.

Ю. СУРОВЦЕВ.

Стихи Арона Вергелиса

Редкостная история произошла с книгой стихов Арона Вергелиса. Книгу перевели на русский двадцать два поэта, совершенно различных по своему творчеству. Михаил Светлов и Павел Шубин, Марк Лисянский и Евгений Евтушенко, Лев Озеров и Борис Слуцкий — вот наудачу взятые имена русских поэтов, которые полностью сошлись на общем желании донести до широкого советского читателя звучание голоса еврейского поэта. Но редкостность истории отнюдь не в этом. С большой охотой берутся и известные поэты России переводить стихи братских национальностей, в этом они видят свой товарищеский долг перед ними. Но далеко не всегда мы узнаем подлинное лицо иноязычного поэта, заслоненное от нас лицами его русских друзей. Разные почерки разных поэтов не сливаются в один-единственный образ письма, присущий самому «винсовнику торжества», имя которого стоит на титуле книги.

Тут же случилось событие, истине выдающееся. Двадцать два поэта, не сговариваясь между собой, нашли одно и то же звучание в передаче на русский язык иноязычного поэта. В чем же сила дарования Арона Вергелиса, которое смогло объединить в общей его трактовке таких различных поэтов? Мне думается, что сила эта именно в том, что Вергелис является глубоко цельным национальным и одновременно интернациональным поэтом. Ни на минуту не забывая, что он сын одного из древнейших народов мира, он ощущает себя в своей жизни и творчестве сыном самого молодого в мире общества.

Арон Вергелис вырос как поэт и человек в далеком Биробиджане. Суровая дальневосточная природа, тайга и сопки, зимние вьюги и весеннее половодье стали соавторами его первых стихов.

Новая родина стала не мачехой, а матерью для Арона Вергелиса и для многих-многих, мысли и чувства которых он выражает в своих стихах. Ведь как прекрасно пишет поэт о дальневосточной природе, с какой беспредельной сердечностью говорит он о местах, которые стали для него родными! Всякий честный человек отдаст свои воспоминания на суд своим детям. Чем же делится

Вергелис с детьми? Целиком процитирую его стихотворение «Еще вы, дети, не видели» в отличном переводе Евг. Евтушенко:

Еще вы, дети, не видели
Реку Амур?
Скорей туда,
Где в затуманенные дали
Течет,
задумавшись,
вода.

Скорей туда —
к великой шири,
К цветам,
которых вам не счесть.
Как в мире люди есть большие,
Так и большие реки есть!
Любуйтесь,
полные доверья,
Как птицы радостно галдят,
Как из воды
глядят деревья
И как в нее
они глядят,
Как белки —
добрые соседи —
Большую рысь ведут на суд
И как влюбленные медведи
Цветы медведицам несут...

А не видели вы Хингана?
Как,
не видели?!
Ну, тогда
Вставайте завтра утром рано
И —
в самолеты,
в поезда!
Билеты взяли?
Время сверьте!
Присядьте...
Ну, и в путь пора!
...И где б вы ни были на свете —
Не за горою
та гора...

А не бродили вы,
продрогнув,
Тайгой
в оврагах и кустах,
В ее зеленых, и подробных,
И удивительных местах?
Для вас, наверное, новинка,
Что, лишь ложится солнце спать,
Любая желтая травинка
Зеленой кажется опять?
Там ходят шорохи и шумы
И пахнут хвоей родники.
Там по земле гуляют шубы,
А по ветвям —
воротники.
И наш таежный добрый ветер,
Иклады тайные земли —
Все ждет,
чтоб выросли вы, дети,
Все ждет,
чтоб вы сюда пришли.

Арон Вергелис. Жанда. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с еврейского. Редактор Н. Сидоренко. 120 стр. «Советский писатель». М. 1956.

тана меняют курс»), и короткая рецензия — оперативный отклик на только что появившуюся повесть («Спутники военных лет»), здесь статьи о литературе для детей, о театре, о литературоведении...

Многотемность и многожанровость не недостаток этой книги. Нет, это — одно из ее достоинств. Книга свидетельствует и о том, как широки интересы автора, и о том, как многообразны задачи, которые решает в периодической печати литературная критика. И еще одно: читая эту книгу, видишь, что в литературной критике дело со злободневностью обстоит точно так же, как и во всех других областях литературы. Маленькая газетная рецензия на только что появившееся произведение, оказывается, может жить и десять лет спустя после того, как она была напечатана, если только (условие, конечно, нелегкое!) она написана так, как написала в свое время В. Смирнова о «Спутниках».

Уж сколько, кажется, было потом сказано всякого об этой книге, такие споры велись о других повестях Пановой — и о «Кружильке», и о «Временах года», и о «Сереже», а и сейчас, после всех этих споров, давняя статья Смирновой не устарела. Как точно говорится в этой рецензии о характернейшей черте стиля В. Пановой! «Ее своеобразное дарование заключается в удивительном умении войти в образ данного человека, говорить его голосом, чувствовать, как он, отмечать малейшие его движения — «сыграть» его».

Рецензия эта появилась тогда, когда В. Панова, печатавшаяся и ранее, только начинала становиться известной широкому читателю, когда критической литературы о ней еще не существовало. Но в рецензии В. Смирновой уже тогда было подмечено то свойство прозы В. Пановой, вокруг которого впоследствии снова и снова будут кипеть страсти, будут сшибаться критические копы; одни станут говорить об этой особенности как о наибольшей силе писательницы, другие будут объявлять ее слабостью; третьим она будет казаться органическим характером дара, не зависящим от желания писательницы, как от певца не зависит природный тембр его голоса; четвертые, напротив, будут связывать ее с сознательной авторской позицией, осуждая эту позицию за объективизм.

Но впервые о важнейшей черте свособразия В. Пановой сказала В. Смирнова,

увидев в ней внутреннюю противоречивость большого дарования.

«Талант Пановой, — пишет она, — прежде всего в ее исключительной художнической зоркости, в ее способности видеть жизнь, подмечать мельчайшие движения человека, обусловленные его душевным состоянием, и понимать это состояние. У нее, очевидно, огромный запас этих увиденных в жизни характеров, движений, подробностей — она щедра в деталях и не повторяется.

...Панова умеет и любит рассказывать эти маленькие истории, она знает их множество. Но она не умеет (может быть, даже не хочет) искать и находить между ними живую связь, какой-то затянувшийся узел жизненной путаницы, который необходимо распутать и который может оказаться в центре произведения как острый конфликт, как серьезный вопрос нашей действительности».

Мне кажется, что в данном случае наблюдение В. Смирновой точнее, чем истолкование подмеченного, но, если критик, даже и не объяснив до конца свое наблюдение, в самом начале большого творческого пути писателя находит и обозначает основную проблему его индивидуальности, — это очень много, и именно это делает рецензию спустя десять лет после ее появления интересной и значительной.

Даже тогда, когда не соглашаешься с некоторыми оценками В. Смирновой, не можешь не оценить живого творческого начала, которое пронизывает всю ее книгу, определяет, при всем разнообразии тем и жанров, внутреннее единство сборника. Во всех статьях присутствует личность критика с выношенными убеждениями, взглядами и даже пристрастиями, со своим критическим почерком. Написанное В. Смирновой интересно читать и тогда, когда с ней согласен, и тогда, когда хочешь с ней поспорить.

На мой взгляд, с наибольшей силой мастерство критика проявилось в статье «Дни и годы Александра Ведерникова», посвященной известной пьесе А. Арбузова и спектаклю Московского театра имени Ленинского комсомола.

В этой статье есть та широта подхода к произведению, которая выводит критическое выступление за рамки непосредственного повода: критик прежде всего выделяет в пьесе ее тему, не ту, непосредственно видимую, которую можно было бы охарактере-

ризовать: «путь молодого человека», а внутреннюю, философскую тему времени, его движения, тему ответственности человека и перед своей биографией и прежде всего перед своей эпохой. «Были времена, — пишет В. Смирнова, — когда люди не ощущали полета времени, оно тянулось, его нечем было отметить, оно было лишним, тяжелой обузой, люди даже придумали удивительное выражение: «убить времечко», как-нибудь проведи день, вечер, ночь — за картами, за бутылкой, за едой, в пересудах, в бесплодных маниловских мечтаниях, во сне, как Обломов... И усердно «убивали время», потому что его некуда было деть.

Иное ощущение времени у нас, иное отношение к нему — и это хочет подчеркнуть драматург. Мысль о времени пронизывает всю пьесу, проходит как лейтмотив. В самой коротенькой и самой важной для героя сцене — на войне, перед концом ее, в апреле 1945 года — детский вопрос «Куда уходят дни?» из эпитафии переходит в текст пьесы, получает глубокий смысл. Как должны жить те, кому жизнь оставлена? Какова цена времени, жизни? «Время торопливее людей», — говорит один из героев пьесы. Время никого и ничего не ждет. Не ты, так другой выполнит то, чего требует жизнь. А если не ты — и никто? Если именно ты должен выполнить, и вовремя — тогда, когда требует жизнь?..

Горько человеку пропустить — упустить самое важное, самое нужное в жизни, страшно отстать, увидеть: поздно, — хочет сказать автор.

Думается, что этот пример позволяет понять, почему статьи В. Смирновой так интересно читать. Определив внутреннюю философскую тему произведения, критик перед самим собою ставит большую задачу: оценить произведение в свете значительной этической проблемы. Мысль об ответственности человека перед быстротекущим временем всегда была присуща настоящим писателям. Но, кроме общего для художников разных времен представления об этой ответственности, в наше время возникло свое, советское, по-особенному требовательное представление о времени. Недаром девизом целых поколений стали слова Корчагина: жизнь прожить «...надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...».

Вводя в свою оценку пьесы эти большие мысли, критик начинает разговор, в котором

заманчиво, увлекательно участвовать. Но и тут, во вступлении, где определяется философская тема пьесы, критик не забывает, что речь идет о художественном произведении во всей его драматургической специфике, и потому вслед за определением темы появляется характеристика творческой манеры Арбузова, столь же емкая и точная, как характеристика стиля Пановой.

Один из самых трудных моментов в работе над критической статьей — рассказ о содержании произведения, о действующих в нем людях. Отказаться от такого рассказа? Тогда статья будет понятна только тому, кто сам читал разбираемое произведение. Ввести такой рассказ? Тогда он может показаться лишним тому, кто читал роман или пьесу.

В. Смирнова подробнейшим образом рассказывает о действующих лицах пьесы Арбузова, но рассказывает так, что, читая эту характеристику, мы видим и то, как развивается действие пьесы, и ощущаем ее эмоциональный строй, ее ритм. Ей удалось совместить и еще более трудно совместимое: рассказать о пьесе так, что это интересно и читателю, не знающему пьесы, и тому, кто ее читал или видел. Мне кажется, что и театр, который решил бы еще раз поставить пьесу Арбузова, нашел бы для себя много важного и поучительного в этом рассказе о пьесе.

Лишь после того, как критик раскрыл тему пьесы, охарактеризовал ее образы в отношениях друг к другу и к центральному персонажу, рассказал о том, что, по его мнению, является силой этого произведения и его слабостью, он переходит к оценке спектакля. Здесь нет столь частых в рецензиях готовых итоговых оценок: «актеру Н. удалось то-то и не удалось то-то», которые раздражают людей театра своей бездоказательностью и ничего не объясняют зрителю. Критик очень точно видит, что театр сделал, — об этом свидетельствует точное, зримое описание мизансцен, красок, интонаций, ритма действия (посмотрите, например, характеристику игры С. Гиацинтовой в роли тети Таси), поэтому он вправе столь требовательно, как это делает В. Смирнова, показывать театру, чего тот не сделал.

В статье возникают два образа спектакля «Годы странствий»: образ добротного среднего спектакля, который был создан на сцене Театра имени Ленинского комсомола,

и гораздо более тонкий и поэтический образ спектакля, который мог бы быть создан, если бы щедрее, полнее и глубже были раскрыты все явные и подспудные возможности пьесы. Это профессионально сильно, убедительно, страстно. За этим спором поучительно следить.

Тогда, когда эта статья была написана и даже набрана, в «Литературной газете» о книге В. Смирновой написал А. Анастасьев. Высоко оценивая книгу в целом, он не соглашается с некоторыми характеристиками, например с характеристикой спектакля в Театре имени Ленинского комсомола. Ну что же! Это еще одно доказательство того, что безапелляционная окончательность оценок, полное единомыслие по каждому частному поводу противопоставлены критике.

В статье, посвященной литературоведческим книгам В. Ермилова, содержатся мысли, которые являются программными для В. Смирновой, выражают ее взгляд на то, как должен работать критик. Она пишет о том, как важно для критика «тонкое чувство формы, умение анализировать произведение в его идейно-художественной целостности. Сознание приоритета идеи помогает критику найти основное звено — мысль, цель, намерение автора, а понимание их ведет к пониманию и оценке формы; анализ же формы в свою очередь помогает глубже понять идейное богатство содержания». Это справедливо для лучших работ В. Ермилова. Вместе с тем эта творческая декларация самой В. Смирновой. Впрочем, критиков, которые бы декларировали необходимость идейно-художественного анализа, не так уж мало. В том-то беда, что куда меньше умеющих эту декларацию осуществить. В. Смирновой это трудное умение присуще в высокой степени.

В. Смирнова справедливо говорит о том, что критику следует видеть в произведениях большого писателя не только то, чего он в свое время не сумел сказать, но прежде всего то, что он сказал и что и сегодня не утратило для нас своего непреходящего значения. Такой подход кажется В. Смирновой обязательным для критика, анализирующего классические произведения прошлого. А если речь идет о произведениях большого советского писателя, написанных несколько десятилетий назад? Думается, что и тогда требование это будет справедливо. Однако о романах К. Федина двадцатых и тридца-

тых годов В. Смирнова пишет: «Беда Андрея Старцова, Никиты Карева, а с ними и Рогова и Левшина не в том, что образы их нежизненны, неправдивы, бледно или неверно нарисованы. Нет, они как ажут с я такими потому, что они не на своем месте. Они не по праву занимают центральное место в книге, ибо не они, не такие, как они, люди были в те годы героями революционной действительности. Это было нарушением исторической правды, и каждый раз это отщалоь тем, что героя неизбежно «относило в сторону».

На обсуждении сборника В. Смирновой в Центральном доме литераторов, при всех положительных оценках его, именно эта характеристика вызвала наибольшее несогласие. И это понятно: здесь, столь неожиданно для книги, проникнутой творческим духом, проявился догматизм, решительно осужденный самой В. Смирновой применительно к произведениям Чехова. Насколько было бы плодотворнее показать, почему именно такие герои в двадцатые и тридцатые годы стали центральными героями в творчестве К. Федина, чем требовать, чтобы Левшин вел себя в «Санатории «Арктур» так, как повел бы себя там Рагозин или Киприлл Извеков, а подобное требование, к сожалению, присутствует в этой работе.

Есть в сборнике и статья, в которой профессиональная вооруженность критика, как мне кажется, бьет мимо цели, весь арсенал аргументации не убеждает. Первую главу статьи «Два капитана меняют курс», где говорится о тайне рождения художественного образа, читаешь не только с интересом, но даже с завистью — так свежо и сильно написаны эти страницы.

Но вот В. Смирнова переходит к характеристике «Двух капитанов» В. Каверина. О первой книге романа, появившейся до Отечественной войны, критик говорит словно бы и одобрительно, хотя положительная оценка первой книги местами звучит с чуть пренебрежительной снисходительностью. Что же касается второй книги романа, то от нее в статье не остается камня на камне. В последующих же главах статьи резко отрицательная оценка второй книги переносится и на весь роман в целом. Но вот дочитываешь статью, и видишь, что роман существует в сознании сам по себе, а статья В. Смирновой — сама по себе, словно бы она говорит о совсем другом произведении.

Статья «Два капитана меняют курс» датирована 1946 годом. С тех пор роман В. Каверина не утратил своей популярности у читателей, блистательная критическая аргументация В. Смирновой ничуть не поколебала его успеха. Предсказание, что «бумажному кораблику» «Двух капитанов» не суждено долгое плавание, не сбылось.

Не допустил ли критик довольно распространенную ошибку? Она состоит в том, что произведение одного жанра судится по законам другого: на плечи романа приключений в статье В. Смирновой нагружен груз требований, приложимых к эпосе.

«Советский писатель» издал книгу В. Смирновой с любовью, оформил ее просто и скромно, со вкусом. Частное замечание или, точнее, пожелание. Наверное,

найдутся читатели — студенты, учителя, литераторы, — которые захотят прочитать книгу с карандашом в руках. Им будет интересно обратиться к тем статьям и книгам, с которыми В. Смирнова спорит. Вот, например, В. Смирнова полемизирует по поводу оценок образа Ведерникова. Но разыскать упоминаемые ею статьи нелегко. В книге не указаны не только их «адреса», но порою нет и названий. Где и когда была напечатана пьеса Всеволода Иванова «Ломоносов», которую так обстоятельно разбирает В. Смирнова? И это в книге не сказано. В таких случаях библиографические сноски были бы весьма полезны.

Но это, разумеется, не более чем частное замечание издательству, которое, выпустив книгу В. Смирновой, сделало по настоящему хоршее дело.

Сергей ЛЬВОВ.



Мысль и сердце ученого

Литературоведение?! Наука о литературе?! — эти слова иногда произносят с насмешливой улыбкой. Дескать, какая может быть наука, если речь идет о предметах сугубо неточных, неисчислимых и несоизмеримых. А отношение людей к художественным произведениям определяется просто: нравится или не нравится, волнует или оставляет равнодушным. Что же тут делать ученому?..

Когда товарищам, высказывающим подобные суждения, напоминают о Белинском и Добролюбове, Чернышевском и Писареве, в ответ обычно можно услышать: «Да ведь они были тоже писателями, именно писателями, а не учеными. Их критические статьи — сами по себе художественные литературные произведения. Только одни пишут о любви, о войне, о природе, а вот они писали о книгах, о героях, созданных другими художниками, но писали-то как художники, очень талантливо и очень субъективно. При чем же здесь научное исследование?»

Можно привести довольно много умозрительных логических аргументов против такого незерия в возможность существования науки о художественной литературе. Но так

как всякое художественное творчество прежде всего конкретно, то и судить обо всем, что к нему относится, лучше всего тоже на основе конкретных примеров.

Вот книга, выпущенная Гослитиздатом в 1956 году: В. Р. Гриб «Избранные работы» — статьи и лекции по зарубежной литературе. Здесь представлены: большая монография «Жизнь и творчество Лессинга», четыре статьи о Бальзаке, статья о «Манон Леско» Прево, статья о комедиях Лопе де Веги и три лекции — о Расине, мадам де Лафайет и Мольере.

Разнообразны и разномащтабны темы этих работ. В них рассматриваются явления разных стран (Германия, Франция, Испания) и разных эпох (XVI, XVII, XVIII и XIX века).

Автор статей и лекций — молодой советский ученый Владимир Романович Гриб, безвременно умерший в 1940 году в возрасте тридцати двух лет.

И эта книга, так же как и вся деятельность В. Гриба, педагога и публициста, служит отличным примером подлинно научного марксистского литературоведения — науки о творчестве писателей и поэтов и о развитии теории искусства, науки, которая и в самом проникновенном аналитическом исследовании сохраняет живое своеобразие и обаяние изучаемых произведений и образов.

Нет, ни бесстрашие счетной машины, ни равнодушная созерцательность вовсе не являются необходимыми предпосылками объективного научного анализа. Ни математик, ни биолог не может стать настоящим ученым, если не будет страстно увлечен определенной научной задачей, если не будет влюблен в свой предмет. Так же настоящий литературовед должен быть страстно увлечен своей задачей, темой, мыслью, должен быть вдохновлен ясно сознаваемой идеей, определяющей смысл его труда, и должен быть неподдельно влюблен в творчество именно этого писателя или литературного направления, чтобы суметь объективно, научно исследовать его внешние и внутренние особенности, идейно-эстетические закономерности и собственно художественную ткань: образы, коллизии, живое слово. И тогда возникает не педантичная школярская тягомотина, а наука о живом искусстве — наука ясной мысли и горячих чувств, которая и сама уже становится неотделимой от искусства.

Мысль и страсть неразделимы в творчестве В. Р. Гриба.

Так, теоретическое и творческое новаторство Лессинга В. Гриб исследует любовно и с замечательной, так сказать, пристрастной объективностью. Конкретные особенности он изучает как ученый, сопоставляя мысли и произведения Лессинга с мышлением и творчеством его предшественников и современников, разбирая философские основы и эстетическую структуру, социально-исторические и теоретические предпосылки его мировоззрения и живые образы его произведений. Но в то же время исследователь остается на почве искусства и воспринимает его явления непосредственно, эмоционально, как чуткий художник и увлеченный читатель. Вот, например, В. Гриб характеризует отношение Лессинга и демократических просветителей ко вновь возникшему тогда жанру «мещанской трагедии».

«...Со сцены, где разыгрывалась мещанская трагедия, глядел на зрителя во всей своей неприглядности прозаический и тусклый мир собственника, с его мелкими радостями и огорчениями, с его узкими интересами, чуждыми каким-либо помыслам о героизме и гражданских подвигах. Эта буржуазная проза отталкивала от себя пылких энтузиастов свободы и равенства. Уж слишком резкий контраст с их мечтаниями о будущем золотом веке гармонии, величия и красоты представляла эта скуп-

ная трезвость. Как! Мучительная борьба, жертвы, страдания — все для того, чтобы восторжествовала житейская пошлость и материальные расчеты?»

Но хотя исследователь очень любит и чтит Лессинга, он ни в чем не украшает и никогда не приглаживает ни его мысли, ни его художественных произведений. Он не приписывает Лессингу достоинств, которых тот не мог иметь, не преувеличивает его действительных заслуг и достижений, но ему чуждо и геллертское равнодушное механическое разделение: «с одной стороны... с другой стороны».

С той же объективностью исследователь обнаруживает и отмечает внутренние противоречия, слабости, конкретные проявления ограниченности идейного развития или недостатки художественного мастерства Лессинга. Так, по поводу примиренческого, идеализирующего финала в замечательной пьесе Лессинга «Минна фон Барнхельм», в которой воплотились и демократический гуманизм Лессинга и определяемые историческими условиями внутренние противоречия его мировоззрения, В. Гриб пишет очень прямо и точно:

«На сцену, смешиваясь с обычным освещением, падает откуда-то сверху искусственный «идеальный» свет, смягчающий резкость контуров и неприглядность обстановки. Лессинг необыкновенно искусно скрывает режиссерское вмешательство «предустановленной гармонии» в ход пьесы, но оно все же заметно».

Можно многое сказать об исследованиях В. Гриба «Манон Леско» и комедий Лопе де Веги и Мольера. Эти его статьи хотелось бы обязательно видеть включенными в новые издания упомянутых произведений. Стоило бы и поспорить с некоторыми тезисами грибовских статей о Бальзаке, в частности по вопросу о соотношении мировоззрения и творчества. Но прежде всего хочется отметить одно чрезвычайно существенное качество работ В. Гриба, позволяющее ощутить непримиримую партийность исследователя, его высокую и принципиальную идейность. Это качество — характер отношения исследователя к сложным и трудным для оценок фактам.

Сталкиваясь с фактами, которые не сразу и нелегко поддаются объяснению, настоящий ученый-коммунист никогда не замалчивает их, не подгоняет, не искажает и не отрицает. Потому что он знает, что существо марксистско-ленинского мировоззре-

няя требует возможно более точного, стремящегося к объективной истине познания любого участка действительности. Он знает, что правдивость и строгая объективность (не имеющая ничего общего с бесхребетным объективизмом) в изучении фактов — это не только этическая норма, нравственный долг, но прежде всего практическая боевая обязанность коммуниста.

Для приспособленцев же, проникающих в науку, важна, напротив, не сущность дела, а общепринятые формулы, не реальные жизненные интересы партии, а соблюдение чисто внешних правил и норм.

Поэтому приспособленцы в литературоведении, принимаясь толковать, например, о Бальзаке, старательно обходят или скороговоркой уминают все трудные противоречия мировоззрения великого реалиста. Тщательно выписав высказывания классиков марксизма о нем, они не пытаются их понять — не под силу, да и не подходит к убогим схемам, — но, снабдив гарниром из почтительно патетических прилагательных, покидают в этойкой цитатно-хрестоматийной незыблемости. А далее, бойко орудуя ножницами и набором стереотипных фраз, стряплют опусы о «прогрессивных», «народных», «демократических» и едва ли не «пролетарских» основах идеологии Бальзака, отбивая у читателей не только вкус, но и простейшее доверие к самому понятию научного литературоведения.

Книга В. Гриба сегодня, так же как в те дни, когда она создавалась автором, прежде всего книга-воин, книга-боец, метко и сокрушительно поражающий ветхие деды вульгарной социологии и новые замаскированные окопчики вульгарных политизаторов.

И еще одно замечательное качество воплощено в работах В. Гриба.

Мы очень часто ограничиваем понятие партийности: в исследовании явлений литературы, так сказать, только двумя измерениями: приятие — неприятие, одобрение — осуждение, утверждение — отрицание. Так возникает двухмерный, механистический и, значит, по своей сути антидиалектический метод исследования, который бесплоден на любом участке живой действительности.

Подлинная большевистская партийность в науке о литературе означает, конечно, прежде всего революционную страстность в положительном или отрицательном отношении к каждому изучаемому явлению, но вместе с тем и столь же страстные стрем-

ление изучить его так всесторонне и проникновенно, чтобы обнаружить все ценное, что может содержаться в данном явлении или возникнуть в самом ходе исследования, чтобы не упустить ничего, что может хоть как-то быть полезным росту нашей социалистической культуры.

Казалось бы, чем может, например, увлечь советского ученого — недавнего комсомольца — драматург старого дворянского классицизма Расин?

Очень трудно передать в рецензии все богатство, все мастерство того эстетического и одновременно социально-исторического и нравственно-психологического анализа драм Расина, который создает В. Гриб. Все же определенное представление об основной идее, о целеустремленности его анализа дают заключительные абзацы лекции об этом писателе.

«Среди близких нам черт драматургии Расина, — пишет исследователь, — самая близкая — высокое мужество, внутренняя дисциплина, такт расиновских положительных героев. Характерные черты нашего мировоззрения, нашей культуры — мужественный оптимизм, ломающий все и всяческие препятствия, уважение к нормам и традициям советского общества. Поэтому нам дороги лучшие черты классической трагедии прошлого — ее героическое начало и благородные человеческие идеалы. Ленин в «Государстве и революции», говоря о высшей фазе коммунизма, писал, что, избавленные от «гносностей капиталистической эксплуатации, люди постепенно перейдут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях, правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, без особого аппарата для принуждения, который называется государством». В трагедиях Расина мы видим людей, для которых нормы, традиции, привычки, правила общежития окружавшего их общества стали второй природой. Конечно, между узкими нормами этого общества и теми нормами общежития, о которых говорит Ленин, существует целая пропасть. И однако, как ни узки идеалы Расина и его аристократических героев, лучшие из которых вынуждены искать красоты и гармонии не в жизни, не в борьбе и в созидательном труде, а в самопожертвовании, в самоотречении, в пассивном подчинении долгу, чело-

вечность этих героев Расина, свойственная им душевая красота, та общественная атмосфера, которую они в себе несут, не может не волновать людей, созидающих впервые в истории общество, в котором «элементарные» «правила общежития» прочно войдут в плоть и кровь каждого человека. Как и гуманизм античности, как и гуманизм Возрождения, гуманизм Расина, несмотря на ту печать исторической ограниченности, которая на нем лежит, обладает чертами, которые впервые в истории человечества могут быть по-настоящему поняты и оценены только в эпоху борьбы за утверждение идеалов несравненно более высокого и всеобщего социалистического гуманизма».

В. Гриз был сам строителем новой куль-

туры. Именно поэтому он умел с таким мастерством теоретического анализа, с таким художественным вкусом и с такой неостывающей страстностью отыскивать в творениях давних веков, в мыслях и чувствах далеких и, казалось бы, совершенно чужих нам мастеров искусства, те вечно живые человеческие качества, те черты эстетического и нравственного сознания, принципы взаимоотношений между людьми, опыт воспитания воли и характера, которые оказываются близки новым людям — строителям социализма, без которых немислимо развитие гармонической творческой личности гражданина будущего коммунистического общества.

Л. КОПЕЛЕВ.

★

Пристрастие к общим местам

Дружными усилиями писателей и критиков в последние годы энергично была восстановлена в своих правах та неоспоримая, но, к сожалению, основательно подзабытая кое-кем истина, что подлинная поэзия — всегда открытие, что создания ее самобытны, всесторонне индивидуальны и не повторяют уже известного. Поощрение поиска и своеобразия — так можно назвать наметившееся в современной критике направление, в котором органически сочетаются определенность исходных идейно-эстетических позиций с широтой мысли и доверием к художнику, последовательная партийность с углубленным вниманием к фактам, с умением разобраться в существе дела. Только этот путь освобождает нашу критику от нередкой в недавнем прошлом вульгаризации и прямолинейности, от рокового пристрастия к догматическому повторению общих мест.

Но вот перед нами критико-биографический очерк Г. Ершова и В. Тельпугова о Сергее Михалкове. К сожалению, он вполне выдержан в духе той критики, успешной борьбе с которой посвящены усилия литературной общественности последних лет.

Талантливые «детские» стихи могут быть разными и все-таки каждый раз по-своему интересными и нужными. Они могут быть откровенно назидательными (что отнюдь не всегда равнозначно скуке) и тактично по-

учительными. Едва ли стоит сомневаться в широко понятой полезности и тех стихов, в которых нет ни назидательности, ни поучительности. В одном случае душой стихотворения становится искренняя, заражающая веселость, в другом — увлекательная игра воображения, в третьем — внимание к жизни и ее подробностям. Случается, наконец, и так, что поэт создает своего рода «психологический этюд», вызывая в нем серьезное, слегка оттененное мягким и добрым юмором доверие взрослого к значительности дел и внутреннего мира маленького человека.

У Михалкова тридцатых годов среди прочих есть и такие стихи. Поэту в них превосходно удается передать самый строй детских переживаний и размышлений во всей их непосредственности и самозабвенной сосредоточенности. Таково, например, стихотворение «Если». В нем после экспозиции, тонко и точно передающей наивно-горестную удрученность скверной погодой, перед нами возникает ряд забавных предположений: в самом деле, что получится, «если взять все эти тучи и соединить в одну?». А если то же самое проделать с лужами? Или, что еще интереснее, с каплями?

Если взять все эти капли
И соединить в одну,
А потом у этой капли
Ниткой смерить толщину,—
Будет каплица такая,
Что не снилось никому,
И не приснится никогда
В таком количестве вода.

Г. Ершов, В. Тельпугов. Сергей Михалков. Критико-биографический очерк. Редактор Е. Старина. 135 стр. «Созетский писатель». М. 1956.

Это настоящая поэзия, здесь чувствуется своеобразное восприятие мира, особый, детский склад ума, то целостное настроение, которое трудноато переложить на «язык понятий», не размазывая и не огрубляя.

Но, как принято говорить в таких случаях, трудности не смущают наших исследователей. С завидной решительностью Г. Ершов и В. Тельпугов обнаруживают, что в стихотворении «заключена мужественно-зрелая мысль». Разглядев в невинной игре детского ума «заветную и близкую мечту о всемогуществе человека — покорителя природы», критики сочли нужным дать по ее поводу развернутый публицистический комментарий: «Есть здесь простор и для размышлений о том, что любая мечта в нашей стране не далека от были. Смела и реальна мечта наших детей. Для них вчерашнее «если» звучит скорее, как «надо», «необходимо», а коли надо, значит будет и, конечно, в самое ближайшее время» (разрядка Г. Ершова и В. Тельпугова.— А. Л.).

Но что, собственно, «надо» и «будет», да притом еще «в самое ближайшее время»? Соединение всех туч в одну, чтобы «в Москве из тучи — дождик, а в Чите из тучи — снег»? Или — всех луж с целью образования из них моря, «чуть поуже» Черного? Но каков же, так сказать, практический смысл всех этих операций? Критики, понятно, не уточняют. А напрасно. Попытайся они определить существо стихотворения несколько поконкретнее, возможно, и не возникли бы в их очерке рассуждения, преисполненные пафоса тем большего, чем дальше он от своего предполагаемого возбудителя, не была бы милая и скромная поэтическая тучка отретуширована посредством общих мест до полной ее неузнаваемости.

Нет у Г. Ершова и В. Тельпугова желания посмотреть на стихи Михалкова просто и пристально. С легкостью извлекают они неприменную «мораль» там, где и заподозрить-то ее присутствие мудрено. Ну можно ли, например, предполагать, что в сказке о дяде Степе содержится пропаганда парашютного спорта? Но распахивается магический «простор для размышлений» — и, по слову Маяковского,

вещь
ясней помидора
обволакивается
туманом сизым...

Авторы очерка пишут: «...вот наш герой в парке культуры и отдыха на знаменитой парашютной вышке:

Дяде Степе две минуты
Остается до прыжка.
Он стоит под парашютом
И волнуется слегка.
А внизу народ хохочет.
«Вышка с вышки прыгать хочет!»

Народ хохочет, а критики невозмутимо рассуждают: «И уж не так страшно становится, когда теперь подходишь к этой вышке; само собой возникает желание взобраться туда и тоже прыгнуть, а когда-нибудь обязательно совершить прыжок и с самолета. Значит, шутка умная, уместная, раз она внушает добрые мысли и воспитывает смелые чувства».

Остается только недоумевать: отчего Г. Ершов и В. Тельпугов в этом же духе не осмыслили и тот факт из биографии дяди Степы, что описан Михалковым строфой выше и процитирован в очерке без столь конкретных выводов о его воспитательном воздействии:

На верблюде он поехал —
Люди даятся от смеха:
— Эй, товарищ, вы откуда?
Вы раздавите верблюда!
Вам, при вашей вышине,
Нужно ехать на слоне!

Будь критики последовательны, они должны были бы здесь заметить, что, мол, у представителя подрастающего поколения, ознакомившегося с этой строфой, «само собой возникает желание взобраться» на верблюда и «тоже» покататься, «а когда-нибудь обязательно» проехать и на слоне. Такие комментарии были бы вполне в духе исповедуемых авторами очерка «эстетических принципов»: раз литература призвана воспитывать, так уж пусть каждый поступок героя незамедлительно отзывается соответствующим поступком читателя.

Отсюда и к юмору у критиков отношение только что снисходительное, не больше: поэту, полагают они, улыбаться, конечно, не запрещено, но с неперменным условием — чтобы было это вполне прилично и не слишком нарушало общую торжественность воспитательного процесса. Так они примерно и формулируют: «Юмором окрашено, как мы видим, описание поступков дяди Степы, но это не снижает их значительности». О значительности этих поступков читатель может судить сам. Здесь удивляет другое:

зачем же юмор, если он только «не снижает»? Не проще ли тогда без него?

В своих поисках потаенной мудрости авторы очерка идут очень далеко. Если вы подсобите в чем-нибудь малышу, тр сделано это будет вами, до убежденно критиков, «не потому, что он слаб и мы к нему снисходительны, а потому, что ему нужна помощь, как всему растущему, за которым всегда будущее» (разрядка моя. — А. Л.). Таким образом, сами «теплые, трогательные чувства» михалковского героя, его доброта и отзывчивость осмысливаются в очерке как следствие прилежного усвоения им одного из положений диалектики, которым он в дальнейшем старательно руководствуется. Кто будет возражать против сознательности! Но, честное слово, дядя Степа не стал бы менее «воспитательным» и современным, если бы критики хоть что-нибудь оставили в его больших и малых подвигах на долю естественных движений щедрого человеческого сердца, если бы они не подводили под каждое его «трогательное чувство» философскую базу!

Так растолковывается Г. Ершовым и В. Тельпуговым поэзия Михалкова для детей. Критики не изменяют себе и тогда, когда переходят к разговору о сатире вообще и баснях в частности.

На странице 114 своего очерка авторы весьма категорически, ссылаясь при этом на высокие авторитеты, которые, право же, здесь ни при чем, заявляют, что наши сатирики «должны постоянно учиться» «умению отражать победу нового над старым» (разрядка моя. — А. Л.).

Ну, можно ли так механически применять формулу «отражать победу нового над старым» к произведениям сатирическим, не принимая в расчет ни жанра, ни темы, ни конкретных социально-педагогических целей, которые преследует сатирик. Нет, напрасно авторы очерка не учитывают жанровую направленность сатиры, напрасно умалчивают они о том, что сатирик призван не столько отражать победу нового над старым, сколько содействовать этому процессу в жизни, разоблачая и развенчивая отрицательное явление, вскрывая его вредность, рождая и укрепляя в читателе неприязнимость к нему.

То, что мы имеем здесь дело не со случайной отговоркой критиков, а со своего рода позицией, доimia упрочения которой Г. Ер-

шов и В. Тельпугов готовы договориться до крайностей, доказывает весьма примечательное их рассуждение о басне «Морской Индюк». Пересказав в трех словах «идейное содержание» этой басни, всецело посвященной развенчанию самодовольных и наглых приспособленцев, ловко украшающихся чужой славой и заемными словами, критики на полном серьезе заканчивают: «И, что не менее важно, просто и естественно, без нажима, с большим тактом, поэт показывает в этом резко сатирическом произведении и другое: коллектив советских тружеников — это здоровая, дружная семья людей с высокой и чистой моралью, никакие «индюки» не в состоянии испортить (!) ее светлого облика» (разрядка моя. — А. Л.). Где, однако, в басне этой хотя бы и «с большим тактом» показанный «коллектив советских тружеников», где эта «здоровая, дружная семья людей с высокой и чистой моралью»? Увы, Г. Ершов и В. Тельпугов не склонны сообразовать свои суждения с фактами: они предпочитают высказываться скоропалительно и безапелляционно.

Равнодушие к конкретному пронижает весь очерк Г. Ершова и В. Тельпугова. Рассказывая о творческом пути поэта, они выписывают так называемый «фон», полагая, вероятно, что тем самым творчество Михалкова предстанет в историко-литературной перспективе. Но это мнимый, показательный историзм. В тысячный раз повторить, что в тридцатых годах такие-то авторы писали такие-то романы, что до Михалкова в советской детской литературе уже работали Маяковский, Маршак, Барто, а русскими баснописцами были Крылов и Бедный, еще не значит определить место писателя в литературе. Подлинный историзм требует не общих праздничных слов и иллюстративных цитат, а делового разговора, невозможного без сопоставлений, раздумий, самостоятельных решений. Как же иначе можно выявить традиционное и новаторское в творчестве писателя? А в очерке есть сумма разных по качеству рецензий на отдельные произведения Михалкова, но, как правило, нет анализа его пути.

Справедливости ради следует сказать, что не все в очерке плохо. Определенными достоинствами обладает тот раздел, где говорится о драматургии Михалкова для детей; обстоятельно, хотя и несколько поверхностно, характеризуют критики индикаторность и сюжетность басни «Лиса

и Бобер», высказывают они ряд дельных замечаний и на других страницах своей работы.

И все-таки говорить о книжке Г. Ершова и В. Тельпугова по принципу: «С одной стороны следует отметить», «с другой же — нельзя не заметить» — увы, не представляется возможным. Обставлять частоколом

★

Рыбы глаза

По прозрачным, чуть позеленевшим стенкам аквариума в мутноватой воде скользят блики. Тупоносые рыбы привычно тычутся мордами в стекло, отдуваются, пошатываются, с трудом восстанавливая равновесие лоскутками плавников. Потом вдруг, содрогаясь всем телом, с трудом волоча свои кругленькие брюшки, устремляются к поверхности. Несколько судорожных глотков. Хлюп, хлюп — по пленке аквариума расходятся кружочки. Сразу отяжелев, обвиснув прозрачной бахромой плавников, маленькие золотые уродцы уходят к стеклянному дну... Ночью, в свете уличного фонаря, аквариум отразится мутным желтым пятном. Уродцев не станет видно, и нельзя даже будет узнать, есть ли кто-нибудь в стеклянной банке. Только иногда в сонной тишине будет по-прежнему слышно: хлюп, хлюп, хлюп — им нужен воздух, они ведь живые... Наверное, можно сойти с ума, день за днем наблюдая за этой жизнью.

С детских лет Теодор Амстед мечтал об аквариуме.

...Амстед — чиновник. Немножко странный. В этой небольшой странности, пожалуй, и все дело. Он живет, как живут все чиновники его ведомства, как живут, наверное, вообще все чиновники. В положенное время сидит за своим рабочим столом и пишет бумаги, в положенное время идет домой, помогает сыну готовить уроки, ужинает и во время ужина разговаривает с женой. Вот и все. И он думает только о том, что делает. И так день за днем. У Амстеда нет никаких оснований быть чем-либо недовольным. К нему хорошо относятся начальство и жена, время от времени в школе хвалят сына, желудок тоже

вежливых оговорок столь очевидные в очерке равнодушие к конкретному, прямолинейность, поверхность вряд ли стоит, если всерьез желать видеть современную литературную критику влиятельной, пользующейся доверием художников и вниманием читателей.

А. ЛИПЕЛИС.

работает нормально. Легко представляешь его себе. Аккуратно одетый, с умеренной солидностью держащийся человек. Привычно внимательное лицо, старательная складка на лбу. И глаза — тусклые, рыбы. А может быть, просто серые, незаметные. Словом, это своего рода идеальный чиновник.

И вдруг... Надо сказать, что это «и вдруг» идеальному чиновнику положительно противопоказано. Ведь весь смысл его существования и состоит именно в том, что ничего неожиданного с ним произойти не может.

И тем не менее Теодор Амстед решил бежать. Решил бежать из дому, из министерства, от привычного распорядка своих дней, решил бежать в другую жизнь. Пусть думают, что он покончил с собой. Он покончил со всеми другими. «На этот шаг его толкнули разные обстоятельства. Он не бунтарь, совсем нет. Но где-то глубоко, глубоко, в самых сокровенных тайниках его души, еще сохранились какие-то жизненные силы, стремление самому распоряжаться своей судьбой, сохранилась смутная жажда свободы». Он «слишком долго был школьником. Почти всю свою жизнь. Ему прививали такие понятия, как долг, дисциплина, порядок и аккуратность. Он находился сначала под опекой родителей и учителей, потом жены и начальника отделения. Его воспитывали, учили, гнули и шлифовали так, как это было желательно другим». Другим! А не ему. И вот он захотел хоть немного прожить так, как хочется ему самому: не ходить на службу, не слушать за ужином жену... Ведь на самом деле он всегда мечтал только об аквариуме...

И вот он свободен! Он поселился под чужим именем в какой-то деревушке на берегу моря, живет у крестьянина, не ходит в министерство и, конечно, завел аквариум. Милые золотые уродцы! Какая мирная,

Ганс Шерфиг. Пропавший чиновник. Перевод с датского И. А. Горкина и Р. А. Розенталя. Редактор К. Телятников. 183 стр. Гослитиздат. М. 1956.

какая тихая, тихая у вас жизнь... Теодор Амстед сидит перед стеклянной банкой и смотрит. По прозрачным стенкам скользят тени.. И бывший чиновник видит картину, которая приводит его в ужас. Нет, это совсем не то, о чем он так долго мечтал. «Тут есть существа, которые лежат, притаившись, на дне и протягивают за добычей щупальцы, похожие на сложные хватательные аппараты... Они так высасывают свою жертву, что остается одна лишь оболочка. Они разрывают на куски и калечат друг друга так, что даже смотреть страшно. Водяные пауки поднимаются и ныряют... Если мимо них проплывает рачок, они оплетают его паутиной и высасывают. Кто сильнее, пожирает того, кто слабее. А совсем маленькие и слабые в свою очередь пожирают тех, которые так малы, что едва видимы простым глазом...» «Да, все эти твари пожирают друг друга...»

...И мир, о свободной жизни в котором мечтал Амстед, тоже оказался довольно страшноватым. С затаенным трепетом взирает на него чиновник.

«По ночам он лежит без сна и прислушивается к шарканью шагов, доносящихся с улицы. Иногда кричат совы, мяукают кошки, словно плачут маленькие дети. Ночной мрак полон звуков и ужасов...» У чиновника раньше были очень хорошие, приятные представления о деревне.

«Тра ля-ля, тра-ля-ля!
Сено погрузили и несемса
вскачь,—

так обычно пели в гимназии в конце учебного года...

Как живописны эти домики с их соломенными крышами, цветущими изгородями, кустами бузины и приветливыми окошками! А за этими окошками — люди, полные ненависти друг к другу.

На морском берегу сидят на корточках каменотесы и дробят камень. С моря дует холодный и сырой ветер. Среди рабочих кое-кто кашляет и харкает кровью. Что и говорить, от такой работы не поздоровится. Впрочем, кому какое дело до их здоровья».

Да, все пошло к черту. Нет в этом мире места ни для лирики, ни для свободы... Амстед любит природу, цветы, любит погулять в лесу. Но и такой природы тоже

нет: есть «участки» — частные владения, огражденные табличками «вход воспрещается!». Бывший чиновник мог бы заняться рыболовством — это тихое занятие, оно понравилось бы ему. Но даже «щуки, водящиеся в торфяных ямах или в болотах, тоже принадлежат хозяевам участков...».

Как знать, может быть, странный чиновник и приноровился бы к обычаям этого мира и решил бы тихо скоротать дни за пасьянсом, к которому он уже успел пристраститься. Но тут еще раз случилось неожиданное.

Беглого чиновника нашли, опознали, уличили и посадили в тюрьму — за «обман страхового общества» (ведь жена Амстеда уже успела получить причитающуюся в случае смерти мужа страховую премию), за «подделку документов» (ведь Амстед скрывался под чужим именем) и за «уклонение от уплаты налогов» (естественное следствие перечисленных «преступлений»).

«Когда предварительное следствие заканчивается, Теодор Амстед не ходатайствует об освобождении. Не просит выпустить его из тюрьмы до суда. И не хлопчет о свидании с женой...» Более того, когда срок тюремного заключения истекает, странный чиновник придумывает повод вновь попасть в тюрьму. Он вваливает на себя вину за убийство человека, которого никто не убивал. Он хочет остаться в тюрьме. Пожизненно.

И вот «беспризорный человек снова обрел тишину и порядок... Он больше не испытывает страха... не слышит крика совы и разных жутких ночных голосов... Дверь заперта. И не все ли равно, как она заперта: изнутри или снаружи?». Все наконец хорошо. «Центральное отопление действует безотказно. Кто-то заботится о том, чтоб в камерах поддерживалась должная температура. Амстед может не беспокоиться об этом... Амстед спокойно спит по ночам. У него хороший аппетит. Желудок — в полном порядке... Он добился всего того, что является, как ему неизменно внушали, основой жизненного благополучия. Он достиг высшего идеала буржуазного общества».

...Вот и вся история странного чиновника, рассказанная нам датским писателем Гансом Шерфигом. А может быть, это и не история о странном чиновнике. Чи-

новник обычен. А вот обстоятельства, в которые он сдуру залез, необычны для него. Шерфиг оторвал его от привычных «дел», и тем виднее стала собственная, естественная сущность этого человека. Да у него и нет никакой человеческой сущности. По страницам книги прошло странное и жутковатое создание. Человек без человеческого... Если бы у реалиста Шерфига имелась склонность к условному мистицизму Гофмана, Амстед наверняка в конце концов был бы разоблачен, как Сбежавшая Записная Книжка. Хозяин по оплошности записал в нее несколько необычных мыслей, и она, привыкая иметь дело лишь с канцелярскими расчетами и выкладками, возомнила себя живым существом. Это могла бы быть очень забавная история. Но то, о чем рассказал нам Шерфиг, не очень забавно. Условность и мистика заключены здесь не в изображении, а в изображаемом. Внешне Амстед — человек, внутренне, по сути своей, — чиновник, одна из разновидностей этой очень распространенной сейчас породы существ.

Амстед исполнитель. В этом его суть. Суть чиновничества вообще. Он может прояслять инициативу в рамках своих исполнительских функций. Но главная его черта — полная мера общественной безынициативности. Сам живущий чужим трудом, он ничего не в силах создать. И дело тут не в личных качествах. Амстед — человек не злой, не очень глупый... Дело — в общественной природе чиновничества. Шерфиг не показал сложную, но явную связь Амстеда-чиновника с «делом» эксплуатации «его собственного» народа. Эта связь самим Амстедом даже не осознается. Лишь иногда, чисто инстинктивно, испытывает он антипатию к людям с загрубевшими руками. Амстед всегда немного робел перед людьми в спецозках. От этих субъектов надо держаться подальше. «Не подходи к ним близко!» — говорили ему, когда он был ребенком. «Люди в спецозках. От них всего можно ждать — грубости, скотства, брани, насилия... Люди в спецозках... были из другого, чуждого ему мира».

Чиновничество, как показывает Шерфиг, не есть лишь следствие какого-то конкретного рода занятий. Амстед мог быть писателем или инженером, врачом или общественным деятелем по профессии и при этом оставаться чиновником по своему мировосприятию. Ведь добровольное самозаклучение, к которому пришел Амстед,

может быть и в сознании. Можно ведь и собственную мысль посадить в клетку — «от сих до сих». Чиновничество создано буржуазией для эксплуатации народа. Но, возникнув как вполне определенная профессия, оно обрело затем, так сказать, известную идеологическую самостоятельность. Зараза проникла за двери канцелярий, болезнь стала передаваться «через третьих лиц».

Надо сказать, что и общественная пассивность чиновничества — пассивность определенного толка. Амстеду антипатичны «люди в спецозках», но он не испытывает ни малейшей неприязни к своим тюремщикам. Человеку, заранее готовому к самозаклучению в тюрьму, не страшны уже никакие формы реакции. Он примет все, любое. Амстед — это заключенный по своим убеждениям. А образцовый заключенный уже и сам немножко тюремщик. Амстед чувствует себя в тюрьме, как дома, лучше, чем дома. И если «не важно, с какой стороны закрывается дверь», то и от заключенного не так далеко до тюремщика. Когда в конце прошлой войны в разных странах судили фашистов, то некоторые из них говорили в свое «оправдание», что они-де были лишь исполнителями чужих приказов. Может быть, кое-кто из говоривших и был искренен. Но дело от этого, конечно, не менялось.

...Теодор Амстед внутренне, видимо, не вполне был удовлетворен своей жизнью в семье и министерстве. Что-то его не устраивало. Это «что-то» и было его чиновничьим положением в жизни. И он бежит из дому и из канцелярии, решив, что таким образом порвет с тем, что его тяготит. Но это лишь иллюзия. Он чиновник — и от этого ему не убежать. Иллюзии гибнут, подлинные идеалы чиновника осуществляются.

...Закрываешь книгу, и в памяти остается еще на некоторое время лицо Амстеда. Чиновник сидит перед акварнумом и смотрит. За прозрачными стенками в зеленоватой воде скользят тени. Тупоносые рыбы тычутся в стекло. Золотые уродцы. У них бесцветные и пристальные, немигающие глаза. Они смотрят на Амстеда. И видят бесцветные, пристальные, мертвенные глаза странного чиновника. Потом и эта картина изглаживается из памяти. Но взгляд рыбьих глаз запоминается хорошо.

А. ЛЕБЕДЕВ.

Политика и наука

Самолет с атомным двигателем

За последние годы достигнуты немалые успехи в области применения атомной энергии. В СССР построена первая в мире атомная электростанция, строится атомный ледокол. В США проводились испытания подводной лодки с атомным двигателем. В ряде стран все больше используется этот новый вид энергии в промышленности и медицине.

Вместе с тем ведутся работы по созданию атомного двигателя для авиации: самолет, снабженный таким двигателем, может иметь почти не ограниченную в пределах нашей планеты дальность полета.

Для США, все больше усиливающих гонку вооружения и подготовку к атомной войне, перспективы возможного использования атомного двигателя в военной авиации играют немаловажную роль. Так, авиационный бюллетень «Интеравиа» еще в 1955 году сообщал, что, по словам начальника штаба американских военно-воздушных сил генерала Тунингама, правительство США придает огромное значение развитию самолетов с атомным двигателем как средству создания межконтинентальной бомбардировочной авиации. Такой воздушный флот обеспечил бы независимость США от заокеанских баз, которые, как видно, уже не считаются достаточно надежными. По данным, опубликованным в английском авиационном журнале «Фляйт», в США на исследовательские работы по атомному двигателю для авиации в 1955—1956 годах израсходовано двести тридцать миллионов долларов.

На пути решения этой проблемы сразу же встретились большие трудности. Журнал «Фляйт» и бюллетень «Интеравиа» в свое время сообщили, что первый полет такого самолета намечается на 1958-й или 1959 год. Затем те же издания отсрочили полет на более позднее время. А журнал «Американ авиэйшн», говоря уже об управляемых снарядах, предполагает, что создание атомного двигателя для них, по всей видимости, потребует около тридцати лет, и то при условии, что в экспериментальных работах

примет участие столь же большое количество ученых и будут отпущены такие же значительные средства, как это было при решении проблемы атомного оружия.

К разработке атомного двигателя в США привлечен ряд крупных промышленных корпораций, фирм и научных учреждений. Особенно интенсивно работы в этой области развернулись с 1952 года. Ряд фирм получил от правительства соответствующие задания и солидные ссуды. Так, например, корпорации «Дженерал электрик» был дан заказ на разработку атомного двигателя определенной схемы, а самолетостроительной фирме «Конвэр» — заказ на самолет под этот двигатель. Аналогичные заказы получили моторостроительная фирма «Юнайтед эркрафт» и самолетостроительная «Боинг». Привлечены были и многочисленные научно-исследовательские институты.

Эти задания охватывали весьма широкий круг вопросов: производство новых материалов и сплавов; изучение влияния радиоактивных излучений на детали двигателя, самолетное оборудование и различные материалы; способы защиты экипажа от опасных излучений атомного реактора и многое другое.

В журналах «Интеравиа ревью», «Эйрплейн» (Англия) и «Джорнэл Франклин институт» (США) в 1955—1956 годах был помещен ряд статей, посвященных особенностям и возможным вариантам атомных двигателей.

Принципиально атомный двигатель отличается от обычных реактивных авиадвигателей тем, что источником энергии для него является реактор, а не камера сгорания, в которой сжигается керосин и бензин. В результате происходящей замедленной цепной реакции расщепления атомного ядра в реакторе выделяется огромное количество тепла. Теплотворная способность одного килограмма ядерного горючего превышает 22 миллиарда калорий, тогда как при полном сгорании килограмма керосина или бензина освобождается всего 10—11 тысяч калорий тепла. Кроме того, при полетах в разреженной атмосфере на больших высотах для полного сгорания обычного топлива нужен еще и окислитель в количествах, превышающих вес топлива в четыре-пять раз

По страницам зарубежных авиационных журналов «Американ авиэйшн» (США), «Фляйт» (Англия), «Эр ревью» (Бельгия) и других.

Журнал «Интеравиа ревью» сообщает, что для работы атомного двигателя мощностью в шесть тысяч лошадиных сил требуется один килограмм ядерного горючего (даже при условии, что коэффициент полезного действия этого двигателя будет равен всего 20 процентам). Следовательно, теоретически достаточно одного килограмма урана (U-235), чтобы самолет мог совершить кругосветный полет без посадки. Жидкого топлива для такого полета потребовалось бы не менее 150 тонн.

Следует указать еще на ряд важных преимуществ самолета с атомным двигателем. Его скорость не уменьшается с увеличением дальности, как у самолетов с обычными двигателями, работающими на жидком топливе. Полет бомбардировщика с атомным двигателем, как считают в США, будет протекать в нужные моменты на малой высоте, в условиях, когда перехват его с помощью истребителей или управляемых снарядов окажется невозможным, так же как и обнаружение его радиолокационными станциями в результате влияния земли на этих высотах. Как пишет журнал «Ньюклер поверед эркрафт» (1956), атомный двигатель решает вопрос и о высоте полета. Больше не будет необходимости летать на очень больших высотах в целях получения разумной экономии топлива, а следовательно, увеличения дальности полета.

Трудно разрешимой остается проблема экранировки атомного двигателя для предохранения экипажа и пассажиров самолета от вредных радиоактивных излучений. Начальник атомного отдела фирмы «Американ локомотив» инженер Кассхо подсчитал, что для полного предохранения человека от этих вредных излучений толщина свинцового или бетонного экрана-поглотителя будет достигать 0,9 метра. Для атомного двигателя мощностью в 75 лошадиных сил вес экранировки будет равен 20 тоннам, а при увеличении мощности в тысячу раз, то есть до 75 тысяч лошадиных сил, вес экрана составит 56 тонн.

В одном из номеров журнала «Интеравиа ревью» за 1956 год было помещено описание гипотетического самолета «Неап уан» с атомным двигателем, который, по мнению автора статьи, может быть создан не раньше чем через пять лет. При общем весе этого самолета в 147 тонн двигатель будет весить 40 тонн, а его экранировка — 52 тонны.

Чтобы предохранить экипаж от радиоактивных излучений, выдвинуто предложение использовать самолет с атомным двигателем только в качестве буксировщика обычного самолета, в котором будут размещаться люди и грузы и откуда должно осуществляться управление этим буксировщиком. В более поздних номерах бюллетеня «Интеравиа» за 1956 год указывается, что хотя перспективы решения всех этих сложных вопросов благоприятны, все же использование самолета с атомным двигателем следует отнести к еще более отдаленному будущему и в первую очередь для самолетов, перевозящих только грузы.

Английские авиационные журналы «Эйрплейн» и «Инжиниринг» обращают внимание на следующее. Пока атомный авиационный двигатель будет оставаться громоздким и тяжелым и основная доля его веса будет приходиться на реактор и на экранировку для предохранения экипажа и пассажиров от опасных излучений, даже незначительный вес ядерного горючего не откроет перед авиацией неограниченных возможностей: вес реактора и экранировки будет эквивалентен весу запаса топлива на самолете с обычным двигателем.

Какими же свойствами может обладать самолет с атомным двигателем? Из разрозненных и очень неопределенных сведений, помещаемых в авиационных журналах, можно лишь сделать вывод, что его предположительными особенностями будут неограниченная дальность и сверхзвуковая скорость. Он будет к тому же снабжен приспособлением для «бомбардировки» воздуха альфа-частицами, что значительно уменьшит его лобовое сопротивление.

Имеются различные взгляды на то, должен ли быть самолет с атомным двигателем сухопутным или гидросамолетом. Последнее предложение вызвано стремлением избежать строительства больших и дорогостоящих взлетных дорожек для атомных самолетов, вес которых будет превышать сто тонн.

В американском журнале «Лайф» был помещен проект самолета с атомным двигателем, предложенный двумя авиационными специалистами — профессорами Лиль Борстом и Фредериком Тейчманом. Этот проект предусматривает постройку самолета с треугольным крылом и очень длинным, вытянутым вперед фюзеляжем, на конце которого, возможно дальше от реактора, на-

ходится кабина экипажа. Самолет такой схемы может совершать взлет и посадку на очень больших углах атаки, поэтому в эти ответственные моменты полета кабина экипажа окажется на высоте 20—30 метров над землей, что нельзя считать нормальным.

Особый интерес представляют отклики на опубликование этого проекта. Приведем один из них. В бельгийском журнале «Эр реву» авиационный специалист Люсьен Икк вообще высказывается против создания самолета с атомным двигателем. Применение такого двигателя, утверждает автор, рационально только в морском флоте. Свои выводы Икк базирует на следующих доводах. Современные самолеты с турбореактивными двигателями уже имеют такую дальность полета, что практически могут без посадки

достигнуть любого пункта нашей планеты; нет никакого смысла иметь самолеты, которые могут без посадки совершить один или два кругосветных полета; огромная тяжесть реактора и его экранировки делает самолет с атомным двигателем экономически неэффективным; наконец, самым важным, по мнению Икка, является то, что такой самолет представляет в случае возможной аварии страшную опасность для населения района своего приземления из-за радиоактивных излучений.

Материалы иностранных журналов говорят о том, что за рубежом имеется много различных и подчас противоречивых мнений о самолете с атомным двигателем. Ряд проблем, связанных с созданием такого самолета, пока еще остается нерешенным.

Л. ВАСИЛЕВСКИЙ.

★

Советские писатели о Чехословакии

Перед нами книга-дневник В. Дружинина. Вместе с автором читатель совершает автомобильное путешествие по чехословацкой земле. На юге страны он любуется бурным порожистым течением Влтавы, осматривает город Табор — родину народного героя Яна Жижки, заглядывает в старинное селение Страконице.

Затем путешественники, держа курс на запад, проезжают возрожденную Лидице, посещают Пльзень, славный своей индустрией и отличнейшим пивом, попадают к «пограничным воротам» республики на высотах Шумавских гор.

Автомобиль мчит на восток, в сердце Моравии, мимо крупного промышленного центра Брно.

Остановка в Готвальдове позволяет полнее узнать прошлое и настоящее города, в котором находится крупнейшее в стране обувное предприятие, описанное в «Ботострое». Удастся познакомиться с автором этой книги — Туреком Сватоплуком.

Интересно показан город Пльзень, повезло

и Братиславе — столице Словакии: ей отведена целая глава.

Но быстрый темп, в котором совершалось путешествие, препятствует ближе узнать Карловы Вары, лучше разглядеть своеобразный город Брно.

Из-за стремительности и калейдоскопичности описаний теряются живые подробности событий и, что особенно досадно, стираются черты людей. И лишь когда рассказ развивается не в гоночном ритме, появляются отчетливые портреты старых и молодых представителей крестьянской семьи Боцеков, влюбленной в науку Маженки Штыковой, темпераментного журналиста Коваржа, шофера Паличека. Удачен раздел, посвященный Словакии, содержащий много образных зарисовок.

О чем бы ни рассказывал автор — о турбинах на Влтаве, о городе строителей Остраве, о важском гидроэнергетическом каскаде или о Национальном театре, — везде слышится голос друга чехословацкого народа, радующегося успехам социализма в братской Чехословакии.

«Я нес домой радость встречи с друзьями, тепло их рукопожатий, — пишет автор в заключение рассказа о своем путешествии. — Я узнал, что за хребтами Карпат есть близкий нам народ, сердечный и вместе с тем деловитый, работающий и веселый, наделенный душой чуткой, нежной и непримиримой к злу. Народ, породнившийся с нами два-

В. Дружинин. Путешествие по Чехословакии. Редактор В. П. Воеводин. 288 стр. «Советский писатель». Л. 1956.

В. Коротеев. Чехословацкий дневник. Редактор Я. Киселев. 192 стр. «Молодая гвардия». М. 1956.

Мариэтта Шагинян. Чехословацкие письма. День в Праге. «Литературная газета» №№ 104, 107, 111 за 1955 год, № 144 за 1956 год.

жды — в совместных боях против фашизма и в общем деле борьбы за новую жизнь, за мир».

К сожалению, чувство меры иногда изменяет писателю. Известно, что русский и чешский народы издавна были связаны родством демократических идей и что наши великие реалисты — в литературе и музыке — примером своим помогали чехам развивать свое близкое народу искусство. Однако В. Дружинин явно преувеличивает, заставляя чешского мастера говорить, будто без книги В. Ажава «Далеко от Москвы» на чешском заводе не сумели бы ввести диспетчерскую систему. Далее автор утверждает, что повесть А. Пантилева «Первая неделя» помогла организовать работу в цехе.

Кое-где у В. Дружинина встречаются досадные стилистические огрехи. Особенно не повезло началу книги, отличающемуся витиеватостью речи: «На высоте седьмого этажа набухшей синей веной пульсировал «Лионский кредит»... Кое-где, под неоновыми вывесками банков и промышленных фирм, теплились имена владельцев магазинов... Костер рекламы горел назойливо и нагло. На самом деле он догорал». На следующей странице этот костер уже превращается в «пожар рекламы».

Очень досадно, когда автор, говоря о пребывании в Карлсбаде Гёте, вместо него называет имя Гейне. Эта неприятная ошибка, лежащая и на совести редактора книги В. Воеводина, к сожалению, не единственная в книге.

Все это снижает ценность работы В. Дружинина.

Чехословацкой республике посвящены и страницы дорожного дневника В. Коротева. Некоторые географические и жанровые совпадения, имеющиеся в двух книгах, насколько не умаляют живого интереса к записям другого путешественника, так как он совсем по-иному, по-своему, рассказывает о том, что ему довелось увидеть и услышать, об интересных людях, встретившихся ему.

Вот Ганзелка и Зикмунд, широко известные по их превосходным фильмам и книгам. Они делятся подробностями своего странствования в джунглях Африки и планами предстоящего нового путешествия в Азию... С любовью к своей работе рассказывают о себе директор крупного металлургического предприятия Шупке, рабочий завода «Древени» Цигер, председатель сельскохозяйственного кооператива Чичвик.

Читатель знакомится также с учеными, писателями, художниками, политическими деятелями — жителями разных районов страны. Каждому из них присущи характерные черты нового человека — строителя социализма.

Большое внимание уделяет автор быту и культурной жизни людей.

«И взрослые и дети, — пишет В. Коротев, — как правило, приветливы, доброжелательны и очень вежливы. Если вы заблудитесь, найдется много желающих показать вам дорогу. Если вы зайдете в магазин, продавец, даже занятый другим покупателем, непременно поздоровается с вами; то же самое сделает официант в столовой или кафе. Кассир в любом магазине, получив деньги и выдав вам покупку (он обычно выполняет обязанности отдела контроля), непременно поблагодарит покупателя.

— Декую пекне! (Благодарю вас!) — скажет он нараспев.

И кажется, что людям доставляет большое удовольствие благодарить за любую, даже за самую пустяковую услугу».

Путевые впечатления автора разнообразны и точны.

Примечательны строки, посвященные школьному быту. «Ученические столы в классах чехословацкой школы гораздо практичнее нашей парты: они, во-первых, вдвое легче по весу (сколько древесины экономится при поделке парт!); во-вторых, они безусловно удобнее: ученик может придвинуть и отодвинуть стул, чтобы сесть удобнее, что на парте с ее неподвижным сиденьем сделать нельзя; в-третьих, столы гораздо гигиеничнее... Не следует ли нашему министерству просвещения принять во внимание простоту, легкость и гигиеничность ученического стола в чехословацкой школе?» Этот вопрос вполне уместен.

Весьма любопытны приводимые автором сведения о физическом воспитании молодежи. В спартакиаде 1955 года участвовало несколько миллионов школьников, студентов, воспитанников ремесленных училищ, молодых рабочих, крестьян, служащих — почти вся молодежь страны. За последние годы построено 14 крупных футбольных стадионов, почти пять тысяч футбольных площадок, пять тысяч физкультурных залов, 462 открытых бассейна для плавания и 55 крытых бассейнов.

Понятно, что беглые путевые записи автора не могут претендовать на то, чтобы дать исчерпывающее описание Чехословакии. Но

о своих впечатлениях В. Коротеев сумел рассказать живо, просто, убедительно. Это делает его книгу-дневник литературно-публицистическим документом, который, несомненно, заинтересует советских читателей.

Своеобразный творческий подход к явлениям жизни и богатая литературная палитра выгодно отличают «Чехословацкие письма» Мариэтты Шагинян, напечатанные в «Литературной газете».

Преемственность созидательных усилий поколений — одна из тем «Писем». Всюду — и в Праге и по всей стране — жизнь новой Чехословакии кипит в непосредственной близости к памятникам старины. Сохранившиеся старинные вывески соседствуют с объявлениями современных учреждений, крохотные окошечки древних зданий превратились в витрины магазинов, где выставлена продукция социалистических фабрик.

Как бы подтверждая слова композитора Сметаны о том, что «вся жизнь чехов в музыке», автор «Чехословацких писем» рассказывает о демократичности и глубине музыкальной культуры этой страны. Поэтично описывает М. Шагинян концерт в одном небольшом городке. Исполнялась симфония Гайдна «На прощание». Местный оркестр исполнил эту симфонию при свете свечей, как того требует партитура композитора. В финале музыканты один за другим тушили каждый свою свечу, брали инструменты и уходили. Умолкает последняя скрипка, погашена последняя свеча, а «мы словно от сна пробуждаемся и спрашиваем себя: что это было?».

Музыкальная культура чехословацкого народа издавна и заботливо охраняется. Писательница приводит характерные факты. Народный учитель в чехословацкой школе должен быть музыкально образованным. В педагогические заведения не принимаются люди, лишенные музыкального слуха. Будущий педагог изучает методику музыкального обучения и сам учится играть на каком-либо музыкальном инструменте.

«Когда народ, — пишет М. Шагинян, — столетиями обучается с детских лет музыке, любит ее и привык к ней, как к своему второму языку, — вполне правомерно извлечь некоторые общие выводы из этого трехвекового опыта. И мне кажется, руководители народного образования в Чехословакии дают нам заглянуть в эти выводы, когда они пишут во введении к программе педагогических училищ: «Теоретическое знание музыки не является самоцелью, —

оно проводится в тесной связи с практикой, а потому помогает полней переживать музыку, лучше понимать и воспроизводить ее». А понимание и переживание музыки в свою очередь помогают выработке не только художественного вкуса, но и лучших черт народного характера, то есть развивают в народе «дух коллективности, дух дружбы и сознательную дисциплину», а тем самым готовят его и к труду и к обороне».

По образному выражению М. Шагинян, все это способствует «крылатому движению души», вырабатывает художественный вкус, помогает понимать то, что «не выражается в снятиях слабой человеческой речи».

Интересны факты, наблюдаемые М. Шагинян в школах. Как и другие авторы, писательница прежде всего отмечает умение педагогов прививать высокое уважение к труду. Первостепенное значение придается профессиональной специализации. В Чехословакии имеется большая сеть техникумов самого различного профиля. Так, например, существуют техникумы, готовящие продавцов только скобяных товаров, или молока, или галантереи, официантов для столовых и кафе.

Пронизана практичностью и программа высших учебных заведений. Например, студенты архитектурного института учатся не только проектировать, но и осуществлять свой замысел. Так воспитывается умение строить экономно.

Красочно описывает М. Шагинян день, проведенный в пражских музеях. Вот музей Напрстка. Своеобразный музей! Здесь собраны коллекции и отдельные предметы, которые привозили из своих путешествий чехословацкие ученые, врачи, педагоги, инженеры, студенты. Имя каждого путешественника указано на экспонатах. Много замечательных предметов собрано в музее. Известно, что еще в тринадцатом веке добирались чехи до Монголии, в четырнадцатом — до Индии и Тибета, а в наше время механик Ян Бржезине участвовал в советской экспедиции на Северный полюс.

Кажется целесообразным предложение М. Шагинян создать у нас подобный музей, в котором не были бы забыты и сами собиратели экспонатов: висели бы их портреты, рассказывалось об их делах.

Насыщенные живыми фактами, «Чехословацкие письма» М. Шагинян — ценный вклад в литературу о братской стране.

А. ТАЛАНОВ.

Американская «демократия» маневрирует

Недавно ночную тишину города Монтгомери, расположенного на юге США, в штате Алабама, нарушили взрывы. Наутро жители города узнали, что взорваны четыре негритянские церкви. Днем на улицах Монтгомери щелкали револьверные выстрелы и раздавались автоматные очереди. Газеты сообщили, что «неизвестными» лицами было обстреляно несколько городских автобусов, в которых негры занимали места рядом с белыми.

Так отвечают американские расисты на борьбу негров за свои права, за свое человеческое достоинство.

Однако никакой террор не в состоянии сломить волю мужественных людей. События в Монтгомери, вот уже много месяцев приковывающие к себе внимание всей американской общественности, отражают тот подъем движения негритянского населения Америки, который является сейчас одной из наиболее острых внутривнутриполитических проблем в США. «Борьба за полное социальное, политическое и экономическое равенство негритянского народа,— указывает руководство американской компартии,— сейчас достигла наивысшей точки после эпохи гражданской войны. Она ознаменовалась невиданным подъемом среди негритянского народа в южных штатах, являющихся главным районом национального, расового и классового угнетения негров».

Но не только динамит и автоматы пускает в ход американская реакция, для того чтобы справиться с освободительным движением негритянского народа. Широко используются и значительно более тонкие методы. В последнее время на американском книжном рынке все чаще появляются издания, авторы которых рьятятся в одежды либералов, друзья негритянского народа. Они вздыхают по поводу его тяжелой участи, негодуют по адресу расистских погромщиков и выдвигают свои пути решения негритянской проблемы в США, которые при ближайшем рассмотрении оказываются — вольно или невольно для их авторов — лишь на руку линчевателям.

К числу таких книг в значительной сте-

пени относится вышедшая в минувшем году в США книга Уоррена «Сегрегация». Роберт Пенн Уоррен — известный американский писатель. Романист и поэт, литературный критик и публицист, профессор английского языка и литературы, он неоднократно удостоивался различных национальных премий. «Сегрегация» — это книга-очерк, возникшая после поездки, которую Уоррен недавно совершил по южным штатам Америки.

Со страниц книги встает мрачная и все же далеко не полная картина современного американского Юга. Черные южане, «преследуемое меньшинство», как их называет Уоррен, живут в ужасающих условиях. Неграм меньше платят за равную с белыми работу. Они фактически лишены избирательного права. Расисты могут убить ни в чем не повинного негра, единственного кормильца большой семьи, и остаться безнаказанными. На каждом шагу попирается человеческое достоинство негра, его объявляют чуть ли не дикарем, морально неустойчивой личностью. Таким рисует положение негритянского народа на юге США Уоррен.

В чем же видит автор выход из существующего положения? В активной борьбе всех честных американцев — негров и белых — за немедленное предоставление неграм гражданских прав, за отмену позорной системы расовой дискриминации и сегрегации? Нет, это, по мнению Уоррена, сейчас невозможно. В своей книге он тщится доказать, что ликвидировать систему дискриминации негров в Америке, конечно, следует, но делать это надо не сразу, а постепенно, шаг за шагом.

Стремясь обосновать эту точку зрения, Уоррен приводит на страницах книги записи своих бесед с представителями различных кругов населения южных штатов страны. Среди них были и откровенные расисты, толкующие о «биологической неполноценности негров», объявляющие сегрегацию «законом бога», и противники расовой дискриминации. Однако из них автор тщательно отбирает лишь приверженцев «постепенной» отмены сегрегации.

Позицию Уоррена, типичную для сторонников так называемого «среднего пути», как бы поддерживает большинство голов, раздающихся со страниц его книги. Кое-кто сумел даже увидеть в сегрегации

R. P. Warren. Segregation (The Inner Conflict in the South). N. Y. 1956 (Р. П. Уоррен. Сегрегация (внутренние конфликты на Юге). Нью-Йорк. 1956).

некоторые положительные стороны: она, дескать, «закалила негров морально» (!) и негритянская нация вследствие сегрегации якобы крепнет экономически (?!). Поэтому он считает, что если на Севере понадобилось для улучшения положения негров около ста лет, то и на Юге понадобится не меньше: нельзя, дескать, игнорировать силу традиций.

Некоторые сторонники «постепенности» в улучшении положения американских негров «осуждают» неравенство негров в политической, экономической и культурной жизни, но считают, что начинать нужно не с отмены сегрегации, а с улучшения условий жизни негров, чтобы они могли «подняться» до уровня белых и таким образом стать «достойными» равенства.

Нетрудно увидеть, что все это по существу представляет тот же расизм; тех же щей, да пожиже влей... Получается заколдованный круг: дискриминацию негров объясняют их «неполноценностью», которую в свою очередь объясняют их же тяжелым положением.

В конце книги в своеобразном диалоге с самим собой Уоррен излагает собственный взгляд на негритянскую проблему. Для него это чисто морально-философский вопрос. Отмечая силу традиции и специфичность Юга, Уоррен подчеркивает, что в настоящее время негритянский вопрос определяет не столько тяжелое положение негров, не столько столкновения между неграми и белыми, сколько внутреннее отношение к этому вопросу каждой отдельной личности...

В человеке, говорит Уоррен, могут бороться уважение к закону с силой обычаев, честность — с расизмом, впитанным с молоком матери, трезвый взгляд на развитие экономики и стремление к личному процветанию за счет расовой дискриминации. Поэтому решающим является то, какое начало победит в людях.

Такие рассуждения, разоружающие борцов за равноправие негров, самым тесным образом связаны с краеугольным камнем всей концепции Уоррена: система сегрегации негров, конечно, несправедлива, она когда-нибудь исчезнет, отомрет, но это, ви-

дите ли, медленный, постепенный процесс. В доказательство правоты своей точки зрения Уоррен, в частности, ссылается на некоторое улучшение в положении негров за последние годы. Полная несостоятельность подобного довода очевидна, ибо эти сдвиги произошли и происходят именно благодаря активизации борьбы американских негров за свои права и вопреки призывам пассивно ожидать постепенных реформ.

Сами негры США отвергают лозунг постепенности как лозунг реакционный, тормозящий прогрессивное движение негритянского народа. «Нам надоело пресмыкаться и слушать, как некоторые люди говорят нам, что мы идем слишком быстро,— заявил недавно один из руководителей Национальной ассоциации прогресса цветного населения Рой Уилкинс.— Нам надоело слушать, когда они говорят нам, чтобы мы ждали, в то время как они разрешают другим поступать с нами так, как им заблагорассудится».

Видный публицист и деятель негритянского движения Эсланда Робсон, жена Поля Робсона, пишет: «Можно определенно сказать, что теперь не время останавливаться, ждать или продвигаться вперед медленным шагом. Теперь настало время для решительных действий, чтобы завладеть наследием, за которое мы боролись и страдали, сражались и умирали и в котором нам так жестоко и долго отказывали. Наш час пробил. Мы, негритянский народ Америки, требуем справедливости, законности, порядка, демократии, свободы и человеческого достоинства. Америка не может считаться демократической страной до тех пор, пока ее граждане — все ее граждане — не будут пользоваться равными правами».

Несмотря на все попытки реакции подавить борьбу негритянского народа, негры Америки, не страшась террора и преследований и не поддаваясь на коварные уговоры сторонников «постепенности», совместно со своими белыми собратьями мужественно отстаивают право на человеческое существование. И в этой борьбе на их стороне симпатии и сочувствие всех честных людей мира.

И. ЗОРИНА.

Пять миллиардов книг

Ежегодно на нашей планете издается около пяти миллиардов книг. Число это на первый взгляд неизмеримо велико. Но если распределить эти издания поровну между всеми жителями земли, то на долю каждого придется только по две книги.

Конечно, далеко не все издания выполняют благородную роль книги, хотя и имеют все ее внешние признаки. Бульварщина, а подчас отвратительная порнография, «комиксы», примитивные детективы, мутным потоком заливающие книжный рынок капиталистических стран, характерны для пресловутой «свободы печати».

Тем не менее даже общая статистика книгоиздательской деятельности в разных странах представляет большой интерес, так как дает основания для некоторых выводов. С этой статистикой мы знакомимся в работе Баркера «Книги для всех», изданной в прошлом году ЮНЕСКО.

Книгоиздательская статистика — дело не простое хотя бы потому, что четкого понятия «книга» не существует. В Италии и Ирландии, например, считают, что в книге должно быть не менее ста страниц. Издания меньшего объема считаются брошюрами и статистикой не учитываются. В Дании «книжная» норма страниц снижается до 60, в Финляндии и Норвегии — до 49, в Чехословакии — до 33, в Исландии — до 17. Статистика в Великобритании исходит из другого принципа. Она признаёт книгой всякое издание, цена которого не ниже шести пенсов. Понятно, что при таких условиях не так-то просто привести столь различные статистические данные к «одному знаменателю».

Баркер предпринял такую попытку. Он собрал сведения о книгоиздательствах шестидесяти стран и свел их в одну таблицу. Сведения эти интересны и поучительны.

Мы узнаём, например, что на первом месте среди капиталистических стран по числу выпущенных названий стоит Япония. Здесь в 1954 году было издано 19 837 названий. На втором месте Великобритания — 19 188 названий, на третьем Индия — 17 400 (данные 1950 года). США, в которых есть еще немало людей, третирующих ази-

атские страны как «второсортные» и «нецивилизованные», сильно отстают и от Индии и от Японии. Здесь в 1954 году было издано 11 901 название.

Советский Союз далеко опередил капиталистические страны по размаху книгоиздательского дела. Баркер приводит в своей книге устаревшие и неполные данные, относящиеся к 1952 году. Можно пожалеть, что исследователю остались неизвестными сборники статистических материалов «Печать СССР», регулярно издаваемые Всесоюзной книжной палатой. Он мог бы установить, что в СССР в 1955 году было выпущено 54 732 названия книг и брошюр. Общий тираж книг, вышедших в нашей стране в 1955 году, превысил миллиард экземпляров. Это значит, что в Советском Союзе выходит примерно одна пятая часть книг, печатающихся на всем земном шаре.

И все-таки книг в нашей стране выпускается еще далеко не достаточно, ибо рост культурного уровня народа, его запросов значительно опережает нынешние возможности полиграфической промышленности.

Весьма показательны сведения, приводимые Баркером, о средних тиражах книг. Для художественной литературы в большинстве капиталистических стран средний тираж составляет три—пять тысяч. Наибольшим тиражом — в среднем до десяти тысяч экземпляров — художественная литература издается в Великобритании. Тираж научно-технических изданий в капиталистических странах обычно не превышает двух-трех тысяч экземпляров.

Баркер не приводит сведений о средних тиражах книг в Советском Союзе. А жаль, ибо сведения эти могли бы многое сказать внимательному и объективному читателю. Дополним Баркера, используя материалы сборника «Печать СССР»: средний тираж одной книги по разделу художественной литературы составляет в СССР около 63 тысяч экземпляров. Технические книги издаются в нашей стране в среднем тиражом в девять тысяч экземпляров.

Интересные сведения приводит Баркер о международной книжной торговле. Общеизвестна роль международного книгообмена в упрочении дружбы между народами, в укреплении всеобщего мира. Зарубежные читатели проявляют большой интерес к советской книге. Советские люди охотно знакомятся с прогрессивной иностранной

R. E. B a r k e r. Books for all. A study of international book trade. UNESCO. Paris. 1956 (Р. Е. Баркер. Книги для всех. Исследование по международной книжной торговле, ЮНЕСКО, Париж. 1956).

литературой. Магазины, в которых продаются книги Чехословакии, Китая, Югославии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Кореи, Албании, ГДР, пользуются большой популярностью среди москвичей, ленинградцев, киевлян. Газеты и журналы стран народной демократии распространяются по всей стране.

К сожалению, наша книжная торговля с капиталистическими странами развивается не в столь широких масштабах, как это было бы возможно и нужно. Известно, что власти США запретили вывоз технической литературы в СССР и страны народной демократии. Официальные данные, опубликованные в США, говорят о том, что

в 1948 году из этой страны было вывезено в СССР книг, журналов и газет на сумму в 78 тысяч долларов, а уже в 1952 году — только на тысячу долларов. Эти о многом говорящие данные в работе Баркера отсутствуют.

Первый опыт международной книжной статистики заслуживает в основном положительной оценки. Было бы полезно дополнить книгу Баркера сведениями о периодической печати — о газетах и журналах. Хорошо, если бы ЮНЕСКО предприняло регулярное издание ежегодника «Печать мира». Важность и значение такого издания доказывать не приходится.

Е. НЕМИРОВСКИЙ.

★

Труд великого норвежца

Жизнь и подвиг Фритьофа Нансена — замечательного ученого, путешественника, литератора, общественного деятеля — оставили глубокий след в памяти всего прогрессивного человечества. По меткому выражению его соотечественника и ученика, ныне директора Норвежского полярного института Харальда Свердрупа, Нансен был велик как полярный исследователь, более велик как ученый и еще более велик как человек.

В трудные для молодой Советской республики годы Нансен первым откликнулся на призыв Максима Горького оказать помощь голодающим Поволжья и поднял голос протеста против попытки империалистов задуть голодом Советскую страну.

«Найдется ли в этом собрании, — гневно говорил он с трибуны Лиги Наций, — хоть один человек, который мог бы сказать: пусть погибнет лучше 20 миллионов людей, чем помогать советскому правительству. Я требую от собрания, чтобы оно дало мне ответ на этот вопрос!.. С этой трибуны я призываю правительства, народы Европы, весь мир оказать помощь. Спешите, действуйте, пока еще не поздно!»

Правительства империалистических держав отказали в помощи. Нансен организует частный комитет, собирает пожертвования, отдает свои личные средства и шлет в Россию эшелоны с хлебом...

Фритьоф Нансен. «Фрам» в Полярном море. Часть I. 368 стр. Часть II. 352 стр. Редакция перевода и примечания М. Б. Чарненко. Географиз. М. 1956.

В признание заслуг перед советским народом Нансен был избран почетным членом Московского Совета, награжден грамотой IX Всероссийского съезда Советов, в которой председатель съезда М. И. Калинин от имени миллионов трудящихся РСФСР выразил Нансену глубочайшую признательность за благородные усилия спасти гибнущих крестьян Поволжья.

Этот акт еще более укрепил дружбу великого норвежца со страной Советов. Получив Нобелевскую премию мира, Нансен отдал большую часть присужденной ему суммы на устройство в СССР двух показательных сельскохозяйственных станций. В середине двадцатых годов он совершил поездку по Советской Армении. Его интересовала возможность искусственного орошения засушливых районов и устройства там армянских беженцев, спасавшихся от произвола турецких властей.

С 1924 года Нансен как президент Международного общества «Аэроарктик» в тесном сотрудничестве с советскими учеными и учеными других государств разрабатывает проект трансарктических полетов для освоения полярных стран. Это ему принадлежит так успешно осуществленный впоследствии советскими полярниками проект создания на льдах Центрального Полярного бассейна дрейфующей научной станции.

Далекий по своему мировоззрению от идей коммунизма, Нансен, тем не менее, предвидел торжество величайшей правды на земле, за которую боролись советские

люди. «Россия... — писал он в книге «Россия и мир», вышедшей в 1923 году, — в не слишком отдаленном будущем принесет Европе не только материальное спасение, но и духовное обновление».

Таков был автор книги «Фрам в Полярном море», в которой описывается одно из наиболее выдающихся событий в истории исследования Арктики — трехлетний дрейф группы норвежцев через Центральный Полярный бассейн и смелый поход Нансена и Иохансена к Северному полюсу в 1893—1896 годах.

Сейчас, когда полеты на Северный полюс стали, можно сказать, обыденным явлением, когда советскими полярниками раскрыты многие тайны арктической природы, некоторые выводы и утверждения Нансена устарели. Но это несколько не умаляет ни ценности книги, посвященной этому подвигу, ни величия научного подвига Нансена и его спутников, которые, как говорится в предисловии, «уверенно проложили первую колею в высоких арктических широтах».

Обогадив науку множеством выдающихся открытий, экспедиция Нансена на «Фраме» коренным образом перевернула прежние представления об Арктике. Там, где предполагалось существование мелкого моря, она обнаружила большие океанские глубины. Ею установлен факт проникновения в Арктический бассейн мощного потока теплых атлантических вод, отмечена закономерность в движении ледяных полей, в перемещении воздушных масс над Арктикой и многое другое.

Написанная ясным, простым языком, книга «Фрам в Полярном море» всегда читалась и будет читаться с интересом людьми самых различных возрастов. Она увлекает удивительно яркими описаниями арктической природы, множеством захватывающих эпизодов борьбы горстки отважных мореплавателей с полярной стихией. Несмотря на кое-где встречающиеся в повествовании мистические размышления

и декадентские рассуждения о бренности человеческого существования, в целом книга Нансена глубоко реалистична и, главное, оптимистична: в ней прославляется величие человеческого духа, стремящегося к познанию неизведанного.

Новое издание книги Нансена «Фрам в Полярном море» печатается без сокращений. В последний раз полное издание в переводе М. Вечеслова, под названием «Во мраке ночи и во льдах», было выпущено в 1902 году; все другие, более поздние издания выходили с купюрами.

Обстоятельные редакторские примечания помогают читателю разобраться в том, какие гипотезы Нансена устарели и каковы взгляды современной науки на эти вопросы. Подробный комментарий ценен еще и тем, что редактор издания М. Б. Черненко в своих примечаниях указывает библиографические источники. Способствует пониманию облика Нансена также биографический очерк, написанный таким знатоком полярной литературы, каким был В. Ю. Визе. Новое издание книги «Фрам в Полярном море» — хороший подарок советскому читателю.

В октябре 1961 года исполнится сто лет со дня рождения Нансена. Хочется верить, что мировая общественность широко отметит эту дату. Не следует ли Географизу или Издательству Академии наук СССР уже сейчас начать подготовку к выпуску полного юбилейного собрания сочинений великого норвежца, в которое входили бы, помимо его трудов по физической географии, океанографии, также публицистические статьи, выступления, речи, переписка и т. п.?

Как одна из частных, но очень важных тем, которая должна найти отражение в предлагаемом издании, была бы тема дружбы трех гениальных современников — Максима Горького, Романа Роллана и Фритьофа Нансена.

Н. БОЛОТНИКОВ.



ОТГОЛОСКИ МИЖУВШЕГО

НЕЗАМЕЧЕННЫЕ СТРОКИ

(Пушкин и Екатерина
Ушакова)

В жизни Пушкина есть страница, связанная с именем Екатерины Николаевны Ушаковой. Недостаточно изученная, она прочитана пока еще очень бегло, хотя это имя, сближаемое с именем поэта, не раз упоминается в литературоведческих трудах.

Известно, что Пушкин в двадцатых годах часто бывал в московском доме Ушаковых на Средней Пресне (ныне улица Заморенова, 16), но узнать об этом семействе из книг можно не много: не существует ни одной работы, обстоятельно объясняющей, что это за дом.

Единственным источником сведений о нем до сих пор были «Воспоминания былого, но счастливого времени», написанные сестрой Екатерины Ушаковой — Елизаветой Николаевной Киселевой. Но текст этих «Воспоминаний» опубликован в 1899 году Л. Н. Майковым неточно. Хранящийся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (в фонде Киселевых) подлинник существенно расходится с опубликованным текстом. Неточность майковской публикации еще более затруднила изучение этой семьи.

До настоящего времени оставалось неизвестным, каково ее отношение к другим представителям ветвистого ушаковского рода, с кем она была в родстве, свойстве и дружбе. Кроме того, оставался смутным образ Екатерины Ушаковой, неясны были ее интересы, характер, степень чувства к Пушкину — весь ее духовный мир.

Когда Пушкин в 1826 году был вызван царем в Москву из места своей ссылки — села Михайловского, — перед поэтом широко раскрылись двери культурного и гостеприимного дома Ушаковых, где были на выданье две дочери — Екатерина и Елизавета — и где часто собиралось шумное общество московских литераторов, музыкантов, певцов.

Известно, что Пушкин был влюблен в старшую Ушакову — Екатерину, необычно-

венно красивую, с тонким взглядом громадных голубых глаз и косами пепельно-золотого цвета. Она имела склонность к литературе, была очень умна, отвечала поэту взаимностью и даже со-

биралась за него замуж, но «дело разошлось».

Известно также, что в разгар этого увлечения Пушкин чувствовал себя «своим человеком» в доме Ушаковых и бывал у них по нескольку раз в день. Часто беседовал он со старухой Ушаковой — Софьей Андреевной, записывал с ее слов русские народные песни и просил ее повторять их напевы. В доме Ушаковых, как свидетельствует их знакомая Е. С. Телепнева, все напоминало о Пушкине.

На протяжении почти пяти лет он в каждый свой приезд был непременно посетителем этого дома. В альбомы сестер Ушаковых он вписывал свои стихи; на листах их делал зарисовки, рисовал карикатуры, и все это за самой непринужденной беседой в домашнем кругу.

Несколько новых, привлеченных автором этой статьи архивных документов дают некоторое представление об идейной атмосфере дома Ушаковых и проливают свет на характер семейных и общественных связей этой интересной семьи.

Глава ее — коллежский советник Николай Васильевич Ушаков — до 1810 года служил в Адмиралтейств-коллегии в Петербурге, а с 1821 года — в Комиссии для строений в Москве. Ему принадлежали в Калязинском уезде, Тверской губернии, большое село Никитское, а в Романово-Борисоглебском уезде, Ярославской губернии, — деревня Глинки, в восемнадцать верстах от сельца Бурнаково, которым владел как своим родовым именем адмирал Ф. Ф. Ушаков.

Как сейчас выясняется, друг Пушкина, Соболевский, приходился сестрам Ушаковым родней по материнской линии — Свечинных. Брат деда по отцовской линии — генерал-лейтенант Лука Федорович Ушаков — был связан с окружением просветителя Н. И. Новикова. Этот Лука Ушаков и брат писателя Фонвизина, Павел, были женаты на родных сестрах. Таким образом, с семьей Ушаковых состояли в близком родстве Фонвизины, в том числе и племянник писателя — М. А. Фонвизин, декабрист.

Близким родственником этой семьи Ушаковых был также генерал-майор Александр Андреевич Ушаков, сводный брат Анны Васильевны Рубаповской, жены писателя А. Н. Радищева. А. А. Ушаков в начале XIX века служил в Твери гражданским губернатором, а в 1818 году переехал в Москву. По материалам, хранящимся в Московском государственном историческом областном архиве, удалось выяснить, что А. А. Ушаков и его жена Варвара Петровна в двадцатых годах XIX века числились прихожанами московской церкви Георгияна-Всполяе и жили в собственном доме на Большой Никитской под № 207.

Николай Васильевич Ушаков был страстным любителем музыки и не менее страстным любителем литературы. Как недавно стало известно из сообщения О. И. Поповой («Литературное наследство», т. 60, кн. I, М. 1956), в доме Ушаковых в 1826 году был сделан список с запретной в то время комедии Грибоедова «Горе от ума». Список этот хранится в Государственном литературном музее. Разыскав (в том же архивном фонде Киселевых) автограф Н. В. Ушакова и сличив его почерк с одним из почерков названной рукописи, я пришел к выводу, что она была переписана при его непосредственном участии. Кроме того, на крышке ее переплета имеется красная кожаная наклейка с золотым тиснением: «Н. Ушаков».

Но оказывается, что в этом московском доме в ноябре 1825 года рукой одной из сестер Ушаковых был сделан еще один список «Горя от ума». Об этом сообщается в статье С. Д. Коцюбинского, опубликовавшего часть материалов «Ушаковского архива», находившегося до 1937 года в Крыму.

Факт изготовления в одном и том же доме на протяжении одного года двух списков запрещенной к печати рукописи заслуживает самого пристального внимания.

Нельзя пройти и мимо другого факта, также сообщенного Коцюбинским, что младший сын Н. В. Ушакова—Владимир—был женат на своей крепостной по фамилии Маслова. Звали ее Наталья Ивановна, как сейчас удалось установить.

Внук Владимира Ушакова и Натальи Масловой—Николай Григорьевич Ушаков, проживавший до Великой Отечественной войны в Симферополе,—сохранил письма и деловые бумаги своего прадеда и прабабок. Часть этого семейного архива, опубли-

кованная в выдержках Коцюбинским (в альманахе «Литература и искусство Крыма» № 2 за 1936 год, а затем в 1938 году в «Литературном Архиве», издании Пушкинского Дома), поступила от владельца в Алупкинский дворец-музей, но вскоре была передана в дар Всесоюзным комитетом по делам искусств Государственному литературному музею. Другая часть этого архива поступила тогда же от Н. Г. Ушакова, через писателя В. В. Вересаева, в тот же Литературный музей.

В этом маленьком «Ушаковском фонде», хранящемся в настоящее время в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ), имеется пачка писем Екатерины Николаевны Ушаковой к ее брату Ивану. В основном неопубликованные, они содержат драгоценные строки, до сих пор не использованные ни одним из биографов Пушкина. Эти строки в известной мере позволяют воссоздать облик Екатерины Ушаковой, набросать ее литературный портрет.

Совместное письмо Елизаветы и Екатерины Ушаковых к брату Ивану Николаевичу (тот же фонд, ед. № 10), частично написанное по-французски, частично по-русски, датировано следующим необычным образом: «l'an 1827 le 26 Mai, Jour mémorable pour Catherine, naissance de Pouskin»¹ (так!).

Несколько строк из этого письма было в свое время процитировано в переводе с французского С. Д. Коцюбинским. Даю их в своем переводе и последующий, неизвестный читателю текст этого письма привожу почти целиком:

«...En arrivant j'ai trouvé un grand changement en Catherine, elle ne parle d'autre chose que de Pouskin et de ses fameuses compositions, elle sait toutes par cœur. Elle est totalement imbécile, je ne sais d'où vient ce changement. Au moment que je vous écris, elle lit à haute voix le Prisonnier de Caucase, ce qui m'empêche d'avoir quelques idées pour écrire...»²

¹ «1827 года мая 26, памятный для Екатерины день: рождение Пушкина».

² «...По приезде я нашла в Катерине большую перемену; она ни о чем другом не говорит, как только о Пушкине и о его прославленных сочинениях. Она знает их все наизусть. Прямо совсем одурела; не знаю, откуда эта перемена. В тот момент, когда я вам пишу, она читает вслух «Кавказского пленника», что мешает мне собраться с мыслями для письма...»

Далее — рукою Екатерины:
«...Bonjour, cher frère, comment vous portez-vous, comment passez-vous votre temps; pour moi je m'ennuie à la mort!»

Нет, Jean, нет,

Она исчезла, жизни сладость,
Я знала все, я знала радость...

(Цитируя строки из «Кавказского пленника», относящиеся к прощанию черкешенки с русским, имея в виду контекст:

И все прошло, пропал и след.
Возможно ль? ты любил другую!..
Найди ее, люби ее...—

Екатерина Николаевна настолько живет и дышит поэзией Пушкина, что смело перелдывает эти строки применительно к собственному душевному состоянию.—Г. Ш.).

Но все прошло, пропал и след.
Возможно ли? Его уж нет.

Il est parti à Pétersbourg,— продолжает она изливать свои жалобы брату,— peut-être, qu'il m'oubliera, mais non, non, croyons à l'espérance, il reviendra, il reviendra absolument. En lisant ces lignes je parie, que tu penses, que ta chère sœur a perdu l'esprit; cela est un peu vrai, mais console-toi, ce n'est pas pour longtemps, tout passe avec le temps, et l'absence est le plus grand remède pour les maux causés par l'amour...

...Pour cet été nous restons en ville, ce qui me désole, je voudrai respirer au moins pour quelques mois l'air pur de la campagne² и удалиться от шума городского,

Где я страдала, где я любила.
Где сердце я похоронила.

...J'espère que tu seras content de cette lettre, mon cher et bon Jeannot³, хотя в нем есть очень много пустяков...»

¹ «Здравствуйте, дорогой брат, как выживаете, как проводите время? Что касается меня, я скучаю до смерти».

² «Он уехал в Петербург, может быть, он забудет меня; но нет, нет, будем лелеять надежду, он вернется, он вернется безусловно! Держу пари,— читая эти строки, ты думаешь, что твоя дорогая сестра лишилась рассудка; в этом есть доля правды, но утешься: это ненадолго, все со временем проходит, а разлука — самое сильное лекарство от причиненного любовью зла».

Этим лотом мы остаемся в городе, что меня огорчает; я хотела по крайней мере несколько месяцев подышать чистым воздухом деревни».

³ «Надеюсь, что ты, мой дорогой и добрый Жано, будешь доволен этим письмом».

Из данного письма видно, что в мае 1827 года между Екатериной Ушаковой и Пушкиным произошла какая-то временная, но серьезная размолвка и что, может быть, именно этим обстоятельством был вызван его отъезд в Петербург.

«...La ville est presque déserte¹, — заканчивает она письмо, — ужасная тоска (любимые слова Пушкина). Adieu, très cher frère, j'espère que je recevrais de vous une aussi longue lettre que celle-la; en attendant ce plaisir je suis à jamais Votre dévouée obéissante paresseuse, folle et affectionné Катичька, surnommée par quelqu'un Ангел...»²

Впрочем, некоторые называли «Катичьку» и по-другому. Так, в неопубликованном письме своем к тому же брату Ивану от 15 декабря 1829 года Екатерина Ушакова говорит о каком-то «статском советнике», не раскрывая его имени (фонд тот же, ед. № 1):

«...все так же прост, все так же толст и верный член Англинского клоба. Сегодня был у нас, любезничал со мною без памяти, говорил он, <что> подобнее меня ничего не знает на свете, что я настоящий чертенок, и в этом он не ошибается...»

В другом, также впервые публикуемом письме, написанном в апреле 1830 года, проступают новые интонации:

«...Сара³ est toujours aussi jolie qu'elle était et très prévenante avec nous⁴, но глазки ее в большом действии, ее А. А. Ушаков⁵ прозвал Царство небесное, но боюсь, чтобы не ошибся, pour moi c'est un vrai purgatoire⁶. Карсы⁷ <в> вождленном здравии. Алексей Давыдов⁸ был с нами в собрании и нашел,

¹ «Город почти пустынен...»

² «Прощайте, дорогой брат, надеюсь получить от вас такое же длинное письмо. В ожидании этого удовольствия остаюсь навсегда преданная вам, послушная, ленивая, безумная и любящая Катичька, называемая кое-кем Ангел».

³ Сара (Карс) — название сильной турецкой крепости, взятой русскими войсками в 1828 году после длительной осады. В пору своего сватовства к Н. Н. Гончаровой Пушкин в узком кругу друзей так называл Наталию Николаевну.

⁴ «Карс все так же красива, как и была, и очень с нами предупредительна».

⁵ Александр Андреевич Ушаков, генерал-майор (см. о нем выше).

⁶ «Для меня это — сушее чистилище».

⁷ Карсы — Н. Н. Гончарова и ее сестры.

⁸ Алексей Кузьмич Давыдов — морской офицер; в 1830 году преподавал в Морском корпусе.

что Карс должна быть глупинька, он по крайней мере стоял за ее стулом в мазурке более часу и подслушивал ее разговор с кавалером, но только и слышал из ее прелестных уст: да - с и нет - с. Может быть, она много думает или представляет роль невинности...»

Тут и сдержанная ревность, и яд иронии, и страх за любимого человека, почти граничащий с провидением.

В следующем письме, датированном 28 апреля 1830 года, Екатерина Николаевна сообщает брату о предстоящей свадьбе сестры Лизы и говорит о своем желании бежать без оглядки из Москвы:

«...Без всякого сомнения Лиза будет счастлива; они друг друга обожают, она себе выбрала достойного человека, свадьба будет в среду, в домово́й церкви Глебовой-Стрешневой...»

«...В Москве новостям и сплетням нет конца. Она только этим и существует, не знаю, куда бы я бежала из нее и верно бы не полюбоствовала как Лотова жена. Скажу тебе про нашего самодержавного поэта, что он влюблен (наверное притворяется по привычке) без памяти в Гончарову меньшую, здесь говорят, что он и женится, другие даже, что женат, но он сегодня обедал у нас и, кажется, что не имеет сего благого намерения, mais on ne peut gérondre de rien...»¹

За четыре месяца до этого Пушкин, как известно, писал Вяземскому из Петербурга: «Правда ли, что моя Гончарова выходит за архивного Мещерского? Что делает Ушакова, моя же?..»

Всего лишь 23 марта М. П. Погодин сообщил о Пушкине в Рим С. П. Шевыреву: «Говорят, что он женится на Ушаковой старшей».

Действительно, ни за что поручиться было нельзя.

И, наконец, последнее, также впервые публикуемое письмо Екатерины Ушаковой к брату, датированное 23 апреля того же 1830 года:

«...Свадьба наша кончилась,— пишет Екатерина Николаевна о своей сестре, вышедшей замуж за С. Д. Киселева,— молодые друг на друга не наглядятся и кажутся самые счастливые смертные, и не мудрено: ils voient tout en beau². Лиза теперь ее пре-

восходительство и очень смешна. Сер- <гея> Дми<триевича> отставили по просьбе его действ<ительным> стат<ским> совет<ником>. Дом их настоящая игрушка, et le cabinet de Madame est meublé avec toutes prétentions d'une jolie femme; et vraiment elle est bien jolie, elle a repris les bonnets et les toques — lui vont à merveille¹.

Скажу про себя, что я глупею, старею и дурнею; еще годика четыре, и я сделаюсь спелое дополнение старым московским невестам, т. е. надеваю боне рон², замасленный шляфор, разодранные башмаки и которые бы немного свали<ва>лись с пяток, нюхаю табак, браню и ругаю всех и каждого, хожу по богомольям, не пропускаю ни обедню, ни вечерню, от монахов и попов в восхищении, играю в вист или бостон по четверти, разговору более не имею, как о крестинах, свадьбах и похоронах, бью каждый день по щекам девок, в праздничные дни румянюсь и сурмлюсь, по вечерам читаю Чети-Миней или Жития святых отцев, делаю 34 манера гран пасьянсу, переносу вести, из дома в дом, не нахожу ни одной хорошенькой, по сердам и пятницам ем посное (перед обедом и ужином пью по рюмке иерофеичу) и наконец при всякой трогательной истории разливаюсь горькими слезами... Вот, любезный Jean, что я подразумеваю под именем Старой Девушки, и представь, что половина столицы наполнена этими тощими пивьяками. Ежели я доживу до этого праздника (чего боже упаси), то позволю тебе меня посадить в кибитку и отправить в какой тебе угодно монастырь. A mon égare rien n'est plus dégoûtant qu'une vieille demoiselle, ce fleau du genre humain...³

...Но пора перестать, боюсь, что у тебя не достанет терпения прочесть мое письмо: спешу окончить оное, поцеловав тебя от всей души в твои хорошенькие глазки и розовые губки; остаюсь навсегда

преданная к услугам вашим

Катька.

¹ «Но ни за что поручиться нельзя». Письмо это было опубликовано Коцюбинским в «Литературном Архиве» в 1938 году.

² «Они видят все в розовом свете».

¹ «Кабинет мадам обставлен со всеми претензиями хорошенькой женщины, и действительно, она очень хороша; она взялась за чепчики, а токи ей необыкновенно к лицу».

² Bonnet rond (*фр.*) — круглый чепчик.

³ «На мой взгляд, нет ничего более отвратительного, чем старая дева — этот бич человеческого рода...»

...Посылаю тебе несколько выписок из разных журналов на Булгарина и Пушкина — прочти со вниманием...»

В явном смятении чувств Екатерина Ушакова ошибочно датировала это свое письмо. 28 апреля она писала брату, что свадьба сестры Лизы «будет в среду», подразумевая, конечно, ближайшую среду. По месяцеслову на 1830 год ближайшая после 28 апреля среда падает на 30-е — последний день месяца. В письме же от 23 апреля Екатерина Николаевна говорит об уже состоявшейся свадьбе сестры.

Очевидно, второе письмо написано 23 мая. О Пушкине в нем почти не упоминается. И это понятно: ведь 6 мая произошла помолвка его с Н. Н. Гончаровой. Последнее обстоятельство и является ключом к содержанию процитированных строк.

В них отразились страдания, блестящий ум, темперамент и литературная одаренность женщины, очарованной Пушкиным и настолько находившейся под обаянием его гения, что даже почерк ее иногда становился похожим на почерк его беловиков.

Екатерина Николаевна Ушакова вышла замуж (за вдовца М. Д. Наумова) только после смерти Пушкина, в конце тридцатых годов. Счастлива она не была. Всю жизнь вспоминала она о нем и переписывала его стихи, посвященные ей в годы ее молодости. По словам Бартенева, она, умирая, велела подать себе заветную свою шкатулку и сожгла письма Пушкина. Два ее альбома — из ревности — сжег ее муж.

В дошедшем до нас альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой (в замужестве Киселевой) имеется «дружеский шарж» Пушкина на П. А. Вяземского, изображающий его в виде церковного старосты с тарелкой для сбора денег и колокольчиком в руках. Поэт Вяземский действительно состоял старостой в церкви Малое Вознесенье на Большой Никитской, видимо, выбранный на эту должность курьеза ради группой прихожанок и прихожан. В собрании его сочинений напечатано стихотворение, посвященное Екатерине Николаевне Ушаковой, не привлекавшееся в качестве литературного комментария к этому рисунку Пушкина. Между тем из данного стихотворения выясняется, что Вяземский был также влюблен в Екатерину Ушакову. Шуточное и вместе с тем вполне серьезное по вложенному в него чувству стихотворение это стоит привести целиком:

Е. Н. УШАКОВОЙ

1827

Чем вас отпраздную, прослаблю?
Церковный староста, в убожестве моем,
Перед угодницей свечу за вас поставлю
И помолюсь ей кой-о-чем,
Но я не вашего прихода,
Но не дойдет моя мольба:
Меня обидела судьба,
И задарила вас природа.
Церковный староста, увы,
Я отлучен уже из храма,
Где поминаетесь и грации и вы,
В моленях, в жертвах фимиама.
Вы примете мой дар рассеянной рукой
И о другом жреце вздохнете в думе
страстной:
Свечу поставлю я пред образом
прекрасной,
Но уж зажжет ее другой.

Из автографов пушкинских стихотворений, посвященных Екатерине Ушаковой, не сохранился ни один. Стихотворения эти получили широкую известность благодаря копиям, списанным Екатериной Николаевной из своих альбомов и сохранившимся на отдельных листках.

Один из таких листков хранится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, в фонде Киселевых, в папке 21-й, выделенный в самостоятельную единицу хранения (№ 36), имеющую на обложке и на соответствующей каталожной карточке следующее описание:

«Стихотворения А. С. Пушкина. Списки рукою Е. Н. Наумовой (р. Ушаковой) с ее примечаниями о времени написания стихотворений».

Но какое количество стихотворений Пушкина переписано на этом листке почтовой бумаги, в описании не указано. Не указано в нем и то, что одно из них переписано не рукою Е. Н. Наумовой (Ушаковой), а рукою ее сестры. Тут, естественно, возникает вопрос: кому же принадлежит стихотворение, переписанное сестрой Екатерины Николаевны — Елизаветой Николаевной Киселевой (Ушаковой)? В описании ведь не сказано, что одно из стихотворений Пушкина переписано ее рукою.

Только в результате очень сложного разыскания эту загадку удалось разгадать...

Желтого цвета листок исписан с обеих сторон. На лицевой его стороне размашистым почерком, рукою Екатерины Ушако-

вой, тонким пером переписаны одиннадцать строк известного стихотворения Пушкина «Когда, бывало, в старину». На оборотной стороне листка — окончание этого стихотворения и под ним — приписка:

«Стихи, писанные Сашей Пушкиным во дни оны, в 1827 году, когда Пресненское поле еще забор не заграждал.

К. Ушакова».

Ниже (на той же стороне листка) той же рукой переписано под неизвестным до сего времени названием «Экспромт в мазурке» стихотворение «В отдалении от вас» и также заверено подписью: «К. Ушакова».

Еще ниже (на этой же стороне листка) рукой Елизаветы Николаевны Киселевой (Ушаковой) переписано восьмистишие, не вошедшее ни в одно из собраний сочинений Пушкина, но расположенное и поясненное на данном листке таким образом, как если бы оно было написано им.

Перед нами экспромт, и притом лишь ранний его вариант, первоначальный, еще не отшлифованный набросок. Но он согрет подлинным чувством и живет своей неповторимой поэтической жизнью, а содержание восьмистишия и обстановка, в которой оно сложилось, сообщают биографам Пушкина новый и небезыңтересный факт.

Экспромт этот соединяет в себе легкость маскарадной шутки и неподдельную искренность чувства. Автор экспромта в costume араба-астролога признается избраннице своего сердца в любви.

Приводим это восьмистишие:

Под небом Африки рожденный,
В Египте жизнь я полюбил,
Но здесь, тобою восхищенный,
О родине своей забыл.
Я все сокровища земные,
Познанья чудные мои,
Отдам за очи голубые,
За кудри русые твои.

Слова «Африки рожденный» подчеркнуты теми же чернилами. Под стихотворением — пояснительная подпись, сделанная рукой Екатерины Ушаковой:

«Стихи, поднесенные в маскараде
Неизвестным Астрологом».

Последние два слова — с крупно выписанных прописных букв.

Стихотворение это по организующему его — игровому — принципу очень близко к другому стихотворению Пушкина, написанному в 1830 году для Е. Ф. Тизенгаузен, участвовавшей в маскараде:

Язык и ум теряя разом,
Гляжу на вас единым глазом:
Единый глаз в главе моей.
Когда б Судьбы того хотели,
Когда б имел я сто очей,
То все бы сто на вас глядели.

Из приписки под восьмистишием, переписанной рукой Елизаветы Ушаковой, следует сделать вывод, что данный экспромт, поднесенный на маскараде (конечно, той же Екатерине Ушаковой), имел, по всей вероятности, авторскую подпись: «Неизвестный Астролог». Слова эти поэтому надо рассматривать как нечто равноценное автографам Екатерины Ушаковой, заверившей подлинность стихотворений Пушкина «Когда, бывало, в старину» и «В отдалении от вас».

Восьмистишие «Под небом Африки рожденный» — возможно, одно из наиболее ранних стихотворений Пушкина, посвященных Екатерине Ушаковой, и, вероятнее всего, относится к 1827 году. В московской хронике маскарадов за первые месяцы этого года, помещенной в «Дамском Журнале», имеется описание маскарада, бывшего в Московском дворянском собрании 4 января. Из присутствовавших ста масок репортером были отмечены наиболее интересные, и среди них — «волшебники, алжирцы», что уже очень близко к интересующей нас неизвестной маске — астрологу, волшебнику, арабу.

Пушкин в это время находился в Москве. Как известно, в начале января 1827 года он написал «Послание в Сибирь» — знаменитые стихи сосланным декабристам. 3 января он отвечал письмом начальнику III Отделения Бенкендорфу, что не может выполнить волю царя относительно «Бориса Годунова» и «передать... однажды написанное». Надо думать, что образ астролога, предсказателя, угадывающего судьбы людей и царств, слишком емко, чтобы Пушкин, надевший такую маску, ограничился, да еще в эти дни, приведенными лирическими стихами. За этой пушкинской маской могло скрываться многое. И если 4 января — верная дата появления Пушкина на маскараде в costume астролога, к этому надо отнести, как к приоткрывающейся неизвестной странице его биографии, которую со временем следовало бы прочесть до конца.

Не деля никаких выводов, здесь уместно будет припомнить, что четыре года спустя после вероятного появления Пушкина в costume астролога — возможно — в Московском дворянском собрании, там же

точно в таком же костюме появился молодой Лермонтов, читающий свои эпиграммы по огромной «книге судеб».

Нельзя также удержаться от мысли, что образ астролога для Пушкина не просто обычная для того времени бальная маска, а, быть может, какой-то прототип звездочета, попавшего затем в «Сказку о золотом петушке».

В той же самой архивной папке № 21, где хранится описанный выше листок, имеется небольшое размера тетрадь, принадлежавшая Елизавете Николаевне Киселевой (Ушаковой). В этой тетради неизвестным почерком середины XIX века переписаны разные стихотворения и под одним из них, в том месте, где переписчик подписал «Пушкин», рукою А. П. Вяземского и за его подписью исправлено: «не — Пушкин». Эта помета говорит о том, что Вяземский в пятидесятых годах прошлого столетия поддерживал отношения с Е. Н. Киселевой, и, надо думать, что если бы стихотворение «Под небом Африки рожденный», которым она располагала, показалось бы ей или ему сомнительным, он так же бы недвусмысленно о том написал...

Т. Г. Цявловская, с которой я поделился всеми этими соображениями, любезно сообщила мне, что в архиве покойного М. А. Цявловского имеется копия письма Е. Н. Наумовой (Ушаковой) к ее племяннику Н. С. Киселеву, где также приведено восьмистишие «Под небом Африки рожденный», и что эта копия извлечена из архива М. А. Цявловским в тридцатых годах текущего столетия. Однако надо отметить, что письмо это было известно и ранее, так как о нем упоминает еще Л. Н. Майков на странице 363 своей книги «Пушкин», изданной в 1899 году.

Но ни в том, ни в другом случае принадлежность загадочного восьмистишия Пушкину установлена не была. Между тем листок из папки № 21 с этим стихотворением и дважды встречающейся там подписью «К. Ушакова», то есть девичьей фамилией Екатерины Николаевны, относится к концу тридцатых годов XIX века. Письмо же, найденное Л. Н. Майковым, а затем М. А. Цявловским, — к шестидесятым годам. В этом письме, где речь идет только о Пушкине, Е. Н. Наумова (Ушакова) второй раз на протяжении двадцати лет относит к себе эти стихи, как адресованные ей великим поэтом, и собственноручно подчеркивает слова: «Под небом Африки»,

«очи голубые» и строку «За кудри русые твои», то есть все элементы этого восьмистишия, которые, как характерные черты, были присущи Пушкину и ей.

В упомянутом письме Е. Н. Наумовой (Ушаковой) ее рукою под последней строкой стихотворения сделана приписка по-французски:

«Veuillez bien mettre les points et les virgules»¹.

Такая деталь убедительно показывает, насколько небезразличны были для Екатерины Николаевны эти стихи...

Когда публикуемая статья была уже готова, я узнал от С. М. Бонди, что стихотворение «Под небом Африки рожденный» после моей беседы с Т. Г. Цявловской обнаружено ею в «Невском Альманахе на 1830 год».

Обследовав «Невский Альманах» за 1829, 1830 и 1831 годы, я окончательно пришел к выводу, позволяющему, на мой взгляд, включить названное стихотворение даже не в разряд произведений, приписываемых Пушкину, а в их основной свод.

Стихотворение, напечатанное в «Невском Альманахе» в 1830 году, имеет незначительные разночтения с рукописным текстом; оно озаглавлено «Колдун», причем под этим заглавием стоят в скобках две буквы: М. Ш. Подписано же это стихотворение латинской литерой Р... (П...), которую можно принять и за русское Р.

Попытаемся расшифровать псевдоним «Р...» и буквы «М. Ш.».

«Невский Альманах» издавался в Петербурге Е. А. Аладьиным. В нем печатались Пушкин, Жуковский, Языков, Катенин, Измайлов, Козлов, Федор Глинка и другие. Пушкин поместил в этом альманахе много мелких стихотворений и одну сцену из «Бориса Годунова»; в этом же издании перепечатывались отрывки из «Евгения Онегина» и «Бахчисарайский фонтан».

Займемся прежде всего псевдонимом. В отечественной литературе на рубеже двадцатых—тридцатых годов под русской литерой Р скрывались: посмертно печатаемый К. Ф. Рылеев, А. Ф. Воейков, С. П. Шевырсов и А. Г. Ротчев. Ни Воейкова, ни Шевырева в данном случае подозревать не приходится. Что же касается Александра Ротчева, то в заметке Б. М. <одзалева>ского, помещенной в Русском биогра-

¹ «Извольте как следует расставить точки и запятыя».

фическом словаре («Романова — Рясковский», Пг., 1918, стр. 314), перечислены журналы и альманахи, в которых печатался Ротчев; среди них упоминается и «Невский Альманах на 1830 год»; но тут же разъяснено, что автор этот поместил там отрывок своего вольного перевода трагедии Шекспира «Макбет»; указаний на какое-либо другое произведение Ротчева, напечатанное за этот год в «Невском Альманахе», в заметке Модзалевского нет.

Под латинской же литерой Р во многих изданиях начиная с 1827 по 1836 год (назовем «Московские Ведомости», «Литературную Газету», «Библиотеку для Чтения» и «Современник») печатался только А. С. Пушкин. «Пиковая дама» и «Скупой рыцарь» напечатаны Пушкиным под латинской литерой Р.

Следует также подчеркнуть, что восьмистишие «Под небом Африки рожденный» было напечатано не просто под этой литерой, а под латинской литерой Р с тремя точками — под псевдонимом, ни разу более не встречающимся в русской литературе двадцатых—тридцатых годов.

Теперь посмотрим, насколько органично для этого стихотворения название «Колдун», если автором его был Пушкин, одетый в маскарадный костюм астролога.

В «Словаре славянского и русского языка», составленном II отделением Академии наук (т. I, СПб, 1847, стр. 15), слово «астрология» объясняется как «звездословие» — гадание по звездам. Для Пушкина «астрологи» и — вспомним «Бориса Годунова» — «кудесники, гадатели, колдуны» — это один качественно-смысловой ряд.

Но что же означают буквы М. Ш., помещенные под заглавием? Их легче всего принять за посвящение. Кто же такая М. Ш.? Не пианистка ли Мария Шимановская, как предполагают некоторые пушкинисты, которой, быть может, Пушкин (а он это иногда делал) переадресовал стихи, ранее посвященные другой?.. Нет, эту версию принять невозможно. Внешность Марии Шимановской никак не совпадает с внешностью адресата этого восьмистишия: у нее были темные волосы и карие глаза. Кроме того, в недавно вышедшей из печати книге Игоря Бэлзы — «Мария Шимановская» (Изд-во АН СССР, М. 1956) подробно рассмотрены отношения между этой польской музыкантшей и великим русским поэтом. Харак-

тер этих отношений исключает возможность посвящения ей Пушкиным лирических стихов.

Обратимся к набору, к которому прибегал издатель Аладьин в тех случаях, когда в «Невском Альманахе» печатались произведения, кому-либо посвященные, и просмотрим для этого названный альманах за ряд лет. Оказывается, что все посвящения за 1829—1831 годы представляют собой сокращения фам依лий, поставленных для ясности всегда в дательном падеже. Очевидно, мы имеем здесь дело не с посвящением, а с чем-то совершенно особым. Это — какое-то жанровое определение. Попробуем его установить.

Восьмистишие «Под небом Африки рожденный», как было уже сказано, — экспромт. Заглянем в словарь Даля и проверим, как толковалось это слово в языке XIX века.

«Экспромт, — читаем мы, — внезапно, без уготовки сказанная шутка или острота, особенно стихами».

Приходим к выводу.

Меньше всего оснований полагать, что под буквами М. Ш. скрывается неизвестное посвящение.

Скорее всего М. Ш. — зашифрованный пояснительный подзаголовок. Его наиболее вероятное значение: маскарадная шутка (или шалость¹), что вполне соответствует и пояснительной подписи, сделанной под этим стихотворением К. Ушаковой в конце тридцатых годов.

Пушкин не раз жаловался на издателей («альманашников»), бесцеремонно обращающихся с его рукописями, произвольно изменявших их заглавия, искажавших текст. Известно также, какими путями добывали «альманашники» материал для своих изданий. Вспомним, что писал по этому поводу «Московский Телеграф», и притом как раз в 1830 году: «...Главное дело: достать стихов Пушкина, Баратынского, Дельвига, кн. Вяземского, Ф. Н. Глинки. Отправляют письма, просят знакомых, умоляют дам, и иногда удается, что Пушкин, со смехом или с досадой, бросит что-нибудь на голые зубы Альманашнику...» («Московский Телеграф», 1830, ч. XXXI, № 2, стр. 235—236)

Для чего же понадобилась Пушкину зашифровка? Попытаемся предложить возможный ответ и на этот вопрос.

Интересующий нас «Невский Альманах»

¹ Подзаголовок «Шалость» имеется в рукописи стихотворения «Бесы».

вышел с необычным для него запозданием — в конце января 1830 года. Объявление о его выходе появилось 22 февраля в приложении к «Северной Пчеле». Цензурное разрешение было дано 17 сентября предыдущего года, в течение которого Пушкин с начала марта по 10 ноября в Петербурге не бывал. Когда же и от кого мог получить это стихотворение Аладин?

Первого апреля 1829 года в альбоме Екатерины Николаевны появляется ее портрет — набросок Пушкина с его же подписью: «Трудясь над образом прекрасной Ушаковой...» В конце же апреля он делает предложение Н. Н. Гончаровой и получает уклончивый ответ; но отправляется на Кавказ с сознанием, что имеет «право надеяться». Быть может, в этот момент перед отъездом он, не устояв перед натиском «альманашника», и решился напечатать стихотворение «Под небом Африки рожденный», озаглавив его «Колдун». В таком поступке Пушкина мог таиться оттенок грусти о «былом, но счастливом времени», с которым он расставался. Во всяком случае его отношения с Екатериной Ушаковой носили сложный характер, и, отдавая (или пересылая) эти строки издателю альманаха, он, возможно, связал Аладина каким-то условием, и «альманашнику» пришлось ввести шифр.

Однако могло быть и так, что стихи эти попали в альманах без ведома автора, через неизвестное нам лицо, поставившее свои условия издателю (вспомним, что Пушкин в это время был недоволен Аладиным из-за нелепых «картинок» Нотбека к «Евгению Онегину», помещенных в «Невском Альманахе на 1829 год»).

Но как бы то ни было, от кого бы ни получил список восьмистишия Аладин, скрывается ли под буквами М. Ш. переадресовка или шифр — «маскарадная шутка», от этого не меняется существо дела: давно пора серьезно заняться этим стихотворением и так или иначе решить вопрос.

Что касается автора данной статьи, он не сомневается в принадлежности этого экспромта Пушкину. В самом деле! Кто, кроме него, из русских поэтов двадцатых годов XIX века мог, хотя бы в шутку, называть себя «под небом Африки рожденный»? Могло ли это пройти незамеченным современниками и прежде всего Пушкиным? Неужели бы он смолчал?.. И могла ли Екатерина Ушакова, даже если бы нашелся такой самозванец, равнодушно переписывать его восьмистишие наряду со стихотворениями, посвященными ей Пушкиным, дорожа его памятью до последнего своего часа и зная стихи его «все наизусть»?..

Георгий ШТОРМ



Р Е Ш А И Ж И

БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА

Это было в 1947 году в Праге. Молодежь мира собиралась на свой первый Международный фестиваль. В комнату, где помещался организационный комитет Советского Союза, вошел юноша негр. Впоследствии мы узнали его историю. Родился он в Нью-Йорке. Работал в порту. Друзья грузчики собрали ему немного денег. Он поступил матросом на пароход. Прибыв в Европу, он сошел на берег и, преодолев большие трудности, добрался до Праги. Он хотел увидеть русских, советских людей — граждан государства, в котором нет рабства. Он рассказывал об этом взволнованно, со слезами на глазах. Говорил он по-английски, подбирая слова не сразу, и казалось, что никакие другие слова, кроме этих, не могли бы передать полноту его взволнованных чувств. И мне так захотелось понять его без переводчика, узнать слова, какими, казалось, говорила душа этого человека.

С тех пор прошло много времени. Некоторые из моих тсваришей и друзей изучили язык. Одни из них легко читают, другим более знакома разговорная речь. Я не говорю о тех, кто посвятил себя профессии, связанной с иностранным языком. Кое-какие знания есть и у меня, но думаю, что их далеко не достаточно.

Недавно наш балет побывал в Англии. К сожалению, немногие знают у нас в труппе иностранные языки, и большинство чувствовало себя «немыми» в этой своеобразной стране, где было бы интересно ближе познакомиться с жизнью народа, с его искусством.

Думаю, что не следует много говорить о причинах необходимости изучения языков. Хотелось бы поговорить о способах скорейшего освоения их, о разнообразных средствах помощи людям, изучающим языки.

Известно, что при изучении языков, особенно самостоятельно, необходимо слушать живую речь на изучаемом языке. Для этого есть два основных способа: грампластинки и кинофильмы.

Для изучающих английский язык выпущены две серии грампластинок, но первую из них, в которой записано десять уроков фонетики, можно купить только на курсах иностранных языков, на Можайском шоссе.

Вторая серия содержит запись школьных уроков английского языка, но тексты там, как, впрочем, и в учебнике, взяты главным образом из произведений Диккенса и Бронте. Конечно, хорошо знать классиков английской литературы, но язык этих текстов далек от современного разговорного английского языка. Купить эти пластинки можно, но пользы от них мало, если иметь в виду опять-таки освоение разговорной речи. Это все равно, что изучать русский язык по «Бедной Лизе» Карамзина.

Что касается недублированных фильмов, их можно получить, хотя и с огромным трудом, после преодоления всех бюрократических преград, и они могут быть показаны, но... за плату. Каждый день проката стоит дорого, и, естественно, ни один кружок иностранных языков и даже несколько кружков не могут взять фильм.

Можно было бы, конечно, при дубляже иностранных кинофильмов монтировать из десяти—двенадцати частей фильма две-три части диалогов и такие коротенькие «выжимки» из фильмов давать курсам иностранных языков, клубам, где организованы кружки, и т. д.

Заняться этим нужным и полезным делом могла бы и кинолаборатория учебных фильмов при Министерстве высшего образования, но там производят учебные фильмы, видимо, сообразуясь со своими собственными установками. Лаборатория выпустила десять технических сюжетов учебных фильмов на английском и немецком языках. Текст прочитан прекрасными дикторами, но что общего с изучением разговорного языка имеет фильм, рассказывающий об оплодотворении кур без помощи петуха или о снятии гипсовой маски с живого человека?

И последнее. Мне как-то довелось увидеть, даже подержать в собственных руках хорошую книжку — разговорник для туристов (англо русский). Он был собственностью дикпурьера, который вместе с бригадой артистов летел на самолете из-за границы. Когда же, прилетев в Москву, я попробовал найти эту книжку.

цу в магазинах столицы, мои поиски оказались бесплодными. Продавцы, как правило, отвечали, что разговорников давно нет и выпущены они были очень небольшим тиражом.

Пользуясь любезно предоставленной мне возможностью выступить на страницах журнала «Новый мир», я обращаюсь к издательству, которое выпустило эту полезную и хорошую книгу, с просьбой переиздать ее и выпустить большим тиражом. Большое спасибо скажут вам, дорогие товарищи, те, кто изучает иностранные языки, а их у нас в стране не так уж мало.

Народная артистка СССР
О. ЛЕПЕШИНСКАЯ.

✳

ОБ ОДНОМ ЗАБРОШЕННОМ НАЧИНАНИИ

Перед нами книжечка небольшого формата. Двухкрасочная обложка выцвела, потерта, края истрепаны: она побывала в руках многих читателей. Достать ее ни в одном магазине нельзя: библиографическая редкость!

Это не популярный роман, не сборник юмористических рассказов, не увлекательный детектив, а произведение нового типа, существования которого — увы! — не признают еще иные редакторы и ценители художественного слова. Это киносценарий.

Книжка, которую мы держим в руках, — одна из многих, выпущенных в серии «Библиотека кинодраматурга» под редакцией А. Каплера. В нее вошли

такие яркие произведения нашей литературы, как сценарии: «Депутат Бэлтики», «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», «Машенька», образцы зарубежной кинодраматургии: «Вива, Вилья!», «Летчик-испытатель», «В старом Чикаго» и другие. О каждом сценарии серни написано предисловие или послесловие. В одних случаях это творческий анализ сценария, сделанный мастером кино или критиком, в других — своеобразное эссе. Читателю, например, запомнился портрет, созданный Эйзенштейном в сопроводительной статье к сценарию «Лётчик-испытатель». Эйзенштейн во время поездки в Америку виделся с легчиком-испытателем Коллинзом, провел с ним многие часы в беседах, и под пером блистательного художника возник образ человека, задавленного условиями жизни в собственническом обществе, образ, который помогает читателю глубже осмыслить сценарий, его идею и художественное своеобразие.

Кинодраматургия имеет гораздо более скромный опыт, чем иные литературные жанры, но и «Библиотека кинодраматурга» — событие в нашей литературной и кинематографической жизни, важное культурное начинание, которое можно поставить в ряд с такими, как «Библиотека приключений» или «Библиотека романа».

У читателя может возникнуть вопрос: почему эти строки помещены в «Репликах», а не в библиографическом обзоре?

По простой причине: «Библиотека кинодраматур-

га», начатая изданием до войны, продолженная в тяжелые годы нашествия врага, давно уже прекратила свое существование. Сначала в ее изданиях исчезли сопроводительные статьи: «как бы чего не вышло...» Затем издатели задумались: «А был ли мальчик?» Существует ли такая область литературы творчества? Быть может, правы те скептики, которые видят в сценарии лишь сырье? Не лучше ли свернуть сие ненадежное дело?

И свернули.

Правда, после ликвидации «Библиотеки кинодраматурга» первое время еще продолжался выпуск сценариев в форме больших, многолистных томов, встретивших сочувственный отклик читателя. Вышли два издания шеститомника «Избранные сценарии советского кино», однотомники сценариев выдающихся мастеров кино.

Но вскоре, по мере сокращения производства картин, которое происходило до 1953 года, и эта форма популяризации кинодраматургии пришла в упадок.

В результате читатель лишился книг, которые доставляли ему эстетическое удовлетворение, помогли развитию кинодраматургии и кинокритики, упрочению содружества писателей и киноработников.

Теперь, когда издательство «Искусство» пытается восстановить издание сценариев, наступило время отменить перестраховочное решение бывшего Госкиноиздата и возобновить оправдавшее себя издание. Пусть на книжных полках любителей литературы и кино снова появятся лучшие сценарии — советские и зарубежные — в знакомой серии небольших

по объему, доступных по цене книжечек в двухкрасочной обложке, обязательно с сопроводительными статьями, с биографическими справками об авторах публикуемых произведений и сведениями о характере поставленного фильма.

На наш взгляд, в «Библиотеке кинодраматурга» большое место должны занять еще не поставленные сценарии. Ведь сценарий — самостоятельное литератур-

ное произведение, а не ведомственная опись объектов съемки, и он должен печататься независимо от своей постановочной судьбы, подобно хорошей пьесе. Недавно прошедший всесоюзный конкурс выявил большое число своеобразных, ярких сценариев. Нужно ли ждать с их публикацией, пока эти сценарии пройдут все производственные стадии или пока будут собраны монументальные и дорого-

стоящие сборники сценариев?!

Воссоздание «Библиотеки кинодраматурга» — в интересах читателя, в интересах советской кинематографии, подъем которой должен быть подготовлен популяризацией и изучением образцов литературного творчества в кино, в интересах дальнейшего развития наших дружественных связей со всем прогрессивным киноискусством мира.

И. ВАЙСФЕЛЬД.



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

ЧУДОВИЩНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

В течение веков люди в неведении своем считали, что в феврале бывает 28 дней, а в високосный год — 29. Это заблуждение успешно рассеял журнал «Дружба народов» № 6 за 1956 год. Здесь на странице 115 этого номера в очерке Ванды Василевской «Под небом Китая» в абзаце, где говорится о посещении автором шанхайского Дворца пионеров, черным по белому написано:

«...Сначала осматриваем выставку — подарок мо-

сковского Дворца пионеров. Тридцатого февраля (!) состоялось торжественное вручение».

В. ДЬЯКОВ.

★

ЭВРИКА!

Основной закон гидростатики, открытый Архимедом, гласит коротко и ясно:

«Всякое тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость». Иногда его формулируют так: «На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной телом» (см. «Учебник по физике» для 6-го класса).

Именно с открытием этого знаменитого закона, сразу же обогатившего миро-

вую науку, связано не менее знаменитое восклицание того же Архимеда:

— Эврика!

Воскликая «Эврика!», великий математик древности и не подозревал, что сформулированное им краеугольное положение гидростатики будет решительно пересмотрено редакторами Гослитиздата в 1956 году.

В десятом томе подписного издания Собрания сочинений Ромен Роллана на странице 22 дано такое редакционное примечание:

«По существующему преданию, свой знаменитый закон о том, что вес тела, погруженного в жидкость, равен весу вытесненной им жидкости, Архимед открыл, сидя в ванне».

Зачем же свое собственное невежество приписывать Архимеду Сиракузскому?

Л. ГЕРАСИМОВИЧ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ПОЭТЫ ПЕНЗЫ. Сборник. Пензенское книжное издательство. 1956. 176 стр. Цена 2 р. 90 к.

Этот небольшой по объему сборник, составленный по принципу антологии, включил в себя лучшие произведения семнадцати поэтов Пензы. Поэты, чьи стихи здесь печатаются, разные по возрасту, но большинство из них начало публиковать свои произведения сравнительно недавно. Это дает основание сказать о росте в послевоенные годы поэтических сил Пензенской области. Вот Л. Зефилов. Он родился в 1928 году, окончил Пензенский педагогический институт. Сейчас работает в газете «Молодой ленинец» и пишет стихи. Первые сборники стихов молодого поэта Н. Каткова появились в 1953—1955 годах. В это же время начал печатать свои сатирические стихи и В. Ракитин, хотя по возрасту он и не молод.

Стихам каждого поэта предпосланы портрет автора и краткая биографическая справка.

ДОМ-МУЗЕЙ А. П. ЧЕХОВА В МОСКВЕ. Госкультпросветиздат. М. 1956. 40 стр. Цена 60 к.

Ю. К. АВДЕЕВ. Музей-усадьба А. П. Чехова в Мелихове. Путеводитель. 44 стр. Цена 85 к.

ДОМ-МУЗЕЙ А. П. ЧЕХОВА В ЯЛТЕ. Рисунки С. М. Чехова, текст М. П. Чеховой. Изогиз. М. 1956. 40 стр. Цена 3 р.

Москва, Мелихово, Ялта... С этими местами связан жизненный и творческий путь А. П. Чехова. Три небольшие по объему брошюры-путеводители, выпущенные недавно в свет, содержат описание музеев Чехова. В них даны также краткие сведения о жизни и творчестве великого русского писателя с 1886 по 1904 год. Все три путеводителя снабжены большим количеством фотографий, а два из них («Музей усадьба в Мелихове» и «Дом-музей в Ялте») — хорошими рисунками.

Если прибавить к этим путеводителям вышедшие в 1954 году «Чеховские места в Таганроге» (Ростов-на-Дону) и «Чехозские места в Подмоскovie» (издательство «Московский рабочий»), читатели смогут ознакомиться почти со всеми местами, связанными с именем А. П. Чехова.

И. Ф. МАСАНОВ. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Том первый. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1956. 440 стр. Цена 25 р.

До сих пор у нас не было полного справочника, в котором были бы сведены воедино все псевдонимы русских писателей, ученых, общественных деятелей. Выход в свет первой книги (от А до И) четырехтомного издания, распространяемого по подписке, будет встречен нашим читателем с интересом.

Подготовка издания потребовала от автора огромного труда, энергии, знаний. Больше сорока лет работал Иван Филиппович Масанов, один из виднейших наших библиографов, над своим словарем. После его смерти в 1945 году подготовку словаря к печати взял на себя Ю. И. Масанов.

Хочется пожелать, чтобы начатое Всесоюзной книжной палатой издание полностью вышло в свет в возможно короткий срок, а не растягивалось на долгие годы, как это у нас часто бывает.

ГРУЗИНСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ. Издательство «Заря Востока». Тбилиси. 1956. 432 стр. Цена 15 р. 60 к.

Все, чем жил грузинский народ — его надежды и чаяния, его радость и горе, его многовековая борьба против иноземных захватчиков и поработителей, стремление к свободе, — воплотилось в богатом грузинском фольклоре. Сто сказок, включенных в сборник, составляют лишь часть того поэтического богатства, которое создано было на протяжении веков в Грузии. Сказки эти, несмотря на их условность, фантастичность, весьма реалистичны, проникнуты благородными идеями. В них отразился быт, обычай народа, национальные черты. Главные герои сказок — простые люди — трудолюбивые, щедрые, умные.

Сказки проникнуты верой в силу народа, надеждой на лучшее будущее.

Сборник составлен и переведен Н. И. Дolidзе. Вступительная статья и редакция профессора М. Чиковани.

ШОН О'КЕЙСИ. Тень стрелка. Трагедия в двух актах. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1956. 64 стр. Цена 1 р. 35 к.

Советский читатель хорошо знаком с прозой этого выдающегося ирландского писателя-коммуниста и пока еще мало знает

его драматургию. Между тем пьесы О'Кейси с успехом ставятся почти во всех странах мира. Его трагедия «Тень стрелка» возрождает картины ирландской действительности начала двадцатых годов нашего века, когда национально-освободительное движение в Ирландии достигло большого размаха. То, что происходит в Ирландии в наши дни, делает эту пьесу необыкновенно злободневной — ирландский народ и сегодня упорно продолжает свою борьбу. Слова одного из героев пьесы: «Я верю в освобождение Ирландии и считаю, что Англия не имеет никакого права хозяйничать в нашей стране...» — звучат и сейчас в этой многострадальной стране, претолжающей мужественное сопротивление.

П. БЕРЕЗОВ. Большевик Федер Афанасьев. Госполитиздат. М. 1956. 116 стр. Цена 1 р. 40 к.

В километре от города Иваново протекает небольшая речка Красная Талка, вошедшая в историю революционного движения нашего народа. Здесь, на берегу этой речки, в мае 1905 года иваново-вознесенские рабочие выбрали свой орган власти — Совет уполномоченных, по существу один из первых Советов рабочих депутатов в России.

В создании Совета активное участие принимал Федор Афанасьевич Афанасьев, руководитель Иваново-Вознесенской большевистской организации, один из тех народных героев, о которых В. И. Ленин сказал: «Все, что отвоено было у царского самодержавия, отвоено и с к л ю ч и т е л ь н о борьбой масс, руководимых такими людьми...»

В книге приводится краткая биография Ф. А. Афанасьева, рассказывается об этом замечательном революционере, который в течение многих лет самоотверженно боролся за свободу своего народа. Он был одним из организаторов ранних марксистских кружков. С его именем связано проведение первой мавки в России.

СВЯЗЬ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ. Свердловское книжное издательство. 1956. 130 стр. Цена 1 р. 45 к.

Реакционный биолог Ф. Коттье заявляет в своей книге «Иллюзии науки»: «Массовость подавила и размолочила все. В результате работа ученых становится все более обезличенной, неприятной, механической». Лидер немецких экзистенционалистов К. Ясперс утверждает, что «массовый человек» губит науку. «Существование масс в высших школах, — пишет он, — имеет тенденцию уничтожать науку как науку». Все стремления буржуазии направлены к тому, чтобы изолировать, оградить науку от народа.

В нашей стране творческая инициатива трудящихся является важнейшей движущей силой развития советской науки, борьбы за технический прогресс. «...Ум десятков

миллионов творцов создает нечто неизмеримо более высокое, чем самое великое и гениальное предвидение», — учил В. И. Ленин.

В пятой пятилетке на одном только Уралмашзаводе было внедрено около 18 тысяч рационализаторских предложений, что позволило сэкономить более 195 миллионов рублей.

Свердловская область — самый крупный индустриальный район на Урале. О том, как осуществляется здесь содружество науки с производством, о поисках новых форм этой связи рассказывается в статьях сборника, подготовленного научными работниками Уральского университета имени А. М. Горького.

В. А. УХИН. Люди творческой мысли. Горьковское книжное издательство. 1956. 212 стр. Цена 4 р. 35 к.

Гениальный механик и изобретатель Иван Кулибин и замечательный конструктор-самоучка Василий Калашников, чье имя вошло в историю отечественного судостроения. Создатель первой в мире типографской наборной машины-автомата Петр Княгининский и гордость русской химии профессор Владимир Марковников. Первая в России женщина, получившая звание доктора медицины Надежда Сулова и самоотверженная подвижница науки, неутомимая путешественница Александра Потанина. Основоположник теории и практики высшего пилотажа Петр Нестеров и великий летчик нашего времени Валерий Чкалов. Знаменитый математик Лобачевский, академики Ляпунов, Стеклов, Фаворский...

Все ли знают, что эти и многие другие славные сыны и дочери нашего народа — уроженцы одной и той же местности — Нижегородской губернии? Горьковчане вправе гордиться своими земляками.

В книге В. Ухина кратко изложены жизнь и творчество знаменитых новаторов науки и техники — нижегородцев. Горьковское книжное издательство, выпустив в свет эти очерки, проявило хорошую инициативу, достойную подражания.

НА ЗАПАДНОМ УРАЛЕ. Сборник статей. Мслотовское книжное издательство. 1956. 295 стр. Цена 7 р. 85 к.

Мы должны знать нашу землю всю, до последнего атома, говорил А. М. Горький. В ряде очерков уральские краеведы стремятся частично разрешить эту большую и важную задачу. В книге речь идет об истории Перми-Молотова и края, о природе Западного Урала, его промышленном развитии в прошлом и о строительстве в настоящее время.

В очерках приводятся интересные материалы о знаменитых западноуральцах XIX века — художнике В. Верещагине и путешественнике и писателе К. Хлебникове. Сборник дает яркое представление о богатой культуре края, о развитии литературы и искусства, о самобытном фольклоре.

В. М. ИЕЗУИТОВ. От Тувы феодальной к Туве социалистической. Тувинское книжное издательство. Кызыл. 1956. 208 стр. Цена 4 р. 50 к.

Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР в 1944 году в качестве Тувинской автономной области. Присоединение к братской семье народов Советского Союза предопределило быстрый подъем хозяйства и культуры тувинского народа — от феодализма к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. В книге приводятся многочисленные данные о жизни Тувинской автономной области, о зародившейся промышленности и возникших очагах культуры.

П. Е. ЧЕРВОННЫЙ. От пращи до современной пушки. Военное издательство. М. 1956. 140 стр. Цена 3 р. 55 к.

Автору этой живо написанной книги пришлось проследить долгий путь, который прошла современная пушка, начиная с первых образцов метательного оружия. Пращу, болас, дротик сменили метательные машины — баллиста, катапульта. Переворот в военном деле призвело появление пороха, изобретенного в Китае.

Большое место в книге уделено развитию русской артиллерии начиная с XIV века. Заключительные главы посвящены современной артиллерии, реактивному оружию — славы советской «катюше».

Многочисленные рисунки и фотографии делают изложение особенно наглядным.

Л. В. ЧЕРЕПНИН. Русская палеография. Госполитиздат. М. 1956. 616 стр. Цена 16 р. 50 к.

Когда речь заходит о замечательных памятниках культуры прошлого нашей Родины — таких, как «Слово о полку Игореве», «Хождение за три моря Афанасия Никитина», «Русская правда» и других, — неизбежно возникает целый ряд вопросов. В каком виде дошли до нас старинные рукописи? Правильно ли они датированы и прочитаны? Как определить их подлинность? Ответить на эти вопросы помогает палеография, изучающая внешние признаки рукописных памятников: их шрифты, художественное оформление, способы и орудия письма.

В книге профессора Л. В. Черепнина рассказывается об особенностях рукописей различных исторических эпох — со времени происхождения славянской письменности до XIX века. В ней показаны также основы научного анализа рукописного наследства. Книга снабжена большим количеством иллюстраций.

ГОРДОН ЧАЙЛД. Древнейший Восток в свете новых раскопок. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1956. 384 стр. + 39 таблиц. Цена 14 р.

Древний Восток — колыбель человеческой культуры — всегда привлекал пристальное внимание историков и археологов. Продолжающиеся и по сей день раскопки

в странах Востока открывают нам все новые и новые странички древней истории человечества, помогают решить многие историко-археологические проблемы. Книга крупнейшего современного английского археолога Гордона Чайлда рассказывает об открытиях, сделанных за последние годы.

Чайлд широко подошел к своей теме. Он пытается решить вопрос о том, как и в силу каких причин развитие экономики и социальных отношений привело к появлению городов и возникновению государств в странах Древнего Востока. Очень интересны взгляды ученого на возникновение земледелия и скотоводства в Египте, на древнейшую индийскую цивилизацию и целый ряд других.

Вступительная статья профессора В. И. Авдиева дает оценку сильным и слабым сторонам труда Чайлда. Книга обильно иллюстрирована.

ГЕОГРАФИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. Сборник статей. Географиз. М. 1956. 135 стр. Цена 3 р. 50 к.

Статьи советских ученых рассказывают о важных исследованиях, проведенных за последние годы китайскими географами на обширных пространствах своей страны. Эти исследования значительно обогатили представления о физической и экономической географии Китая, о размещении и величине ее угольных, гидроэнергетических и других природных ресурсов.

Статья доктора географических наук В. Т. Зайчикова посвящена работам китайских ученых по созданию новой схемы физико-географического районирования Китая.

Сборник, показывающий успехи географической науки в Китайской Народной Республике, подготовлен Институтом географии Академии наук СССР. Подобные сборники по различным отраслям знания и различным странам могли бы дать нашему читателю и другие институты Академии наук СССР.

ЛИНЬ ФАН-ШЭН. Малайя. Перевод с китайского. Издательство иностранной литературы. М. 1956. 104 стр. Цена 3 р. 65 к.

Более ста лет английский империализм держит под своей пятой население Малайи. Около полувека народ этой страны ведет борьбу против колониального гнета. Но только с 1925 года, с момента зарождения Коммунистической партии Малайи, национально-освободительное движение приобрело организующую и направляющую силу. Особенный размах оно получило, когда народ вступил на путь вооруженной борьбы с угнетателями. И хотя впереди ему предстоит еще немало испытаний, он полон решимости добиться окончательной победы.

Верой в эту победу пронизана книга китаецкого публициста Линь Фан-шэна. В ней советский читатель почерпнет много интересных сведений об истории, экономике страны и о героической борьбе мужественного малайского народа.

ФРАНЦ ФАБИАН. Перо и меч. Карл Клаузевиц и его время. Перевод с немецкого. Военное издательство. М. 1956. 308 стр. Цена 10 р. 60 к.

Название этой книги заимствовано из высказывания самого Клаузевица: «...Ведение войны в своих главных очертаниях есть сама политика, сменившая перо на меч...» К этой мысли примыкает другая: «Война есть продолжение политики иными средствами». По поводу этой мысли Клаузевица В. И. Ленин, считавший его «одним из самых глубоких писателей по военным вопросам», указывал: «Марксисты справедливо считали всегда это положение теоретической основой взглядов на значение каждой данной войны. Маркс и Энгельс всегда именно с этой точки зрения смотрели на различные войны».

Книга Франца Фабиана, основанная главным образом на письмах и мемуарных материалах, посвящена не только теоретическим и военно-историческим работам Клаузевица, но и обстоятельствам его личной и общественной жизни.

И. А. ЕФРЕМОВ. Дорога ветров. Труд-резервиздат. М. 1956. 360 стр. Цена 9 р. 45 к.

С незапамятных времен в пустынях и горных урочищах Южной Монголии кочевники находили окаменелые кости огромных размеров. Вот что говорит о них древняя легенда «Дракон, пролетая, приблизился к земле, упал и умер. Кости его глубоко вошли в землю и стали каменными. Там, в горах Унэгэту, лежат теперь эти кости Голова с туловищем упали на полтора уртона дальше на запад, в горах Цзосту-Ундур-Хара. Вот каких размеров дракон!»

Для изучения «костей дракона» — останков животных, населявших Азию многие

миллионы лет назад, — Академия наук СССР снарядила в 1946—1949 годах три крупные экспедиции. Их возглавил известный палеонтолог профессор И. А. Ефремов. Его книга «Дорога ветров» представляет собой яркий рассказ о трудной и плодотворной работе, проделанной участниками экспедиций. Впрочем, И. А. Ефремов знакомит читателя не только с тем, как палеонтологи разгадывали тайны истории животного мира. В «Дороге ветров» научно обоснованные картины жизни в дельтах рек, пересекавших гобийские плоскогорья десятки миллионов лет назад, соседствуют с этнографическими зарисовками жизни современной Монголии, с красочными пейзажами, с проникнутыми юмором описаниями своеобразного быта охотников за «костями дракона».

Б. Д. ГАРГА, БАЛЬВАНТ ГАРГИ. Кино Индии. Перевод с английского. Издательство «Искусство». М. 1956. 76 стр. Цена 6 р. 75 к.

«Советские люди так тепло отнеслись к нашим фильмам и так высоко оценили их, что подали нам мысль подготовить эту небольшую книгу», — пишут Б. Д. Гарга и Бальвант Гарги в предисловии к своей работе.

Очень живо, с привлечением большого фактического материала авторы показывают зарождение индийского кино и его первые шаги. Читатели знакомятся с большим и сложным путем индийской кинематографии — от подражания Голливуду до создания подлинно национальных фильмов выдающимися мастерами Бималом Роем, Кришаном Чандром, Х. Аббасом, Хеманом Гупта и молодым Радж Капуром. Авторы рассказывают историю наиболее интересных фильмов, завоевавших индийскому кино международное признание.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Воспоминания о выдающихся писателях, ученых, политических деятелях, оставленные их современниками, всегда вызывают у читателей очень большой интерес.

С какими мемуарами познакомит нас в ближайшее время Государственное издательство художественной литературы?

Книга «Белинский в воспоминаниях современников» будет содержать некоторые новые материалы по сравнению с одноименной книгой, выпущенной около десяти лет тому назад.

Она включает наряду с известными мемуарами Герцена, Панаева, Тургенева, Гончарова ряд ценнейших, забытых исследователями свидетельств современников. Среди новых имен мемуаристов назовем такие известные имена, как П. П. Семенов-Тянь-Шанский, географ и путешественник, контр-адмирал А. М. Берх, литературовед А. А. Галахов, музыковед Ю. А. Арнольд и другие.

В большинстве своем эти воспоминания представляют рассказ о широких интере-

сах Белинского в сороковые годы минувшего столетия, то есть в пору его наибольшей зрелости. Впервые введен в научный обиход такой важный источник, как не замеченная до сих пор собирателями мемуаров о Белинском двадцать третья глава «Воспоминаний В. А. Панаева» (двоюродный брат И. И. Панаева). Любопытно, что на нее нет ссылок даже в библиографических указателях (они упоминают только о пятой главе). В двадцать третьей главе читатель найдет рассказ о политических интересах петербургского кружка Белинского, и в частности о занятиях критика историей Великой буржуазной французской революции, и его работе над произведениями утопических социалистов. Эта глава «Воспоминаний В. А. Панаева» была напечатана в девяностых годах прошлого века в журнале «Русская старина» и с тех пор не привлекала внимания исследователей творчества Белинского.

В новом издании «Белинский в воспоминаниях современников» все тексты тща-

тельно проверены по первоисточникам и обстоятельно прокомментированы. На основе неизданных архивных документов сделана попытка разъяснить ряд спорных моментов биографии Белинского и его взаимоотношений с современниками. Общий объем книги около сорока печатных листов. Редакция, вступительная статья и комментарии принадлежат М. Я. Полякову.

Как это ни странно, но до сих пор читатели лишек были издания, где были бы собраны воедино воспоминания о М. Е. Салтыкове-Щедрине. Лишь теперь Гослитиздат, восполняя этот существенный пробел в нашей мемуарной литературе, выпускает книгу «Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». В нее входит свыше шестидесяти мемуарных текстов, часть которых публикуется впервые. Другие, например воспоминания Н. Белоголового (врача, друга Щедрина, Некрасова), печатаются по вновь найденным источникам.

Своеобразно построен аппарат издания. Он состоит из общей вводной статьи и ряда вводных заметок, предпосланных каждому мемуарному тексту. Заметки обрисовывают характер отношений между Щедриным и данным мемуаристом и содержат оценку его воспоминаний. Таким образом эти шестьдесят небольших статей в совокупности образуют свод новых сведений о Щедрине и его современниках. Книга иллюстрирована photographиями. Ее объем — тридцать пять печатных листов. Составитель издания — С. А. Макашин.

Книга «Лев Толстой в последний год его жизни» представляет собой дневник секретаря Льва Николаевича — В. Ф. Булгакова, содержащий подробные записи событий жизни Л. Н. Толстого в Ясной Поляне с января по ноябрь 1910 года. Большой интерес представляет рассказ о посещении Ясной Поляны Короленко, Андреевым и запись их разговоров с Л. Н. Толстым.

Читатель получает более полное представление о круге интересов Льва Толстого в этот период, о его творческих замыслах, о последней жизненной драме. Дневник В. Ф. Булгакова издавался в 1911 и 1919 годах, когда были еще живы некоторые участники драмы. Сейчас ряд записей дополнен новыми материалами о роли, которую в последний год жизни Толстого сыграла его дочь Александра Львовна. Вступительная статья и подробные примечания принадлежат С. А. Розановой.

В декабрьском номере журнала «Всемирная иллюстрация» за 1889 год была напеча-

тана сказка «Встреча Нового года». Это было первое выступление в печати Маргариты Владимировны Алтаевой-Ямщиковой. Ее литературный псевдоним «Ал. Алтаев» приобрел впоследствии широкую известность. Из-под пера Маргариты Владимировны вышло много сказок, рассказов, повестей и романов.

Сейчас новым, дополненным изданием выходит ее книга «Памятные встречи». В это издание вошли новые главы: «Две демонстрации» — воспоминания о похоронах М. Е. Салтыкова-Щедрина и Н. В. Шелгунова, о видном враче и общественном деятеле В. А. Манассееве, «большом ученом и редкой души человеке». Расширена глава о сотрудничестве писательницы в большевистских газетах. В главе «Памяти Веры Михайловны Величкиной» (жена В. Д. Бонч-Бруевича) М. В. Алтаева-Ямщикова вспоминает о том, как ей довелось слушать В. И. Ленина.

Скоро читатели познакомятся с рядом изданий по разделу литературной критики, подготовляемых к печати Гослитиздатом. Вот некоторые из них: С. Бабенышева «Степан Шипачев», А. Бабасев «Назым Хикмет» Б. Брайнина «Федор Гладков», К. Григорьян «Ваан Терьян», Б. Другов «Николай Лесков», А. Елистратова «Роберт Бернс», Г. Фрилендер «Лессинг», К. Краулинь «Райнис».

К этим изданиям примыкают монографии: И. Басс «Иван Франко», Г. Гуковский «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М. Гус «Гоголь и николаевская Россия», К. Зелинский «Расцвет литератур социалистических наций», Е. Михайлова «Проза Лермонтова».

Находятся в производстве книги: А. Луначарский «Статьи о литературе», сборник «Дружба», посвященный русско-армянским культурным связям XIX—XX веков, В. Г. Короленко «О литературе» — сборник статей, очерков, воспоминаний, дневниковых записей. Впервые в советское время будет издана книга видного деятеля народного движения Н. Михайловского «Избранные литературно-критические статьи» — с Достоевском, Г. Успенском, Салтыкове-Щедрине, Л. Толстом и других русских писателях. Выйдет в свет и сборник статей о Горьком.

Первыми изданиями новой серии «Памятники мировой эстетической и критической мысли» будут: Аристотель «Поэтика» и Лессинг «Лаокоон».



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС 1956 года. 16 стр. Цена 20 к.

Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и Совета Министров Союза ССР к колхозникам и колхозницам, рабочим МТС и совхозов, к партийным, профсоюзным и комсомольским организациям, к советским и сельскохозяйственным органам, специалистам и всем работникам сельского хозяйства. 20 стр. Цена 25 к.

Р. Авакоз. Марокко. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.
Всемирная история в десяти томах. Том II. 900 стр. Цена 40 р.

С. Выгодский. Теория средней прибыли и цены производства К. Маркса в свете современных данных. 196 стр. Цена 2 р. 30 к.

К. Зародов. О своеобразии форм перехода различных стран к социализму. 72 стр. Цена 85 к.

История СССР. Том I. 896 стр. Цена 20 р.
М. Калинин. Советы агитатору. 96 стр. Цена 1 р.

И. Г. Кураков. Технический прогресс и рост производительности труда. 32 стр. Цена 35 к.

Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. 536 стр. Цена 9 р.

Н. А. Мухитдинов. Исторические решения XX съезда КПСС и задачи интеллигенции Узбекистана. 72 стр. Цена 90 к.

З. Орджоникидзе. Путь большевика. 320 стр. Цена 6 р.

О событиях в Венгрии. Факты и документы. 304 стр. Цена 4 р. 60 к.

А. Плонский. Заглянем в будущее. 72 стр. Цена 85 к.

Е. Примаков. Страны Аравии и колониализм. 112 стр. Цена 1 р. 40 к.

З. Савелин. Заговоры — оружие реакции. 40 стр. Цена 50 к.

А. Соболев. Что такое народная демократия. 148 стр. Цена 1 р. 30 к.

Справочник пропагандиста и агитатора. 824 стр. Цена 13 р.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва. Шестая сессия. (5—12 февраля 1957 г.). Стенографический отчет. 768 стр. Цена 15 р.

Стенографический отчет издается на языках: русском, украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском и эстонском.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Александров. Люди и книги. Сборник критических статей. 408 стр. Цена 8 р. 35 к.
Э. Асалов. Снежный вечер. Стихи. 148 стр. Цена 2 р. 75 к.

Н. Асанов. Электрический остров. Роман. 392 стр. Цена 7 р.

В. Григорьев. Григорий Шелихов. Исторический роман. 582 стр. Цена 10 р.

А. Гуреев. Жизнь идет. Роман (2-я книга дилогии). Авторизованный перевод с украинского. 431 стр. Цена 7 р. 60 к.

А. Дирингерова. Судьба Марты. Роман. 424 стр. Цена 7 р. 15 к.

А. Зуев. Повести нашего времени. 340 стр. Цена 5 р. 90 к.

А. Кленов. Неназванная книга. Стихи. 180 стр. Цена 3 р.

В. Козни. Оазис. Рассказы. 348 стр. Цена 5 р. 85 к.

И. Я. Кремлев-Свэн. Большевики. Трилогия. Том 1. Две семьи. 656 стр. Цена 11 р. 25 к. Том 2. Волки. 587 стр. Цена 11 р. 75 к. Том 3. Солдаты революции. 491 стр. Цена 10 р.

Н. Москвин. След человека. Повесть и рассказы. 516 стр. Цена 7 р. 80 к.

И. Новиков. Под родным небом. Стихотворения разных лет. 308 стр. Цена 5 р. 35 к.

З. Рихтер. Первое десятилетие. Очерки и рассказы. 504 стр. Цена 8 р.

Осип Черный. Опера Снегина. 660 стр. Цена 11 р. 60 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Степан Васильченко. Избранное. Перевод с украинского. 480 стр. Цена 8 р. 75 к.

Л. Гинзбург. «Былое и думы» Герцена. 374 стр. Цена 11 р. 15 к.

Ашот Граши. Лирика. 1934—1956. Перевод с армянского. 511 стр. Цена 8 р. 40 к.

Барзу Делавранча. Избранное. Перевод с румынского. 295 стр. Цена 6 р. 50 к.

Ахмед Ерикеев. Стихи и песни. Перевод с татарского. 252 стр. Цена 7 р. 40 к.

Янко Есенский. Демократы. Роман. Перевод со словацкого 519 стр. Цена 9 р. 95 к.

М. С. Живов. Адам Мицкевич. Жизнь и творчество. 592 стр. Цена 15 р.

Индийские народные сказки. 159 стр. Цена 2 р. 30 к.

Калидаса. Избранное. 295 стр. Цена 5 р. 70 к.

А. В. Кожевников. Брат океана. Роман. 360 стр. Цена 7 р. 25 к.

Пьер Корнель. Избранные трагедии. Перевод с французского. 352 стр. Цена 6 р. 25 к.

Кальман Миксат. Осада Бестерце. Роман. Перевод с венгерского. 207 стр. Цена 2 р. 70 к.

А. Моисеева. А. В. Кольцов. Критико-биографический очерк. 100 стр. Цена 2 р.

Дашдоржийн Нацагдорж. Избранное. Перевод с монгольского. 147 стр. Цена 3 р. 50 к.

Поэты Азии. Сборник. 911 стр. Цена 18 р.
Русские народные сказки. 543 стр. Цена 30 р.

К. М. Симонов. Повести и рассказы. 639 стр. Цена 9 р. 80 к.

Н. Т. Федоренко. Китайская литература. (Очерки по истории китайской литературы.) 731 стр. Цена 18 р. 40 к.

М. А. Шолохов. Собрание сочинений. В восьми томах. Том I. Рассказы. 350 стр. Цена 9 р.

Шудрака. Глиняная повозка. Драма в десяти действиях. 263 стр. Цена 4 р. 65 к.

В. Н. Шувльгин. Очерки жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 399 стр. Цена 10 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Эльмар Грин. Другой путь. Роман. Книга первая. 392 стр. Цена 8 р. 40 к.

Заря над Эльбрусом. Кабардинские повести и рассказы. 408 стр. Цена 7 р. 70 к.

Леонид Мартынов. Стихи. 104 стр. Цена 2 р. 30 к.

Роберт Льюис Стивенсон. Избранное. 448 стр. Цена 9 р. 70 к.

Хачим Теунов. Свет с севера. Очерки и рассказы. 160 стр. Цена 3 р. 90 к.

ДЕТГИЗ

Г. Бойко. Сестрицы-озорницы. Стихи. Авторизованный перевод с украинского. 10 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Бонч-Бруевич. Ленин и дети. 16 стр. Цена 1 р.

А. Босев. Красная скрипка. Стихи. Перевод с болгарского. 64 стр. Цена 2 р. 15 к.

Ю. Верхало. Самодельные приборы по электротехнике. 216 стр. Цена 4 р.

Е. Воробьев. Гром и Молния. Рассказы. 64 стр. Цена 85 к.

Н. Голек, М. Ивин. Рассказы об автоматике. 176 стр. Цена 4 р. 35 к.

Л. Кассиль. Ход белой королевы. Роман. 240 стр. Цена 5 р. 90 к.

Кришан Чандар. Перевернутое дерево. Повесть-сказка. Перевод с урду. 128 стр. Цена 5 р. 35 к.

А. Лебеденко. Восстание на «Св. Анне». Повесть. 168 стр. Цена 3 р. 75 к.

И. Левин. Машина-двигатель (От водяного колеса до атомного двигателя). 224 стр. Цена 5 р.

Э. Низюрский. Книга о сорванцах. Перевод с польского 432 стр. Цена 9 р. 50 к.

Б. Олевский. Ося и его друзья. Перевод с еврейского. 160 стр. Цена 3 р. 90 к.

Р. Парве. В подполье. Рассказы о Викторе Кингисепе. Авторизованный перевод с эстонского. 96 стр. Цена 2 р. 45 к.

Я. Пинясов. Живые фонарики. Забавные истории, загадки и сказки. Перевод с мордовского — мокша. 64 стр. Цена 1 р. 10 к.

Рытхеу. Чукотская сага. Авторизованный перевод А. Смоляна. 352 стр. Цена 7 р. 95 к.

Э. Штритгматтер. Тинко. Роман. Перевод с немецкого. 336 стр. Цена 8 р.

Ф. Туглас. Маленький Иллимар. История одного детства. Перевод с эстонского. 364 стр. Цена 8 р. 35 к.

Г. Тукай. Избранное. Стихи и сказки. Перевод с татарского. 144 стр. Цена 2 р. 65 к.

Н. Устинович. Таежные рассказы. 200 стр. Цена 4 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вопросы киноискусства. Сборник статей и материалов. 283 стр. Цена 9 р. 50 к.

Фредерик Жолио-Кюри. Избранные труды. **Фредерик и Ирен Жолио-Кюри.** Совместные труды. 562 стр. Цена 32 р.

История естествознания в России. Том I, часть I. 495 стр. Цена 30 р. 60 к.

В. Н. Лазарев. Происхождение итальянского Возрождения. Том I. 438 стр. Цена 33 р. 80 к.

Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь и труды. 254 стр. Цена 18 р. 35 к.

Н. Ф. Овчинников. Понятие массы и энергии в историческом развитии и философском значении. 183 стр. Цена 5 р. 65 к.

Русская советская литература. 1954—1956. 469 стр. Цена 17 р. 55 к.

Е. В. Тарле. Наполеон. 466 стр. Цена 11 р.

Е. В. Тарле. Талейран. 274 стр. Цена 6 р.

Е. Б. Черняк. Государственный строй и политические партии США. 241 стр. Цена 7 р. 60 к.

Василий Шулейкин. Дни прожитые. 396 стр. Цена 12 р.

ГЕОГРАФИЗ

Страны Азии. Географические справки. Вьетнам. Камбоджа. Лаос. 31 стр. Цена 45 к.

Страны Азии. Географические справки. Корея. Монголия. 29 стр. Цена 45 к.

Страны Азии. Географические справки. Саудовская Аравия. Йемен. Ирак. Аден. Катар. Кувейт. Договорный Оман. 32 стр. Цена 45 к.

Страны Америки. Географические справ- ки. Аргентина. Перу. Чили. Фолклендские острова 28 стр. Цена 40 к.

Страны Африки. Географические справки. Либерия. Того. Камерун. Сьерра-Леоне. Гамбия. 28 стр. Цена 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Л. Кренек. В Индии. Перевод с немецко- го. 279 стр. Цена 8 р. 65 к.

Алина Паим. Час близок. Роман. Пере- вод с португальского. 344 стр. Цена 10 р. 90 к.

Пын Мин. Краткая история дружбы на- родов Китая и Советского Союза. Перевод с китайского 149 стр. Цена 2 р. 80 к.

Вопросы строительства социалистической экономики Чехословакии. Сборник материа- лов. Перевод с чешского и словацкого. 292 стр. Цена 10 р. 35 к.

«ИСКУССТВО»

Аббас Ходжа Амад. Это Бомбей. Пьеса. 98 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Ванслов. Содержание и форма в искусстве. 370 стр. Цена 12 р. 75 к.

М. Соважон. Ночной переполох. Пьеса. 130 стр. Цена 2 р. 45 к.

Танцы народов СССР. 152 стр. Це- на 3 р. 25 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

О. Генри. Рассказы. 551 стр. Цена 10 р. 10 к.

М. Горький. Детство. В людях. Мои университеты. 654 стр. Цена 11 р. 70 к.

Д. Оника. Подмосковный угольный бас- сейн (1855—1955). 233 стр. Цена 6 р. 70 к.

И. Сосновский. Московский зоопарк. 206 стр. Цена 3 р. 60 к.

МЕДГИЗ

Н. Н. Альтгаузен. Нейрорентгенология детского возраста. 432 стр. Цена 7 р. 25 к.

Гузо Глязер. Исследователи человече- ского тела от Гиппократов до Павлова. Пе- ревод с немецкого. 244 стр. Цена 8 р. 40 к.

Л. А. Качур, В. А. Петров и др. Лу- чевая болезнь. Последствия радиоактивно- го излучения. Пособие для среднего меди- цинского персонала. 96 стр. Цена 2 р. 25 к.

В. А. Коваленко. Алкоголизм и внут- ренние болезни. 72 стр. Цена 1 р. 80 к.

К. И. Платонов. Слово как физиоло- гический и лечебный фактор (вопросы тео- рии и практики психотерапии на основе учения И. П. Павлова). 432 стр. Цена 20 р. 75 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Г. Александров, Я. Л. Киселев, А. И. Ставцева. Трудовые права рабочих и служащих в СССР (в вопросах и отве- тах). 200 стр. Цена 2 р. 45 к.

С. А. Покровский. Государственно-пра- вовые взгляды Радищева. 312 стр. Цена 10 р. 90 к.

Сборник законов СССР и указов Прези- диума Верховного Совета СССР (1938 — июль 1956 гг.) 500 стр. Цена 12 р. 55 к.

Уголовное законодательство зарубежных социалистических государств. Китайская Народная Республика, Коре́йская Народно- Демократическая Республика, Монголь- ская Народная Республика, Демократиче- ская Республика Вьетнам. 92 стр. Цена 2 р. 15 к.

Уголовное законодательство зарубежных социалистических государств. Народная Республика Албания, Народная Респу- блика Болгария, Германская Демократическая Республика. 120 стр. Цена 2 р. 80 к.

Уголовное законодательство зарубежных социалистических государств. Румынская Народная Республика. 100 стр. Цена 2 р. 70 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренев,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-78-97.

Сдано в набор 26/II-57 г.

Подписано к печати 18/III-57 г.

А 00470. Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л. — 24,66 печ. л. Тираж 140 000. Зак. № 555.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.